



ОБЪЕМЫ  
КОФЕ





Перевод с немецкого  
Составитель  
и автор предисловия  
Б. Сурков

Издательство "Прогресс"  
Москва 1965

Кафка

Роман  
Новеллы  
Притчи

Редактор  
И. КАРИНЦЕВА

Художник  
С. ПОЖАРСКИЙ

## *МИР КАФКИ*

Франц Кафка, чье напряженно-болезненное творчество вобрало в себя многие характерные для буржуазного сознания настроения и идеи, по праву занимает одно из главных мест среди художников, порвавших в нашем веке с реалистической традицией.

Несомненно, его произведения отразили некоторые объективные жизненные процессы и явления, некоторые — и довольно существенные — конфликты действительности. Но в отличие от писателей-реалистов, у которых личность художника обычно не затемняет объективной, сохраняющей чувственную вещность и плотскую сочность картины мира, ибо, создавая образ действительности, они выковышивают его из материала самой действительности, в творчестве Кафки была размыта грань между его личными самоощущениями, его внутренними, часто смутными переживаниями и сферой собственно искусства, в которой обычно объективизируется познанная, перечувствованная, обобщенная художником стихия непосредственного бытия. Произведения Кафки в значительной мере были прямым продолжением, фиксацией, записью его внутренних состояний и видений, тревожным, полным недоговоренностей и смуты рассказом о химерах и мучительных страхах, владевших его сознанием и омрачавших его безрадостную жизнь, которая протекала в мещанской среде, за письменным столом мелкого служащего, в безнадежной борьбе с недугами, в недорогих пансионатах для больных чахоткой.

Он родился в 1883 году в Праге, бывшей тогда одним из городов Австро-Венгерской монархии, в еврейской семье. Отец Кафки был средней руки галантерейный торговец, выбившийся в люди благодаря своей напористости и жизненной хватке. Властный, похожий на бабелевских биндюжников, он сыграл отрицательную роль в жизни Кафки, подавляя его волю, ломая его созерцательный характер, требуя от него непосильного участия в делах. О своих сложных отношениях с семьей, от которой он всю жизнь зависел материально, Кафка рассказал в «Письме к отцу» (1919), полном тягостных, порой унижительных подробностей и тем не менее проникнутом болезненной привязанностью к родному дому, где его считали неудачником, а в последние годы жизни, видимо, и обузой. Это произведение Кафки переросло значение автобиографического документа и характеризует его отношение к среде, из которой он вышел, вызывавшей у него чувство неприкрытой неприязни и тоскливое чувство кровного с ней родства. Это сложное чувство, сохранившееся у Кафки до конца его дней, давало себя знать во многих его произведениях, нередко ослабляя и сводя на нет заложенный и присутствовавший в них критицизм.

Отец Кафки, равнодушно относившийся к еврейской ортодоксии, послал своего сына учиться в немецкую школу, где Кафка приобщился к немецкому языку и немецкой культуре, найдя в ней свою духовную родину. Под давлением отца Кафка вынужден был поступить на юридический факультет Пражского университета и после его окончания начал жизнь мелкого служащего, работая сначала в частном страховом обществе, а затем в полугосударственной конторе по страхованию от несчастных случаев, где он занимался расследованием дел, связанных с производственным травматизмом. За время службы в этих учреждениях Кафка наглядился на многообразные проявле-

ния человеческого горя, и не раз ему открывалась безнадежность человеческой нужды.

Все эти годы Кафка жил двойной жизнью: однообразная служба угнетала и мучила его. Повседневность возникала перед ним подобно унылой и однообразной пустыне, страшившей его и внушавшей ему чувство безнадежности. Прибежищем от скудости жизни для Кафки становилось противостоящее повседневности искусство, которое он любил и ценил превыше всего. Так отделялась, отрывалась в его сознании сфера искусства от сферы жизни с ее реальными общественными конфликтами. Жизнь — это прибежище зла и несчастий — становилась для него низшей реальностью; высшая пребывала в области искусства, имевшего для Кафки самостоятельное и самоценное значение. Он смотрел на жизнь как бы со стороны: в семье — пристально примечая мелкие и крупные недостатки родных; на службе — где он вплотную столкнулся с бюрократическими порядками дряхлеющей Австро-Венгерской монархии, с характерной для ее многочисленных чиновников истовой верой в силу бумаги, с укрепившимся, вошедшим в плоть и кровь чиновного люда и обывателей чувством иерархии, сословного, имущественного, национального неравенства людей.

Зрелище унылой и однообразной жизни отталкивало Кафку. Его неудержимо увлекло к искусству. Но и в этом прибежище ему было не легче, ибо он, уходя от мира внешнего в область духа, творчества, воображения, создавая иной мир, непохожий на реальный, не мог уйти от самого себя, от владевшего им постоянного чувства тревоги, тоски и страха, подавлявшего свойственную ему прочность.

Несовместимость творческих интересов и повседневных занятий он переносил мучительно и писал в «Дневниках»: «Для меня это ужасная двойная жизнь, из которой, воз-



можно, есть только один выход — безумие»<sup>1</sup>. Драматизм его настроения усугублялся фанатическим отношением Кафки к своему художническому призванию, поглощавшему его целиком и безраздельно: «Читаю в письмах Флорбера: «Мой роман — это утес, на котором я вишу, и не знаю, что творится в мире». То же самое испытал и я...»<sup>2</sup> Поглощенность искусством, однако, не обогащала Кафку и не расширяла его связей и общения с миром. Наоборот, он замыкался в собственной личности, глубже и глубже погружаясь в самосозерцание, которое мешало ему увидеть полноту жизни, многоцветность мира, где господствуют не только сумрачные тона, но сияют цвета надежды и радости: «Мне надо много быть одному. Все, что мной создано, — это плоды одиночества... Все, что не относится к литературе, я ненавижу, оно мне надоедает...»<sup>3</sup> Искусство не разрешило внутренних конфликтов его личности, творчество не приносило радости, а самый акт творения проходил в полужестатическом состоянии, подобном экстазам мистиков. С годами эти пугавшие его состояния учащались и усиливались. Дневник пестрит записями: «Видение...» «Бессонная ночь. Третья подряд... Я думаю, эта бессонница происходит оттого, что я пишу»<sup>4</sup>. И снова: «Видение...» «Я не могу спать. Только видения, никакого сна»<sup>5</sup>. Многие из этих видений превратились в те символические притчи, которые составили значительную часть его творческого наследия.

---

<sup>1</sup> Franz Kafka, Tagebücher 1910—1923, Schocken u. S. Fischer Verlag, 1951, S. 41. В дальнейшем все цитаты из «Дневников» даются по этому изданию.

<sup>2</sup> Там же, стр. 280.

<sup>3</sup> Там же, стр. 311.

<sup>4</sup> Там же, стр. 73 и сл.

<sup>5</sup> Там же, стр. 293 и сл.

Кафка рано нашел свою художественную манеру. Главенствующей чертой и особенностью его поэтики стало стремление внести логику в нелогичное, упорядочить то, что не может быть упорядочено, ибо оно ирреально, отделено от подлинных жизненных связей и пренебрегает объективной причинностью. Сказанное относится не только к особенностям художественной манеры Кафки, но в первую очередь и преимущественно к внутренним свойствам его произведений, их структуре, их содержанию, ибо многим из них присуща ирреальность ситуаций и положений, доходящая до полного разрыва с жизненной правдой.

Были ли в жизни Кафки счастливые, спокойные дни? Да, были — во время коротких поездок в Италию, Париж, Германию в 1911—1912 годах. Но даже и тогда, когда в конце жизни он испытал большую любовь к чешской журналистке и переводчице Милене Есенской, с которой он познакомился в 1920 году, — памятником этой безотрадной любви стали «Письма к Милене», — чувства его были омрачены привычными душевными состояниями, которые пробивались сквозь шуточный тон писем, проникнутых необычным для Кафки сердечным теплом: «Итак, вот оно, обещанное вчера объяснение, — писал он Милене. — Я болен душевно, легочное заболевание есть только вышедшая из берегов душевная болезнь»<sup>1</sup>. Странная это была любовь: «Вдобавок я люблю даже не тебя, а мое, через тебя мне подаренное, бытие»<sup>2</sup>. Даже в любви Кафка не мог вырваться из одиночки собственного я.

Но дни этой любви, как и дни Кафки, были сочтены: последние его письма к Есенской датированы 1923 годом — в 1924 году Кафка умер от туберкулеза. Все свои

---

<sup>1</sup> Franz Kafka, Briefe an Milena, Schocken Books, New York, 1952, S. 50.

<sup>2</sup> Там же, стр. 101.

произведения и личные бумаги он завещал сжечь. Но его друг и душеприказчик писатель Макс Брод не выполнил завещания Кафки, и почти все, что от него осталось, было обнаружено.

Среди заметок о прочитанных книгах Кьеркегора и Гамсуна, Гоголя и Достоевского, Гауптмана и Диккенса, а также многих других художников и мыслителей в «Дневниках» Кафки есть несколько записей, очень точно характеризующих направление его собственных творческих исканий, с очевидностью подтверждающих, что Кафка безошибочно находил в современной ему литературе родственные эстетические направления: «От стихов Верфеля у меня все вчерашнее утро голова была в чаду. Одно мгновение я боялся, что непрерывающийся восторг доведет меня до безумия»<sup>1</sup>. И далее: «Как растерзан и воодушевлен был я после слушания Верфеля»<sup>2</sup>.

Другие записи раскрывают те художественные принципы, которые стали основополагающими для его поэтики: «*Все возникает передо мной как конструкция*»<sup>3</sup> и «Я нахожусь на охоте за конструкциями»<sup>4</sup>. Уже с первых шагов в творчестве Кафка решительно и безоговорочно примыкал к экспрессионизму, одним из начинателей которого был Франц Верфель, и в дальнейшем развивался как художник-экспрессионист. Это закономерно.

Его внутренний мир, чудовищный и безотрадный, а равно и его болезненные состояния, безусловно, очень во многом определили духовный тонус и особенности его произведений. Во многом, но далеко не во всем. Заложенное

---

<sup>1</sup> Tagebücher, S. 202.

<sup>2</sup> Там же, стр. 329.

<sup>3</sup> Там же, стр. 329 (подчеркнуто Кафкой).

<sup>4</sup> Там же, стр. 331.

в его романах и притчах умонастроение и даже сами стилистические особенности его творческой манеры, при всем их своеобразии, совпадали в существенных своих чертах с тем общественным умонастроением, которое в первое десятилетие нашего века нашло выражение в экспрессионизме и его поэтике.

Характеризуя экспрессионизм, Томас Манн отметил в «Размышлениях аполитичного», что новое течение в искусстве и глубоко презирает действительность, и отказывается от обязательств перед действительностью. Он имел все основания для столь недвусмысленно резкой характеристики экспрессионистского мироощущения, ибо для художников и писателей, собравшихся под его знаменем, более важное значение, чем цельная эстетическая концепция, имела общность мировосприятия. «Экспрессионизм есть собирательное понятие комплекса чувств и созерцания, а не программа»,<sup>1</sup> — писал видный экспрессионист Макс Крелль, и это соответствовало действительности. Экспрессионисты исходили из мысли, что искусство *не отображает* жизнь, а *дополняет* ее, позволяя человечеству увидеть в нем свой вечный облик, возвышающийся над потоком истории, над бранными человеческими делами и заботами, обращенный к высшей жизни, космосу, вселенной.

Само экспрессионистское мировоззрение являло собой смешение весьма разнородных элементов: мелкобуржуазное бунтарство, своеволие личности, анархистское отношение к обществу, пацифизм, либерально-прекраснодушная вера в отвлеченное добро, смутная и болезненная любовь к людям соседствовали с жестоким, доходящим до крика отчаяния пессимизмом, с потерей сопротивляемости силам зла; рационализм и механистичность мышления — с самодоволь-

---

<sup>1</sup> «Экспрессионизм», М., ГИЗ, 1923, стр. 73.

ным, припахивающим мистикой интуитивизмом. То, что считалось и было экспрессионистским «комплексом чувств и созерцаний», не могло долго пребывать в единстве. В начале двадцатых годов экспрессионизм распался под улюлюканье дадаистов и насмешки сюрреалистов, воздвигавших на его развалинах здание собственной эфемерной эстетики.

Но для выражения владевших ими настроений, чувств и мыслей экспрессионисты нашли соответствующий поэтический язык: экстатический, пригодный для изображения исключительных, необычных ситуаций. Отказ экспрессионистов от воспроизведения подробностей, частных жизни вел и приводил к однолинейности характеров, психологии и отношений персонажей, превращавшихся в то, что Кафка очень точно назвал *конструкцией*. Глазам экспрессионистов мир открывался как юдоль страданий человеческих, как сочетание символов и знаков, за которыми стояло непостижимое нечто, именуемое жизнью. Одновременно в их произведениях мир возникал как схема, составленная из конструкций, весьма удаленных от полнокровной, дышащей земными запахами, вещной жизни.

Свойственные экспрессионизму художественный язык и принципы подхода к объекту изображения ощутимы в поэтике Кафки, в созданной им картине мира — неправдоподобной, изломанной, дышащей жутью и безнадежностью.

Он начал печататься в 1908 году, когда в журнале «Гиперион» были опубликованы два его небольших рассказа, внутренне связанных с его ранней, оставшейся незаконченной большой новеллой «Описание одной борьбы». При жизни Кафки было опубликовано лишь несколько его книг: сборник маленьких притч «Созерцание» (1913), «Кочегар» (1913 — первая глава из романа «Пропавший без вести» или «Америка»), новеллы «Приговор» и «Превращение» (1915), сборник рассказов «Сельский врач» (1919), но-

велла «В исправительной колонии» (1919), сборник новелл «Голодарь» (1924). Его произведения по своим художественным особенностям совершенно закономерно и безошибочно воспринимались современниками как экспрессионистские. Но, как каждый крупный художник и самобытный талант, Кафка был шире той школы, к которой принадлежал, и шире ее эстетических канонов.

Как и у многих экспрессионистов, концепция человека у Кафки имела декадентский характер и связывала его творчество с европейским декадансом начала века, ибо декаданс отнюдь не является только эстетической категорией или совокупностью технических, стилевых и изобразительных приемов и способов обработки материала искусства. Декаданс есть определенный этап в развитии буржуазного сознания, обозначенный вполне отчетливым взглядом на человека и на его взаимоотношения с миром, себе подобными и обществом. Характерной, основной приметой и особенностью декадансного мироощущения является *чувство несвободы* человека, его подчиненности неким иррациональным силам, стоящим вне человека и его порабащившим. Природа этих сил остается для декадансного сознания неизвестной или, во всяком случае, весьма неотчетливой. Рассматривая человека как отдельную особь, противостоящую обществу, как внесоциальную личность, искусство декаданса пренебрегает исследованием общественных связей человека и отказывается анализировать его взаимодействие со средой и историей. Оно не принимает идею развития и отрицает изменчивость истории, не признавая реальность исторического времени. Материальные, вещественные и подлинно социальные связи человека с обществом декадансное сознание отвергает, сосредоточиваясь на изображении переживаний изъятой из временного и исторического потока личности, гиперболизируя и раздувая ее внутренний мир до вселенских масштабов, нередко апологетизи-

руя своеволие личности, пренебрегающей общепринятыми нормами морали. Скептически относясь к разуму, декаданское сознание опирается на иррационализм как основу мышления и делает интуицию орудием познания.

Пронизывающее декаданское мировоззрение ощущение гибели капиталистической цивилизации сообщает ему пессимистичность, неверие в творческие возможности человека, в его способность разорвать путы рабства, освободиться от власти подчиняющих человека сил. Являясь выражением глубочайшего духовного кризиса капиталистического общества, искусство декадана, а равно и декаданское мировоззрение отразили также усугубление процесса отчуждения человека в чреватом и обильном социальными потрясениями и грозами двадцатом веке.

Отчуждение — вполне реальный, объективный процесс, органически связанный с самой природой собственнических капиталистических общественных отношений. Он имеет не только экономические аспекты, приводящие к отчуждению продуктов труда от производителя и превращающие производителя из властелина вещей и продуктов труда в их раба, вносящие атомарность в отношения людей. Процесс отчуждения имеет также недвусмысленные духовные, идеологические последствия: проявляясь в сфере сознания и деформируя его, он мешает сознанию проникнуть в суть общественных отношений между людьми и увидеть за иллюзорными представлениями о действительности ее подлинные, реальные очертания. Маркс подчеркивал, что важнейшим и неизбежным условием ликвидации отчуждения должно стать революционное преобразование общества. Не видя этой реальной, обусловленной, исторически подготовленной перспективы и возможности общественного развития, буржуазное сознание, декадентское искусство не могло преодолеть духовные последствия и отчуждения и дать объективную характеристику современной эпохи, чей смысл

и облик определяет кипение и столкновение разнородных социальных сил.

С обнаженной наглядностью и впечатляющей убедительностью Кафка отразил в своем творчестве поработавшую, подавляющую человека идеологическую сторону отчуждения, но он полностью пренебрегал той возможностью его преодоления, которая открывалась в ходе истории, в наш век величайшей революции и коренной ломки собственнических общественных отношений. В разработке основной для его творчества темы, связанной с изображением различных последствий отчуждения, проявилось обычное для Кафки тяготение к конструкции, схеме, приводящее к взгляду на человека как на пассивное, страдающее существо, испытывающее на себе давление непостижимых, громадных сил зла, находящееся в состоянии ужаса или страдания, охваченное чувством непрочности и обреченности бытия. Тема несвободы человека, его неспособности изменить ход вещей, движение истории, а следовательно, установить зиждущийся на принципе справедливости миропорядок становится для Кафки основной.

Противоречия реальной жизни Кафка воспринимал и изображал нереалистически, придавая им черты вневременности, вечности, сознательно лишая их исторической конкретности, а тем самым и достоверности. Подобный подход к объекту изображения проявился у Кафки с первых же шагов в его художественном творчестве и сохранился на всем протяжении творческого пути.

Уже первые его произведения обнаружили стремление Кафки придавать неправдоподобным ситуациям внешнюю правдоподобность, облекать парадоксальное содержание в нарочито прозаичную обыденную форму, так чтобы происшествие или наблюдение, не поддающееся реальному обоснованию, выглядело реальнее, нежели доподлинная правда жизни.



Для Кафки искусство вообще, и в первую очередь собственное искусство, представлялось более истинным, нежели эмпирическая действительность. Никогда реальность не была для него высшим судьей, мерилom содержательности его фантазии, которая создавала самостоятельный надреальный мир, где действовали необычные принципы мышления и где логика человеческих отношений развивалась сообразно закону парадокса. Он рано нашел и подходящую для себя художественную форму — притчу, иногда сводящуюся к моральной сентенции, иногда превращающуюся в развернутую метафору. Многие его произведения строились как развернутые, разветвленные символы, смысл которых нередко отлетал от почвы реальности и становился отвлеченным, необъяснимым.

Первоначальная посылка его притч или новелл, как правило, всегда обладает видимостью достоверности, будничной простоты, подкупающей ненавязчивости. Однако, развиваясь, обрастая оттенками и подробностями, она видоизменяется, поначалу не очень заметно, постепенно, но упорно и настойчиво переводя исходное рациональное суждение в нечто противостоящее не только здравому смыслу, который всегда третируется Кафкой за приземленность, но и разуму, считающемуся с закономерностями объективного мира. Парадоксальность ситуации и логической конструкции, лежащей в основе кафковской притчи или новеллы, должна была подчеркнуть и подчеркивала алогичность самого мира, зыбкость, непрочность, неустойчивость человеческого существования, порабощенность человека неизвестными силами, властно распоряжающимися его судьбой и жизнью.

Для него человек — отнюдь не властелин природы, гордо утверждающий себя в жизни. Человек для Кафки — пасынок бытия, персть, комок глины, незащищенное, слабое, бессильное существо, всеми фибрами ощущающее свою обо-

собленность от жизни, неслитность с нею — с ее могучим потоком, омывающим его, но не проникающим в то сокровенное, тайное, замкнутое от чужих взоров, что и составляет сердцевину человеческой природы. Общепринятую точку зрения на человека как на часть мира, часть человечества, Кафка отвергает и не приемлет; эта истина представляется ему мнимой, ибо истинно для него другое — отделенность человека от жизни. Связь человека с миром Кафка считает кажимостью, видимостью, заблуждением, полагая, что стоит лишь попристальнее взглянуть в мир, чтобы обнаружилась справедливость этого наблюдения и сама жизнь предстала перед внутренним взором человека как нечто зыбкое, непостижимое, неопределенное (притча «Деревья»).

Человеческая натура не только отделена от жизни, замкнута в себе, но она неизменна и постоянна. Человек может сбросить с себя прошлое, подобно тому как он поступает с вышедшим из моды, состарившимся и поизносившимся платьем, но он не в состоянии сменить свое состарившееся, износившееся, вышедшее из моды лицо — зеркало души. С ним человек соединен накрепко и навечно, как каторжник, скованный цепями с тяжелой тачкой, которую он обречен безостановочно толкать перед собой (притча «Платья»).

Если Кафка был вполне убежден в могучей, всепроникающей силе зла, беспредельности его власти над жизнью и человеческим естеством, то он совсем не был уверен в возможностях добра. Поэтому теневая, злобная, жестокая сторона человеческой природы неизбежно выплескивается из нее вопреки всем стараниям и притворствам, всем попыткам утаить, не показать ее холодной, разъедающей, бесчувственной власти. Она вызывает у Кафки ненависть — эта прячущаяся до времени власть, подстерегающая свою жертву в темных, ночных улицах и переулках

больших городов, на людных перекрестках, в жилищах людей, в домах, где богатство служит преградой против бедствий, наполняющая жизнь власть, таящаяся повсюду, где может скрываться зло, исподволь обвивая душу человека, раскрывая ей свои объятия, стремясь задушить, полонить человека, вовлечь его в нечистую сделку с совестью (притча «Разоблачение проходимца»).

Всепроникающая сила зла разъединяет, разобщает людей, превращает их во взаимоотношкивающие монады; она обезоруживает человека, вытравляет из него чувство сострадания и любви к ближнему и само желание помочь ему, пойти ему навстречу; она делает человека пассивным созерцателем происходящего в жизни, не желающим проникнуть в его смысл и содержание, дабы не обременить себя и не взвалить себе на плечи дополнительную ношу добра и человеколюбия. Эта могучая сила понуждает человека, гуляющего ночью по залитому лунным светом бездыханному городу, остановиться при звуках шагов и смотреть, как бегут друг за другом люди, молча, со свистом втягивая в себя воздух, с искаженными от напряжения лицами, и стоять в стороне, раздумывая над тем, что таится за этим странным событием, что же, в конце концов, промелькнуло перед его взором — смертельная погоня убийцы за жертвой, или это двое людей, объединенные одной страстью, быть может, ненавистью, преследуют третьего, или просто заурядные обыватели спешат после тяжелого трудового дня к себе в привычные норы, к своим будничным ложам, к унылому дому. Ничто не ясно, ни один из поступков людей не может быть понят и объяснен — и лучше постоять в сторонке от происходящего и созерцать его, ни во что не вмешиваясь, ибо можно стать соучастником злодеяния или его безвинной жертвой, можно неожиданно понести ответственность за нечто, тебе неизвестное, в то время когда ты сам скован и раздавлен

усталостью, а бремя жизни лишило тебя воли к борьбе и сопротивлению и тебя хватает только на то, чтобы поглядеть на происходящее, вливающееся в твои широко открытые глаза. Эта философия жизни, столь характерная для Кафки и наиболее отчетливо выраженная в притче «Проходящие мимо» — ключевой для его мировоззрения, — предопределила и его отношение к общественной борьбе и движениям его времени.

Нереалистическое восприятие Кафкой жизненных противоречий предопределялось не только особенностями его ума и творческой природы; оно было следствием его общественных воззрений, ибо Кафка считал любой вид общественной борьбы бессмысленным, неспособным изменить ход вещей, существующий порядок, обуздать и повергнуть мировое зло. И в общественных вопросах Кафка был созерцателем. Однажды, видимо, после обычных разговоров со своим другом Максом Бродом, стремившимся увлечь его сионистскими идеями, он сделал в дневнике весьма многозначительную запись: «Что общего у меня с евреями? У меня едва ли есть что-либо общее и с самим собой, я только и способен тихохонько, радуясь тому, что дышу, забиться в угол»<sup>1</sup>. Нечто подобное Кафка смело мог сказать не только о своих соплеменниках, чья судьба была для него не безразлична. Нечто подобное он мог сказать и о сторонниках социального действия — анархистах, с которыми он был знаком по Праге, или о социалистах, чье учение и идеи были ему известны и одно время интересовали его, но были им оставлены как неосуществимые.

В массах он никогда не видел движущей силы истории, активное начало прогресса и не думал, что угнетаемые и поработанные люди могут и способны изменить и перестроить мир. Подобная надежда представлялась Кафке

---

<sup>1</sup> Tagebücher, S. 350.

несбыточной и столь же бессмысленной, как и сама жизнь, где нет места порыву, героическому началу, побуждениям к борьбе и подвигу. Даже этих слов и понятий не существует в словаре Кафки. Жизнь вставала перед его взором — глухая, тоскливая, скудная, провинциальная.

Он любил описывать узкие городские улицы, где уютится мелкий люд, залитые мертвенным, леденящим лунным светом и желтым светом окон, за которыми копошится одинокая жизнь, где в комнату холостяка, заставленную ширмами, с неуютной, нежилой мебелью, может забрести призрак и столь же неожиданно растаять в чадном, зловонном воздухе общих лестниц, по которым шаркают чьи-то тяжелые шаги, идущие к скрипучим дверям, ведущим на чахлый двор с висящим на веревках застиранным бельем, где растительность бедна и скудна, как жизнь обитателей домов, столпившихся вокруг двора, в чьих воротах, под кирпичными арками, выводящими на улицу, лежит темнота, прячущая в себе нечто устрашающее, тревожное, паучье, и ее хочется скорее миновать и влиться в толпу, где люди предоставлены сами себе и идут, не глядя друг на друга, и только иной раз взор скользнет по затянутой в тугий корсет девице с тяжелыми бедрами, одетой в прошлогоднее платье, в этом году уже старомодное и смешное, или задержится на лице ребенка, девочки-подростка, на которое надвигается тень идущего за ней мужчины, и улица снова поведет тебя куда-то в горы, где ты в полном одиночестве неожиданно ощутишь свободу, но это будет безотрадная, безлюдная свобода, похожая на сомнительную свободу заключенного, погружающегося в свои мысли в душной и узкой одиночке, а если не хочешь выйти через постылый двор и надоевшие ворота на улицу, то можешь пройти по половицам твоей комнаты, где тоска гнетет тебя и хватает за горло, и взглянуть в окно на надвигающиеся серые мышинные сумерки, на движущийся между

вспыхивающими бледным, призрачным светом газовых фонарей, под щелканье кнутов и ржанье лошадей поток экипажей и ощутить на мгновение, как разжимается рука одиночества, сдавившая твое сердце, и тебе станет легче, но потом оно — бесформенное, безглазое — навалится на тебя, исторгая из твоей глотки крик отчаяния, заставляя тебя раскачиваться, сидя на постели, и кусать пальцы, и видеть в ближнем своем, в соседе, врага, ибо ничто так не разобщает людей, как повседневность, прозаичная, однообразная, погружающая человека в его собственные заботы и интересы и делающая его равнодушным к себе подобным и их страданиям.

Эта картина извлекается и возникает из многих притч Кафки — таких, например, как «Внезапная прогулка», «Тоска», «Прогулка в горы», «Отклоненное ходатайство», «Сильный грохот», «Рассеянный взгляд на улицу», «Окно в переулок» и другие. Но при всей ее выразительности она лишь закрепляла непосредственные впечатления от жизни, ибо взгляд художника, скользнув по ее поверхности, не проникал в ее сокровенные, подспудные тайники и глубины, где переплетаются корни причин и следствий, где зарождаются события.

Осознание реальности было для него и для его искусства непосильной задачей. Конечно, он улавливал некоторые особенности буржуазной действительности и жизни капиталистического общества. Например, некий молодой купец, от лица которого ведется рассказ в маленькой новелле «Сосед», весьма точно излагает ощущения участника конкурентной борьбы: с тех пор как рядом с его маленькой, но процветающей конторой поселился некто другой, тоже купец, по имени Гаррас, о котором, впрочем, ничего не известно, и открыл собственную контору, у него не стало покоя, дни и ночи его отравлены подозрением, ибо Гаррас, возможно, подслушивает сквозь легкую пере-

городку, отделяющую их конторы, деловые телефонные разговоры и, вселяя неуверенность в своего соседа, беззвучно, словно мышинный хвост, выскальзывает из дому и шныряет по городу, перехватывая клиентуру и обдывая за его спиной делишки. Возможно, это так, а возможно, и нет, ибо новелла, написанная в форме исповеди, интимного признания, не позволяет узнать истину, поскольку признание строится на догадках и предположениях рассказчика, которые сами нуждаются в подтверждении. Вдобавок Гаррас наделен Кафкой чертами столь зловещей загадочности, что превращается из реального, заурядного купца, пробивающего себе дорогу в жизни, в олицетворение фатума, поработавшего и подавляющего рассказчика. Столь же скван и поработан собственной лавочкой и герой новеллы «Купец», томимый одиночеством, погруженный в течение дня в расчеты, деловые хлопоты, тревожащийся о своих деньгах, пущенных в оборот. Но, как явствует из логики образного развертывания рассказа, герой новеллы одинок не потому, что все его существо поглотила лавка и повседневные заботы, обездушившие его и превратившие в человеческий придаток к товару, нет, он прикован к лавке потому, что он одинок и ищет в ней, в сухих, трезвых заботах и расчетах лекарства от фатальности одиночества. Причины поменялись местами со следствием.

Эти и другие новеллы Кафки, оставаясь на уровне наблюдения, не поднимались до обобщения, ибо Кафка исподволь оттеснял в повествовании реальность, отводя ей второстепенную роль. Объясняя роковое одиночество человека извечными свойствами его натуры, он смешивал и подменял истинные основания разобщенности людей мнимыми. Но если некоторая однолинейность ранних миниатюр Кафки, представлявших собой или художественное выражение некоего тезиса, или эскизную зарисовку жизненного события, отвечавшая духу экспрессионистской

поэтики с ее тягой к конструкции, с ее рационалистической условностью и символичностью, обедняла объект изображения, то в более крупных его произведениях характер художественного мышления Кафки более отчетливо вступал в противоречие с исходным материалом искусства — действительностью, препятствуя ее осознанию. Неотчетливость изображения реальных жизненных конфликтов дала себя знать уже в новелле «Приговор» (1912).

Первооснова этой новеллы вполне жизненна: состарившийся и овдовевший глава торговой фирмы оттесняется от дел своим удачливым и предприимчивым наследником и до поры до времени выжидает, чтобы снова взять бразды правления в свои руки и покарать самоуправца. Ситуация эта естественна для буржуазных нравов и отношений в буржуазной семье. Однако она видоизменяется Кафкой и обрастает фантазмагоричными подробностями, затемняющими характер конфликта между отцом и сыном. Сжатость и концентрированность действия новеллы также не способствуют его прояснению, ибо Кафка, следуя законам своей поэтики, своей склонности передавать конструкцию жизненного явления без разветвленной ее детализации, опускает в повествовании важные мотивировки, отчего поступки героев приобретают внешнюю необоснованность, и одновременно вводит *множественность* мотивировок, могущих обосновать помыслы и поступки его персонажей.

Обусловленность человеческого поведения Кафка из повествования удаляет и на ее место ставит неожиданное, необъяснимое, непредвиденное, порождаемое разнообразными мотивами, из которых ни один, по мысли Кафки, нельзя рассматривать как обязательный, ибо, по его мнению, сама связь человека с реальностью, где действует закон причинности, сомнительна и проблематична. Несомненна для него лишь предопределенность человеческой судьбы, власть над его существом непознаваемых сил.



Можно предположить, что Георг Бендеман, герой «Приговора», погибает, став жертвой собственного эгоизма, но это гадательно, ибо разозленный отец, творящий над своим сыном суд и расправу, затевающий целый домашний процесс над Георгом, превращен Кафкой в олицетворение судьбы, в ее карающую длань, а новелла становится изображением столкновения человека с фатумом, в котором человек терпит неизбежное и непоправимое поражение. Несмотря на трагическую определенность финала, содержание самой новеллы лишено определенности, ибо неясны те реальные побудительные причины, которые стоят за поступками ее героев. Неясны они и Кафке, но вполне очевидной была для него непримиримая разобщенность, обособленность людей и в семье и в обществе, отчужденность человека от жизни. Мысль эта, ставшая господствующей для его творчества, предопределила бескомпромиссность конфликта между отцом и сыном в новелле «Приговор». Подтверждает ее Кафка не столько психологией действующих лиц, ибо характеры героев его произведений всегда отличаются психологической бедностью, сколько самой ситуацией, положением, в котором они оказываются.

Наиболее заострена ситуация подобного рода в новелле «Превращение» (1914), герой которой, мелкий коммивояжер Грегор Замза, неожиданно превращается в отвратительное насекомое и в этом бедственном положении заканчивает свои дни.

Вероятнее всего, изображенная в «Превращении» химерическая картина предельного человеческого одиночества родилась в мозгу Кафки во время его ночных видений, когда он сам, скомканный страхом, ощущал себя полностью выброшенным из жизни. Но, пожалуй, никто из многочисленных пессимистов мировой литературы, выражавших на разные лады неверие в человека и презрение к нему,

даже в самых сумрачных своих раздумьях над ничтожеством и несовершенством человеческой природы, не низводили его до столь жалкого состояния, как это сделал Кафка.

Мысль о поверженности, бессилии человека — глубинная, основополагающая для декадансного мироощущения. Она господствует и в творчестве Кафки. Но его нельзя назвать человеконенавистником: он сострадает Замзе, жившему жалкой, ограниченной жизнью маленького обывателя и умершему от голода в своей комнате, где семья старалась скрыть его от чужих, назойливо-любопытных глаз. Но с еще большей энергией и внутренней убежденностью утверждал Кафка своей новеллой мысль о невозможности изменить положение, обстановку и условия, в которых находится или оказывается человек. Замза-насекомое ничего не может сделать для того, чтобы разорвать, разрешить власть судьбы, лишившую его человеческого облика и тех скромных возможностей, которые предоставляло ему его положение мелкого служащего. Он даже внутренне не протестует против постигшего его несчастья, что весьма характерно для мировоззрения Кафки, считавшего борьбу с подчиняющимися человека силами немислимой и невозможной. Превращение Замзы было материализацией его человеческого и общественного самоощущения.

Ничего не может сделать и семья Замзы, на которую с его превращением в безобразное насекомое обрушилось нечеловеческое испытание, и вполне естествен тот вздох облегчения, который исторгает из его родных весть о его смерти. Трудно поэтому увидеть в новелле Кафки критику буржуазной семьи. Даже тематически он не двинулся в том направлении, в котором пошли Жюль Ренар в «Рыжике», Роже Мартен дю Гар в «Семье Тибо», Иоганнес Бехер в «Прощании» или Франсуа Мориак с его циклом семейных романов — те художники-реалисты, которые от

критики отношений, господствующих в буржуазной семье, поднимались до критики собственнического буржуазного общества.

Новелла эта представляет собой попытку Кафки изобразить характер отношений человека с жизнью. Не только для усугубления эстетического эффекта ужасного погружает Кафка драму Замзы в стихию повседневности. Насыщая повествование мелкими прозаическими подробностями, он стремится доказать, что ужасное, чудовищное таится, прячется в недрах обычной, каждодневной жизни, постоянно присутствует в ней и лишь ждет своего часа, чтобы подстеречь человека. Жизнь в своем постоянстве и неизменности неизменяема и враждебна человеку, не располагающему средствами и возможностями воздействия на нее. Столкновение с ней кончается для него гибелью. Гротесковые образы призваны доказать эту итоговую мысль новеллы, подтвердить обычность исключительного, естественность неестественного, логичность нелогичного. Кафка описывал не столько психологическую реакцию человека на нечто исключительное; психология действующих лиц новеллы его мало интересуют, и он не дает заглянуть в душу участников странных событий в семействе Замзы. Он изображал трагически неразрешимую, губительную ситуацию, вышвырнувшую Замзу из людского общества и обрекшую его на вечное одиночество. Для Кафки важна событийная сторона происшествия, неразрешимость заложенного в нем конфликта, который, по его мнению, отражал неразрешимость конфликта человека с миром.

Никто из участников драмы Замзы даже не задумывается над причинами столь невероятного происшествия, как превращение человека в насекомое, и, воспринимая случившееся как нечто укладывающееся в житейские нормы, примиряется со свершившимся, уповая лишь на терпе-

ние, ибо власть зла беспредельна, а силы человеческие скудны. Этот вывод был логичен и для Кафки, ибо, считая жизнь ужасной и неизменной, он полагал, что преодолеть несвободу человека невозможно. Мысль эта проходит и через другое его центральное произведение — новеллу «В исправительной колонии», где развивается тот же круг идей, что и в «Превращении».

Раздвинутая за пределы частного человеческого существования, эта новелла хранит следы внимательного чтения Кафкой произведений Достоевского, оказавшего глубочайшее влияние на всех экспрессионистов, в том числе и на Кафку.

Раздумья над добром и злом, над их борьбой, составляющие сердцевину произведений Достоевского, глубоко занимали и волновали Кафку. Для Достоевского власть зла была безграничной не только над душой отдельного человека, но и во вселенском масштабе. Осуждая социальную несправедливость, он искал путей к общественной гармонии и был готов принять результаты революции, совершенной во имя социальной справедливости, не приемля, однако, методов революционной борьбы. Для Кафки власть зла представлялась абсолютной, а что касается попыток установить справедливость и общественную гармонию, то они, по его мнению, неизбежно оборачиваются злом еще более жутким, чем зло, так сказать, естественное, привычное, ибо предпринимаются они во имя добра. Этот тезис он и развивал в новелле «В исправительной колонии» (1914 г., опубликована в 1919 г.), где недвусмысленно отразилась его убежденность в необоримости мирового зла.

Передавая рассказ и прозаические пояснения офицера, обслуживающего чудовищную машину для наказаний, установленную на некоем острове в карательной колонии, Кафка подчеркивал, что она была изобретена старым ко-

мендантом не ради садистского наслаждения мучениями ее жертв, а во имя их блага и являлась орудием справедливости, подобно тому как дыбу и гаротту, костер аутодафе, гильотину или электрический стул тоже считали ее орудиями те, кто при их посредстве пытался внедрить в жизнь свое понимание справедливости и блага. «Будь справедлив» — вот завет, который оставил старый комендант, и этому завету фанатически и до конца следовал обслуживающий машину офицер. Он сам добровольно превращается в ее жертву, когда убеждается, что тот миропорядок, который кончился со смертью старого коменданта, больше не вернется. С ним гибнет и машина, но смутное пророчество, сохранившееся после смерти старого коменданта, возвещает его возвращение, а с ним и тех порядков, которые он установил в колонии. Если не считать таких, по мнению офицера, мелочей, как постоянные экзекуции, которым подвергались на машине люди, то порядок, установленный старым комендантом, был превосходным, ибо все жители колонии чувствовали себя счастливо и с радостью наблюдали во время торжественных церемоний, как просветляется чело жертвы, постигающей при посредстве пыточной машины справедливость. Была, видимо, довольна и жертва, слизывающая теплую рисовую кашу, поставленную перед ее ртом во время экзекуции. Никто не пытался сопротивляться предстоящему наказанию, ибо оно воспринималось как неизбежность.

Такой же неизбежностью представляется оно и темным, грубым людям — солдату-охраннику и осужденному, которые сначала участвуют в экзекуции, а затем становятся зрителями самонаказания офицера, так как в их головах нет места мысли о неподчинении существующему порядку вещей. Хотя после смерти старого коменданта нравы в колонии смягчились и новый комендант неодобительно относится к деятельности офицера, обслуживаю-

шего машину, но она по-прежнему работала, и все — и казнимые и казнящие — считали ее существование терпимым, а наказание — неизбежным. Только случай выводит ее из строя.

На образ старого коменданта могучую тень отбрасывает образ великого инквизитора из легенды, рассказанной Иваном Карамазовым своему брату Алеше, который должен был после монастырского искуса, по замыслу Достоевского, уйти в революцию. Но Иван понимал и знал, что тот упорядоченный мир мнимого благополучия и рабского благоденствия, который при помощи костров и пыток был создан отцами инквизиторами, не есть и не может быть единственным царством гармонии и человеческого счастья, ибо в нем нет места для милосердия и истинной любви к человеку. Для Кафки порядок, созданный старым комендантом — этот прототип мира, который мог бы возникнуть, если бы воплотились на практике мечтания социальных утопистов, — единственно возможный, ибо к нему ведет единственно возможный путь установления общественной справедливости — то есть через кровавую жестокость. Абсолютизируя понятия добра и зла, лишая их конкретного исторического значения и содержания, абстрагируясь от реальных жизненных условий, механически противопоставляя добро справедливости — ибо у него эти понятия не совпадают, — Кафка лишал смысла понятие справедливости, делал его относительным, сомнительным, двусмысленным и спорным. Бесспорным и несомненным оказывалось только зло, растворяющее и поглощающее в себе справедливость, пропитывающее ее и принимающее ее облик. Релятивность добра и зла, как и других моральных ценностей, весьма характерна для декадентского мировоззрения. Свойственна она и Кафке, который, превращая справедливость в зло, не только признавал его господство в жизни, но и считал бессмысленной всякую

борьбу за справедливость, так как она ведет к торжеству несправедливости. Поэтому он считал невозможным достижение общественной гармонии, ибо ее краеугольный принцип — справедливость — неизбежно вырождается в зло. И если размышления над ложными путями достижения всечеловеческого блага породили у великого русского романиста глубочайшее философское обобщение, дышащее вдохновением и поэзией, то из-под пера Кафки вышла прямолинейная аллегория, содержащая довольно натуралистическое описание пытки и аппарата для пыток.

Кафка делал большие усилия для того, чтобы понять и исследовать конкретные причины, превращающие жизнь в нечто враждебное человеку. Такого рода исследование он пытался предпринять в романе «Пропавший без вести», названном Максом Бродом при публикации «Америка» (начат в 1913 г.). Однако утрата контакта с реальностью, столь характерная для всего творчества Кафки, а равно пренебрежение аналитической стороной искусства, столь типичное для экспрессионизма, воспрепятствовали Кафке осмыслить и изобразить противоречия и конфликты жизни как противоречия капиталистической системы общественных отношений. Поэтому его роман и не раскрывал исторически конкретных первопричин, делающих нестерпимым существование человека.

Как романист, Кафка двигался в русле романной традиции девятнадцатого века и строил первый свой роман, как, впрочем, и оба других — «Процесс» и «Замок», — на столкновении личности с обществом. Этот классический конфликт позволял писателям-реалистам широко изображать общественные нравы, давать всесторонний анализ жизни общества. Их герой всегда ставился ими в центр пересечения социальных антагонизмов или противоречий, и поэтому его частная судьба приобретала общезначимость, а характер — содержательность.

Заложенные в этом конфликте возможности не были использованы Кафкой, хотя внешний фон повествования в «Пропавшем без вести» гораздо шире, чем в других его произведениях, и действие прояснено более отчетливо, чем в «Процессе», не говоря уже о «Замке».

Сюжет «Пропавшего без вести» движут приключения Карла Росмана, скромного, наивного и простодушного юноши, изгнанного из родительского дома в Праге за то, что его соблазнила прислуга. Но за немногим исключением, необычные перипетии его судьбы мало содействуют познанию общественных противоречий, раздиравших американскую действительность. Причиной тому не только смещение в романе двух родов повествования — реалистичного, отличающегося достоверностью и точностью жизненных наблюдений, и фантастического, сдвигающего реальные жизненные отношения, оставляющие необъяснимыми мотивы человеческих поступков и деформирующие облик мира, в котором действует Карл Росман. Причиной тому — отрыв фантастики от ее питательной почвы — реальности.

И если реалистично написанные сцены романа давали более или менее отчетливое представление о некоторых сторонах американской жизни, о той эксплуатации, которой подвергается в этой стране неумиющий люд, то его фантастические эпизоды, при всей своей занятости и изобретательной яркости, уводили повествование от исследования тех сложных общественных причин, которые порождают враждебные отношения человека и общества в капиталистическом мире.

Как всегда, фантастичное возникает в романе Кафки из прозаически-повседневного и само приобретает черты обычности. Но в «Пропавшем без вести» фантастическое существует просто как *неправдоподобное*, и поэтому оно не влияет на судьбу Карла Росмана и не поясняет



свойства и особенности того мира, где он оказался и который ему нужно было понять, чтобы в нем жить. В значительной мере его судьбу предопределяет случай и внешние обстоятельства, для него непостижимые, фатальные и не поддающиеся изменению.

Как и другие герои Кафки, герой романа «Пропавший без вести», несмотря на переменчивость судеб и обилие происшествий, сопровождающих его на всем жизненном пути, несвободен в своих поступках. Случай сталкивает его в порту, куда прибыл корабль, на котором он был послан в Америку, с родным дядюшкой, о существовании которого Карл не подозревал. Первое время он пользуется благоволением одинокого дядюшки, разбогатевшего в Америке и ставшего владельцем процветающей конторы по транспортировке грузов. Но случай и невольное непослушание лишают Карла расположения педантичного дядюшки, и он оказывается на улице в поисках хлеба насущного и места под солнцем. Случай сводит его с двумя безработными — Делямаршем и Робинзоном, деклассированными рабочими, которые бесцеремонно залезают в его чемодан, что укрепляет Карла в решении пробиваться в жизни в одиночку. Случай помогает ему устроиться боем при лифте в отеле «Оксиденталь», но неожиданное происшествие — появление пьяного Робинзона, которому он вынужден был помочь и на миг оставил свой пост у лифта, — лишает его места. По проискам своих прежних случайных спутников — Робинзона и Делямарша, он попадает в услужение к певице Брунельде, где на него наваливается бессмысленная и тягостная работа. С этой службы, более похожей на рабство, он бежит и поступает в некое весьма странное учреждение — «Оклахомский натуральный театр», заведение «почти безграничное», набирающее служащих под рев труб и вопли зазывал и напоминающее блаженную страну, как ее изобразили бы на кукольном

театре. Так как роман не кончен, судьба Карла Росмана остается неразрешенной. По одним источникам он делает в «натуральном театре» карьеру и обретает покой, по другим — более достоверным — погибает, ничего не достигнув.

Само развитие сюжета показывает, что содержание романа лишь отдельными эпизодами соприкасалось с теми реальными конфликтами и противоречиями американской жизни, которые составляли трагический фон произведений «выгребателей грязи», например раннего Синклера с его «Джунглями» и «Метрополисом», романов Драйзера или антимонополистической утопии Лондона — «Железная пята». Кафка, сам никогда не бывавший в Америке и изучавший ее по книгам, запискам путешественников, рассказам очевидцев, побывавших в Соединенных Штатах, разумеется, мог передать лишь внешний колорит американского быта и образа жизни. Сверкающие небоскребы, поток автомобилей, шумная избирательная реклама, толпы забастовщиков, безработные — все это почерпнуто из вторых рук. Но от одного очень важного эпизода романа, рассказа о службе Карла Росмана в отеле «Оксиденталь», веет подлинностью — столь достоверно, с жестокими, правдивыми подробностями изображена в нем чудовищная эксплуатация детского труда, работа, выматывающая подростков, их бесправие и зависимость от администрации, бесчеловечные условия их быта. Описание их общежития напоминает своей суровостью и сумрачностью диккенсовские описания похожих на тюрьмы учебных заведений и детских домов, где томился дух и страдала плоть заключенных там питомцев, поработанных безжалостными надзирателями и невежественными наставниками. Кафка любил Диккенса, его гротесковую манеру, склонность к сгущенности образа, гиперболизации жизненных явлений. Диккенсовский элемент отчетливо дает себя знать и в «Пропавшем без вести», в некоторых его сдобренных горь-

коватым юмором сценах. Но в изображение детского труда Кафка вложил собственные обширные наблюдения, полученные во время службы в страховой конторе на родине, в Австро-Венгрии. Он просто перенес известные ему факты на американскую почву, отметив тем самым единую для капиталистического общества черту. Но, констатируя факты — разительные и гнетущие, — он не смог связать их с особенностями американской системы предпринимательства и описывал ее такой, как будто она ничем не отличалась от пропитанной бюрократизмом государственной системы Австро-Венгрии. Та же иерархия, которая царяла в чиновничьем аппарате Австро-Венгерской монархии, по его представлениям, царяла и в буржуазно-демократической Америке. Неотчетливое понимание социальных отношений, существовавших в зрелом капиталистическом обществе, рождало у Кафки фантастические представления о его структуре. Администрация «Оксиденталья» восседает где-то на верхних этажах отеля; она почти безлика, анонима и фатально всевластна над многочисленными служащими. Ее власть осуществляется через многочисленных старших кельнеров, их заместителей, просто кельнеров, старших кухарок, кухарок, портье, младших портье и так далее. Описывая фантазмагорически разросшееся управление отелем, символизирующее силу, поработавшую человека, всегда находящегося где-то у подножия гигантской чиновничьей пирамиды, Кафка не улавливал особенностей новых форм эксплуатации и порабощения человека, свойственных зрелому капитализму с его более гибким и замаскированным способом угнетения. Поэтому в его романе правда частного наблюдения входит в противоречие с содержанием художественного обобщения, которое приобретало черты абстрактности, препятствуя пониманию и познанию реальности.

Конфликт Карла Росмана с обществом, в котором он

оказался, утрачивал в романе Кафки историческую и жизненную конкретность, реалистичную обоснованность и представлял как один из возможных вариантов извечного столкновения человека с жизнью, людьми, служа подтверждением очень дорогой для Кафки мысли о постоянстве дисгармонии человеческого существования. Истоки этой дисгармонии он видел в разобщенности людей, невозможности для них преодолеть взаимное отчуждение, которое оказывается сильнее всего — сильнее родственных связей, любовного чувства, дружбы и т. д.

Разъединенность людей — явление, характерное для буржуазного общества и им порожаемое, приобретает в глазах Кафки значение универсального закона, главенствующей формы человеческих взаимоотношений. Подобного рода абсолютизация исторически конкретного явления, оторванного от его социально-обусловленной почвы, вела Кафку к ложному взгляду и на человеческую природу и на место человека в мире и обществе. По его представлению, разъединенность людей, их разобщенность перерастает в недоверие человека к человеку. Недоверие, вполне естественно, порождает подозрительность, а подозрительность в свою очередь вызывает убеждение в возможной виновности человека, мысль о том, что человек скрывает и прячет в своей душе некую вину. На этом основании он может, даже не будучи ни в чем виноватым, подвергнуться осуждению, наказанию, каре. Поэтому офицер-эзекутор из новеллы «В исправительной колонии» мог с солдатской определенностью заявить: «Виновность всегда несомненна». Кафка в общем тоже разделяет эту точку зрения, прямолинейно высказанную его героем, соглашаясь, что в глазах общества, других людей человек всегда виновен или может быть сочтен виновным. Оттого действенной и возможной формой выяснения истины, то есть проникновения во внутренние помыслы человека, в

его намерения другим человеком, или людьми, или даже обществом он считает судилище, судебный процесс, где обвиняемый, сам не знающий и не сознающий собственной вины, ибо *виновным он выглядит только для сторонних людей*, уже заведомо осужден. В подобно-го рода процессе не может быть и не бывает оправданных.

Нет никаких оснований считать, что в представлении о виновности человека отразились религиозно-теологические воззрения Кафки, что эта его мысль зиждется на идее первородного греха или на идее искупления и воздаяния за совершенные грехи. Религиозность Кафки, на которой настаивает его биограф Макс Брод, весьма проблематична, ибо по существу Кафка — человек безрелигиозный, сохранявший нейтралитет в религиозных вопросах, как, впрочем, и в других общественных вопросах. Его концепция вины и виновности человека представляла собой не что иное, как искаженное, извращенное, деформированное, нереалистическое отражение реального общественного явления — социальной разобщенности людей, — природу которого он не в состоянии был осмыслить и понять и поэтому мистифицировал его, превращая в абстракцию, которую он не мог подтвердить и опереть на конкретные, подлинные жизненно достоверные факты. Поэтому столь условен и абстрактен жизненный фон его романа «Процесс» (начат в 1914 г.), в котором Кафка с наибольшей полнотой и отчетливостью выразил краеугольное для его мировоззрения убеждение в беспомощности человека перед всевластием неведомых, стоящих над ним сил и мысль о фатальной виновности человека. По своим художественным достоинствам и напряженности выраженного в нем настроения «Процесс» значительно выше, нежели «Пропавший без вести». Он отмечен большим внутренним драматизмом, действие в нем движется энергично, фрагментарность и незавершенность романа заметны меньше, а от финала веет леденя-

щим трагизмом. Как и в других произведениях Кафки, главенствующим в «Процессе» становится изображение ситуации, положения, в котором неожиданно для себя оказался однажды утром герой романа — банковский уполномоченный Йозеф К. Сама тема романа понуждала Кафку объяснять, обосновывать мысль о виновности человека, поэтому в повествование привнесена немалая доля философской софистики, порой очень изощренной, порой прибегающей к аллегории, намеку, символической притче. Фантастическое в романе органично переплетено с трезво прозаичным изображением повседневности, отчего все повествование и рассказанная в нем история злоключений и гибели Йозефа К. приобретает призрачность, зыбкость, многозначность. Но эта многозначность романа в конечном итоге больше обещает, нежели дает, ибо содержание заключенных в нем аллегорий и намеков, символов и иносказаний отличается отвлеченностью. Определенно в нем только главное его настроение — судьба Йозефа К., о которой Кафка рассказывает с внутренним волнением, погружая повествование в атмосферу страха, тем более впечатляющего, что он зарождается из весьма прозаичных подробностей жизни.

Несмотря на философичность и усложненность романа, отношения между его героями строятся Кафкой как конструкция, не обогащенная жизненными подробностями. Он опускает важные звенья в их поступках и нарочито недостаточно полно мотивирует их действия. Поэтика романа не противоречит духу экспрессионистской эстетики, чему содействует и стремление Кафки очистить, освободить главного героя от реальных, не условных связей с жизнью, отчего он предстает в романе не столько как типичный образ, сколько как абстрагированная от реальности человеческая сущность, человек вообще, человек как таковой, оставшийся наедине с миром и жизнью.

Отход Кафки от принципа типизации образов его героев обнажает нереалистическую природу его творчества, ибо типизация есть непрменный признак и свойство реалистического искусства, поскольку она опирается на социальный анализ, позволяющий исследовать, познавать, обобщать, а потому и типизировать жизненные явления. Кафка создает характеры, большей частью очень схематичные, но не типы, и поэтому его главный герой отличается абстрактностью, условностью. Очень незаметно, как бы вскользь и мимоходом, сообщает Кафка о нем лишь минимальные сведения, ибо для него не важен общественный генезис героя. По существу Йозеф К. — «человек без свойств», как удачно назвал Роберт Музиль героя своего романа, действующие лица которого, как и у Кафки, были масками, олицетворениями идей и настроений их создателя. Роман Кафки не дает внятных указаний, позволяющих понять и найти объективные причины странного ареста и ужасного процесса Йозефа К. ни в его прошлом, о котором почти ничего не известно, ни в его настоящем, о котором известно несколько больше, но все же недостаточно для того, чтобы можно было найти в нем основания для начала процесса. Жизнь Йозефа К. довольно заурядна. Большую часть своего времени он тратил на службе, где даже делал карьеру, вечера коротал со своими коллегами в каком-нибудь кафе, воскресные дни проводил у своей приятельницы, принимающей визитеров в постели, или ездил в гости к благосклонно относящемуся к нему начальству. Обезличенное, лишённое каких-либо индивидуальных особенностей существование. И главное местопребывание Йозефа К., то есть банк, изображено в романе столь же бегло и неконкретно. Несколько отчетливее описан пансион фрау Грубах, где проживает Йозеф К. и куда к нему явились низшие служащие суда, чтобы сообщить ему о его аресте и о том, что отныне Йозеф К. лишается свободы и

попадает в число обвиняемых, обязанных держать перед судом ответ.

Нет в романе и намеков на те внешние причины, которые могли бы пояснить если не вину Йозефа К., то хоть обоснования тех преследований, которым он подвергается и которые лежат за пределами его частной жизни, как лежат они за пределами жизни обвиняемого Блока и множества других людей, проводящих часы и дни в смрадных канцеляриях и приемных суда, под раскаленными крышами чердаков, где расположилось это странное ведомство, в тесных до невозможности адвокатских комнатах, защищая себя от неведомой, но разветвленной и всеисильной власти суда и его чиновного аппарата. Ни внешние, ни внутренние причины не позволяют уяснить истоки вины Йозефа К., если она существует на самом деле, ни цели тех массовых преследований, которым подвергаются граждане «правового государства». Несомненно одно — невиновность Йозефа К., хотя после длительного хождения по канцеляриям суда, где его оглушал невероятно спертый воздух и ошеломлял вид обвиняемых, подавленных собственной судьбой и положением настолько, что они теряли всякое представление о человеческом достоинстве и правах, после изматывающих душу бесед с адвокатом, посвящающим его в тайны судопроизводства и нравы судебных чиновников, Йозеф К. начинает сомневаться в собственной невиновности и напряженно начинает искать в своей жизни проступки, которые могли бы объяснить, почему и в чем он обвинен. Кафка отбрасывает любые возможности реального обоснования случившегося и противопоставляет своего героя некой анонимной силе, облеченной судебским званием и правом карать людей. С большим искусством изображает Кафка состояние затравленности, в которое постепенно впадает его герой. Преодолев первую растерянность от непредвиденного известия о своем аресте и осознав, что он



действительно находится под следствием, хотя и оставлен временно в прежнем своем состоянии, при прежнем образе жизни и занятиях, Йозеф К. начинает ощущать, что на него отовсюду направлены испытующие, наблюдающие за ним взоры. Неожиданные совпадения и, казалось бы, незначашие факты — появление не вовремя подростка в воротах дома, где живет Йозеф К., приезд родственника его хозяйки, внезапный стук, раздавшийся во время важного разговора, — все приобретает для Йозефа К. жуткий смысл, ибо все, что происходит, может быть одновременно и случайным и неслучайным. Тем более что Йозеф К. постепенно начинает узнавать, сколь разветвлена противостоящая ему судебская система, как глубоко проникла она в поры общества, в котором он беззаботно и не без удовольствия жил. Среди судебных исполнителей, навестивших его в роковое утро, когда ему сообщили о том, что он арестован и против него начат процесс, Йозеф К. видит своих банковских сослуживцев. Впоследствии он присутствует при наказании стражей, которое происходит в кладовой его банка, где энергичный экзекутор выпорол их за то, что они при аресте Йозефа К. проявили излишнюю жадность, позарившись на его белье и сожрав его завтрак. К суду имеют прямое отношение и дети в доме художника Титорелли, крикливой и наглой гурьбой окружившие Йозефа К. и своим подслушиванием и шпионством мешавшие его серьезному и важному разговору о судеустройстве с художником. Да и сам Титорелли оказывается потомственным ведомственным живописцем, пишущим по однажды установленным и окаменевшим правилам портреты судей и следователей, бессовестно приукрашивая их прозаичную внешность. О существовании суда и о том, что против Йозефа К. начат серьезный процесс, известно очень многим, и никого не удивляет эта новость. Она воспринимается как печальный, но обычный факт обычной жизни.

Через роман проходит мысль о бесполезности и невозможности сопротивления тем страшным и зловещим силам, которые господствуют над человеческой жизнью. Судьба Йозефа К. иллюстрирует эту главную мысль романа, органическую и для всего творчества Кафки. Первое время, узнав о постигшем его несчастье, Йозеф К. не верил в то, что случившееся с ним не есть дурная шутка, скверный розыгрыш. Но очень скоро он начинает ощущать, что некая незримая черта отделила, изолировала его от остальных людей и он хоть и находится еще в обществе, но уже отчужден, отколот от общества. Судебный надзиратель не пожелал позвать ему руку — ибо обвиняемому, лишенному прав, действительно не принято пожимать руку. Отказалась сделать это, как бы в рассеянности и по забывчивости, и фрау Грубах, хозяйка пансиона, где жил Йозеф К. и, кстати, числился у нее на хорошем счету. Естественно, что первый порыв Йозефа К. был направлен на то, чтобы вырваться из нелепого положения, в котором он оказался. Он начинает поиски помощи — детски-наивные, неловкие и бесперспективные. Попытки Йозефа К. защитить себя изображены Кафкой в гротесковой, ироничной манере, чем еще больше подчеркивается безвыходность положения героя романа. Он делится своими планами со своей соседкой фрейлейн Бюрстнер, маленькой машинисточкой, которая не отказывается от вечерних встреч с разными кавалерами, чтобы подработать на жизнь. Йозеф К. рассчитывает на ее помощь, хотя эти расчеты смехотворны. На время он поддается надежде, что ему сможет помочь Лени — сиделка его адвоката Гульда, у которой с Йозефом К., как, впрочем, и с другими клиентами ее хозяина, устанавливаются любовные отношения. В начале следствия он, придя в канцелярию суда на допрос, произнес дерзкую речь, демонстративно выражая свое презрение и к суду и к выдвинутому против него судом обвинению. Некоторое время он даже

старался жить беззаботно, так, словно ничего не произошло, не отказывая себе в любовных увлечениях, которые Кафка описывает очень прямолинейно. Схематичное изображение жизни чувств Йозефа К. в романе объясняется не только тем, что Кафке чуждо искусство психологического анализа, умение проникнуть в чужое, не собственное сознание и эмоциональный мир, ибо как писатель Кафка — величайший эгоцентрик. Причина тому в схематизме его художественного мышления, в склонности к упрощенному, конструктивному воспроизведению жизни и человеческих взаимоотношений, что характерно и для экспрессионистской поэтики. Но со временем властная усталость, безнадежность неумолимо подчиняют Йозефа К., парализуя его волю к сопротивлению. Он начинает чувствовать, что испытание, выпавшее ему на долю, непосильно. Состояние затравленности, подавленности захлестывает его. Мысль о бесцельности борьбы становится для него единственной, вытесняя все другие мысли. Он приходит к решению отказаться от борьбы, и оно вызывает у него во время разговора с тюремным капелланом в соборе — в сцене, написанной в сумрачно торжественных тонах и являющейся важнейшей для уяснения замысла романа. Поэтому поверженного и побежденного Йозефа К. не застигли врасплох те два человека с потертыми, одутловатыми лицами оперных теноров, появившиеся у него поздним вечером, мертвой хваткой взявшие его за руки и прошедшие с ним по залитым холодным, мертвящим лунным светом городским улицам к заброшенной каменоломне, где один из них вонзил ему в сердце узкий мясницкий нож. Йозеф К. ждал их, предчувствовал их приход. Зарезанный как собака, он умер одиноким, никому не нужным. Никто не вступился за него и не защитил от смертельной опасности, от страшного и безжалостного суда.

Но что же представляет собой эта чудовищная судейская машина, которая подмяла под себя Йозефа К. и перемолола его своими жерновами? О ней в романе говорится много, но по существу не говорится ничего. Кафка подробно описывает ее канцелярии, нравы судей и следователей, которые бывают капризны, как дети, и столь же доверчивы; описывает он и адвокатуру, обвинившую мощный ствол судейской организации, чьи чиновники, несмотря на то, что они стоят на страже закона, и корыстолюбивы и непомерно честолюбивы. Но, несмотря на подробные и обильные описания суда, заполняющие собой многие страницы романа, его природа, происхождение и назначение остаются непроясненными. Не известно, чью власть он выражает и какой порядок защищает. Он предстает в романе как некая абстракция, хотя на деле суд в романе Кафки представляет собой мистифицированное изображение системы буржуазного правопорядка, на котором зиждутся устои капиталистического общества. За картиной суда в романе Кафки стоит непознанная действительность. Несмотря на то что в судейской системе, описанной в «Процессе», отразились черты, характерные для государственного аппарата Австро-Венгерской монархии, созданную Кафкой картину нельзя считать фетишизированным изображением государственно-бюрократической полицейской машины или сделанным раз и навсегда обобщением квинтэссенции бюрократизма, которое пригодно на все времена и на все случаи. Образ суда у Кафки есть не что иное, как персонификация неведомых сил зла, разлитых в жизни и враждебных человеку, мистифицированное, а потому абстрактное их отображение в сознании человека, испытывающего гнет капиталистической системы и не умеющего познать истоки этого гнета, с которым, по мысли Кафки, нельзя бороться. Он неоднократно подчеркивает в романе, что Йозефа К. судит не обычный суд, а некая анонимная власть. С неве-

домым злом бороться действительно трудно и вряд ли возможно, а тому, кто вступает с ним в схватку, силы зла кажутся несравненно большими, чем они есть на самом деле. Исходя из собственной слабости, Кафка преувеличивает мощь мирового зла и в притче о Законе, рассказанной Йозефу К. священником в соборе, возводит ее в абсолют, в нечто несокрушимое и непобедимое. Сама эта притча является образцом софистической казуистики, преследующей цель доказать заведомую бесполезность борьбы человека со злом во имя справедливости, которую олицетворяет Закон.

Поселянин, умерший на руках привратника у врат Закона, так и не дождавшись разрешения переступить эти врата, по-видимому, не мог поступить иначе, ибо следовал запрету привратника, то есть выполнял то, что предназначено и необходимо. Лишь перед самой смертью узнал он, что врата эти были предназначены только для него и никто иной в них не мог войти. Но ему нечего делать с этой истиной, ибо теперь она ему больше чем бесполезна — она омрачила ему последний миг жизни и обесмыслила все его прежнее существование. Те толкования притчи, которые содержатся в речах капеллана, однако, не проясняют, а затемняют ее смысл и истинное положение вещей, нашедшее в притче свое отражение. В конце концов не столь уж важно, кто кому подчинен — привратник просителю или наоборот; знает ли привратник, что таится за вратами Закона или нет, может ли он после смерти поселянина затворить вечно открытые врата Закона или это ему не дано. Важно то, что человек, пришедший познать и найти Справедливость, остается ни с чем, а Закон, которого он возжаждал, для него недоступен.

Если следовать тому смыслу притчи, который очень искусно навязывает Йозефу К. капеллан, то можно предположить, что человек, жаждущий справедливости, стал

жертвой обстоятельств и условий, которые сильнее его, и только поэтому она для него недоступна и недостижима. Но пессимистический вывод притчи глубже и безнадежнее. Человек *сам* не пожелал войти во врата Закона; он убоялся слов привратника и добровольно уселся в сторонке на скамеечке, предложенной привратником, и ни разу не послушался его запретов, и не попробовал пройти туда, куда пройти ему было нужно, хотя в притче ничего не сказано о том, что он не может этого сделать.

Тот проникнутый злом и насилием мировой порядок или беспорядок, который господствует в жизни, в истории — совершенно очевидно, что Кафка имеет в виду социальный уклад собственнического, капиталистического общества, — неизменяем не только потому, что он опирается на власть и силу, но еще и потому, что люди охотно сами подчиняются этому порядку и для них недоступна и им чужда самая мысль о возможности его изменения. Этот конечный вывод романа получил философское завершение в притче о Законе, ставшей дополнительным подтверждением глубокого неверия Кафки в человека и его созидательные возможности.

Но и самое понятие Закона имеет для Кафки двусмысленное значение. Для поселянина недра Закона излучают манящее сияние: там пытается он найти освобождение от всех мучивших его забот, там его иссохшие в пустыне жизни уста прильнут к вечному источнику Справедливости. Но эта надежда поселянина пуста и обманчива, ибо жесток, тернист и ужасен путь к Справедливости, и в своем абсолютном, совершенном значении она бесчеловечна. Для Закона важны его предназначения, принципы, исполнение, а не благо человека. Йозефа К. судят по некоему предустановленному Закону, но во что превратилось это судилище? Оно завершилось ударом ножа в сердце жертвы на старой каменоломне, ибо таков Закон.

Отношения Йозефа К. с обществом вылились о судебный процесс. Для Кафки было очевидно, что состояние разобщенности людей, которое, по его мысли, порождает подозрительность и уверенность в виновности человека, неизбежно ведет к губительным последствиям. Поэтому поиски возможности разрешения конфликта человека и жизни, их антагонизма постоянно занимали и тревожили его воображение. И собственную изолированность, отделенность от жизни и людей он рассматривал как беду. Он признался однажды, что видит высшее счастье в близости к людям. Но это счастье оставалось для него недоступным. Все попытки Кафки установить действенный внутренний контакт с миром и реальностью кончались крахом, и убежденность в невозможности соединения людей, преодоления причин, их разъединяющих, неостановимо овладевала его сознанием. Этой убежденностью проникнут и третий его роман — «Замок» (начат в 1914 г., продолжен в 1921—1922 гг.), так же как и оба предыдущих оставшийся незавершенным.

Если жизненный фон драмы Йозефа К. условен и нереалистичен, то в «Замке» процесс абстрагирования Кафки от реальности значительно усилился, не позволяя до конца проникнуть в символику романа и раскрыть с достаточной степенью достоверности значение многих его образов и сцен, и в первую очередь центральный для романа образ самого замка, который можно истолковать по-разному — или как олицетворение власти, или миропорядка, или закона. И причиной тому не фрагментарность или незавершенность романа. Дело в другом. Творческое развитие Кафки было весьма парадоксальным: его рука с годами становилась тверже, стиль приобретал прозрачность и строгость, но содержание его произведений утрачивало ясность.

Роман «Замок» не является исключением. Его можно сравнить с диковинной медузой, извлеченной из морской

глуби на землю и оставленной под горячими лучами солнца. Переливающаяся влагой, перламутром, радужными красками ее плоть испарилась, и взору открылся хрупкий известковый костяк, состоящий из тончайших нитей, соединенных в сложный и странный рисунок. Но по нему трудно восстановить естественную красоту живого творения природы, радовавшего глаз игрой своих красок. Сквозь сюжет «Замка» и непростые отношения его героев реальное жизненное содержание лишь едва просвечивает: оно неумовимо и неопределенно. Изображенные в романе события вовлекают повествование в стихию фантастического, которое разрушает, размывает связи, соединяющие содержание романа с подлинными конфликтами и противоречиями жизни.

Уже Йозеф К. предстал в «Процессе» как некая отвлеченная человеческая особь, лишь немногими сторонами своего житейского обихода и облика соединенная с реальной жизнью. Герой «Замка» — землемер К. обезличен полностью, совершенно в духе экспрессионистской поэтики. О прошлом землемера К. почти ничего не известно, его образ настолько отвлечен, что неизвестна даже его наружность. Но, пренебрегая описанием внешних обстоятельств жизни героя романа, Кафка с болезненным постоянством подчеркивает снедающее землемера К. внутреннее стремление любой ценой проникнуть в замок, господствующий над деревней, куда он прибыл холодным зимним днем, надеясь добиться у властей замка права или разрешения на то, чтобы не только стать одним из обитателей деревни, но и влиться на равных с другими основаниях в ту людскую общность, которую составляет замок и прилегающая к нему деревня, ставшая для К. временным и непрочным прибежищем. Это внутреннее стремление землемера К. преодолеть, отбросить, уничтожить свою изолированность от человеческой общности и



является движущей пружиной сюжета романа, его основным мотивом, определяющим все помыслы и поступки его героя. Не известно, что в прошлом отделило землемера К. от людей, чем вызван его разлад с миром. Не имеющий реалистического обоснования конфликт землемера К. с жизнью должен был и разрешаться нереалистически. Поэтому фантастический элемент приобретает в «Замке» самодовлеющее значение и, утрачивая объективную содержательность, часто вырождается в необъяснимое.

После того как землемеру К. удалось установить весьма сомнительную связь с замком, ибо связь эта основывается на двусмысленных, не поддающихся прямому толкованию указаниях, он получил от его властей двух помощников — некрупных, смуглолицых, с остроконечными бородками молодцов, по имени Артур и Иеремия, одетых в тесно обтягивающие их извивающиеся тела платья, которые не скрывают, а скорее подчеркивают нечеловеческую природу этих существ. Землемеру К. трудно понять, кто они — соглядатаи или слуги. Они появляются перед ним в самые неподобающие минуты, детски оживленные и любопытные, они надоедают землемеру, который обращается с ними весьма сурово — выгоняет на мороз из теплого помещения, колотит и в конце концов отвергает их услуги.

Но еще фантастичнее выглядят порядки и нравы деревни, характер отношений ее жителей с замком и сам замок, к которому с упорством и настойчивостью пробивается землемер К. по снежным улицам деревни, уводящим его против воли и желания все дальше от цели его устремлений. Как бы ни старался землемер К. приблизиться к замку — приблизиться физически, — это ему не удается сделать, и обветшалые, неприглядные постройки замка отдаляются от него, словно их отодвигает какая-то невидимая сила. В замок он может попасть, лишь получив

на то разрешение от замкового начальства, а разрешение это он может получить, только доложив лично свою просьбу одному из ответственных чиновников замка, в частности управителю Кламму, который остается для него недостижимым и неуловимым. Кроме того, сама внешность и поведение Кламма меняются в зависимости от настроения, и узнать его почти невозможно.

Как и Йозеф К. из «Процесса», землемер К. сталкивается с необычайно разветвленной бюрократической организацией, иерархической, действующей и поступающей по непонятным для сторонних людей, одной ей известным правилам и принципам. Бюрократический аппарат охватил своими щупальцами все сферы жизни деревни, подчинив себе почти всех ее жителей, которые чувствуют постоянно свою зависимость от власти, стоящей над ними. Деревенские жители хорошо знают порядки, установленные челядью и чиновниками замка, но для землемера К. эти порядки открываются постепенно, и чем больше он о них узнает, тем мрачнее и безотраднее выглядит жизнь деревни и ее обитателей. Она замкнута, сурова и безрадостна и, главное, в ней отсутствует то, к чему всегда и во все времена стремится человек, — свобода.

Жители деревни не свободны, и хотя замковая челядь не чинит над ними открыто суд и расправу, она обладает достаточной властью и возможностями, чтобы косвенно воздействовать на неугодного или осмелившегося бунтовать и не подчиняться человека, довести его до полного морального поражения и уничтожения. Высшее счастье для жителей деревни состоит в том, чтобы добиться благоволения замковых властей. Юноша Барнаба, с семьей которого сблизился землемер К., проводит дни в неуютных канцеляриях замка в надежде, что какой-либо канцелярист бросит на него взгляд и даст ему поручение, ибо Барнаба без должных на то оснований, так как никто

официально не утверждал его в должности, считает себя служащим замка и обладателем звания посылного. Добровольное служение жителей деревни замку — явление типичное, и Барнаба с его уверенностью в собственной принадлежности к обширной замковой челяди подтверждает стойкость установившихся взглядов на отношения между замком и деревней. Но и та сумрачная жизнь, какой она открывается землемеру К., — что характерно для общественных взглядов Кафки, — привлекает его, и он вступает в борьбу с властями замка не за освобождение жителей деревни от их добровольного рабства, а за собственное право влиться в представшую перед ним монотонную, бескрасочную жизнь, ибо другой возможности, как он считает, у него нет и другой жизни он не знает и знать не хочет.

В этой борьбе он жертвует многим: собственным достоинством, ибо, предоставляя ему право находиться в деревне, власти замка дали ему самую низшую должность слуги при школе; жертвует он и любовью, которую вызвал у деревенской девушки Фриды, бывшей любовницы Кламма. Эта девушка смело и решительно восстает против навязанной ей судьбы и готова идти за землемером хоть на край света. Как всегда у Кафки, любовные отношения героев изображены крайне прямолинейно и без психологических тонкостей. Но попытка Фриды вырваться на свободу кончается ужасным крахом. Почувствовав, что она нужна землемеру К. только как средство для достижения его особой цели — личного свидания с Кламмом, она оставляет землемера и впадает в еще более унижительное рабство, нежели раньше, соединив свою жизнь с Иеремией — одним из бывших помощников землемера.

Собственно, все попытки сбросить с себя бремя власти замка кончаются у жителей деревни столь же плачевно.

Подтверждением этому служит и история Амалии, которую услышал землемер К. от ее сестры Ольги. Отвергнув домогательства важного чиновника Сортини, гордая девушка погубила свою семью, ибо жители деревни, чувствуя тайное недоброжелательство замка к ослушнице, хотя открыто оно ничем не обнаруживалось, создают вокруг ее родных атмосферу недоверия, подозрительности, убийственной неприязни. Отец Амалии, разорившийся, потерявший дом и кров, вынужден в стужу и непогодь дежурить на проезжей дороге, надеясь встретить там кого-либо из влиятельных чиновников и умолить простить и его и его дочерей, а Ольга стала наложницей челядинцев замка, куда она поначалу отправилась, ища заступничества за сестру, впавшую в опалу. Так свободлюбивый поступок одного человека уравнивается поражением другого, и в конечном итоге в жизни устанавливается равновесие несвободы, которое возникает потому, что свобода вообще недостижима. Эта мысль является сквозной для романа, пронизывая все его эпизоды и скрепляя их общим умунастроением.

Неизбежность несвободы в той жизни, к которой он стремится, сознает и землемер К., но он готов добровольно надеть на себя ярмо подчиненности, лишь бы не быть отделенным, изолированным, отторгнутым от людей. По существу землемер К. капитулирует перед жизнью, принимая ее бесчеловечность и жестокость. Капитулировал он и перед непостижимыми силами, которые властвуют в жизни и распоряжаются по своему усмотрению судьбой человека. Но замку не нужна его капитуляция. Роман должен был завершаться гибелью землемера К. Ничего не меняла и другая версия окончания романа, которую сообщает Макс Брод, согласно которой землемер получал право жить в деревне. Право это было дано уже умирающему от истощения человеку.

Трагический финал всех трех романов Кафки не случаен, ибо конфликт человека и общества, человека и жизни, по его мнению, неразрешим, а разобщенность людей непреодолима. Этот вывод весьма отчетливо обнажал пессимистический характер общественных воззрений Кафки, его убеждение в невозможности для человека изменить к лучшему условия собственного существования в капиталистическом обществе.

Двигаясь в романной традиции девятнадцатого века, Кафка, однако, эту традицию в значительной мере обеднил и по праву вместе с Прустом и Джойсом считается зачинателем того направления в искусстве романа, которое уводит этот главенствующий жанр литературы от познания и воспроизведения живой реальности и истории с полнотой их подлинных конфликтов, борьбой противоречий.

У Кафки общественная среда, в которой действуют его герои, деформирована и условна. Лишь часть, причем небольшая, тех объективных процессов, которые шли в подлинной, реальной жизни, просачивалась в его романы. Для них в высшей степени характерна единообразность положений и способа разрешения основного конфликта, ибо Кафка избирал лишь те ситуации, в которых человек погружался в состояние страха, безнадёжности и неизбежно шел к гибели. Отказ от реалистического, аналитического исследования общественной среды, которая по существу остается неизобразенной в его романах и заменена описанием условного жизненного фона, вел к обеднению характеров героев, схематизации их отношений друг с другом и с окружающим миром. Кафка не хотел, да и не мог исследовать причинную связь социальных явлений, предопределявших трагический исход конфликта его героя с жизнью, поэтому изображаемый им конфликт приобретал черты вневременности, вечности, фатальности.

Сравнительно с художниками-реалистами двадцатого века — Максимом Горьким и Томасом Манном, Роменом Ролланом и Мартином Андерсеном Нексе, Бернардом Шоу и Шоном О'Кейси и более молодыми — Шолоховым, Хемингуэем, Фолкнером, Роже Мартен дю Гаром и другими, создавшими эпос нашего века, — он дал крайне одностороннюю картину мира. И дело здесь не только в том, что Кафка изображал жизнь в условных формах, — настоящее искусство никогда не бывает зеркальным отражением жизни и мира, — причина заключена в том, что условность и фантастичность не были для него средством и орудием познания, а отвлеченность содержания ряда его произведений не позволяла условности изображения обострить реальные конфликты жизни, сделать их отчетливее и нагляднее.

Но что же внес Кафка в искусство романа и в искусство двадцатого века вообще? Чрезвычайно острое ощущение трагизма жизни в буржуазном обществе, ее неустойчивости, ее враждебности человеку. Трагизм мироощущения перерастал у Кафки в слепой ужас перед бытием.

Эти доминирующие в его творчестве настроения с годами усугублялись. Грандиозные исторические события, свидетелем которых стал Кафка, не только не изменили его взглядов на мир и жизнь, на место человека в жизни, но, напротив, очень усилили пессимистичность его общественных воззрений. В дни первой мировой войны его не захлестнули шовинистические настроения, как это случилось со многими буржуазными художниками, но он не занял и антивоенной позиции, подобно лучшим представителям прогрессивной европейской интеллигенции. Войну он воспринял как стихийное бедствие, сходное с землетрясением, как потоп, как вспышку мирового зла, бороться с которым у людей нет ни сил, ни возможности. В жизни, разрубленной мировой войной на две несоединимые

части — прошлое, которое было чревато страшными бедствиями, и настоящее, сулящее, по мнению Кафки, только новые страдания, — он не видел ничего, что могло бы дать людям внутреннюю опору, вдохнуло в них веру в себя и позволило бы надеяться на утверждение всечеловеческого счастья. «В дни мира у тебя ничего не выйдет, в дни войны ты истечешь кровью»<sup>1</sup>, — записал он в дневнике в 1917 году, который шел по земле «в терновом венке революций», свои мысли о человеке. Сама возможность перестройки капиталистического общества, изменения условий человеческого существования представлялась Кафке нереальной. «Почему чукчи не покидают свой ужасный край? — спрашивал он и отвечал фаталистической формулой: — Ведь везде они жили бы лучше по сравнению с их нынешней жизнью и нынешними желаниями. Но они не могут этого сделать. Да, все, что возможно, происходит, однако возможно только то, что происходит»<sup>2</sup>.

Мировая война, крах и распад Австро-Венгерской монархии, Октябрьская революция в России, потрясая мир и изменившая ход мирового исторического процесса, вспышки революций в Венгрии и Германии, а также их поражение — все эти гигантские социальные катаклизмы оставили глубокий след в сознании Кафки. В «Дневниках» почти нет записей, посвященных событиям живой истории. Но его творчество, произведения поздней поры, объединенные общим настроением, насыщены внутренними откликами и раздумьями над увиденным и пережитым.

Если раньше, в довоенные времена, жизнь представлялась Кафке сумрачной и безрадостной, то война и последующие годы социальных потрясений погрузили, по

---

<sup>1</sup> Tagebücher, S. 531.

<sup>2</sup> Там же, стр. 349.

его мнению, человеческое существование в непроглядную ночь, где свет надежды не может ни вспыхнуть, ни озарить ледяной мрак бытия. Томас Манн, описывая в «Докторе Фаустусе» разговор Адриана Леверкюна с дьяволом, сделал, как того и требовала демонологическая традиция, ледящий холод атрибутом властелина тьмы и преисподней. Холод, замораживающий душу, пронизывающий все сущее, Кафка сделал атрибутом жизни. По дышащим морозом улицам, засыпанным снегом, блуждает землемер К., стремящийся попасть в недоступный для него замок графа Вествеста. Неслышанный холод, излучаемый миром и вселенной, выгоняет наружу из-под уютного крова героя притчи «Верхом на ведре», который отправляется в путь в надежде найти тепло и человеческое участие. Однако его мольбы о помощи и сострадания, обращенные к людям, остаются безответными, и он, сидя верхом на ведре, уносится прочь из мира живущих. Мысль о свойственном людям ледящем равнодушии к страданиям ближнего, лежащая в основании этой парадоксальной притчи, перерастает у Кафки в мысль о невозможности оказать человеку поддержку в беде и превращается в убежденность в неспособности людей к взаимопомощи. Такого рода убежденностью проникнута небольшая новелла «Сельский врач». Сквозь снежную метель и вьюжный холод дьявольские кони мчат врача к больному, которому он ничем не может помочь, как не может он помочь и своей служанке Розе, ставшей жертвой насилия со стороны невесты откуда взявшегося кучера, в неистовом буйстве ломящегося в двери докторского дома, где заперлась бедная девушка. Оказавшись у ложа больного, в душевной комнате, в чьи окна просунули головы бесовские кони, ощущая подозрительные взгляды родных больного мальчика, доктор убеждается, что он ничего не может сделать для того, чтобы излечить страш-



ную, покрытую червями язву в боку больного, молящего о жизни и спасении. Сельского врача из новеллы Кафки под угрозой смерти насильно кладут на ложе к больному, чтобы он согрел его и утишил его страдания. Но он спасается бегством и от больного и от милосердия, думая только о своей горестной, жалкой жизни. Финал новеллы Кафки обнажал его глубочайшее сомнение в действительности гуманистических идей, его убеждение в их практической бесполезности и неосуществимости.

Доказательству неосуществимости и невозможности человеческой солидарности посвящена и другая притча Кафки — «Мост», где он, уподобляя человека мосту, перекинувшемуся через зияющие пропасти жизни, по которому должен пройти другой человек, заставляет обрушиться этот метафорический мост, ибо люди не способны к солидарности, к тому, чтобы быть опорой и поддержкой друг для друга. В них заложены, дремлют и внезапно вырываются наружу иные свойства и качества, а именно жестокость, страсть и воля к насилию. Они, эти свойства человеческой природы, толкают людей на злодеяния, ничем не объяснимые и потому более ужасные, совершающиеся неотвратимо при попустительстве равнодушных созерцателей, как в новелле «Братоубийство».

Скептический взгляд на человека, неверие в его созидательные возможности с годами усиливались в творчестве Кафки. Желая сильнее подчеркнуть абсурдность человеческого существования и людских помыслов, для того чтобы яснее обрисовать животность и несовершенство человеческой природы, в чем он был глубоко убежден, Кафка парадоксально менял характер повествования. Так возникли у него новеллы, героями которых становились животные, рассказывавшие о своей жизни, являвшейся не чем иным, как инобытием жизни человеческой или способом и формой ее оценки.

В собственно человеческом существовании они не открывают ничего хорошего, вдохновляющего, обнадеживающего. В «Отчете для Академии», написанном обезьяной, сумевшей после довольно мучительных упражнений и испытаний перейти из животного состояния в человеческое, то есть овладеть духовностью человека и благодаря этому включиться в образ жизни, свойственный людям, иронический скептицизм Кафки превращается в жестокую сатиру на род человеческий.

Но что же было решающим в духовном развитии обезьяны? Прежде всего утрата свободы — того радостно-бездумного самоощущения, каким были наполнены безоблачные дни обезьяны до ее поимки. Наблюдая человеческую жизнь, она приходит к убеждению, что свобода, о которой много рассуждают люди и к которой они стремятся, на деле есть фикция, несуществующее явление, двусмысленное и сомнительное по своей природе. Затем ступенью, по которой обезьяна поднялась до уровня человека, стало ее приобщение к людским порокам. Из двух зол — стать человеком или очутиться за решеткой зоопарка — она выбрала меньшее, что позволило ей вести жизнь знаменитого артиста, утомленного известностью, помыкающего своим импрессарио.

«Отчет для Академии» — одно из самых мрачных произведений Кафки. Написанные им в самом конце жизни фрагменты — «Исследования некой собаки» и «Нора» — в глубоко пессимистических тонах изображают жизнь как нечто тягостное, сотканное из неведомых угроз, тревог, забот, невзгод, которые наполняют существование мучительными хлопотами о безопасности, как в новелле «Нора», где крот, выстроивший себе гигантскую нору с обильными ходами и переходами, ни на минуту не испытывает состояния покоя, ибо ему повсюду мерещатся угрозы, понуждающие его ежесекундно менять место в норе,

перестраивать ее. Страх перед жизнью безраздельно властвует над ним и подчиняет его себе. Это умонастроение доминировало в завершавших творческое развитие Кафки произведениях последних лет его жизни.

Скептицизм, сопутствующий заключительному этапу его творчества, приводил Кафку к мысли о крушении всех духовных ценностей в том мире, в каком он жил, и к убеждению в неосуществимости общественных идеалов, которые вдохновляли человечество на долгом и трудном пути его восхождения по обрывистым кручам истории. Даже искусство, которое Кафка долгие годы считал единственным своим прибежищем, единственным своим призванием, начинало утрачивать в его глазах свою объективную значимость и представляло как ненужная людям и обществу забава.

Мудрая и терпеливая мышь, рассказывающая историю певицы Жозефины (новелла «Певица Жозефина, или мышиный народ»), своим обстоятельным рассказом сводит на нет самое понятие ценности искусства и призвания художника. Жозефина, наделенная несколько большим честолюбием, чем рядовые мыши, просто внушила своим единокордам, что ее писк и свист гармоничнее, нежели обычный писк заурядных мышей, ведущих суровую трудовую жизнь в мире, переполненном заботами и опасностями. Ее пребывание в роли служительницы муз было возможно лишь потому, что у народа мышей существовало нечто вроде негласного договора, признававшего особые, но по сути эфемерные права Жозефины быть его утешителем в минуту горя или радовать его в недолгие часы счастья, которое редко перепадает народу мышей. Писк и свист Жозефины занимал воображение народа мышей, в общем-то немзыкального по своей природе и в глубине души предпочитающего покой любой музыке, как бы хороша она ни была. Но стоило лишь усомниться

в неписанных правах Жозефины, как ее карьера свободно-го художника рухнула, сама она исчезла с горизонта трудолюбивого народа мышей, а память о ней стерлась. Ее ремесло оказалось не очень нужным ее народу.

Еще более отчетливо сомнение Кафки в объективной общественной значимости искусства выражено в новелле «Голодарь», рассказывающей о судьбе человека, сделавшего своим искусством умение длительно голодать. Некоторое время его удивительное и редкостное искусство вызывало интерес и привлекало к себе внимание, но постепенно оно вышло из моды. Забытый всеми, очутившийся в цирке, где он мог беспрепятственно предаваться своему странному искусству, Голодарь, уморивший себя до смерти, в последний миг открывает тайну своего ремесла, своей фанатической преданности искусству голодания. Он посвятил себя этому искусству лишь потому, что ни одна снедь на земле не была ему по вкусу. Многозначительное признание! Искусство нужно лишь самому художнику, и оно доводит его до гибели, а нужно оно ему лишь потому, что никакие иные духовные ценности и идеалы, которыми живет человеческое общество, его не увлекли и не вдохновили.

Продолжая, как и в годы молодости, считать искусство прибежищем от скудости жизни, автономной, не зависящей от реального мира областью духовной деятельности, Кафка полагал, что оно не может участвовать в разрешении жгучих вопросов жизни, которые, впрочем, нельзя разрешить никаким способом, ибо ничто в жизни изменено быть не может. Поэтому при столкновении с фатальным ходом событий терпят крушение и вырождаются высокие идеалы и мечты, подвигавшие человека на попытки изменить течение жизни, движение истории. Художнику остается только напоминать об этом и о несовершенстве жизни, а таящемся в ее недрах зле и же-

стокости. Ради этого он бодрствует, когда все спят (притча «Ночью»).

Итоговая для духовного развития Кафки мысль о рождении общественных идеалов в современном мире проходит через все его произведения поздней поры. Образы, вдохновлявшие людей своим величием, благородством, дерзновенностью, он настойчиво и последовательно снижал и прозаизировал. Властелин морей Посейдон возник в одноименной притче как скучный бухгалтер, погруженный в унылые подсчеты, которому недосуг даже поглядеть на моря, находящиеся под его управлением. Ему остается надеяться только на то, что он сумеет оглядеть моря и океаны незадолго до конца света, когда у него появится свободная минутка. Рыцарь печального образа, защитник обиженных и обездоленных, изображается в притче «Правда о Санчо Пансе» как глупый, прирученный Пансой демон. Боевой конь Александра Македонского, участник битв, потрясавших вселенную и менявших облик мира, предстает в притче «Новый адвокат» как скромный, потерявший служащий, господин Буцефал, сочувственно принятый его сослуживцами по адвокатскому бюро. Хотя умение убивать в нашем веке не поубавилось и многим тесна их собственная Македония, но времена великих Александров миновали, и потому Буцефалу остается только одно — приспособливаться к монотонной, лишенной величия жизни. Даже память о дерзновенном подвиге Прометея, похитителя небесного огня, гаснет, ибо она бессильна преодолеть невероятную усталость и богов и людей, убедившихся в полной бесцельности борьбы (притча «Прометей»).

Такого рода умонастроение Кафки вытекало не только из свойственной декадентскому мировоззрению концепции жизни, опиравшейся на представление о всеилии зла. Он делал весьма решительные, но односторонние вы-

воды из исторических событий, разыгрывавшихся на его глазах. Поражение народных движений и революций в Западной Европе укрепляли пессимизм его общественных воззрений.

Притча «Рулевой» очень отчетливо отразило его оценку происходящего. Руль власти, командные высоты в жизни захватывают решительные, ни перед чем не останавливающиеся люди при полном покорстве масс, приводя массы к повиновению. Трудящиеся даже не способны подумать над последствиями своей покорности, они умеют только молчать и повиноваться. По существу, вину за поражение революционного движения Кафка возлагал на народные массы, в чем проявилась с особой наглядностью его склонность к упрощению жизненных конфликтов и схематизм не только его художественного, но и общественно-го мышления.

Неверие Кафки в созидательные возможности народных масс, в их способность подняться к сознательному историческому творчеству заметно усилилось в последний период его жизни. Если зло неистребимо, а жизнь неизменна и неизменяема, если высокие общественные идеалы выродились и не способны вдохновлять людей, а народные массы инертны, косны и слепы, то какая же участь ждет человека? Только одно, отвечает Кафка. Подобно пассажиру, потерпевшему крушение в бесконечном туннеле, куда почти не доходит свет начала и свет конца, где взору предстают или чудовища, порожденные смятением воображением, или пустая игра красок, человек должен терпеливо носить свое бедственное положение и не спрашивать «что мне делать?» или «зачем мне это делать?», ибо подобные вопросы бессмысленны, как сама жизнь, и на них нет ответа (притча «Железнодорожные пассажиры»). Этой нотой глубочайшего безверия и отчаяния, по существу, завершается творчество Кафки.

Но он был бы заурядным декадентом, если бы скептические и пессимистические идеи, возобладавшие в его сознании, были плодом холодного умозрения, результатом цинично-равнодушного отношения к жизни. Одной из важнейших причин того, что творчество Кафки не умерло вместе с ним, является не только большая впечатляющая сила его видений, но и искренность трагического мироощущения, свойственная всем его произведениям без исключения. В притче «Коршун», описывая, как герой терзал коршун, пронзивший в конце концов клювом его сердце, кровь которого поглотила и коршуна и все вокруг, Кафка запечатлел собственное отношение к творчеству и свою творческую судьбу. Как и герой притчи, он был беззащитен перед натиском зла и столь же дорого заплатил он за то, что изображал только зло и одно зло. Кафка очень остро ощущал кризисность жизни собственного мира и перенес это ощущение в свои произведения. Он уподобил себя охотнику Гракху, герою одноименной новеллы (имя которого представляет латинизированную форму фамилии Кафка), по ошибке Харона оказавшемуся между миром живых и мертвых и донесшему до мира живущих дыхание ледяного ветра низших областей царства мертвых. Кафка был глубоко убежден в бессилии человека перед жизнью и в своих произведениях стремился доказать верность этого взгляда на человеческую природу, создав сумрачную, дышащую безнадежностью, замкнутую картину мира. Однако этой, выразительной в своих частностях картине недоставало главного: правдивая в деталях и подробностях, она была неправдива в целом, ибо истинный облик живой истории с разнохарактерными тенденциями ее развития, с многообразием действующих в ней сил, обилием противоречий и социальных конфликтов ускользнул от искусства Кафки. Он не столько воспроизводил жизнь в ее подлинных

очертаниях, сколько создавал миф о том мире, в котором жил. Он абстрагировался от действительных, реально существующих, определяющих движение истории и отношений человека с ней жизненных условий, за которыми всегда стоит сложнейшее переплетение причин и следствий, борьба разнородных социальных начал. Жизнь, с которой сталкивался герой его романов и новелл, а также лирический герой его притч, предстает как абстракция, как некая стоящая над человеком и его подавляющая нерасчлененная, непостижимая стихия. В ней господствует и существует лишь враждебная человеку сила, происхождение которой неизвестно, ибо она присуща жизни как ее функция, извечное свойство. Другими свойствами жизнь не обладает, и перед человеком не открывается никаких иных возможностей и перспектив, кроме одной — быть поверженным в схватке со злом, которое постоянно и только меняет свой облик. Естественно, что подобный взгляд на жизнь не дал возможности Кафке увидеть рождение в ней тех общественных процессов, которые ведут к устранению зла и коренной переустройке условий человеческого существования.

Столь же абстрактен и человек в произведениях Кафки. Он изъят из реальных общественных связей, поселен в условной, мифологизированной среде и потому крайне обеднен, так как его духовный, эмоциональный, интеллектуальный мир сведен к немногим, главным образом защитным реакциям, а в его отношениях с внешней средой связующим звеном являются страх и инстинкт самосохранения.

Схематизированное представление о жизни воспрепятствовало Кафке осознать и постичь истинные истоки разлада человека с собственническим обществом, и потому в целом та картина мира, которая возникает из его произведений, монотонна и недостаточно содержательна.



Он и не стремился к познанию действительности, ограничиваясь изображением одной — сумеречной — стороны бытия.

Но подлинное развитие и обогащение искусства никогда не может быть осуществлено за счет отказа художника от познания мира или пренебрежения познавательной способностью художественного мышления. Драматическая судьба Кафки еще раз подтверждает справедливость этой простой истины, имеющей, однако, характер эстетического закона.

*Б. Сучков*



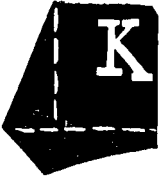
Whoyecc



komatt



АРЕСТ. РАЗГОВОР С ФРАУ ГРУБАХ,  
ПОТОМ С ФРЕЙЛЕЙН БЮРСТНЕР



то-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. К. немного подождал, поглядел с кровати на старуху, жившую напротив, — она смотрела на него из окна с каким-то необычным для нее любопытством — и потом, чувствуя и голод и некоторое недоумение, позвонил. Тотчас же раздался стук и в комнату вошел какой-то человек. К. никогда раньше в этой квартире его не видел. Он был худощав и вместе с тем крепко сбит, в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье — столько на нем было разных вытачек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик, — от этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно.

— Вы кто такой? — спросил К. и приподнялся на кровати.

Но тот ничего не ответил, как будто его появление было в порядке вещей, и только спросил:

— Вы звонили?

— Пусть Анна принесет мне завтрак, — сказал К. и стал молча разглядывать этого человека, пытаясь прикинуть и сообразить, кто же он в сущности такой? Но тот не дал себя особенно рассматривать и, подойдя к двери,

немного приоткрыл ее и сказал кому-то, очевидно стоявшему тут же, за порогом:

— Он хочет, чтобы Анна подала ему завтрак.

Из соседней комнаты послышался короткий смешок; по звуку трудно было угадать, один там человек или их несколько. И хотя незнакомец явно не мог услышать ничего для себя нового, он заявил К. официальным тоном:

— Это не положено!

— Вот еще новости! — сказал К., соскочил с кровати и торопливо натянул брюки. — Сейчас взгляну, что там за люди в соседней комнате. Посмотрим, как фрау Грубах объяснит это вторжение.

Правда, он тут же подумал, что не стоило высказывать свои мысли в слух, — выходило так, будто этими словами он в какой-то мере признает за незнакомцем право надзора; впрочем, сейчас это было неважно. Но видно, незнакомец так его и понял, потому что сразу сказал:

— Может быть, вам лучше остаться тут?

— И не останусь и разговаривать с вами не желаю, пока вы не скажете, кто вы такой.

— Зря обижаетесь, — сказал незнакомец и сам открыл дверь.

В соседней комнате, куда К. прошел медленнее, чем ему того хотелось, на первый взгляд со вчерашнего вечера почти ничего не изменилось. Это была гостиная фрау Грубах, загроможденная мебелью, коврами, фарфором и фотографиями; пожалуй, в ней сейчас стало немного просторнее, хотя это не сразу было заметно, тем более что главная перемена заключалась в том, что там находился какой-то человек. Он сидел с книгой у открытого окна и сейчас, подняв глаза, сказал:

— Вам следовало остаться у себя в комнате! Разве Франц вам ничего не говорил?

— Да что вам, наконец, нужно? — спросил К., переводя взгляд с нового посетителя на того, кого назвали Франц (он стоял в дверях), и снова на первого. В открытое окно видна была та старуха: в припадке старческого любопытства она уже перебежала к другому окну — посмотреть, что будет дальше.

— Вот сейчас я спрошу фрау Грубах, — сказал К. И хотя он стоял поодаль от тех двоих, но сделал движение, словно хотел вырваться у них из рук, и уже пошел было из комнаты.

— Нет, — сказал человек у окна, бросил книжку на столик и встал: — Вам нельзя уходить. Ведь вы арестованы.

— Похоже на то, — сказал К. и добавил: — А за что?

— Мы не уполномочены давать объяснения. Идите в свою комнату и ждите. Начало вашему делу положено, и в надлежащее время вы все узнаете. Я и так нарушаю свои полномочия, разговаривая с вами по-дружески. Но надеюсь, что, кроме Франца, никто нас не слышит, а он и сам вопреки всем предписаниям слишком любезен с вами. Если вам и дальше так повезет, как повезло с назначением стражи, то можете быть спокойны.

К. хотел было сесть, но увидел, что в комнате, кроме кресла у окна, сидеть не на чем.

— Вы еще поймете, какие это верные слова, — сказал Франц, и вдруг оба сразу подступили к нему.

Второй был много выше ростом, чем К. Он все похлопывал его по плечу. Они стали ощупывать ночную рубашку К., приговаривая, что теперь ему придется надеть рубаху куда хуже, но эту рубашку и все остальное его белье они берегут, и, если дело обернется в его пользу, ему все отдадут обратно.

— Лучше отдайте вещи нам, чем на склад, — говорили они. — На складе вещи подменяют, а кроме того, черз

некоторое время все вещи распродают — все равно, окончилось дело или нет. А вы знаете, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время! Конечно, склад вам в конце концов вернет стоимость вещей, но, во-первых, сама по себе сумма ничтожная, потому что при распродаже цену вещей назначают не по их стоимости, а за взятки, да и вырученные деньги тают, они ведь что ни год переходят из рук в руки.

Но К. даже не слушал, что ему говорят, ему не важно было, кто получит право распоряжаться его личными вещами, как будто еще принадлежавшими ему; гораздо важнее было уяснить свое положение; но в присутствии этих людей он даже думать как следует не мог: второй страж — кто ж они были, как не стражи? — все время толкал его, как будто дружески, толстым животом, но когда К. подымал глаза, он видел совершенно не соответствующее этому толстому туловищу худое, костлявое лицо с крупным, свернутым набок носом и перехватывал взгляд, которым этот человек обменивался через его голову со своим товарищем. Кто же эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Ведь К. живет в правовом государстве, всюду царит мир, все законы неизблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище? Всегда он был склонен относиться ко всему чрезвычайно легко, признавался, что дело плохо, только когда действительно становилось очень плохо, и привык ничего не предпринимать заранее, даже если надвигалась угроза. Но сейчас ему показалось, что это неправильно, хотя все происходящее можно было почесть и за шутку, грубую шутку, которую неизменно почему-то может быть, потому, что сегодня ему исполнилось тридцать лет? — решили с ним сыграть коллеги по банку. Да, конечно, это вполне вероятно; по-видимому, следовало бы просто рассмеяться в лицо этим стражам, и они

рассмеялись бы вместе с ним; а может, это просто рассыльные, вполне похоже, но почему же тогда при первом взгляде на Франца он твердо решил ни в чем не уступать этим людям? Меньше всего К. боялся, что его потом упрекнут в непонимании шуток, зато он отлично помнил — хотя обычно с прошлым опытом и не считался — некоторые случаи, сами по себе незначительные, когда он в отличие от своих друзей сознательно пренебрегал возможными последствиями и вел себя крайне необдуманно и неосторожно, за что и расплачивался полностью. Больше этого с ним повториться не должно, хотя бы теперь, а если это комедия, то он им подыграет. Но пока что он еще свободен.

— Позвольте, — сказал он и быстро прошел мимо них в свою комнату.

— Видно, разумный малый, — услышал он за спиной.

В комнате он тотчас же стал выдвигать ящики стола; там был образцовый порядок, но удостоверение личности, которое он искал, он от волнения никак найти не мог. Наконец он нашел удостоверение на велосипед и уже хотел идти с ним к стражам, но потом эта бумажка оказалась ему неубедительной, и он снова стал искать, пока не нашел свою метрику.

Когда он возвратился в соседнюю комнату, дверь напротив отворилась и вышла фрау Грубах. Но, увидев К., она остановилась в дверях, явно смутившись, извинилась и очень осторожно прикрыла двери.

— Входите же! — только и успел сказать К.

Сам он так и остался стоять посреди комнаты с бумагами в руках, глядя на дверь, которая не открывалась, и только возглас стражей заставил его вздрогнуть, — они сидели за столиком у открытого окна, и К. увидел, что они поглощают его завтрак.

— Почему она не вошла? — спросил он.



— Не разрешено, — сказал высокий. — Ведь вы арестованы.

— То есть как арестован? Разве это так делается?

— Опять вы за свое, — сказал тот и обмакнул хлеб в баночку с медом. — Мы на такие вопросы не отвечаем.

— Придется ответить, — сказал К. — Вот мои документы, а вы предъявите свои, и первым делом — ордер на арест.

— Господи твоя воля! — сказал высокий. — Почему вы никак не можете примириться со своим положением? Нет, вам непременно надо злить нас, и совершенно зря, ведь мы вам сейчас самые близкие люди на свете!

— Вот именно, — сказал Франц, — можете мне верить. — И он посмотрел на К. долгим и, должно быть, многозначительным, но непонятым взглядом поверх чашки с кофе, которую держал в руке.

Сам того не желая, К. ответил Францу таким же выразительным взглядом, но тут же хлопнул по своим документам и сказал:

— Вот мои бумаги.

— Да какое нам до них дело! — крикнул высокий. — Право, вы ведете себя хуже ребенка. Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный, страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, об ордерах на арест? Мы — низшие чины, мы и в документах почти ничего не смыслим, наше дело — стеречь вас ежедневно по десять часов и получать за это жалованье. К этому мы и приставлены, хотя, конечно, мы вполне можем понять, что высшие власти, которым мы подчиняемся, прежде чем отдать распоряжение об аресте, точно устанавливают и причину ареста и личность арестованного. Тут ошибок не бывает. Наше ведомство — насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, — нико-

гда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет: вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Такой закон. Где же тут могут быть ошибки?

— Не знаю я такого закона, — сказал К.

— Тем хуже для вас, — сказал высокий.

— Да он и существует только у вас в голове, — сказал К. Ему очень хотелось как-нибудь проникнуть в мысли стражей, изменить их в свою пользу или самому проникнуться этими мыслями. Но высокий только отрывисто сказал:

— Вы его почувствуете на себе.

Тут вмешался Франц:

— Вот видишь, Виллем, он признался, что не знает закона, а сам при этом утверждает, что невиновен.

— Ты совершенно прав, но ему ничего не объяснишь, — сказал тот.

К. больше не стал с ними разговаривать; неужели, подумал он, я дам сбить себя с толку болтовней этих низших чинов — они сами так себя называют. И говорят они о вещах, в которых совсем ничего не смыслят. А самоуверенность у них просто от глупости. Стоит мне обменяться хотя бы двумя-тремя словами с человеком моего круга, и все станет несравненно понятнее, чем длиннейшие разговоры с этими двумя. Он прошелся несколько раз по комнате, увидел, что старуха напротив уже притащила к окну еще более древнего старика и стоит с ним в обнимку. Надо было прекратить это зрелище.

— Проведите меня к вашему начальству, — сказал он.

— Не раньше, чем начальству будет угодно, — сказал страж, которого звали Виллем. — А теперь, — добавил он, — я вам советую пройти к себе в комнату и спокойно дожидаться, что с вами решат сделать. И наш вам совет:

не расходуйте силы на бесполезные рассуждения, лучше соберитесь с мыслями, потому что к вам предъявят большие требования. Вы отнеслись к нам не так, как мы заслужили своим обращением, вы забыли, что, кем бы мы ни были, мы, по крайней мере по сравнению с вами, люди свободные, а это немалое преимущество. Однако, если у вас есть деньги, мы готовы принести вам завтрак из кафе напротив.

К. немного постоял, но на это предложение ничего не ответил. Может быть, если он откроет дверь в соседнюю комнату или даже в прихожую, эти двое не посмеют его остановить; может быть, самое простое решение — пойти направо? Но ведь они могут его схватить, а если он потерпит такое унижение, тогда пропадет его превосходство над ними, которое он в некотором отношении еще сохранил. Нет, лучше дождаться развязки — она должна прийти сама собой, в естественном ходе вещей; поэтому К. прошел к себе в комнату, не обменявшись больше со стражами ни единым словом.

Он бросился на кровать и взял с умывальника прекрасное яблоко, — он припас его на завтрак еще с вечера. Другого завтрака у него сейчас не было, и, откусив большой кусок, он уверил себя, что это куда лучше, чем завтрак из грязного ночного кафе напротив, который он мог бы получить по милости своей стражи. Он чувствовал себя хорошо и уверенно; правда, он на полдня опаздывал в банк, где служил, но при той сравнительно высокой должности, какую он занимал, ему простят это опоздание. Не привести ли в оправдание истинную причину? Он так и решил сделать. Если же ему не поверят, чему он насколько не удивится, то он сможет сослаться на фрау Грубах или на тех стариков напротив — сейчас они, наверно, уже переходят к другому своему окошку. К. был удивлен, вернее, он, удивлялся, становясь на точку зрения

стражи: как это они прогнали его в другую комнату И оставили одного там, где он мог десятком способов покончить с собой? Однако он тут же подумал, уже со своей точки зрения: какая же причина могла бы его на это толкнуть? Неужели то, что рядом сидят двое и поедают его завтрак? Покончить с собой было бы настолько бессмысленно, что при всем желании он не мог бы совершить такой бессмысленный поступок. И если бы умственная ограниченность этих стражей не была столь очевидна, то можно было бы предположить, что и они пришли к такому же выводу и поэтому не видят никакой опасности в том, что оставили его одного. Пусть бы теперь посмотрили, если им угодно, как он подходит к стеному шкафчику, где спрятан отличный коньяк, опрокидывает первую рюмку взамен завтрака, а потом и вторую — для храбрости, на тот случай, если храбрость понадобится, что, впрочем, маловероятно.

Но тут он так испугался окрика из соседней комнаты, что зубы лязгнули о стекло.

— Вас вызывают к инспектору! — крикнули оттуда.

Его напугал именно крик, этот короткий, отрывистый солдатский окрик, какого он никак не ожидал от Франца. Сам же приказ его очень обрадовал.

— Наконец-то! — крикнул он, запер стеной шкафчик и побежал в гостиную. Но там его встретили оба стража и сразу, будто так было нужно, загнали обратно в его комнату.

— Вы с ума сошли! — крикнули они. — В рубаше идти к инспектору! Он и вас прикажет высечь и нас тоже!

— Пустите меня, черт побери! — крикнул К., которого уже отгеснили к самому гардеробу. — Напали на человека в кровати, да еще ждут, что он будет во фраке!

— Ничего не поделаешь! — сказали оба, всякий раз, когда К. подымал крик, они становились не только сов-

сем спокойными, но даже какими-то грустными, что очень сбивало его с толку, но отчасти и успокаивало.

— Смешные церемонии! — буркнул он, но сам уже снял пиджак со стула и подержал в руках, словно представляя стражам решать, подходит ли он.

Те покачали головой.

— Нужен черный сюртук, — сказали они.

К. бросил пиджак на пол и сказал, сам не зная, в каком смысле он это говорит:

— Но ведь дело сейчас не слушается?

Стражи ухмыльнулись, но упрямо повторили:

— Нужен черный сюртук.

— Что ж, если этим можно ускорить дело, я не возражаю, — сказал К., сам открыл шкаф, долго рылся в своей многочисленной одежде, выбрал лучшую черную пару — она сидела так ловко, что вызывала прямо-таки восхищение знакомых, — достал свежую рубашку и стал одеваться со всей тщательностью. Втайне он подумал, что больше задержек не будет — стража забыла даже заставить его принять ванну. Он следил за ними — а вдруг они все-таки вспомнят, но им, разумеется, и в голову это не пришло, хотя Виллем не забыл послать Франца к инспектору доложить, что К. уже одевается.

Когда он оделся окончательно, Виллем, идя за ним по пятам, провел его через пустую гостиную в следующую комнату, куда уже широко распахнули двери. К. знал точно, что в этой комнате недавно поселилась некая фрейлейн Бюрстнер, машинистка; она очень рано уходила на работу, поздно возвращалась домой, и К. только обменивался с ней обычными приветствиями. Теперь ее ночной столик был выдвинут для допроса на середину комнаты, и за ним сидел инспектор. Он скрестил ноги, и закинул одну руку на спинку стула.

В углу комнаты стояли трое молодых людей — они

разглядывали фотографии фрейлейн Бюрстнер, воткнутые в плетеную циновку на стене. На ручке открытого окна висела белая блузка. В окно напротив уже высунулись те же старики, но зрителей там прибавилось: за их спинами возвышался огромный мужчина в раскрытой на груди рубахе, который все время крутил и вертел свою рыжеватую бородку.

— Йозеф К.? — спросил инспектор, должно быть, только для того, чтобы обратить на себя рассеянный взгляд К. К. наклонил голову.

— Должно быть, вас очень удивили события сегодняшнего утра? — спросил инспектор и обеими руками пододвинул к себе немногие вещи, лежавшие на столике, — свечу со спичками, книжку, подушечку для булавок, как будто эти предметы были ему необходимы при опросе.

— Конечно, — сказал К., и его охватило приятное чувство: наконец перед ним разумный человек, с которым можно поговорить о своих делах. — Конечно, я удивлен, но, впрочем, и не очень удивлен.

— Не очень? — переспросил инспектор и, передвинув свечу на середину столика, начал расставлять вокруг нее остальные вещи.

— Возможно, что вы не так меня поняли, — заторопился К. — Я только хотел сказать... — Тут он осекся и стал искать, куда бы ему сесть. — Мне можно сесть? — спросил он.

— Это не полагается, — ответил инспектор.

— Я только хотел сказать, — продолжал К. без поддержки, — что я, конечно, очень удивлен, но когда проживешь тридцать лет на свете, да еще если пришлось самому пробиваться в жизни, как приходилось мне, то поневоле привыкаешь ко всяким неожиданностям и не принимаешь их слишком близко к сердцу. Особенно такие, как сегодня.

— Почему особенно такие, как сегодня?

— Нет, я не говорю, что все считаю шуткой, по-моему, для шутки это слишком далеко зашло. Очевидно, в этом принимали участие все обитатели пансиона, да и все вы, а это уже переходит границы шутки. Так что не дураю, чтоб это была просто шутка.

— И правильно, — сказал инспектор и посмотрел, сколько спичек осталось в коробке.

— Но, с другой стороны, — продолжал К., обращаясь ко всем присутствующим — ему хотелось привлечь внимание и тех троих, рассматривавших фотографии, — с другой стороны, особого значения все это иметь не может. Вывожу я это из того, что меня в чем-то обвиняют, но ни малейшей вины я за собой не чувствую. Но и это не имеет значения, главный вопрос — кто меня обвиняет? Какое ведомство ведет дело? Вы чиновники? Но на вас нет формы, если только ваш костюм, — тут он обратился к Францу, — не считать формой, но ведь это скорее дорожное платье. Вот в этом вопросе я требую ясности, и я уверен, что после выяснения мы все расстанемся друзьями.

Тут инспектор со стуком положил спичечный коробок на стол.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал он. — И эти господа и я сам — все мы никакого касательства к вашему делу не имеем. Больше того, мы о нем почти ничего не знаем. Мы могли бы носить самую настоящую форму, и ваше дело от этого ничуть не ухудшилось бы. Я даже не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, вернее, мне об этом ничего не известно. Да, вы арестованы, это верно, но больше я ничего не знаю. Может быть, вам стража чего-нибудь наболтала, но все это пустая болтовня. И хотя я не отвечаю на ваши вопросы, но могу вам посоветовать одно: поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет, думайте лучше, как вам быть. И не кричите вы

так о своей невинности, это нарушает то, в общем неплохое, впечатление, которое вы производите. Вообще вам надо быть сдержаннее в разговорах. Все, что вы тут говорили, и без того было ясно из вашего поведения, даже если бы вы произнесли только два слова, а кроме того, все это вам на пользу не идет.

К. в недоумении смотрел на инспектора. Его отчитывают, как школьника, и кто же? Человек, который, вероятно, моложе его! За откровенность ему приходится выслушивать выговор! А о причине ареста, о том, кто велел его арестовать, — ни слова! Он даже разволновался, стал ходить взад и вперед по комнате, чему никто не препятствовал. Сдвинул под рукав манжеты, поправил манжку, пригладил волосы, сказал, проходя мимо трех молодых людей: «Какая бессмыслица!» — на что те обернулись к нему и сочувственно, хотя и строго, посмотрели, на него, и наконец остановился перед столиком инспектора.

— Прокурор Гастерер — мой давний друг, — сказал он. — Можно мне позвонить ему?

— Конечно, — ответил инспектор, — но я не знаю, какой в этом смысл, разве что вам надо переговорить с ним по личному делу.

— Какой смысл? — воскликнул К. скорее озадаченно, чем сердито. — Да кто вы такой? Ищете смысл, а творите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят! Сначала эти господа на меня напали, а теперь расселись, стоят и глазают всем скопом, как я пляшу под вашу дудку. И еще спрашиваете, какой смысл звонить прокурору, когда мне сказано, что я арестован! Хорошо, я не буду звонить!

— Отчего же? — сказал инспектор и повел рукой в сторону передней, где висел телефон. — Звоните, пожалуйста!



— Нет, теперь я сам не хочу, — сказал К. и подошел к окну.

Вся компания еще стояла у окна напротив, но то, что К. подошел к окну, нарушило их спокойное созерцание. Старики хотели было встать, но мужчина, стоявший сзади, успокоил их.

— А эти там тоже глазают! — громко крикнул К. инспектору и ткнул пальцем в окно. — Убирайтесь отсюда! — закричал он в окошко.

Те трое сразу отступили вглубь, старики даже спрятались за соседа, прикрывшего их своим большим телом, и по его губам было видно, как он им что-то говорил, но издали трудно было разобрать слова. Однако они не ушли совсем, а словно выжидали минуту, когда можно будет незаметно опять подойти к окну.

— Какая назойливость, какая бесцеремонность! — сказал К., отходя от окна.

Инспектор как будто с ним согласился, по крайней мере так показалось К., когда он искоса на него взглянул. Впрочем, возможно, что тот и не слушал, потому что он плотно прижал ладонь к столу и как будто сравнивал длину своих пальцев. Оба стража сидели на сундуке, прикрытом для красоты ковриком, и потирали колени. Трое молодых людей, уперев руки в бока, бесцельно смотрели по сторонам. Было тихо, словно в какой-нибудь опустевшей конторе.

— Ну-с, господа! — воскликнул К., и ему показалось, что он отвечает за них за всех. По вашему виду можно заключить, что мое дело исчерпано. Я склонен считать, что лучше всего не разбираться, оправданны или неоправданны ваши поступки, и мирно разойтись, обменявшись дружеским рукопожатием. Если вы со мной согласны, то прошу вас... — И подойдя к столу инспектора, он протянул ему руку.

Инспектор поднял глаза и, покусывая губы, посмотрел на протянутую руку. К. подумал, что он ее сейчас пожмет. Но тот встал, взял круглую жесткую шляпу, лежавшую на постели фрейлейн Бюрстнер, и осторожно, обеими руками, как меряют обычно новые шляпы, надел ее на голову.

— Как просто вы все себе представляете! — сказал он К. — Значит, по-вашему, нам надо мирно разойтись? Нет, нет, так не выйдет. Но я вовсе не хочу сказать, что вы должны впасть в отчаяние. Нет, зачем же! Ведь вы только арестованы, больше ничего. Что я и должен был вам сообщить, сообщил и видел, как вы это приняли. На сегодня хватит, и мы можем попрощаться — правда, только на время. Вероятно, вы захотите сейчас отправиться в банк?

— В банк? — спросил К. — Но я думал, что меня арестовали!

К. сказал это с некоторым вызовом: несмотря на то, что его рукопожатие отвергли, он чувствовал, особенно когда инспектор встал, что он все меньше зависит от этих людей. Он с ними играл. Он даже решил, если они уйдут, побежать за ними до ворот и предложить, чтобы они его арестовали. Поэтому он и повторил:

— Как же я могу пойти в банк, раз я арестован?

— Вот оно что! — сказал инспектор уже от дверей. — Значит, вы меня не поняли. Да, конечно, вы арестованы, но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще вам это не должно помешать вести обычную жизнь...

— Ну, тогда этот арест вовсе не так страшен, — сказал К. и подошел вплотную к инспектору.

— А я иначе и не думал, — сказал тот.

— Тогда и сообщать об аресте, пожалуй, не стоило, — сказал К. и подошел совсем вплотную.

Остальные тоже подошли к ним. Все столпились у самой двери.

— Это была моя обязанность, — сказал инспектор.

— Глупейшая обязанность, — не сдаваясь, сказал К.

— Возможно, — сказал инспектор, — но не стоит терять время на такие разговоры. Я предположил, что вы хотите пойти в банк. Так как вы каждому слову придаете значение, добавлю: я вас не заставляю идти в банк, я только предположил, что вы этого хотите. И чтобы облегчить вам этот шаг и сделать ваш приход по возможности незаметным, я и предоставил в ваше распоряжение этих трех господ, ваших коллег.

— Что? — крикнул К. и уставился на трех молодых людей.

Эти ничем не приметные худосочные юнцы, которых он воспринимал до сих пор только как посторонних людей, глядящих на фотографии, действительно были чиновники из его банка; не коллеги — это было слишком сильно сказано и доказывало, что всеведущий инспектор знает далеко не все, — но действительно это были низшие служащие из его банка. И как это К. мог их не узнать? Насколько же он был занят разговором с инспектором и стражей, что не узнал этих троих! Суховатого Рабенштейнера, вечно размахивающего руками белокурого Куллиха с запавшими глазами и Каминера с его невыносимой улыбкой из-за хронически перекошенных мускулов лица.

— С добрым утром! — сказал К. минуту спустя, и все трое с корректным поклоном пожали протянутую руку. — Совсем вас не узнал. Значит, теперь отправимся вместе на работу?

Все трое с готовностью заулыбались и закивали, словно только этого и дожидались, а когда К. не нашел своей шляпы — она осталась в его комнате, — они все гуськом побежали туда, что, разумеется, указывало на некоторую растерянность. К. стоял и смотрел им вслед через обе открытые двери; последним, конечно, бежал равнодушный

Рабенштейнер, он просто трусил элегантной рысцой. Каминер подал шляпу, и К. должен был напомнить самому себе, как часто бывало и в банке, что Каминер улыбается не нарочно, больше того, что улыбнуться нарочно он не может.

Фрау Грубах, у которой вид был вовсе не виноватый, отперла двери в прихожей перед всей компанией, и К. по привычке взглянул на завязки фартука, которые слишком глубоко врезались в ее мощный стан. На улице К. поглядел на часы и решил взять такси, чтобы не затягивать еще больше получасовое опоздание. Каминер побежал на угол за такси, а оба других сослуживца явно пытались развлечь К. И вдруг Куллик показал на парадное в доме напротив, откуда только что вышел высокий человек со светлой бородкой и, несколько смущенный тем, что его видно во весь рост, отступил назад и прислонился к стенке. Очевидно, старики еще спускались по лестнице. К. рассердился на Куллиха за то, что тот обратил его внимание на этого мужчину; он же сам видел его еще тогда, у окна, более того, он ждал, что тот выйдет.

— Не смотри туда! — отрывисто бросил он, не замечая, насколько неуместен такой тон по отношению к взрослым людям.

Но объяснять ничего не пришлось, потому что подошел автомобиль, все уселись и поехали. Только тут К. спохватился, что он совершенно не заметил, как ушел инспектор со стражей: раньше из-за инспектора он не видел троих чиновников, а теперь из-за чиновников прозевал инспектора. Об особом присутствии духа это не свидетельствовало, и К. твердо решил последить за собой в этом отношении.

Но он невольно обернулся и высунулся из такси, чтобы проверить еще раз, там ли инспектор со стражей или нет. Однако он тут же повернулся назад и удобно отки-

нулся в угол, даже не посмотрев, там ли они. Хоть он и не показывал виду, но именно сейчас ему хотелось бы с кем-нибудь заговорить. Но его спутники явно устали: Рабенштейнер смотрел направо, Куллик — налево, и только Каминер как будто был готов к разговору, со своей вечной ухмылкой, над которой, к сожалению, нельзя было подтрунить из простого человеколюбия.

Этой весной К. большей частью проводил вечера так: после работы, если еще оставалось время, — чаще всего он сидел в конторе до девяти, — он прогуливался один или с кем-нибудь из сослуживцев, а потом заходил в пивную, где обычно просиживал с компанией пожилых господ за их постоянным столом часов до одиннадцати. Бывали и нарушения этого расписания, например когда директор банка, очень ценивший К. за его работоспособность и надежность, приглашал его покататься в автомобиле или поужинать у него на даче. Кроме того, К. раз в неделю посещал одну барышню, по имени Эльза, которая всю ночь до утра работала кельнершей в ресторане, а днем принимала гостей исключительно в постели.

Но в этот вечер — весь день пролетел незаметно в напряженной работе и во всяких лестных и дружественных поздравлениях с днем рождения — К. решил сразу пойти домой. Каждый раз в перерывах между работой он об этом думал; неизвестно почему, ему все время казалось, что из-за утренних событий во всей квартире фрау Грубах царит ужасный хаос и что именно он должен навести там порядок. А раз порядок будет восстановлен, то все следы утренних событий исчезнут и все пойдет по-прежнему. Опасаться тех трех чиновников, конечно, было нечего: они растворились в огромной массе банковских служащих, и по ним ничего заметно не было. К. несколько раз, и вме-

сте и поодиночке, вызывал их к себе с единственной целью — понаблюдать за ними, и каждый раз он отпускал их вполне удовлетворенный.

Когда он в половине десятого подошел к своему дому, он встретил в подъезде молодого парня, который стоял, широко расставив ноги, с трубкой в зубах.

— Вы кто такой? — сразу спросил К. и надвинулся на парня; в полутемном подъезде трудно было что-либо разглядеть.

— Я сын швейцара, ваша честь, — сказал парень, вынул трубку изо рта и отступил в сторону.

— Сын швейцара? — переспросил К. и нетерпеливо постучал палкой об пол.

— Может быть, вам что-нибудь угодно? Прикажете позвать отца?

— Нет, нет, — сказал К., и в голосе его послышалось что-то похожее на снисхождение, словно парень натворил бед, а он его простил. — Все в порядке, — добавил он и пошел дальше, но, прежде чем подняться на лестницу, еще раз оглянулся.

Он мог бы пройти прямо к себе в комнату, но так как ему надо было поговорить с фрау Грубах, он сразу постучался к ней. Она сидела с чулком в руках у стола, на котором лежала еще груды старых чулок. К. рассеянно извинился, что зашел так поздно, но фрау Грубах была с ним очень приветлива и никаких извинений слушать не захотела; для него она всегда дома, он отлично знает, что из всех ее квартирантов он самый лучший, самый любимый. К. оглядел комнату, все было на старом месте, посуда от завтрака, стоявшая утром на столике у окна, тоже была убрана. Женские руки все могут сделать незаметно, подумал он; сам он, наверно, скорее перебил бы всю посуду, но, уж конечно, не сумел бы унести ее отсюда. С благодарностью он посмотрел на фрау Грубах.

— Почему вы так поздно работаете? — спросил он.

Теперь они оба сидели у стола, и К. время от времени ворошил рукой груды чулок.

— Работы много, — сказала она. — Весь день уходит на квартирников; а приводить свои вещи в порядок я могу только по вечерам.

— Сегодня я, наверно, доставил вам много лишних хлопот?

— Чем же это? — спросила она, оживившись, и опустила чулок на колени.

— Я про тех людей, которые приходили утром.

— Ах, вот оно что, — сказала она прежним спокойным голосом. — Нет, никаких особых хлопот тут не было.

К. молча смотрел, как она снова взялась за чулок. Кажется, она удивлена, что я об этом заговорил, подумал он, кажется, она считает неправильным, что я об этом заговорил. Тем важнее все ей высказать. Только с таким старым человеком я и могу об этом поговорить.

— Ну как же, — сказал он вслух, — хлопот вам они, конечно, доставили немало. Но больше это не случится!

— Да, больше такое случиться не может, — подтвердила она и взглянула на К. с немного грустной улыбкой.

— Вы серьезно так думаете? — спросил К.

— Да, — сказала она тихо. — Но главное — вы не должны принимать все это близко к сердцу. Чего только на свете не бывает! И уж раз вы со мной так откровенно заговорили, господин К., то могу вам признаться: я кое-что подслушала под дверью, да и стража мне немножко рассказала. Ведь речь идет о вашей судьбе, и я за вас душой болею, хоть, может быть, мне это и не пристало, ведь я вам всего лишь квартирная хозяйка. Так вот, я кое-что слышала и не могу сказать, что все так плохо. Нет, нет. Правда, вы арестованы, но не так, как арестовывают воров. Когда арестовывают вора, дело плохо, а вот ваш

арест... мне кажется, в нем есть что-то научное. Вы уж меня простите, если я говорю глупости, но, мне кажется, тут, безусловно, есть что-то научное. Я, правда, мало что понимаю, но, наверно, тут и понимать не следует.

— Вообще это не глупости, фрау Грубах, по крайней мере я с вами отчасти согласен. Правда, я сужу об этом гораздо строже, чем вы, для меня тут не только ничего научного нет, но и вообще за всем этим нет ничего. На меня напали врасплох, вот и все. Если бы я встал с постели, как только проснулся, не растерялся бы оттого, что не пришла Анна, не обратил бы внимания, попался мне кто навстречу или нет, а сразу пошел бы к вам и на этот раз в виде исключения позавтракал бы на кухне, а вас попросил бы принести мое платье из комнаты, тогда ничего и не произошло бы, все, что потом случилось, было бы задушено в корне. Но в таких делах человек легко попадает впросак. Вот, например, в банке я ко всему подготовлен, там ничего подобного со мной случиться не могло бы, там у меня свой курьер, на столе стоит городской и внутренний телефон, все время заходят люди — и служащие и клиенты, да кроме того, я там все время связан с работой, во всем отдаю себе отчет, там такая история мне просто доставила бы удовольствие. Ну, ничего, теперь все кончилось. Собственно говоря, мне даже не хотелось об этом говорить, надо было только услышать ваше мнение, мнение разумной женщины, и я чрезвычайно рад, что мы во всем с вами сошлись. А теперь давайте руку, такое единодушие надо скрепить рукопожатием.

«Интересно, подаст она мне руку или нет? Инспектор мне руки не подал», — подумал он и посмотрел на хозяйку долгим, испытующим взглядом. Она встала, потому что встал он, слегка смущенная тем, что не все слова К. ей были понятны. И от смущения она сказала вовсе не то, что хотела, и что было совсем уж неуместно.



— Не принимайте все так близко к сердцу, господин К., — сказала она со слезами в голосе, но пожать ему руку забыла.

— Да я как будто и не принимаю, — сказал К., чувствуя внезапную усталость и поняв, насколько ему не нужно сочувствие этой женщины.

У двери он еще спросил:

— А фрейлейн Бюрстнер дома?

— Н е т , — сказала фрау Грубах и смягчила сухой ответ запоздалой, участливой и понимающей улыбкой. — Она в театре. А вам она нужна? Может быть, передать ей что-нибудь?

— Нет, мне просто хотелось сказать ей несколько слов.

— К сожалению, я не знаю, когда она вернется. Обычно она возвращается из театра довольно поздно.

— Это неважно, — сказал К. и, опустив голову, пошел к двери. — Я только хотел извиниться, что сегодня пришлось воспользоваться ее комнатой.

— Не стоит, господин К., вы слишком щепетильны, ведь барышня ничего об этом не знает, ее с самого утра дома не было, да там все уже убрано, посмотрите сами. — И она открыла дверь в комнату фрейлейн Бюрстнер.

— Не надо, я вам и так верю, — сказал К., но все же подошел к открытой двери. Луна спокойно освещала темную комнату. Насколько можно было разобрать, все действительно стояло на месте, даже блузка уже не висела на оконной ручке. Постель казалась особенно высокой в косоj полосе лунного света.

— Барышня часто приходит поздно, — сказал К. и посмотрел на фрау Грубах, как будто она за это отвечала.

— Молодежь, что поделаешь! — сказала фрау Грубах, слово извиняясь.

— Да, да, конечно, — сказал К. — Но это может зайти слишком далеко.

— О да, конечно! — сказала фрау Грубах. — Вы совершенно правы, господин К. Может быть, и в данном случае вы тоже правы. Не хочу сплетничать про фрейлейн Бюрстнер, она хорошая, славная девушка, такая приветливая, аккуратная, исполнительная, трудолюбивая, я все это очень ценю, но одно верно: надо бы ей больше гордости, больше сдержанности. А в этом месяце я уже два раза видела ее в глухих переулках и каждый раз с другим кавалером. Очень мне это неприятно, господин К. Клянусь богом, я рассказываю это только вам одному, но, как видно, придется и с самой барышней поговорить. Да и не одно это вызывает у меня подозрения.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал К. сердито, с трудом скрывая раздражение, — и вообще вы неверно истолковали мои слова про барышню, я совсем не то хотел сказать. Искренне советую вам ничего ей не говорить. Вы глубоко заблуждаетесь, я ее знаю очень хорошо, и все, что вы говорите, неправда! Впрочем, может быть, я слишком много беру на себя, зачем мне вмешиваться, говорите ей, что хотите. Спокойной ночи!

— Господин К.! — умоляюще сказала фрау Грубер и побежала за К. до самой его двери, которую он уже приоткрыл. — Да я вовсе и не собираюсь сейчас говорить с барышней, конечно, я сначала должна еще понаблюдать за ней, ведь я только вам доверила то, что я знаю. В конце концов каждый жилец заинтересован, чтобы в пансионе все было чисто, а я только к этому и стремлюсь!

— Ах, чисто! — крикнул К. уже в щелку двери. — Ну, если вы хотите соблюдать чистоту в вашем пансионе, так откажите от квартиры мне первому! — Он захлопнул дверь и не ответил на робкий стук.

Но спать ему совсем не хотелось, И он решил не ложиться и на этот раз установить, когда вернется фрейлейн Бюрстнер. И, быть может, ему удастся сказать ей несколько слов, хотя время совсем неподходящее. Высунувшись в окно и щуря усталые глаза, он даже на минуту подумал, не наказать ли фрау Грубах, уговорив фрейлейн Бюрстнер вместе с ним съехать с квартиры. Но он тут же понял, что слишком все преувеличивает, и даже заподозрил себя в том, что ему просто хочется переменить квартиру после утренних событий. Ничего бессмысленнее, а главное, ничего бесцельнее и бездарнее нельзя было и придумать.

Когда ему надоело смотреть на пустую улицу, он прилег на кушетку, но сначала приоткрыл дверь в прихожую, чтобы, не вставая, видеть всех, кто войдет в квартиру. Часов до одиннадцати он пролежал спокойно на кушетке, покуривая сигару. Но потом не выдержал и вышел в прихожую, как будто этим можно было ускорить приход фрейлейн Бюрстнер. У него не было никакой охоты ее видеть, он даже не мог точно вспомнить, как она выглядит, но ему нужно было с ней поговорить, и его раздражало, что из-за ее опоздания даже конец дня вышел такой беспокойный и беспорядочный. Винавата она была и в том, что он не поужинал и пропустил визит к Эльзе, назначенный на сегодня. Конечно, можно было бы наверстать упущенное и пойти в ресторанчик, где работала Эльза. Он решил, что после разговора с фрейлейн Бюрстнер он так и сделает.

Уже пробило половину двенадцатого, когда на лестнице раздались чьи-то шаги. К. так ушел в свои мысли, что с громким топотом расхаживал по прихожей, как по своей комнате, но тут он торопливо нырнул к себе. В прихожую вошла фрейлейн Бюрстнер. Заперев дверь, она зябко закутала узкие плечи шелковой шалью. Еще миг, и она скроется в своей комнате, куда К. в этот полуночный

час, разумеется, войти не мог. Значит, ему надо было заговорить с ней сразу; но, к несчастью, он забыл зажечь свет у себя в комнате, и если бы он сейчас вышел оттуда, из темноты, это походило бы на нападение. Во всяком случае, он мог очень напугать ее. В растерянности, боясь потерять время, он прошептал сквозь дверную щелку: — Фрейлейн Бюрстнер! — Этот возглас прозвучал как мольба, а не как оклик.

— Кто тут? — спросила фрейлейн Бюрстнер, испуганно оглядываясь.

— Это я! — сказал К. и вышел к ней.

— Ах, господин К.! — с улыбкой сказала фрейлейн Бюрстнер. — Добрый вечер! — И она протянула ему руку.

— Я хотел бы сказать вам несколько слов сейчас, вы разрешите?

— Сейчас? — сказала фрейлейн Бюрстнер. — Именно сейчас? Как-то странно, правда?

— Я вас жду с девяти часов.

— Ведь я была в театре, вы же меня не предупредили.

— Но повод к нашему разговору возник только сегодня.

— Ах так! Ну что ж, в сущности я не возражаю, вот только устала я до смерти. Зайдите на минутку ко мне. Тут нам разговаривать нельзя, мы весь дом перебудим, а мне не то что жаль этих людей, а неловко за нас самих. Погодите, сейчас я зажгу у себя свет, а вы тут потушите.

К. так и сделал и выждал, пока фрейлейн Бюрстнер шепотом еще раз позвала его к себе.

— Садитесь, — сказала она и показала на диван, а сама осталась стоять у кровати, несмотря на то что она, по ее словам, очень устала; даже свою маленькую, в изобилии украшенную цветами шляпку она не сняла. — Так что же вы хотели сказать? Мне, право, любопытно.

Она слегка скрестила ноги.

— Возможно, вы опять скажете, — начал К., — что дело не такое уж срочное и сейчас слишком поздно для обсуждений, но...

— Эти вступления мне всегда кажутся лишними, — сказала фрейлейн Бюрстнер.

— Это облегчает мою задачу, — сказал К. — Сегодня утром, отчасти по моей вине, в вашей комнате наделали беспорядок, притом чужие люди, против моей воли, но, как я уже упомянул, по моей вине; за это я и хотел перед вами извиниться.

— В моей комнате? — переспросила фрейлейн Бюрстнер, испытующе глядя не на комнату, а на самого К.

— Вот именно, — сказал К., и тут они оба впервые взглянули друг другу в глаза. — Но о причине всего происшедшего и говорить не стоит.

— Да это же самое интересное! — сказала фрейлейн Бюрстнер.

— Нет, — сказал К.

— Что ж, — сказала фрейлейн Бюрстнер, — не буду вторгаться в ваши тайны, и если вы утверждаете, что это неинтересно, я вам возражать не собираюсь. И я вас охотно прощаю, раз вы об этом просите, особенно потому, что никаких следов беспорядка я не вижу.

Крепко прижав опущенные руки к бедрам, она обошла всю комнату. У циновки с фотографиями она остановилась.

— Смотрите-ка! — воскликнула она. — Все мои фотографии разбросаны. Фу, как нехорошо! Значит, кто-то хоззяничал в моей комнате.

К. только наклонил голову, проклиная в душе чиновника Каминера за то, что он никогда не мог сдержать свою bestолоковую бессмысленную суетливость.

— Странно, — сказала фрейлейн Бюрстнер, — странно, что мне приходится запрещать вам именно то, что вы сами

должны были бы запретить себе: в мое отсутствие входить ко мне в комнату.

— Я уже объяснил вам, фрейлейн, — сказал К. и подошел к фотографиям, — ваши фотографии разбросал не я; но так как вы мне не верите, то придется признаться, что следственная комиссия привела трех банковских чиновников и один из них — я его при ближайшей возможности выставлю из банка, — очевидно, перебирал ваши фотографии. Да, здесь была следственная комиссия, — добавил К. в ответ на вопросительный взгляд фрейлейн Бюрстнер.

— Из-за вас? — спросила она.

— Да, — ответил К.

— Быть не может! — воскликнула барышня и рассмеялась.

— Может, — сказал К. — Разве вы считаете, что на мне никакой вины нет?

— Ну, как сказать — никакой! — ответила барышня. — Не буду высказывать мнение, которое может иметь серьезные последствия, да я вас и не настолько знаю, но срочно присылать на дом следственную комиссию, наверно, стали бы лишь из-за тяжкого преступника. А так как вы на свободе и, судя по вашему спокойствию, из тюрьмы не удирали, значит, никакого тяжкого преступления вы совершить не могли.

— Да, — сказал К., — но ведь следственная комиссия могла установить, что я невиновен или, во всяком случае, не настолько виновен, как предполагалось.

— Конечно, и так может быть, — в раздумье сказала фрейлейн Бюрстнер.

— Вот видите, — сказал К. — Очевидно, вы не очень-то разбираетесь в судебной процедуре.

— Нет, конечно, — сказала фрейлейн Бюрстнер, — и часто об этом жалею, мне хотелось бы все знать, и как раз

судебные дела меня особенно интересуют. Суд вообще страшно увлекательное дело, правда? Но я, конечно, полностью свои знания в этой области: с будущего месяца я поступаю в канцелярию адвоката.

— Очень хорошо! — сказал К. — Тогда вы мне хоть немного поможете в моем процессе.

— Вполне возможно, — очень сосредоточенно сказала фрейлейн Бюрстнер. — Почему бы и нет? Я очень люблю применять свои знания на практике.

— Нет, я серьезно, — сказал К., — или, во всяком случае, полусерьезно, как и вы. Привлекать адвоката не стоит — дело слишком мелкое, но советчик мне очень может понадобиться.

— Да, но, если мне стать вашим советчиком, я должна знать, о чем идет речь, — сказала фрейлейн Бюрстнер.

— В этом-то и загвоздка, — сказал К., — я сам ничего не знаю!

— Значит, вы надо мной подшутили, — сказала фрейлейн Бюрстнер глубоко разочарованным тоном. — Но выбирать для шуток такое позднее время совсем неуместно. — И она отошла от стены с фотографиями, где стояла рядом с К.

— Что вы, что вы! — сказал К. — Я вовсе не шучу. Странно, что вы мне не верите! Все, что я знаю, я вам рассказал. Даже больше, чем знаю; в сущности никакой следственной комиссии не было, это я так назвал ее, потому что не знаю, как еще можно ее назвать. И вообще никакого следствия не было, меня просто арестовали, но приходила целая комиссия.

Фрейлейн Бюрстнер опустила на диван и опять засмеялась.

— Как же это все было? — спросила она.

— Ужасно! — ответил К., уже не думая о происшедшем, настолько его очаровал вид фрейлейн Бюрстнер: по-

грузив локоть в подушки дивана, она подперла лицо рукой, а другой рукой медленно поглаживала колено.

— Это мне ничего не говорит, — сказала фрейлейн Бюрстнер.

— Что именно? — спросил К. Но тут же понял и спросил: — Показать вам, как это было? — Ему хотелось что-то делать, только бы не уходить из комнаты.

— Я так устала, — сказала фрейлейн Бюрстнер.

— Да, вы поздно пришли, — сказал К.

— Ну вот, теперь начинаются упреки. Впрочем, я их заслужила, не надо было вас сюда пускать. К тому же, как выяснилось, никакой необходимости в этом не было.

— Нет, была, — сказал К., — и сейчас вы все поймете. Можно отодвинуть ночной столик от кровати вот сюда?

— Что за выдумки? — сказала фрейлейн Бюрстнер. — Конечно, нельзя!

— Тогда я вам ничего не смогу показать, — сказал К. с такой обидой, словно ему нанесли непоправимый вред.

— Ах, если вам это надо для наглядности, тогда двигайте, сколько хотите, — сказала фрейлейн Бюрстнер и добавила ослабевшим голосом:

— Я так устала, что позволяю вам больше, чем следует.

К. поставил столик посреди комнаты и сел за него.

— Вы должны себе правильно представить, как располжились все эти люди, это очень интересно. Я — инспектор; вон там, на сундуке, сидит стража, их двое; около фотографий стоят три молодых человека. На оконной ручке — впрочем, я это говорю мимоходом — висит белая блузка. И вот начинается. Да, я забыл себя. Главное действующее лицо, то есть я, стоит вот тут, перед столиком. Инспектор уселся очень удобно, нога на ногу, рука закинута на спинку стула, видно, лентяй, каких мало. И вот тут-то все и начинается. Инспектор зовет меня, будто хочет разбудить, он просто орет. К сожалению, для того, чтобы вам



стало яснее, мне тоже придется крикнуть. Правда, он выкрикнул только мое имя.

Фрейлейн Бюрстнер рассмеялась и приложила палец к губам, чтобы К. не крикнул, однако опоздала. К. так вошел в роль, что уже прокричал, медленно и протяжно: «Йозеф К..!» И хотя крикнул он не так громко, как обещал, все же этот внезапный возглас разнесся по всей комнате.

И вдруг в дверь соседней комнаты постучали — громко, коротко, размеренно. Фрейлейн Бюрстнер побледнела и схватилась за сердце. К. испугался еще больше, потому что все время думал об утреннем происшествии, пытаясь его воспроизвести перед фрейлейн Бюрстнер. Но, тут же овладев собой, он бросился к ней и схватил ее руку.

— Не бойтесь ничего! — зашептал о н . — Я все улажу. Но кто же это стучал? Рядом — гостиная, там никто не спит.

— Нет, с п и т , — прошептала фрейлейн Бюрстнер ему на у х о , — со вчерашнего дня там ночует племянник фрау Грубах, он капитан. Для него свободной комнаты не оказалось. А я забыла. Ах, зачем вы крикнули! Я в отчаянии.

— Напрасно! — сказал К. и, когда она откинулась на подушки, поцеловал ее в лоб.

— Что вы, что вы! — сказала она и торопливо выпрямилась. — Уходите прочь, сейчас же уходите, как можно! Он же подслушивает под дверью, он все слышит. Вы меня замучили!

— Не уйду, пока вы не успокоитесь! Перейдем в тот угол, оттуда он ничего не услышит.

Она покорно дала отвести себя в угол.

— Вы не подумали об о д н о м , — сказал о н . — Правда, у вас могут быть неприятности, но никакая опасность вам не грозит. Вы знаете, что фрау Грубах — а в этом вопро-

се она играет решающую роль, поскольку капитан доводится ей племянником, — вы знаете, что она меня просто обожает и беспрекословно верит каждому моему слову. Кстати, она и зависит от меня, я ей дал в долг порядочную сумму денег. Я готов принять любое предложенное вами объяснение нашей поздней встречи, если только оно будет хоть немного правдоподобно, и обязуюсь подействовать на фрау Грубах так, чтобы она не только приняла его официально, но и поверила безоговорочно и искренне. И пожалуйста, не шадите меня. Если вам угодно распространить слух, что я к вам приставал, то я именно так и сообщу фрау Грубах, и она все примет, не теряя ко мне уважения, настолько она меня ценит.

Фрейлейн Бюрстнер молча, опустив плечи, смотрела в пол.

— Да почему бы фрау Грубах не поверить, что я к вам приставал? — добавил К.

Он посмотрел на ее волосы, разделенные пробором, на эти рыжеватые волосы, стянутые низким тугим узлом. Он ждал, что она сейчас подымет на него глаза, но она сказала, не меняя позы:

— Простите, но я испугалась этого внезапного стука, и дело тут не в том, что я боюсь осложнений из-за этого капитана, но вы крикнули, тут стало тихо, и вдруг застучали, вот почему я испугалась, ведь я сидела у самой двери, и стук раздался совсем рядом. За ваши предложения я очень благодарна, но принять их не могу. Я сама перед кем угодно несу ответственность за все, что происходит у меня в комнате. Странно, что вы не понимаете, как обидны для меня ваши предложения, хотя я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях. А теперь уходите, оставьте меня одну, сейчас мне это еще нужнее, чем прежде. Вы просили уделить вам несколько минут, а прошло полчаса, даже больше.

К. схватил ее за руку выше кисти. — Но вы на меня не сердитесь? — спросил он.

Она отняла руку и сказала: — Нет, нет, я ни на кого никогда не сержусь.

Он снова схватил ее за руку, она не сопротивлялась и повела его к двери. Он твердо решил уйти. Но на пороге он вдруг остановился, как будто не ожидал, что очутится у выхода, и, воспользовавшись этой минутой, фрейлейн Бюрстнер высвободила руку, открыла дверь, выскользнула в прихожую и прошептала:

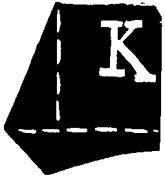
— Идите же скорее, прошу вас. Видите? — И она показала на дверь в комнату капитана, из-под которой пробивался свет. — Он зажег свет и подсматривает за нами.

— Иду, иду, — сказал К., подбежал к ней, схватил ее, поцеловал в губы и вдруг стал осыпать поцелуями все ее лицо, как изжаждавшийся зверь лакает из ручья, гоня языком воду. Наконец он прильнул к ее шее у самого горла и долго не отнимал губ. Только шум из дверей капитана заставил его поднять голову.

— Теперь я ухожу, — сказал он и хотел назвать фрейлейн Бюрстнер по имени, но не знал, как ее зовут.

Она устало кивнула, не глядя, подала руку для поцелуя, словно ее это не касалось, и, слегка сутулясь, ушла к себе. Вскоре К. уже лежал в постели. Заснул он очень быстро, но перед сном еще подумал о своем поведении и остался собой доволен, хотя с удивлением почувствовал, что доволен не вполне. Кроме того, он всерьез беспокоился, не будет ли у фрейлейн Бюрстнер неприятностей из-за этого капитана.

СЛЕДСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ



сообщили по телефону, что на воскресенье назначено первое предварительное следствие по его делу. Ему сказали, что его будут вызывать на следствие регулярно; может быть, не каждую неделю, но все же довольно часто. С одной стороны, все заинтересованы как можно быстрее закончить процесс, но, с другой стороны, следствие должно вестись со всей возможной тщательностью; однако ввиду напряжения, которого оно требует, допросы не должны слишком затягиваться. Вот почему избрана процедура коротких, часто следующих друг за другом допросов. Воскресный день назначен для допросов ради того, чтобы не нарушать служебные обязанности К. Предполагается, что он согласен с намеченной процедурой, в противном случае ему, поелику возможно, постараются пойти навстречу. Например, допросы можно было бы проводить и ночью, но, вероятно, по ночам у К. не совсем свежая голова. Во всяком случае, если К. не возражает, решено пока что придерживаться воскресного дня. Само собой понятно, что явка для него обязательна, об этом и напоминать ему не стоит. Был назван номер дома, куда ему следовало явиться; дом находился на отдаленной улице в предместье, где К. еще никогда не бывал.

Выслушав это сообщение, К., не отвечая, повесил трубку; он сразу решил, что в воскресенье пойдет туда; процесс начинался, предстояла борьба, и этот первый допрос должен был стать последним.

Он в задумчивости стоял у телефона, когда сзади его окликнул заместитель директора — ему надо было позвонить, а К. стоял на дороге.

— Плохие новости? — небрежно бросил заместитель вовсе не из любопытства, а просто чтобы К. отошел от телефона.

— Нет, нет, — сказал К., посторонившись, но не уходя. Заместитель директора взял трубку и, ожидая соединения, сказал поверх трубки:

— Один вопрос, господин К. Не окажете ли вы мне честь присоединиться в воскресенье к нашей компании на моей яхте? Собирается большое общество, наверно, будут и ваши знакомые, среди них, между прочим, и прокурор Гастерер. Вы придете? Приходите непременно!

К. старался вникнуть в каждое слово заместителя директора. Для него это было довольно важно, потому что приглашение заместителя директора, с которым он не слишком ладил, означало попытку примирения с его стороны и показывало, каким незаменимым человеком стал в банке К. и как ценил его дружбу или по крайней мере его нейтральное, беспристрастное отношение второй по значению чиновник банка. И хотя это приглашение было как бы вскользь брошено поверх телефонной трубки, оно звучало несколько заискивающе. Но К. надо было унижить заместителя директора еще больше, и он сказал:

— Благодарю вас! К несчастью, в воскресенье я занят, у меня уже назначена встреча.

— Ж а л ь , — сказал заместитель директора и заговорил по телефону, его как раз соединили.

Разговор был длинный, но К. по рассеянности остался стоять у аппарата. И только когда заместитель дал отбой, он перепугался и, чтобы хоть немного объяснить свое неуместное присутствие, сказал:

— Мне только что звонили, просили прийти в одно место, но забыли сообщить, в какое время.

— А вы еще раз позвоните, — сказал заместитель директора.

— Да это неважно, — сказал К., тем самым сводя на нет свое и без того нелепое объяснение.

Заместитель директора, уходя, бросил еще несколько фраз совсем о другом. К. заставил себя ответить, но думал он в это время главным образом о том, что лучше всего будет в воскресенье пойти по вызову к девяти утра, так как по будням все судебные учреждения начинают работать именно в это время.

Погода в воскресенье была плохая. К. чуть не проспал, он страшно утомился, потому что до поздней ночи сидел в кафе, где завсегдатаи устроили пирушку. Второпях, не давая себе времени обдумать и привести в порядок все планы, составленные за неделю, он оделся и, не позавтракав, помчался в указанное ему предместье. И хотя глазеть по сторонам времени не было, но, как ни странно, он увидел по дороге всех трех чиновников, причастных к его делу, — и Рабенштейнера, и Куллиха, и Каминера. Первые два проехали мимо него в трамвае, а Каминер сидел на терраске кафе и как раз в ту минуту, когда К. пробежал мимо, с любопытством перевесился через перила. Наверно, все трое с удивлением смотрели, как бежит бегом их начальник.

Из какого-то упрямства К. не пожелал ехать, ему была противна любая, даже самая ничтожная причастность посторонних к его делам, не хотелось пользоваться ничьими услугами и тем самым хотя бы в малейшей степени посвящать кого-то в эту историю; и, наконец, у него не было ни малейшей охоты унижить себя перед следственной комиссией слишком большой пунктуальностью. И все же он бе-

жал бегом, чтобы по возможности явиться точно в девять, хотя его даже не вызывали на определенный час.

Он думал, что уже издали узнает дом по какому-нибудь признаку, хотя не представлял себе, по какому именно, а может быть, и по необычному оживлению у входа. Но, задержавшись в начале Юлиусштрассе, на которой находился дом, куда его вызвали, К. увидел по обе стороны улицы почти одинаковые здания: высокие, серые, населенные беднотой доходные дома. В это воскресное утро почти из всех окон выглядывали люди. Мужчины без пиджаков курили, высунувшись наружу, или осторожно и заботливо держали на подоконниках маленьких детей. На других подоконниках громоздились постельные принадлежности, за которыми мелькали растрепанные женские головы. Все перекликались через улицу, и один такой окрик как раз над головой К. вызвал взрыв смеха. По всей длинной улице на одинаковых расстояниях в полуподвалах разместились бакалейные лавочки, куда можно было спуститься по ступенькам. Оттуда входили и выходили хозяйки, останавливались на ступеньках, болтали. Торговец фруктами расхваливал свой товар, задрав голову к окнам, и чуть не сбил К. с ног своей тележкой, когда они оба зазевались. Где-то убийственно завопил граммофон, как видно уже отработавший свое в более богатых кварталах.

К. прошел дальше по улочке медленным шагом, будто у него времени сколько угодно; если следователь видит его из какого-нибудь окна, значит, он знает, что К. явился. Только что пробило девять. Дом оказался довольно далеко, он был необычайно длинный; особенно ворота были очень высокие и широкие. Очевидно, они предназначались для фургонов, развозивших товар по разным складам. Сейчас все склады во дворе были заперты, но по вывескам К. узнал некоторые фирмы — его банк вел с ними дела. Вопреки своему обыкновению он пристально разглядывал

окружающее, даже остановился у входа во двор. Неподалеку на ящике сидел босоногий человек и читал газету. Двое мальчишек качались на тачке. У колонки стояла болезненная девушка в ночной кофточке, и, пока вода набиралась в кувшин, она не сводила глаз с К. В углу двора между двумя окнами натягивали веревку, на ней уже висело выстиранное белье. Внизу стоял человек и, покрывая, руководил работой.

К. пошел было к лестнице, чтобы подняться в кабинет следователя, но остановился: кроме этой лестницы, со двора в дом было еще три входа, а в глубине двора виднелся широкий проход во второй двор. К. рассердился, оттого что ему не указали точнее, где этот кабинет; все-таки к нему отнеслись с удивительным невниманием и равнодушием, и он решил, что заявит об этом громко и отчетливо. Наконец он все же поднялся по лестнице, мысленно повторяя выражение Виллема, одного из стражей, что вина сама притягивает к себе правосудие, из чего, собственно говоря, вытекало, что кабинет следователя должен находиться именно на той лестнице, куда случайно поднялся К.

Подымаясь по лестнице, он все время мешал детям, игравшим там, и они провожали его злыми взглядами. В другой раз, если придется сюда идти, надо будет взять либо конфет, чтобы подкупить их, либо палку, чтобы их отколотить, сказал он себе. У второго этажа ему даже пришлось переждать, пока мячик докатится донизу: двое мальчишек с хитроватыми лицами взрослых бандитов вцепились в его брюки; стряхнуть их можно было только силой, но К. боялся, что они завопят, если им сделать больно.

Все начиналось со второго этажа. Так как он нипочем не решался спросить, где следственная комиссия, он тут же придумал столяра Ланца — эта фамилия взбрела ему на



ум, потому что так звали капитана, племянника фрау Грубах, — и решил во всех квартирах спрашивать, не тут ли проживает столяр Ланц, а под этим предлогом попутно заглядывать в комнаты. Но оказалось, что это можно сделать и без всякого предлога, потому что все двери были открыты, дети вбегали и выбегали из комнат. Комнаты по большей части были маленькие, с одним окном, там же шла стирка. Многие женщины на одной руке держали грудных младенцев, а другой орудовали у плиты. Больше всех сутились девчонки-подростки; казалось, что, кроме фартучков, на них ничего нет. Во всех комнатах стояли разбросанные кровати, везде лежали люди — кто был болен, кто еще спал, а кто просто валялся в одежде. В те квартиры, где двери были закрыты, К. стучался и спрашивал, не здесь ли живет столяр Ланц.

Чаще всего двери открывала женщина и, выслушав вопрос, оборачивалась в комнату, к кому-то, лежащему на кровати:

— Вот господин спрашивает, где живет столяр Ланц?

— Столяр Ланц? — переспрашивал лежащий.

— Да, — отвечал К., хотя уже видел, что никакой следственной комиссии здесь нет и делать ему тут больше нечего.

Многие решали, что для К. очень важно отыскать столяра Ланца, долго думали, называли столяра с другой фамилией, не Ланц, или с фамилией, лишь отдаленно звучащей как «Ланц», расспрашивали и соседей, провожали К. до какой-нибудь дальней двери, где, по их мнению, такой человек мог снимать угол или где кто-нибудь лучше знал жильцов, чем они сами. В конце концов К. уже ничего не приходилось спрашивать, его и так затаскали по всем этажам. Он уже сожалел о своей выдумке, показавшейся ему сначала такой удачной. Перед шестым этажом он решил прекратить поиски, попрощался с приветливым молодым

рабочим, который хотел провести его еще дальше, и стал спускаться. Но тут же, раздраженный бессмысленностью всей этой процедуры, он снова поднялся и постучал в первую дверь на шестом этаже. Первое, что он увидел в маленькой комнате, были огромные стенные часы, показывавшие десять часов.

— Здесь живет столяр Ланц? — спросил он.

— Проходите! — ответила молодая женщина с блестящими черными глазами — она стирала в корыте детское белье и мокрой рукой показала на открытую дверь соседней комнаты.

К. сперва подумал, что попал на собрание. Толпа разных людей — никто из них не обратил на него внимания — наполняла средней величины комнату с двумя окнами, обнесенную почти у самого потолка галереей, тоже переполненной людьми; стоять там можно было, только согнувшись, касаясь головой и спиной потолка. К. стало душно, он вышел из комнаты и сказал молодой женщине, которая, очевидно, не так его поняла. — Я спрашивал столяра, некоего Ланца.

— Да, — сказала молодая женщина, — пройдите, пожалуйста, туда!

Может быть, К. и не последовал бы за ней, но она пошла к нему, взялась за ручку двери и сказала:

— Мне придется запереть за вами, больше никого впускать нельзя.

— Вполне разумно, — отвечал К., — там и без того переполнено. — Но все-таки он опять пошел в ту комнату.

Двое мужчин разговаривали у самой двери: один шевелил обеими руками, словно считая деньги, другой пристально смотрел ему в глаза; между ними вдруг протянулась чья-то ручонка и схватила К. Это был маленький краснощекий мальчик.

— Пойдемте, пойдемте! — сказал он.

К. дал себя повести через густую толпу — оказалось, что в ней все-таки был узкий проход, который, по всей вероятности, разделял людей на две группы; за это говорило и то, что К. не видел в первых рядах ни одного лица: все стояли, повернувшись спиной к проходу и обращаясь только к своей группе. Почти все были в черном, в старых, свободно и длинно свисавших праздничных сюртуках. Только эта одежда сбивала с толку К., иначе он решил бы, что попал на районное собрание какой-то политической организации.

В другом конце зальца, куда привели К., на очень низких, тоже переполненных подмостках стоял наискось небольшой столик, и за ним, у самого края подмостков, сидел маленький пыхтящий толстячок — он, громко хохоча, переговаривался с человеком, стоящим за ним, — тот облокотился на спинку его кресла и скрестил ноги. Иногда толстяк подымал руку вверх, словно кого-то передразнивая. Мальчику, который привел К., стоило большого труда доложить о нем. Дважды, подымаясь на цыпочки, он пытался что-то сообщить, но человек в кресле не обращал на него внимания. И только когда один из стоявших на подмостках людей указал ему на мальчика, он обернулся к нему и, нагнувшись, выслушал его тихий доклад. Он сразу вынул часы и быстро взглянул на К.

— Вы должны были явиться ровно час и пять минут назад, — сказал он.

К. хотел что-то ответить, но не успел: едва тот кончил фразу, как в правой половине зала поднялся общий гул.

— Вы должны были явиться ровно час и пять минут тому назад, — повысив голос, повторил толстяк и торопливо посмотрел вниз. Толпа загудела еще громче, но так как толстяк больше ничего не сказал, гул постепенно стих. В зальце стало гораздо тише, чем когда К. вошел. Только

на галерее люди еще обменивались замечаниями. Насколько можно было разглядеть в полутьме, в пыли и в чаду, они были хуже одеты, чем люди внизу. Многие принесли с собой подстилки и просунули их между головой и потолком комнаты, чтобы не натереть кожу до крови.

К. решил больше наблюдать, чем говорить, поэтому он не стал оправдываться, а только сказал:

— Пусть я и опоздал, но ведь я уже тут.

В правой половине толпа заплодировала. Как их легко расположить к себе, подумал К. Его только смущала тишина во второй половине, сразу за его спиной, — оттуда раздались единичные хлопки. Он подумал, как бы ему сказать что-нибудь такое, чтобы расположить к себе всех сразу, а если это невозможно, то хотя бы временно завоевать и вторую половину публики.

— Да, — сказал человек на подмостках, — но теперь я уже не обязан вас допрашивать... — И снова гул, на этот раз по недоразумению, потому что тот жестом остановил ропот внизу и продолжал: — ...и только в виде исключения я сегодня пойду на это. Но больше опозданий быть не должно. А теперь подойдите.

Кто-то соскочил с подмостков, чтобы освободить место для К., и он поднялся туда. Он стоял, прижатый к столу вплотную, а за ним так густо толпились люди, что приходилось сопротивляться, иначе он столкнул бы с подмостков столик следователя, а то и его самого.

Однако следователь ничуть не беспокоился, наоборот, он удобно откинулся в кресле и, закончив разговор со стоящим сзади человеком, взял маленькую записную книжку — единственное, что лежало перед ним на столе. Книжка походила на школьную тетрадь и от частого перелистывания совершенно растрепалась.

— Значит, т а к, — проговорил следователь и скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал К.: — Вы маляр?

— Н е т , — сказал К . , — я старший прокурис т крупного банка.

В ответ на его слова вся группа справа стала хохотать, да так заразительно, что К. и сам расхохотался. Люди хлопали себя по коленкам, их трясло, как в припадке некротимого кашля. Смеялся даже кто-то на галерее. Следователя это ужасно рассердило, но, очевидно, он был бессилен против людей внизу и попытался отыгаться на галерке; вскочил, погрозил наверх кулаком, и его брови, незаметные на первый взгляд, вдруг сдвинулись на переносице, густые, черные и косматые.

Но левая половина зала все еще безмолвствовала. Люди стояли рядами, лицом к подмосткам, и с одинаковым спокойствием слушали и разговор наверху и шум группы справа; они даже не реагировали, когда некоторые из их группы время от времени переходили в другую. Но левая группа, хотя и не такая многочисленная, как правая, в сущности тоже никакого веса не имела, однако в ней было что-то значительное благодаря ее полному спокойствию. И когда К. начал говорить, ему показалось, что они с ним соглашаются.

— Ваш вопрос, господин следователь, не маляр ли я, вернее, не вопрос, а ваше безоговорочное утверждение характерно для всего разбирательства дела, начатого против меня. Вы можете возразить, что никакого разбирательства еще нет, и будете вполне правы, потому что разбирательство может считаться таковым, только если я его признаю. Хорошо, на данный момент я, так и быть, его признаю, разумеется, исключительно из снисхождения к вам. Тут только и можно проявить снисхождение, если вообще обращать внимание на все, что происходит. Не стану говорить, что все разбирательство ведется до крайности неряшливо, но хотелось бы, чтобы вы сами осознали это.

К. умолк и оглянул зал. Говорил он резко, куда резче, чем намеревался, но сказал все правильно. И, несомненно, он заслужил одобрение тех или других, но все затихли, явно дожидаясь в напряжении, что будет дальше, и, может быть, эта тишина таила в себе взрыв, который положил бы конец всему. Но тут некстати отворилась дверь и в зал вошла молоденькая прачка, очевидно, кончившая свою работу и, хотя она старалась идти как можно осторожнее, многие обратили на нее взгляды. Но К. искренне обрадовался, взглянув на следователя; казалось, слова К. задели его за живое. Он слушал стоя, а встал он до этого, чтобы утихомирить галерею. Теперь, в наступившей паузе, он начал медленно опускаться в кресло, словно хотел сесть незаметно. И, наверно, чтобы не выдавать волнения, он снова взялся за свою тетрадку.

— Ничего вам не поможет, — продолжал К., — и тетрадка ваша, господин следователь, только подтверждает мои слова.

Довольный тем, что в зале слышен только его собственный спокойный голос, К. даже осмелился без околичностей взять у следователя его тетрадку и кончиками пальцев, словно брезгуя, поднять за один из срединных листов, так что с обеих сторон свисали мелко исписанные, испачканные и пожелтевшие странички.

— И это называется следственной документацией! — сказал он и небрежно уронил тетрадку на стол. — Можете спокойно читать ее и дальше, господин следователь, такого списка грехов я никак не боюсь, хоть и лишен возможности с ним ознакомиться, потому что иначе, как двумя пальцами, я до него не дотронусь, в руки я его не возьму. — И то, что следователь торопливо подхватил тетрадку, когда она упала на стол, тут же попытался привести ее в порядок и снова углубился в чтение, могло

быть только сознанием глубокого унижения, по крайней мере так это воспринималось.

Снизу на К. пристально смотрели люди из первого ряда, и он невольно стал всматриваться в их лица. Все это были немолодые мужчины, некоторые даже с седыми бородами. Может быть, они всё и решали и могли повлиять на остальных, — те настолько безучастно отнеслись к унижению следователя, что не вышли из оцепенения, в которое их привела речь К.

— То, что со мной произошло, — продолжал К. уже немного тише, пристально вглядываясь в лица стоявших в первом ряду, отчего его речь звучала несколько сбивчиво, — то, что со мной произошло, всего лишь частный случай, и сам по себе он значения не имеет, так как я не слишком принимаю все это к сердцу, но этот случай — пример того, как разбираются дела очень и очень многих. И я тут застаюсь за них, а вовсе не за себя.

К. невольно повысил голос. Кто-то, высоко подняв руки, зааплодировал и крикнул: «Браво! Так и надо! Bravo! — И еще раз: — Bravo!»

Кое-кто из стоявших впереди в задумчивости теребил бороду, но ни один не обернулся на этот возглас. К. и сам не придавал ему значения, хотя несколько ободрился; он даже не считал нужным, чтобы ему аплодировала вся аудитория, достаточно, если все присутствующие хотя бы задумаются над тем, что происходит, и если хоть некоторых удастся убедить и перетянуть на свою сторону.

— Я не стремлюсь к ораторским успехам, — сказал К. в ответ на свои мысли, — да это и не в моих возможностях. Господин следователь, наверно, говорит куда лучше меня, ведь этого требует его профессия. Я хочу только одного — открыто обсудить открытое нарушение законов. Посудите сами: дней десять тому назад я был арестован. Впрочем, самый этот факт мне только смешон, но не о том речь.

Рано утром меня захватили врасплох, еще в кровати, возможно, что был отдан приказ — судя по словам следователя, это не исключено — арестовать некоего маляра, такого же невинного человека, как и я, но выбор пал на меня. Соседнюю со мной комнату заняла стража — два грубияна. Будь я даже опасным разбойником, и то нельзя было бы принять больше предосторожностей. Кроме того, эти люди оказались вконец развращенными мошенниками, они болтали мне с три короба, вымогали взятку, собирались под каким-то предлогом выманить у меня белье и платье, требовали денег, обещая принести мне завтрак, а перед этим на моих глазах нагло уничтожили мой собственный завтрак. Но этого мало. Меня провели в третью комнату к их инспектору. В этой комнате живет дама, которую я глубоко уважаю, и я должен был смотреть, как из-за меня, хотя и не по моей вине, эту комнату в какой-то мере оскверняло присутствие стражи с инспектором. Нелегко было сохранить спокойствие. Но я сдержался и спросил этого инспектора совершенно спокойно — будь он здесь, он мог бы вам это подтвердить, — почему я арестован. И что же ответил этот инспектор? Как сейчас вижу его перед собой: сидит в кресле вышеупомянутой дамы, как воплощение тупейшего высокомерия. Господа, по существу он ничего мне не ответил; может быть, он действительно ничего не знал, просто он меня арестовал и на этом успокоился. Более того, он вызвал в комнату этой дамы трех низших служащих из моего банка, которые занимались тем, что рылись в фотографиях, принадлежавших даме, и привели их в полный беспорядок. Разумеется, присутствие этих служащих преследовало еще одну цель, а именно: так же как моя квартирная хозяйка и ее прислуга, они должны были распространить известие о моем аресте, чтобы повредить моей репутации, а главное — подорвать мое положение в банке. Но из этого ничего, абсолютно ничего не



вышло; даже моя квартирная хозяйка, совершенно простая женщина, — назову вам с уважением ее имя: фрау Грубах, — так вот, даже у фрау Грубах хватило благоразумия понять, что такой арест имеет не больше значения, чем драка уличных мальчишек на мостовой. Повторяю, для меня это было только неприятностью, которая вызвала мимолетное раздражение, но ведь последствия могли быть куда хуже, не так ли?

Тут К. остановился и посмотрел на молчаливого следователя — ему показалось, что тот глазами делает знак кому-то из стоящих внизу. К. улыбнулся и сказал:

— Только что господин следователь, сидящий рядом, подал кому-то из вас тайный знак. Значит, среди вас есть люди, которыми он дирижирует отсюда, со своего места. Не знаю, должен ли его знак вызвать свистки или аплодисменты, и тем, что я заранее открываю их сговор, я совершенно сознательно выражаю пренебрежение к этим знакам. Мне в высшей степени безразлично, что они значат, и я могу дать господину следователю право в открытую командовать своими наемниками там, внизу, причем не тайными знаками, а вслух, словами; пусть он прямо говорит: «Свистите!», а в другой раз, если надо: «Хлопайте!»

От смущения или от нетерпения следователь заерзал на стуле. Человек, который стоял сзади и разговаривал с ним раньше, снова наклонился к нему, то ли чтобы просто его подбодрить, то ли подать ему ценный совет. Внизу люди переговаривались, негромко, но оживленно. Обе группы, которые поначалу как будто расходились во мнениях, теперь смешались; одни показывали пальцем на К., другие — на следователя.

Густой чад, наполнявший комнату, действовал удручающе, он мешал рассмотреть даже стоявших поодаль. Особенно трудно было посетителям на галерее, им пришлось, робко косясь на следователя, сверху потихоньку

расспрашивать участников собрания, чтобы разобраться, в чем дело. Им отвечали так же тихо, прикрываясь ладонью.

— Сейчас я кончаю, — сказал К. и, так как звонка на столе не было, стукнул по столу кулаком; следователь и его советчик в испуге отшатнулись друг от друга. — Меня все это дело не касается, поэтому я сужу о нем спокойно, а вам всем будет весьма полезно меня выслушать — конечно, при условии, что вы как-то заинтересованы в этом предполагаемом судебном деле. Причем обсуждение того, что я вам излагаю, прошу отложить, так как времени у меня нет и я скоро уйду.

Тотчас наступила тишина, настолько К. сумел овладеть аудиторией. Уже никто не перекрикивал других, как вначале, никто одобрительно не хлопал. Казалось, все уже в чем-то убедились или готовы убедиться.

— Нет сомнения, — очень тихо заговорил К., его радовало напряженное внимание всей аудитории, и в тишине рождался гул, который его подбадривал больше самых восторженных аплодисментов, — нет сомнения, что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за этим арестом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация. Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях штатом служителей, писцов, жандармов и других помощников, а может быть, даже и палачей — я этого слова не боюсь. А в чем смысл этой огромной организации, господа? В том, чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части — как, например, в моем случае — безрезультатный процесс. Как же тут, при абсолютной бессмысленности всей системы в целом, избежать самой страшной коррупции чиновников?

Это недостижимо, тут даже самый высокий судья не останется честным. Потому и стража пытается красть одежду арестованных, потому их инспектора и врываются в чужие квартиры, потому и невиновные вместо допроса должны позориться перед целым собранием. Стража рассказывала мне о складах, где хранятся вещи арестованных; хотелось бы мне взглянуть на эти склады, где гниет заработанное честным трудом имущество арестованных, если только его не расхищают воры служители.

Но тут речь К. была прервана воплями из дальнего угла. Он затенил глаза рукой, чтобы лучше видеть, — от мутного света чад в комнате казался белесым и слепил глаза. Виной была прачка; уже при ее появлении К. понял, что она непременно помешает. Но виновата она сейчас или нет, сказать было трудно. К. видел только, что какой-то мужчина увлек ее в угол у дверей и там крепко прижал к себе. Однако вопила не она, а этот мужчина, он широко разинул рот и уставился в потолок. Вокруг них столпились те посетители галереи, что стояли поближе; они, как видно, пришли в восторг оттого, что это происшествие нарушило серьезность, которую К. внес в собрание. Под первым впечатлением он чуть не бросился туда, решив, что и все остальные захотят сразу навести порядок и хотя бы выставить эту пару из зала, но первые ряды перед ним плотно сомкнулись, никто не тронулся с места, никто не пропускал К. Напротив, ему помешали: старики выставили руки вперед, и чья-то рука — обернуться ему было некогда — вцепилась сзади в его воротник. К. уже не думал об этой паре, ему показалось, что у него отнимают свободу, что его и в самом деле арестовали, и он, вырвавшись, соскочил с подмостков. Теперь он очутился лицом к лицу с толпой. Неужели он неправильно оценил этих людей? Неужели он слишком понадеялся на воздействие своей речи? Неужто все они притворялись, а теперь, когда

близилась развязка, им притворяться надоело? И какие лица окружали его! Маленькие черные глазки шныряли по сторонам, щеки свисали мешками, как у пьяниц, жидкие бороды жестко топорщились; казалось — запустишь в них руку и покажется, будто только скрючиваешь пальцы впустую, под ними — ничего. А из-под бород — и для К. это было настоящим открытием — просвечивали на воротниках знаки различия разной величины и цвета. И куда ни кинь глазом — у всех были эти знаки. Значит, все эти люди были заодно, разделение на правых и левых было только кажущимся, а когда К. внезапно обернулся, он увидел те же знаки различия на воротнике следователя — тот, сложив руки на коленях, спокойно смотрел вниз.

— Вот оно что! — крикнул К. и взметнул руки вверх — внезапное прозрение требовало широкого жеста. — Значит, все вы чиновники! Теперь я вижу, все вы та самая продажная свора, против которой я выступал, вы пробрались сюда разнюхивать, подслушивать, разделились для видимости на группы, аплодировали мне, чтобы меня испытать, хотели узнать, можно ли сбить с толку невинного человека! Что ж, надеюсь, вы тут пробыли не без пользы для себя: либо вы посмеялись над тем, что от таких, как вы, ждали защиты невинного, либо... Пустите меня, не то ударю! — крикнул К. какому-то дрожащему старикашке, который придвинулся к нему особенно близко, — ...либо вы все-таки чему-то научились. А засим пожелаю вам удачи на вашем служебном поприще.

Он схватил свою шляпу, лежащую на краю стола, и прошел к выходу при полном и недоуменном молчании присутствующих. Но, очевидно, следователь опередил К., он уже ждал его у дверей.

— Одну минуту! — сказал он. К. остановился и, уже взявшись за ручку, вперил глаза не в следователя, а в дверь. — Я только хотел обратить ваше внимание, — сказал

следователь, — что сегодня вы, вероятно, сами того не сознавая, лишили себя преимущества, которое в любом случае дает арестованному допрос.

К. расхохотался, все еще глядя на дверь.

— Вот мразь! — крикнул он. — Ну и сидите с вашими допросами! — И, открыв дверь, он побежал вниз по лестнице.

За ним послышался шум — видимо, собрание опять оживилось и затеяло что-то вроде ученой дискуссии, обсуждая все, что произошло.

В ПУСТОМ ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ.  
СТУДЕНТ. КАНЦЕЛЯРИИ

**В**сю следующую неделю К. изо дня в день ожидал нового вызова, он не мог поверить, что его отказ от допроса будет принят буквально, а когда ожидаемый вызов до субботы так и не пришел, К. усмотрел в этом молчании приглашение в тот же дом на тот же час. Поэтому в воскресенье он снова отправился туда и прямо прошел по этажам и коридорам наверх; некоторые жильцы, запомнившие его, здоровались с ним у дверей, но ему не пришлось никого спрашивать, и он сам подошел к нужной двери. На стук открыли сразу, и, не оглядываясь на уже знакомую женщину, остановившуюся у дверей, он хотел пройти в следующую комнату.

— Сегодня заседания нет, — сказала женщина.

— Как это нет заседания? — спросил он, не поверив.

Чтобы убедить его, женщина отворила дверь в соседнее помещение. Там и вправду было пусто, и от этой пустоты комната казалась еще более жалкой, чем в прошлое воскресенье. На столе, так и стоявшем на подмостках, лежало несколько книг.

— Можно взглянуть на эти книжки? — спросил К. не столько из любопытства, сколько для того, чтобы его приход не был совершенно бесполезным.

— Нет, сказала женщина и снова заперла дверь, — это не разрешается. Книги принадлежат следователю.

— Ах, вот оно что, — сказал К. и кивнул головой. — Должно быть, это свод законов, а теперешнее правосудие,

очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного.

— Должно быть, так оно и есть, — сказала женщина, как видно не совсем понимая его.

— Что ж, тогда я уйду, — сказал К.

— Передать от вас что-нибудь следователю? — спросила женщина.

— А разве вы его знаете? — спросил К.

— Конечно, — сказала женщина, — ведь мой муж — служитель в суде.

Только сейчас К. заметил, что комната, где в прошлый раз стояло только корыто, теперь была убрана как настоящая жилая комната. Женщина заметила его удивление и сказала:

— Да, нам предоставлена бесплатная квартира, но в дни заседаний мы должны освобождать эту комнату. На службе мужа много неудобств.

— Меня удивляет вовсе не ваша комната, — сказал К. и сердито посмотрел на женщину. — Гораздо больше я удивлен тем, что вы замужем.

— Вы, должно быть, намекаете на тот случай во время последнего заседания, когда я помешала вашей речи? — спросила женщина.

— Конечно, — сказал К. — Правда, дело прошлое, я бы о нем не вспомнил, но тогда я просто взбесился. А теперь вы сами говорите, что вы замужем.

— Вам только пошло на пользу, что вашу речь прервали. О вас потом говорили очень недоброжелательно.

— Возможно, — уклончиво сказал К., — но для вас это не оправдание.

— А вот все мои знакомые меня оправдывают, — сказала женщина. — Тот, что меня обвинял, уже давно за мной бегаёт. Может быть, для других я ничуть не привлекательна, а для него — очень. Тут ничего не поделаешь, даже

моему мужу пришлось примириться; если хочет сохранить место, пусть терпит, ведь тот человек — студент и, наверно, добьется больших чинов. Вечно он за мной бегаёт. Он только что ушел перед вашим приходом.

— Одно к одному, — сказал К., — меня это ничуть не удивляет.

— Видно, собираетесь навести здесь порядок? — спросила женщина медленно и осторожно, словно сказала что-то опасное и для нее и для К. — Я так и догадалась по вашей речи. Мне лично она очень понравилась. Правда, я не все слышала — начало пропустила, а под конец лежала со студентом на полу. Ах, здесь так гадко! — помолчав, воскликнула она и схватила К. за руку: — А вы верите, что вам удастся завести новые порядки?

К. рассмеялся и слегка потянул свою руку из ее мягких пальцев.

— В сущности, — сказал он, — меня никто не уполномочил заводить здесь, как вы выражаетесь, новые порядки, и если вы, к примеру, скажете об этом следователю, то вас осмеют, а может быть, и накажут. Более того, по доброй воле я ни за какие блага не стал бы вмешиваться в эти дела; и терять сон, придумывая какие-то улучшения судебной процедуры, я тоже не намерен. Но обстоятельства, вызвавшие мой арест, — дело в том, что я арестован, — побудили меня вмешаться ради собственных интересов. Однако, если я могу и вам быть чем-нибудь полезен, я охотно помогу вам. И не только из человеколюбия, но и потому, что и вы можете мне помочь.

— Чем же? — спросила женщина.

— Например, тем, что покажете мне вон те книги.

— Ну конечно же! — воскликнула она и торопливо потянула его к столу. Книги были старые, потрепанные, на одной переплет был переломлен и обе половинки держались на ниточке.



— Какая тут везде грязь, — сказал К., покачав головой, и женщине пришлось смахнуть пыль фартуком хотя бы сверху, прежде чем К. мог взяться за книгу.

Он открыл ту, что лежала сверху, и увидел неприличную картинку. Мужчина и женщина сидели в чем мать родила на диване, и хотя непристойный замысел художника легко угадывался, его неумение было настолько явным, что, собственно говоря, ничего, кроме фигур мужчины и женщины, видно не было. Они грубо мозолили глаза, сидели неестественно прямо и из-за неправильной перспективы даже не могли бы повернуться друг к другу. К. не стал перелистывать эту книгу и открыл титульный лист второй книжки: это был роман под заглавием: «Какие мучения терпела Грета от своего мужа Ганса».

— Так вот какие юридические книги тут изучают! — сказал К. — И эти люди собираются меня судить!

— Я вам помогу! — сказала женщина. — Согласны?

— Но разве вы и вправду можете мне помочь, не подвергая себя опасности? Ведь вы сами сказали, что ваш муж целиком зависит от своего начальства.

— И все же я вам помогу, — сказала женщина. — Пойдите сюда, надо все обсудить. А о том, что мне грозит опасность, говорить не стоит. Я только тогда пугаюсь опасности, когда считаю нужным. Идите сюда. — Она показала на подмостки и попросила его сесть рядом с ней на ступеньки. — У вас чудесные темные глаза, — сказала она, когда они сели, и заглянула К. в лицо. — Говорят, у меня тоже глаза красивые, но ваши куда красивее. Ведь я вас сразу заметила, еще в первый раз, как только вы сюда зашли. Из-за вас я и пробралась потом в зал заседаний. Обычно я никогда этого не делаю, мне даже, собственно говоря, запрещено ходить сюда.

Вот к чему все свелось! — подумал К. Она просто мне себя предлагает, испорчена до мозга костей, как и все тут:

ей надоели судебные чиновники, что вполне понятно, вот она и встречает любого посетителя комплиментами насчет его глаз. И К. молча встал, будто уже высказал эти мысли вслух и объяснил женщине свое поведение.

— Не думаю, чтобы вы могли мне помочь, — сказал он. — Для настоящей помощи надо иметь связи с высшими чинами. А вы, наверно, знакомы с мелкой сошкой, их тут много ходит. Их-то вы наверняка хорошо знаете и можете многого у них добиться, в этом я не сомневаюсь, но даже если бы они сделали все, что в их силах, никакого влияния на исход моего процесса это иметь не может. А от вас к тому же могут отступить некоторые друзья. Этого я не хочу. Так что вам не стоит портить отношения с этими людьми; мне кажется, они вам еще понадобятся. Говорю не без сожаления, так как в ответ на ваши комплименты могу сказать, что и вы мне нравитесь, особенно сейчас, когда смотрите на меня такими грустными глазами, хотя никаких оснований для грусти у вас нет. Вы обращаетесь среди людей, с которыми я должен бороться, и с ними чувствуете себя отлично, вы даже влюблены в студента, а если и нет, то, во всяком случае, предпочитаете его мужу. Из ваших слов это ясно видно.

— Нет! — крикнула она и, не вставая, схватила К. за руку, которую он не успел отнять. — Вам уходить нельзя! Вы обо мне совсем неверно думаете, так нельзя! Неужели вы можете взять и уйти? Неужели я так мало стою, что вы ради меня не можете остаться хоть ненадолго?

— Вы меня не поняли, — сказал К. и снова сел. — Если вам действительно хочется, чтобы я остался, я, конечно, останусь, времени у меня много, ведь я пришел сюда, думая, что сегодня тут будет судебное заседание. Я только высказал просьбу: ничего не предпринимайте в отношении моего процесса. И вы никак не должны обижаться; поймите, что мне совершенно безразлично, чем окончится этот

процесс, и над их приговором я буду только смеяться. Все это, конечно, лишь в том случае, если процесс вообще состоится, в чем я сильно сомневаюсь. Скорее можно предположить, что все судопроизводство — по лени или по забывчивости, а может быть, просто по трусости чиновников — уже прекращено или прекратится в самое ближайшее время. Разумеется, вполне возможно, что они будут продолжать этот процесс для видимости, в надежде на порядочную взятку, но уверяю вас заранее, что все их надежды напрасны — я никому взятку не даю. Вот тут вы можете сделать мне одолжение: сообщите следователю или кому-нибудь, кто любит распространять всякие слухи, что никогда, никакими фокусами эти господа не способны выманить у меня взятку. Ничего у них не выйдет, так им и передайте. Впрочем, может быть, они и сами это поняли, а может быть, и нет. В общем мне безразлично, узнают ли они об этом сейчас или потом. Если им все будет известно заранее, мы только облегчим их работу. Правда, и мне было бы меньше неприятностей, но я готов на любые неприятности, лишь бы ударить и по ним. А об этом я уж позабочусь. Кстати, знакомы ли вы со следователем?

— Ну конечно! — воскликнула женщина. — Я о нем и подумала, когда предлагала вам помощь. Я же не знала, что он всего-навсего низший служащий, но раз вы так говорите, значит, так оно и есть. И все же я думаю, что доклады, которые он посылает вверх, имеют какое-то влияние. А он их столько пишет! Вот вы сказали, что все чиновники — лентяи. Нет, не все — особенно этот следователь, он все пишет и пишет. Например, в прошлое воскресенье заседание затянулось до вечера. А когда все ушли, следователь остался, пришлось принести лампу; у меня была только маленькая кухонная лампочка, но он и ею был доволен, сразу сел и стал писать. А тут вернулся муж, у него в то воскресенье был свободный день, мы

внесли мебель, прибрали нашу комнату, потом пришли соседи, мы посидели при свечке — словом, совсем забыли про следователя и легли спать. И вдруг ночью, наверно, далеко за полночь, я просыпаюсь, а возле кровати стоит следователь и затеняет лампу рукой, чтобы свет не падал на моего мужа, хотя это ни к чему, муж так спит, что его никакой свет не разбудит. Я до того испугалась, что чуть не закричала, но этот следователь такой любезный, попросил меня не шуметь и сказал, что он до сих пор писал, а теперь возвращает мне лампу и никогда в жизни не забудет, как он увидел меня сонную. Я вам только хочу этим сказать, что следователь действительно пишет доклады и главным образом про вас. Видно, в то воскресенье самым основным вопросом на заседании было ваше дело. А такие длинные доклады непременно должны иметь какое-то значение. Кроме того, по этому случаю ясно, что следователю я нравлюсь и что именно сейчас, в первое время — а он только недавно обратил на меня внимание, — я могу очень на него повлиять. У меня есть и другие доказательства, что он мной интересуется. Вчера через студента — он с ним работает и очень ему доверяет — он прислал мне в подарок пару шелковых чулок, будто бы за то, что я убираю зал заседаний, но, конечно, это лишь предлог, работаю я по обязанности, и мужу за это платят. А чулки прекрасные, вот взгляните... — она вытянула ноги, подняв юбки выше колен, и сама посмотрела на чулки, — да, чулки красивые, но слишком уж тонкие, мне они не подходят.

Вдруг она остановилась, положила руку на руку К., словно хотела его успокоить, и шепнула:

— Тише, Бертольд за нами следит.

К. медленно поднял глаза. В дверях зала заседаний стоял молодой человек, он был невысок, с кривоватыми ногами и, очевидно для пущей важности, отпустил короткую жиденькую рыжую бородку, которую он непрерывно

теребил пальцами. К. посмотрел на него с любопытством — это был первый студент неизвестных ему юридических наук, которого он встречал, так сказать, в частной жизни и который, вероятно, впоследствии достигнет высоких постов. Студент же, напротив, никакого внимания на К. не обратил, он только на минуту вытащил палец из бороды, поманил к себе женщину и отошел к окошку, а женщина наклонилась к К. и шепнула:

— Не сердитесь на меня, умоляю, и не думайте обо мне плохо, но сейчас я должна идти к нему, к этому отвратительному типу, вы только взгляните на его кривые ноги. Я сейчас вернусь и уж тогда пойду с вами, если вы меня возьмете с собой, пойду куда хотите, делайте со мной что хотите, я буду счастлива — лишь бы уйти отсюда надолго, а еще лучше навсегда.

Она погладила К. по руке, вскочила и побежала к окошку. К. машинально хотел схватить ее руку, но схватил пустоту. В этой женщине для него было что-то по-настоящему соблазнительное, и он не находил никаких оснований противиться этому соблазну. Мелькнула мысль, что она подслана судом, чтобы подловить его, но он тут же отбросил это сомнение. Каким образом она могла его подловить? Ведь он пока что совсем свободен. Он мог уничтожить все их судопроизводство, по крайней мере в том, что касалось его дела. Неужели он даже в такой малости не верит в себя? Но ее голос звучал искренне, когда она предлагала ему помощь. Как знать, вдруг она окажется ему полезной? А быть может, лучше и нельзя отомстить следователю и всей его своре, чем отняв у них эту женщину и завоевав ее привязанность. Тогда, может статься, следователь после кропотливейшей работы над составлением ложных сведений про К. придет поздно ночью и увидит, что постель этой женщины пуста. И потому пуста, что женщина будет принадлежать К., что эта женщина у

окна, это пышное, гибкое, теплое тело в темном платье из грубой ткани будет принадлежать ему одному.

Отбросив таким образом все сомнения насчет этой женщины, К. стал тихонько стучать по подмосткам сначала костяшками пальцев, потом всем кулаком — настолько ему надоело тихое перешептывание у окна. Студент мельком через плечо женщины взглянул на К., но никакого внимания на него не обратил, наоборот — он еще крепче прижался к женщине и обнял ее. Она низко наклонила голову, словно прислушиваясь к его словам, он звонко чмокнул ее в склоненную шею, продолжая говорить как ни в чем не бывало. К. увидел, что женщина права, жалуясь, что студент имеет над ней какую-то власть, и, встав со стула, зашагал по комнате. Косясь на студента, он раздумывал, как бы выжить его отсюда поскорее, и даже обрадовался, когда студент, которому, очевидно, мешали шаги К., уже переходившие в нетерпеливый топот, вдруг заметил:

— Если вам так не терпится, можете уходить. Давно могли уйти, никто и не заметил бы вашего отсутствия. Да, да, надо было вам уйти, как только я пришел, и уйти сразу, немедленно.

В этих словах слышалась не только сдержанная злоба, в них ясно чувствовалось высокомерие будущего чиновника по отношению к неприятному для него обвиняемому. К. подошел к нему вплотную и с улыбкой сказал:

— Да, вы правы, мне не терпится, но мое нетерпение проще всего прекратить тем, что вы нас оставите. Однако если вы пришли сюда заниматься — я слышал, что вы студент, — то я охотно уступлю вам место и уйду с этой женщиной. Впрочем, вам еще немало надо будет поучиться, прежде чем стать судьей. Правда, ваше судопроизводство мне совсем незнакомо, но предполагаю, что одними наглыми речами, которые вы ведете с таким бесстыдством, оно не ограничивается.

— Напрасно ему разрешили гулять на свободе, — сказал студент, словно хотел объяснить женщине обидные слова К. — Это несомненный промах. Я так и сказал следователю. Надо держать его под домашним арестом хотя бы между допросами. Но иногда следователя толком не поймешь.

— Лишние разговоры, — сказал К. и протянул руку к женщине. — Пойдем!

— Ах, вот оно что! — сказал студент. — Нет, нет, вам ее не заполучить!

С неожиданной силой он подхватил ее на руки и, согнувшись, побежал к двери, нежно поглядывая на нее. По всей видимости, он и побаивался К. и все же не мог удержаться, чтобы не поддразнить его, для чего нарочно гладил и пожимал свободной рукой плечо женщины. К. пробежал за ним несколько шагов, хотел его схватить, он готов был придушить его, но тут женщина сказала:

— Ничего не поделаешь, его за мной прислал следователь, мне с вами идти никак нельзя, этот маленький уродец, — тут она провела рукой по лицу студента, — этот маленький уродец меня не отпустит.

— Да вы и не хотите освободиться! — крикнул К., опустил руку на плечо студента, и тот сразу лязгнул на него зубами.

— Нет! — крикнула женщина и обеими руками оттолкнула К. — Нет, нет, только не это, вы с ума сошли! Вы меня погубите! Оставьте его, умоляю вас, оставьте же его! Он только выполняет приказ следователя, он несет меня к нему.

— Ну и пусть убирается, а вас я тоже видеть не желаю! — сказал К. и, разочарованный, злой, изо всех сил толкнул студента в спину; тот споткнулся, но, обрадовавшись, что удержался на ногах, еще выше подскочил на месте со своей ношей.

К. медленно пошел за ними, он понял, что эти люди нанесли ему первое безусловное поражение. Конечно, причин для особого беспокойства тут не было, поражение он потерпел оттого, что сам искал столкновений с ними. Если бы он сидел дома и вел обычный образ жизни, он был бы в тысячу раз выше этих людей и мог бы любого из них убрать одним пинком. И он представил себе пресмешную сцену, которая разыгралась бы, если бы вдруг этот жалкий студентиска, этот самодовольный мальчишка, этот кривоногий бородач, очутился на коленях перед кроватью Эльзы и, сложив руки, умолял ее сжаться над ним. К. пришел в такой восторг от этой воображаемой сцены, что тут же решил при случае взять студента с собой в гости к Эльзе.

Из любопытства К. все-таки подбежал к двери — ему хотелось взглянуть, куда понесли женщину, не станет же студент тащить ее на руках по улице! Выяснилось, что им пришлось идти совсем не так далеко. Прямо напротив квартиры начиналась узкая деревянная лестница — очевидно, она вела на чердак, но конец ее исчезал за поворотом, так что не видно было, куда она ведет. По этой лестнице студент и понес женщину, уже совсем медленно и побряхтывая — его явно утомила вся эта беготня. Женщина помахала К. рукой и, пожимая плечами, старалась дать ему понять, что ее похитили против воли. Впрочем, особого сожаления ее мимика не выражала. К. посмотрел на нее равнодушно, как на незнакомую, ему не хотелось выдать свое разочарование, но и не хотелось показать, что он все так легко принял.

Оба исчезли за поворотом, а К. все еще стоял в дверях. Он должен был признаться, что женщина не только обманула его, но и солгала, что ее несут к следователю. Не станет же следователь сидеть на чердаке и дожидаться ее. А на деревянную лесенку сколько ни смотри, все равно



ничего не узнаешь. И вдруг К. заметил маленькую бу-мажку у входа, подошел к ней и прочел записку, нацарапанную неумелым детским почерком: «Вход в судебную канцелярию». Значит, тут, на чердаке жилого дома, помещается канцелярия суда? Особого уважения такое устройство вызвать не могло, и всякому обвиняемому было утешительно видеть, какими жалкими средствами располагает этот суд, раз ему приходится устраивать свою канцелярию в таком месте, куда жильцы — всякая голь и нищета — выбрасывают ненужный хлам. Правда, не исключалось и то, что денег отпускали достаточно, но чиновники тут же их разворовывали, вместо того чтобы употребить по назначению. Судя по всему, что испытал К., это было вполне вероятно, и хотя такая развращенность судебных властей была крайне унижительна для обвиняемого, но вместе с тем это предположение успокаивало больше, чем мысль о нищете суда. Теперь К. стало понятно, почему обвиняемого при первом допросе постеснялись пригласить на чердак и предпочли напасть на него в его собственной квартире. Насколько же лучше было положение К., чем положение следователя: тот сидел на чердаке, в то время как сам К. занимал у себя в банке просторный кабинет с приемной и мог любоваться оживленной городской площадью через громадное окно. Правда, у К. не было никаких побочных доходов — взяток он не брал, денег не утаивал и, уж конечно, не мог распорядиться, чтобы служитель, схватив женщину в охапку, принес ее к нему в кабинет. Впрочем, К., по крайней мере в данных обстоятельствах, охотно был готов отказаться от таких развлечений.

Все еще стоя перед запиской, К. увидел, что по лестнице поднялся какой-то человек, заглянул в открытую дверь комнаты, осмотрел оттуда зал заседаний и наконец спросил К., не видел ли он тут сейчас женщину.

— Вы служитель суда, не так ли? — спросил К.

— Да, — ответил тот, — а вы, значит, обвиняемый К.? Теперь я вас тоже узнал, рад вас видеть. — И, к удивлению К., он протянул ему руку. — Но ведь сегодня заседаний нет, — сказал служитель, когда К. промолчал.

— Знаю, — сказал К. и посмотрел на штатский пиджак служителя: единственным признаком его служебного положения были две позолоченные, явно споротые с офицерской шинели пуговицы, которые виднелись среди обычных пуговиц.

— Только сейчас я разговаривал с вашей женой. Ее тут нет. Студент унес ее к следователю.

— Вот видите! — сказал служитель. — Вечно ее от меня уносят. Сегодня воскресенье, работать я не обязан, а мне вдруг дают совершенно ненужные поручения, лишь бы усладить отсюда. Правда, услали меня недалеко, ну, думаю, потороплюсь и, даст бог, вернусь вовремя. Бегу что есть мочи, приоткрываю дверь учреждения, куда меня послали, выкрикиваю то, что мне велели сказать, задыхаюсь так, что меня, наверно, с трудом понимают, бегу назад — но этот студент, видимо, еще больше спешил, чем я; правда, ему-то ближе, только сбежать с чердачной лесенки и все. Не будь я человеком подневольным, я этого студента давно раздавил бы об стенку. Вот тут, рядом с запиской. Только об этом и мечтаю. Вот тут, чуть повыше пола. Вишит весь расплющенный, руки врозь, пальцы растопырены, кривые ножки кренделем, а кругом все кровью забрызгано. Но пока что об этом можно только мечтать.

— А разве другого выхода нет? — с улыбкой спросил К.

— Другого не в и ж у, — сказал служитель. — И главное, с каждым днем все хуже: до сих пор он таскал ее только к себе, а сейчас потащил к самому следователю; впрочем, этого я давным-давно ждал.

— А разве ваша жена не сама виновата? — спростил К., с трудом сдерживаясь, до того сильно он все еще ревновал ее.

— А как же, — сказал служитель, — она больше всех и виновата. Сама вешалась ему на шею. Он-то за всеми бабами бегает. В одном только нашем доме его уже выставили из пяти квартир, куда он втерся. А моя жена самая красивая женщина во всем доме, но как раз мне и нельзя защищаться.

— Да, если дело так обстоит, значит, помочь ничем нельзя, — сказал К.

— Нет, почему же? — сказал служитель. — Надо бы этого студента, этого труса, отколотить как следует, чтобы навсегда отбить охоту лезть к моей жене. Но мне самому никак нельзя, а другие мне тут не подмога, слишком они боятся его власти. Только такой человек, как вы, мог бы это сделать.

— То есть, почему же я? — удивился К.

— Ведь вы обвиняемый, — сказал служитель.

— Да, — сказал К., — но тем больше оснований у меня бояться, что он может повлиять если не на самый исход судебного процесса, то, во всяком случае, на предварительное следствие.

— Да, конечно, — сказал служитель, как будто мнение К. не противоречило его мнению. — Но ведь здесь у нас, как правило, безнадежных процессов не ведут.

— Правда, я думаю несколько иначе, — сказал К., — но это мне не мешает как-нибудь взять в оборот вашего студента.

— Я был бы вам очень признателен, — сказал служитель несколько официально; казалось, он не верит в исполнение своего сокровенного желания.

— Но возможно, — продолжал К., — что некоторые ваши чиновники, а может быть, и все заслуживают того же.

— Да, да, — согласился служитель, словно речь шла о чем-то само собой понятном. Тут он бросил на К. доверчивый взгляд, чего раньше, несмотря на всю свою приветливость, не делал, и добавил: — Все бунтуют, ничего не напишешь.

Но ему, как видно, стало немножко не по себе от этих разговоров, потому что он сразу переменял тему и сказал:

— Теперь мне надо явиться в канцелярию. Хотите со мной?

— Мне там делать нечего, — сказал К.

— Можете взглянуть на канцелярию. На вас никто не обратит внимания.

— А стоит посмотреть? — спросил К. нерешительно: ему очень хотелось пойти туда.

— Как сказать, — ответил служитель. — Я подумал, может, вам будет интересно.

— Хорошо, — сказал наконец К., — я пойду с вами. — И он быстро пошел по лесенке впереди служителя.

В дверях канцелярии он чуть не упал — за порогом была еще ступенька.

— С посетителями тут не очень-то считаются, — сказал он.

— Тут ни с кем не считаются, — сказал служитель. — Вы только взгляните на приемную.

Перед ними был длинный проход, откуда грубо сколоченные двери вели в разные помещения чердака. Хотя непосредственного доступа света ниоткуда не было, все же темнота казалась неполной, потому что некоторые помещения отделялись от прохода не сплошной перегородкой, а деревянной решеткой, правда доходившей до потолка; оттуда проникал слабый свет, и даже можно было видеть некоторых чиновников, которые писали за столами или стояли у самых решеток, наблюдая сквозь них за людьми

в проходе. Вероятно, оттого, что было воскресенье, посетителей было немного. Держались они все очень скромно. С обеих сторон вдоль прохода стояли длинные деревянные скамьи, и на них, почти на одинаковом расстоянии друг от друга, сидели люди. Все они были плохо одеты, хотя большинство из них, судя по выражению лица, манере держаться, холеным бородкам и множеству других, едва уловимых признаков, явно принадлежали к высшему обществу. Никаких вешалок нигде не было, и у всех шляпы стояли под скамьями — очевидно, кто-то из них подал пример. Тот, кто сидел около дверей, увидел К. и служителя, привстал и поздоровался с ними, и, заметив это, следующие тоже решили, что надо здороваться, так что каждый, мимо кого они проходили, привставал перед ними. Никто не выпрямлялся во весь рост, спины сутулились, коленки сгибались, люди стояли, как нищие. К. подождал отставшего служителя и сказал;

— Как их всех тут унизили!

— Да, — сказал служитель, — это все обвиняемые.

— Неужели! — сказал К. — Но тогда все они — мои коллеги! — И он обратился к высокому, стройному, почти седому человеку: — Чего вы тут ждете? — вежливо спросил он.

От неожиданного обращения этот человек так растерялся, что на него тяжело было смотреть, тем более что это явно был человек светский и, наверно, в любых иных обстоятельствах отлично умел владеть собой, не теряя превосходства над людьми. А тут он не мог ответить на самый простой вопрос и смотрел на других соседей так, словно они обязаны ему помочь и без них ему не справиться. Но подошел служитель и, желая успокоить и подбодрить этого человека, сказал:

— Господин просто спрашивает, чего вы ждете. Ответьте же ему!

Очевидно, знакомый голос служителя подбодрил его.

— Я жду... — начал он и запнулся.

По-видимому, он начал с этих слов, чтобы точно сформулировать ответ на вопрос, но дальше не пошел. Некоторые из ожидающих подошли поближе и окружили стоявшего, но тут служитель сказал:

— Разойдитесь, разойдитесь, освободите проход!

Они немного отошли, однако на прежние места не сели. Между тем тот, кому задали вопрос, собрался с мыслями и ответил, даже слегка улыбаясь:

— Месяц назад я собрал кое-какие свидетельства в свою пользу и теперь жду решения.

— А вы, как видно, не жалуете усилий, — сказал К.

— О да, — сказал тот, — ведь это мое дело.

— Не каждый думает, как вы, — сказал К. — Я, например, тоже обвиняемый, но, клянусь спасением души, никаких свидетельств я не собираю и вообще ничего такого не предпринимаю. Неужели вы считаете это необходимым?

— Точно я ничего не знаю, — ответил тот, уже окончательно растерявшись; он явно решил, что К. над ним подшучивает, и ему, должно быть, больше всего хотелось дословно повторить то, что он уже сказал, но, встретив нетерпеливый взгляд К., он только проговорил: — Что касается меня, то я подал справки.

— Кажется, вы не верите, что я тоже обвиняемый? — спросил К.

— Что вы, конечно, верю, — сказал тот и отступил в сторону, но в его ответе прозвучала не вера, а только страх.

— Значит, вы мне не верите? — повторил К. и, бесконечно задетый униженным видом этого человека, взял его за рукав, словно хотел заставить его поверить.

Он совершенно не собирался сделать ему больно, да и дотронулся до него еле-еле, но тот вдруг закричал, слов-

но К. схватил его за рукав не двумя пальцами, а раскаленными щипцами. Этот нелепый крик окончательно вывел К. из себя; раз ему не верят, что он тоже обвиняемый, тем лучше, а вдруг его принимают за судью? И уже крепко с силой схватив того за плечо, он толкнул его на скамейку и пошел дальше.

— Все эти обвиняемые такие чувствительные, — сказал служитель.

За их спиной почти все ожидающие собрались вокруг того человека: кричать он перестал, и теперь все его, очевидно, расспрашивали подробно, что произошло. Навстречу К. шел стражник, его можно было отличить главным образом по сабле, у которой ножны, судя по цвету, были сделаны из алюминия. К. удивился этому и даже потрогал ножны рукой. Стражник, как видно, был привлечен шумом и спросил, что тут произошло. Служитель попытался как-то успокоить его, но он заявил, что должен сам все проверить, отдал честь и пошел дальше какими-то торопливыми, семенящими шажками; по-видимому, он страдал подагрой.

К. не стал больше обращать внимания ни на него, ни на посетителей, сидевших в проходе, так как, пройдя половину коридора, он увидел, что можно свернуть вправо через дверной проем. Он справился у служителя, правильно ли он идет, тот кивнул, и К. прошел туда. Ему было неприятно все время идти на два-три шага впереди служителя: именно тут, в этом здании, могло показаться, что ведут арестованного. Он то и дело поджидал служителя, но тот сразу опять отставал. Наконец К., желая прекратить это неприятное состояние, сказал:

— Ну, вот я и посмотрел, как тут все устроено, теперь я ухожу.

— Нет, вы еще не все видели, — небрежно бросил служитель.

— А я и не хочу все видеть, — сказал К., уже по-настоящему чувствуя усталость. — Я хочу уйти, где тут выход?

— Неужели вы уже заблудились? — удивленно спросил служитель. — Надо дойти до угла, а потом направо по тому проходу до самой двери.

— Пойдемте со мной, — сказал К., — покажите мне дорогу, не то я запутаюсь, здесь столько ходов и выходов.

— Нет, это единственный выход, — уже с упреком сказал служитель. — А вернуться с вами я не могу, мне еще надо передать поручение, я и так потерял с вами уйму времени.

— Нет пойдемте! — уже резко сказал К., словно наконец уличил служителя во лжи.

— Не кричите! — прошептал служитель. — Здесь кругом канцелярии. Если не хотите идти без меня, пройдемте еще немножко вперед, а лучше подождите тут, я только передам поручение, а потом с удовольствием провожу вас.

— Нет, нет, — сказал К., — ждать я не буду, вы должны сейчас же пройти со мной.

К. еще не осмотрелся в помещении, где они находились, и только когда открылась одна из бесчисленных дощатых дверей, он оглянулся. Какая-то девушка, привлеченная, очевидно, громким голосом К., вышла и спросила:

— Что вам угодно, сударь?

За ней, поодаль, в полутьме, показалась фигура приближающегося мужчины. К. посмотрел на служителя. Ведь он говорил, что никто не обратит внимания на К., а тут уже двое подходят; еще немного — и все чиновники обратят на него внимание, потребуют объяснить, зачем он здесь. Единственным понятным и приемлемым объяснением было бы то, что он обвиняемый и пришел узнать, на какое число назначен следующий допрос, но такого объяснения он и давать не хотел, тем более что оно не соответ-



ствовало бы действительности, ведь пришел он из чистого любопытства, а также из желания установить, что внутренняя сторона этого судопроизводства так же отвратительна, как и внешняя, но дать такое объяснение было совсем невозможно. Все, что он думал, подтверждалось, и дальше вникать у него охоты не было, его и так удручало все, что он увидел, сейчас он был просто не в состоянии встретиться с каким-нибудь важным чиновником, который мог вынырнуть из-за любой двери; нет, он хотел уйти со служителем, а если придется, то и один.

Но его молчаливое упорство, очевидно, бросалось в глаза, потому что и девушка и служитель так на него смотрели, будто в ближайший миг с ним произойдет какое-нибудь превращение и они боятся это пропустить. А в дверях уже стоял человек, которого К. заметил еще раньше, издали; он держался рукой за низкую притолоку и слегка раскачивался на носках, как нетерпеливый зритель. Девушка первая поняла, что странное поведение К. объясняется легким недомоганием, она тут же принесла кресло и спросила:

— Может быть, вы присядете?

К. сразу сел и тяжело облокотился на ручки кресла, словно ища опоры.

— Немного закружилась голова, правда? — спросила девушка. Ее лицо склонилось к нему совсем близко с тем строгим выражением, какое свойственно многим женщинам именно в расцвете молодости.

— Не волнуйтесь, — сказала она, — тут это дело обычное; почти с каждым, кто приходит сюда впервые, бывает такой припадок. Вы ведь здесь в первый раз? Да, тогда это вполне естественно. Солнце страшно нагревает стропила крыши, а от перегретого дерева воздух становится тяжелым, душным. Вот почему, несмотря на все преимущества, это помещение не очень подходит для канцелярии.

А что касается воздуха, то при большом скоплении клиентов — а это бывает почти каждый день — тут просто дышать нечем. Если еще вспомнить, что тут часто вешают сушить белье — нельзя же запретить жильцам пользоваться чердаком, — то вы и сами поймете, почему вам стало не по себе. Но в конце концов и к такому воздуху привыкаешь. Вот придете сюда еще раза два-три и даже не почувствуете духоты. Вам уже немного лучше?

К. ничего не ответил — слишком неприятно было из-за внезапной слабости ощущать свою зависимость от этих людей, а кроме того, когда он узнал, почему ему стало дурно, он почувствовал себя не только не лучше, а, пожалуй, еще хуже. Девушка сразу это заметила, взяла багор, стоявший у стены, и открыла небольшой люк над головой у К., чтобы дать доступ свежему воздуху. Но посыпалось столько сажки, что девушке пришлось тут же закрыть люк и смахнуть сажу с рук К. своим носовым платком, потому что сам он слишком ослабел. Он охотно пошел бы тут, чтобы собраться с силами и уйти, и чем меньше на него обращали бы внимания, тем скорее он пришел бы в себя. Но тут девушка сказала:

— Здесь сидеть нельзя, мы мешаем движению.

К. вопросительно взглянул на нее, не понимая, о каком движении идет речь.

— Если хотите, я проведу вас в медицинскую комнату. Помогите мне, пожалуйста! — обратилась она к мужчине, стоявшему в дверях, и он сразу подошел ближе.

Но К. вовсе не хотел идти в медицинскую комнату, он больше всего боялся, что его уведут: наверно, там чем дальше, тем хуже.

— Я уже могу и дти, — сказал он, и как ни удобно ему было сидеть в кресле, он, весь дрожа, встал на ноги. Но удержаться на ногах он был не в силах.

— Не могу, — сказал он, покачивая головой, и со вздохом снова опустился в кресло. Он вспомнил служителя суда, который, несмотря ни на что, мог бы помочь ему выйти отсюда, но тот, как видно, давно ушел. Он заглянул в просвет между мужчиной и девушкой, но служителя не увидел.

— Я считаю, — сказал мужчина, одетый весьма элегантно — особенно бросалась в глаза серая жилетка, заканчивавшаяся двумя острыми уголками, — я считаю, что нездоровье этого господина вызвано здешней атмосферой, поэтому будет разумнее всего, да и ему приятнее, если мы не станем отводить его в медицинскую комнату, а просто выведем из канцелярии.

— Вот именно, — воскликнул К. и от радости не дал тому договорить. — Конечно же, мне станет сразу лучше, да я и не настолько ослаб, меня надо только немного поддержать под мышки, я вас никак не затрудню, тут ведь близко, доведите меня до двери, я немножко посижу на ступеньках и совсем отдохну, у меня таких припадков никогда не бывало, удивляюсь, как это вышло. Ведь я и сам служащий, привык к канцелярскому воздуху, но здесь, как вы изволили заметить, слишком уж душно. Будьте любезны, проводите меня немного, у меня голова кружится, мне дурно, когда я стою без поддержки. — И он приподнял плечи, чтобы его могли подхватить под мышки.

Но мужчина не внял его просьбе и, не вынимая рук из карманов, громко рассмеялся.

— Вот видите, — сказал он девушке, — этому господину не вообще плохо, а плохо только здесь!

Девушка тоже улыбнулась, но слегка похлопала мужчину по плечу кончиками пальцев, словно он позволил себе слишком явную насмешку над К.

— Да что в вы, — сказал тот, не переставая смеяться, — я же действительно хочу помочь ему выйти.

— Вот и прекрасно, — сказала девушка, кивнув хорошенькой головкой. — И, пожалуйста, не придавайте слишком много значения нашему смеху, — обратилась она к К., видя, что тот опять помрачнел и уставился перед собой, не интересуясь никакими объяснениями. — Этот господин — вы разрешите вас представить? (тот жестом выразил согласие) — этот господин заведует справочным бюро. Он дает ожидающим клиентам все необходимые справки, а так как народ не слишком знаком с нашей судебной процедурой, то справок требуется очень много. Он может ответить на любой вопрос. Вы как-нибудь испытайте его, если угодно. Но это не единственное его преимущество. Второе преимущество — его элегантный костюм. Мы, то есть все служащие, как-то решили, что заведующему справками, который обычно первым встречается с клиентами, необходимо отлично одеваться, для того чтобы сразу произвести хорошее впечатление. Мы, остальные, как вы можете судить по мне, к сожалению, одеты очень плохо и старомодно, да и смысла нет тратиться на одежду, ведь мы почти все время проводим в канцелярии, мы даже ночуем тут. Но, как я уже сказала, мы считаем необходимым, чтобы заведующий справочным бюро был хорошо одет. И так как от нашего начальства, настроенного в этом вопросе несколько странно, добиться ничего нельзя, то мы провели сбор — в нем и клиенты участвовали — и купили ему не только этот прекрасный костюм, но и несколько других. Казалось бы, все сделано для того, чтобы он производил хорошее впечатление, но своим смехом он все портит, отпугивает людей.

— Верно, — сказал насмешливо господин из справочной. — Я только не понимаю, фрейлейн, почему вы посвящаете этого господина в наш внутренний распорядок, до которого ему дела нет. Разве вы не видите, что он сейчас целиком поглощен своими собственными делами?

К. не испытывал никакого желания противоречить девушке, намерения у нее были явно самые добрые, должно быть, ей хотелось отвлечь его или дать ему возможность собраться с силами, но ей это не удалось.

— Надо же мне было объяснить ему причину вашего смеха, — сказала девушка. — Он мог обидеться.

— Наверно, он и не такие обиды готов простить, лишь бы я вывел его отсюда.

К. опять ничего не сказал, даже не поднял глаз; он не возражал, чтобы эти двое говорили о нем как о неодушевленном предмете, ему это было даже приятнее. Но вдруг рука заведующего бюро легла на его правую, а рука девушки — на левую руку.

— Ну, вставайте же, слабый вы человек, — сказал заведующий.

— Я вам очень благодарен, — сказал К., обрадовавшись неожиданной помощи, медленно поднялся и передвинул эти чужие руки так, чтобы они его поддерживали как следует.

— Вам могло показаться, — зашептала девушка на ухо К., когда они подходили к коридору, — будто я стараюсь представить заведующего справочным бюро в чересчур выгодном свете, но поверьте, что я говорю правду. У него не злое сердце. Ведь он не обязан выводить больных клиентов, однако сами видите, как он помогает. Может быть, все мы тут не такие уж злые, может, мы охотно помогли бы каждому, но ведь мы в суде, и нас легко принять за злых людей, которые никому не желают помогать. Я от этого просто страдаю.

— Не хотите ли тут присесть? — спросил заведующий справочным бюро.

Они уже вышли в коридор и очутились как раз напротив того обвиняемого, с которым К. разговаривал раньше. Теперь К. было немного стыдно; раньше он стоял

перед этим человеком так уверенно, а теперь двое должны были его поддерживать, заведующий вертел в руках его шляпу, прическа у него растрепалась, волосы свисали на потный лоб. Но обвиняемый как будто ничего не заметил, смиренно стоя перед заведующим справочным бюро; тот не обращал внимания на его попытки объяснить свое присутствие.

— З н а ю , — говорил обвиняемый, — сегодня еще не может быть решения по моему заявлению. И все же я пришел. Дай, думаю, подожду, ведь сегодня воскресенье, время у меня есть, а тут я никому не мешаю.

— Да вы не извиняйтесь, — сказал заведующий, — ваша щепетильность весьма похвальна. Правда, вы зря занимаете место, но пока вы не мешаете мне, я не стану возражать, можете самолично следить за ходом своего дела. Когда насмотришься на людей, бесстыдно пренебрегающих своим долгом, то к таким, как вы, начинаешь относиться терпимее. Садитесь!

— Как он умеет разговаривать с клиентами! — шепнула девушка.

К. только кивнул головой и сразу вздрогнул, когда заведующий справочной снова спросил его:

— Не хотите ли посидеть?

— Н е т , — сказал К. , — в отдыхе я не нуждаюсь.

Он постарался сказать это как можно решительнее, но на самом деле ему очень полезно было бы присесть. Он ощущал что-то вроде морской болезни. Ему казалось, что он на корабле в сильнейшую качку. Казалось, волны бьют о деревянную обшивку, откуда-то из глубины коридора подымается рев кипящих валов, пол в коридоре качается поперек, от стенки к стенке, и посетители с обеих сторон то подымаются, то опускаются. Тем непонятнее было спокойствие девушки и мужчины, которые его вели. Он был всецело предоставлен им; выпусти они его, и он тут же

упадет, как полено. Прищуриив глаза, они обменивались быстрыми взглядами. К. чувствовал размеренность их шагов, он не попадал в такт, потому что они почти что несли его. Наконец он услышал, как они обращаются к нему, но ничего не понял. Он воспринимал только сплошной шум, наполнявший все вокруг, а сквозь него, казалось, пробивался однотонный высокий звук, похожий на звук сирены.

— Громче, — прошептал он, опустив голову, ему было стыдно от сознания, что они говорят достаточно громко, а он их не понимает. И тут наконец перед ним словно расступилась стена, навстречу повеяло воздухом, и он услышал, как рядом сказали:

— То он хочет уйти, а то ему сто раз повторяешь, что тут выход, а он с места не двигается.

К. увидел, что он стоит перед дверью, которую девушка распахнула настежь. Он почувствовал, что силы внезапно вернулись к нему, и, чтобы полностью предвкусить ощущение свободы, он сразу вышел на лестницу и уже оттуда стал прощаться со своими провожатыми, которые наклонились к нему.

— Большое спасибо, — повторял он, без конца пожимая протянутые руки, и выпустил их, только заметив, что они оба, привыкшие к канцелярскому воздуху, плохо переносят сравнительно свежий воздух лестничного пролета. Они еле отвечали, и девушка, наверно, упала бы, если бы К. с невероятной поспешностью не захлопнул дверь. К. постоял минуту, потом с помощью карманного зеркальца привел в порядок волосы, поднял шляпу, лежащую на следующей ступеньке, — как видно, ее туда сбросил заведующий, — и сбежал по лестнице так бодро, такими большими прыжками, что ему даже стало не по себе от столь быстрой перемены. Никогда его крепкий и в общем здоровый организм не преподносил ему таких сюр-

призов. Неужто его тело взбунтовалось и в нем происходит иной жизненный процесс, не тот, прежний, который протекал с такой легкостью? Не отказываясь от мысли обратиться как-нибудь к врачу, он одно решил твердо — и в этом вопросе он в чужих советах не нуждался — постараться в будущем использовать воскресные утра лучше, чем сегодня.



ПОДРУГА ФРЕЙЛЕЙН БЮРСТНЕР

**В** течение ближайших дней К. никак не мог сказать фрейлейн Бюрстнер хотя бы два-три слова. Он всячески пытался подойти к ней, но она всегда ухитрялась избегать его. После службы он сразу шел домой, усаживался в своей комнате на кушетку, не зажигая света, ничем другим не занимался — только следил, не появится ли кто-нибудь в прихожей. А если проходила горничная и притворяла дверь его, как ей казалось, пустой комнаты, он через некоторое время вставал и снова открывал дверь. По утрам он подымался на час раньше обычного, чтобы встретить фрейлейн Бюрстнер, пока она не ушла в контору. Но все его попытки срывались. Тогда он написал ей письма и на адрес конторы и на домашний адрес, пытаясь оправдать свое поведение, предлагал чем угодно загладить свой промах, обещал никогда не преступать границ, которые она ему поставит, и только просил дать ему возможность поговорить с ней, тем более что он не мог ни о чем договориться с фрау Грубах, не посоветовавшись предварительно с фрейлейн Бюрстнер. А в конце письма сообщал, что в следующее воскресенье он будет весь день дожидаться в своей комнате — пусть даст хоть какой-то знак, что согласна исполнить его просьбу о свидании или по крайней мере объяснить ему, почему эта просьба невыполнима, причем он обещает всецело подчиниться ее требованиям. Письма не вернулись, но и ответа не последовало. Однако в следующее воскресенье ему был подан знак, не допускавший никаких сомнений. С самого утра К. увидел через

замочную скважину необычную суету в прихожей, причина которой скоро выяснилась. Учительница французского языка — впрочем, она была немка по фамилии Монтаг, — чахлая, бледная, хроменькая девушка, занимавшая до сих пор отдельную комнату, перебиралась в комнату к фрейлейн Бюрстнер. Уже несколько часов шмыгала она взд и вперед через прихожую. То она забывала взять что-то из белья, то коврик, то книжку, и за всем по отдельности ей приходилось бегать, все переносить в новое жилье.

Когда фрау Грубах принесла К. его завтрак — с тех пор как он так на нее разгневался, она даже мелочей не поручала прислуге, — К., не удержавшись, заговорил с ней в первый раз после пятидневного молчания:

— Почему сегодня такой шум в передней? — спросил он, наливая себе кофе. — Нельзя ли это прекратить? Неужто именно в воскресенье надо делать уборку?

И хотя К. не смотрел на фрау Грубах, он заметил, что она вздохнула словно с облегчением. Даже этот суровый вопрос она восприняла как примирение или хотя бы как шаг к примирению.

— Никакой уборки нет, господин К., — сказала она, — это фрейлейн Монтаг перебирается к фрейлейн Бюрстнер, переносит свои вещи.

Больше она ничего не сказала, выжидая, как примет К. ее слова и будет ли ей разрешено говорить дальше. Но К. решил ее испытать и, задумчиво помешивая ложечкой свой кофе, промолчал. Потом поднял глаза и спросил:

— А вы уже отказались от своих прежних подозрений относительно фрейлейн Бюрстнер?

— Ах, господин К., — воскликнула фрау Грубах, явно ждавшая этого вопроса, и умоляюще сложила руки перед К. — Вы слишком близко приняли к сердцу совершенно случайное замечание. У меня и в мыслях не было обидеть вас или еще кого-нибудь. Ведь вы меня так давно знаете,

господин К., вы мне должны верить. Вы не можете себе представить, как я страдала все эти дни! Неужели я способна оговорить своих квартирантов! И вы, вы, господин К., могли этому верить! Да еще предлагали, чтобы я отказала вам от квартиры! Вам — и отказала! — Слезы уже заглушили последние слова, она закрыла лицо передником и громко зарыдала.

— Не плачьте, фрау Грубах, — сказал К., глядя в окно. Он думал только о фрейлейн Бюрстнер и о том, что она взяла к себе в комнату постороннюю девушку. — Да не плачьте же! — повторил он, обернувшись и увидев, что фрау Грубах все еще плачет. — Я в тот раз не хотел сказать ничего дурного. Мы просто друг друга не поняли. Это случается и со старыми друзьями.

Фрау Грубах выгнула из-за передника, чтобы убедиться, действительно ли К. на нее не сердится.

— Да, да, это правда, — сказал К. По всему поведению фрау Грубах он понял, что ее племянник, капитан, ничего не выдал, и потому решил добавить: — Неужели вы и вправду поверили, что из-за какой-то малознакомой барышни я с вами поссорюсь?

— То-то и оно, господин К., — сказала фрау Грубах. Но, к несчастью, как только она чувствовала себя хоть немного увереннее, она сразу становилась бестактной: — Я и то себя спрашивала, с чего бы это господин К. так заступался за фрейлейн Бюрстнер? Почему он ссорился со мной из-за нее? Ведь он знает, что я ночами не сплю, когда он на меня сердится. А про барышню я только то и говорила, что видела своими глазами!

К. ничего ей не возразил, иначе ему пришлось бы тотчас выставить ее из комнаты, а этого он не хотел. Он только молча пил кофе, как бы подчеркивая, что фрау Грубах тут уже лишняя. За дверью слышалось шарканье: фрейлейн Монтаг опять проходила через переднюю.

— Вы слышите? — спросил К. и повел рукой к двери.

— Да, — сказала со вздохом фрау Грубах, — я и сама хотела ей помочь и горничную посылала на помощь, да она такая упрямая, все хочет сама перенести. Удивляюсь я на фрейлейн Бюрстнер. Мне и то неприятно, что эта Монтаг у меня живет, а фрейлейн Бюрстнер вдруг берет ее к себе в комнату.

— Вас это не должно касаться, — сказал К. и раздавил ложечкой остатки сахара в чашке. — Разве вам от этого убыток?

— Нет, — сказала фрау Грубах, — в сущности мне это даже на руку, у меня комната освободится, можно будет туда поместить моего племянника, капитана. Мне давно уже боязно, что он вам мешает, оттого что пришлось на эти несколько дней поселить его в гостиной. Он не очень-то церемонится.

— Что за выдумки! — сказал К. и встал со стула. — Об этом и речи нет. Должно быть, вы считаете меня таким капризным, оттого что меня раздражает шмыганье этой Монтаг. Слышите, опять она идет.

Фрау Грубах беспомощно смотрела на К.:

— Может быть, господин К., сказать ей, чтобы она отложила переноску? Если вам угодно, я скажу сейчас же!

— Но ведь она должна перебраться к фрейлейн Бюрстнер! — сказал К.

— Да, — подтвердила фрау Грубах, не совсем понимая, к чему он клонит.

— Ну вот, — сказал К., — значит, ей необходимо перенести вещи.

Фрау Грубах только кивнула. Эта немая беспомощность, которая так походила на упрямство, еще больше раздражала К. Он стал расхаживать по комнате от окна

до двери, из-за чего фрау Грубах никак не могла выйти, хотя ей только этого и хотелось.

К. подошел к двери как раз в ту минуту, когда к нему постучали. Вошла горничная и доложила, что фрейлейн Монтаг хотела бы сказать господину К. несколько слов и просит его пройти в столовую, где она ждет. К. задумчиво выслушал горничную, потом почти что с насмешкой взглянул на испуганную фрау Грубах. Этот взгляд, казалось, говорил, что он, К., давно предвидел приглашение фрейлейн Монтаг, что и это тоже одно из тех мучений, какие ему приходится терпеть от жильцов фрау Грубах в воскресное утро. Он попросил горничную передать, что сейчас придет, подошел к шкафу, чтобы сменить пиджак, и в ответ на жалобные причитания фрау Грубах в адрес назойливой особы он только попросил ее убрать прибор с завтраком.

— Да вы же почти ни до чего не дотронулись! — сказала фрау Грубах.

— Ах, да уберите же скорее! — крикнул К. Ему казалось, что и еда как-то связана с фрейлейн Монтаг и потому особенно противна.

Проходя через прихожую, он взглянул на закрытую дверь комнаты фрейлейн Бюрстнер. Но его приглашали не в эту комнату, а в столовую, и он рывком открыл туда дверь, даже не постучавшись.

Это была очень длинная и узкая комната в одно окно. В ней только и хватило места для двух шкафов, поставленных углом около дверей, все остальное пространство занимал длинный обеденный стол; он начинался у дверей и тянулся почти до большого окна, к которому из-за этого трудно было пройти. Стол уже накрыли на много персон, так как по воскресеньям почти все жильцы обедали тут.

Когда К. вошел, фрейлейн Монтаг двинулась ему навстречу от окна вдоль стола. Они молча поздоровались.

Потом фрейлейн Монтаг, как всегда неестественно закинув голову, сказала:

— Не знаю, известно ли вам, кто я такая.

К. посмотрел на нее прищурясь:

— Разумеется, известно, — сказал он. — Ведь вы давно живете тут, у фрау Грубах.

— Но, как мне кажется, вы мало интересуетесь этим пансионом?

— Мало, — сказал К.

— Может быть, вы присядете? — спросила фрейлейн Монтаг.

Оба молча вытащили два стула и сели в конце стола друг против друга. Но фрейлейн Монтаг тут же встала — она забыла сумочку на подоконнике и, шаркая ногами, пошла за ней через всю комнату. Она вернулась от окна, слегка покачивая сумочку на пальце, и сказала:

— Мне хотелось бы передать вам несколько слов по поручению моей подруги. Она собиралась прийти сама, но ей сегодня нездоровится. Она просила вас извинить ее и выслушать меня. Впрочем, она все равно не сказала бы вам больше того, что скажу я. Напротив, я думаю, что могу сказать вам даже больше, так как я в некотором отношении беспристрастна. Вы со мной согласны?

— А что тут можно сказать? — ответил К. Ему начало, что фрейлейн Монтаг уставилась на его губы. Она словно предвосхищала все, что он хотел сказать. — Очевидно, фрейлейн Бюрстнер не сооблаговолила встретиться со мной для личного разговора, как я ее просил.

— Да, это так, — сказала фрейлейн Монтаг. — Или, вернее, все это вовсе не так. Вы слишком резко ставите вопрос. Вообще на такие разговоры и согласия не дают и отказа не бывает. Но случается, что разговор просто считают бесполезным, и в данном случае так оно и есть. Теперь, после вашего замечания, я могу говорить открито.

венно. Вы просили мою приятельницу объясниться с вами письменно или устно. Но моя приятельница, как я предполагаю, отлично знает, о чем будет разговор, и по неизвестным мне причинам уверена, что такое объяснение никому пользы не принесет. Вообще же она мне рассказала об этом только вчера, и то совсем мимоходом, причём пояснила, что и для вас этот разговор совершенно неважен, потому что вы только случайно попали на эту мысль и сами поймете, а может быть, уже и поняли без особых разъяснений, всю нелепость своей затеи. Я ей ответила, что, быть может, все это и верно, но для полной ясности я считаю бесполезным дать вам исчерпывающий ответ. Я вызвалась передать ее ответ, и после некоторых колебаний моя приятельница согласилась. Надеюсь, что я действовала и вам на пользу, ведь всякая неизвестность, даже в самом пустячном деле, всегда мучительна, и если ее можно, как в данном случае, легко устранить, то надо это сделать без промедления.

— Благодарю вас, — тут же сказал К., медленно встал, поглядел на фрейлейн Монтаг, потом на стол, потом в окно — дом напротив был озарен солнцем — и пошел к двери. Фрейлейн Монтаг пошла было следом за ним, словно не совсем ему доверяла. Но у выхода им обоим пришлось отступить: дверь распахнулась, и вошел капитан Ланц. К. впервые увидал его вблизи. Это был высокий мужчина лет сорока, с загорелым до черноты мясистым лицом. Он сделал легкий поклон, относившийся и к К., потом подошел к фрейлейн Монтаг и почтительно поцеловал ей руку. Двигался он очень легко и ловко. Его вежливое обращение с фрейлейн Монтаг резко отличалось от того, как с ней обращался сам К. Но фрейлейн Монтаг, по-видимому, не обижалась на К., она, как заметил К., даже собиралась представить его капитану. Но К. вовсе не хотел, чтобы его кому-то представляли, он все равно не мог бы

заставить себя быть любезным ни с фрейлейн Монтаг, ни с капитаном, а то, что капитан поцеловал ей руку, сразу сделало их в глазах К. сообщниками, которые, притворяясь в высшей степени безобидными и не заинтересованными, мешают ему встретиться с фрейлейн Бюрстнер. Но К. считал, что он не только это понял; он понял также, что фрейлейн Монтаг выбрала неплохой, хотя и обоюдоострый способ. Она преувеличила значительность тех взаимоотношений, которые создались между К. и фрейлейн Бюрстнер, а главное — она преувеличила значение того разговора, которого добивался К., и при этом старалась так повернуть дело, что выходило, будто сам К. придает всему слишком большое значение. Тут-то она и ошибалась: К. вовсе не желал ничего преувеличивать, он отлично знал, что фрейлейн Бюрстнер просто жалкая машинисточка, которая не сможет долго сопротивляться ему. При этом он нарочно не принимал во внимание то, что он узнал про фрейлейн Бюрстнер от хозяйки. Все это мелькнуло у него в голове, когда он выходил из столовой с небрежным поклоном. Он хотел сразу пройти к себе в комнату, но тут в столовой за его спиной раздался смешок фрейлейн Монтаг, и у него мелькнула мысль, что, может быть, ему удастся удивить и капитана и фрейлейн Монтаг. Он огляделся вокруг, прислушался, не помешает ли ему кто-нибудь из соседних комнат, но везде было тихо, слышался лишь разговор из столовой, да из коридора, ведущего на кухню, доносился голос фрау Грубах. Обстановка показалась К. благоприятной, и, подойдя к двери фрейлейн Бюрстнер, он тихо постучал. Но ответа не было. Он постучал еще раз — и снова ему не ответили. Неужели она спит? А может быть, ей и вправду нездоровится? Или она нарочно не открывает, зная, что только К. может стучать так тихо? К. решил, что она нарочно прячется, и постучал сильнее, а когда на стук никто не отозвался, К., чувствуя,



что поступает не только плохо, но и совершенно нелепо, осторожно приоткрыл дверь. В комнате никого не было. Да ничто и не напоминало знакомую комнату. У стены стояли рядом две кровати, все три кресла у дверей были завалены ворохом белья и платья, шкаф был открыт настежь. Очевидно, фрейлейн Бюрстнер ушла, пока фрейлейн Монтаг уговаривала К. Но его это не очень огорчило, он почти и не ждал, что так легко найдет фрейлейн Бюрстнер, и сделал эту попытку почти исключительно назло фрейлейн Монтаг. Но именно поэтому ему было особенно неприятно, когда он, закрывая дверь, вдруг увидел, что капитан и фрейлейн Монтаг стоят и беседуют в дверях столовой. Возможно, что они там стояли уже в ту минуту, когда К. отворял дверь, но они сделали вид, что совсем не следят за ним, тихо переговаривались между собой и смотрели на К. рассеянным взглядом, как обычно смотрит человек, поглощенный разговором. Но К. все-таки стало неловко под их взглядами, и, прижимаясь к стенке, он поспешил проскользнуть к себе в комнату.



В один из ближайших вечеров, когда К. проходил по коридору, отделявшему его кабинет от главной лестницы, — в тот раз он уходил со службы почти последним, только в экспедиции при тусклом свете лампы работали два курьера, — он услышал вздохи за дверью, где, как он думал, помещалась кладовка, хотя он сам никогда ее не видел. Он остановился удивленный, прислушался, чтобы убедиться, что он не ошибается. На минуту там стало тихо, потом снова послышались вздохи. К. хотел было позвать одного из курьеров — мог понадобиться свидетель, — но его охватило такое безудержное любопытство, что он буквально рывком распахнул дверь. Действительно, как он и предполагал, там была кладовка. За порогом громоздились старые, ненужные проспекты, опрокинутые глиняные бутылки из-под чернил. Но в самой комнатухе стояли трое мужчин, согнувшись под низким потолком. Свечка, прикрепленная к полочке, освещала их сверху.

— Что вы тут делаете? — спросил К., запинаясь от волнения, но стараясь сдерживать голос.

На одном из мужчин — очевидно, начальнике над остальными — была какая-то странная кожаная безрукавка с глубоким вырезом, так что руки и грудь были обнажены. Он ничего не ответил. Но те двое кричали:

— Ах, сударь! Нас сейчас высекут, потому что ты пожаловался на нас следователю!

И только тут К. узнал обоих стражей — Франца и Виллема; третий держал наготове розгу, словно собирался их высечь.

— Ну не т, — проговорил К., глядя на них в упор, — я на вас вовсе не жаловался, а просто рассказал, что произошло у меня на квартире. Кстати, ваше поведение было отнюдь не безукоризненным.

— Сударь, — сказал Виллем, тогда как Франц явно старался спрятаться за ним от третьего, — если бы вы только знали, как мало нам платят, вы бы не судили нас так строго. Мне надо кормить семью, а Франц хотел жениться, вот и стараешься урвать, что только можно; одной работой не проживешь, хоть из кожи лезешь вон. У вас бельецо тонкое, вот я на него и польстил, хотя нам, страже, это и запрещено. Конечно, нехорошо вышло, но уж так повелось, что белье достается стражам, издавна так повелось, верьте мне; оно и понятно: разве для того, кто имел несчастье быть арестованным, это играет какую-нибудь роль? Однако, если он пожалуется, нас наказывают.

— Ничего этого я не знал, а кроме того, я никоим образом не требовал для вас наказания, речь шла только о принципе.

— Франц, — обратился Виллем ко второму стражу, — а что я тебе говорил? Господин вовсе и не требовал для нас наказания. Сам слышал: он и не знал, что нас ждет наказание.

— И все они зря болтают, ты не расстраивайся, — сказал третий, обращаясь к К. — Наказание их ждет и справедливое и неизбежное.

— Ты его не слушай... — сказал Виллем и осекся, торпливо поднося к губам руку, по которой его хлестнула розга. — Нас наказывают только из-за твоего доноса. Иначе нам ничего не сделали бы, даже если бы узнали про наши дела. А разве это называется справедливостью? Оба мы,

особенно я, служим давно, отлично себя зарекомендовали, да ты и сам должен признать, что с точки зрения властей мы тебя охраняли прекрасно. Мы уже надеялись продвигнуться по службе и думали: сами станем экзекуторами, как вот он, ему повезло, на него никто не жаловался, такие жалобы у нас вообще редкость. А теперь, сударь, все пропало, карьере нашей конец, теперь нас пошлют на самую черную работу, это не то, что служить стражами, а к тому же еще крепко высекут.

— Неужели эта розга так больно сечет? — спросил К. и потрогал розгу, которой помахивал перед ним экзекутор.

— Да ведь нам придется раздеться догола, — сказал Виллем.

— Ах, вот оно что, — сказал К. и пристально посмотрел на экзекутора; тот был загорелый, как матрос, и лицо у него было здоровое и наглое. — Разве нет возможности избавиться их от порки? — спросил К.

— Ну нет! — с улыбкой сказал тот и тряхнул головой. — Раздевайтесь! — приказал он стражам. И тут же обратился к К. — Не верь им, они от страха перед поркой малость свихнулись. Ну что он, — тут он кивнул на Виллема, — что он тут болтал о своей карьере? Ведь это просто смех. Взгляни, какой он жирный, этот жир сразу и розгой не пробьешь, а знаешь, почему он так разжирел? У него привычка съесть завтраки всех арестованных. Наверно, он и твой завтрак съел? Ну вот, что я говорил! Разве с таким брюхом можно стать экзекутором? Никогда в жизни.

— Неправда, такие экзекуторы тоже бывают, — вмешался Виллем, уже растегивающий брючный пояс.

— Нет! — отрезал экзекутор и провел розгой по его шее так, что тот вздрогнул. — И вообще не вмешивайся, а раздевайся поскорее.

— Я тебе хорошо заплачу, только отпусти и х , — сказал К. и, не глядя на эскутора — такие дела лучше вершить, опустив глаза, вынул свой бумажник.

— Ну нет, потом ты и на меня донесешь, подведешь и меня под розги. Нет, нет!

— Не глужи! — сказал К. — Если бы я хотел наказания этим двум, я бы сейчас не пытался их выкупить. Я мог бы просто захлопнуть дверь, ничего не видеть и не слышать и спокойно уйти домой. Но ведь я этого не делаю, наоборот, я всерьез стараюсь их освободить. Если бы я только подозревал, что их накажут, даже если б им только грозило наказание, я бы никогда не назвал их имена. Да я их и не считаю виновными, виновата вся организация, виноваты высшие чиновники.

— Верно! — крикнули стражи, и тут же розга хлестнула по их голым спинам.

— Если бы под твою розгу попал сам судья , — сказал К. и придержал розгу, уже готовую опуститься вновь , — я бы никак не стал мешать побоям, напротив, я дал бы тебе денег, чтобы ты подкрепился для доброго дела.

— Слова твои похожи на правду , — сказал эскутор , — но все-таки подкупить себя я не позволю. Раз я приставлен для порки, значит, надо пороть.

Тут стражник Франц, который вел себя довольно сдержанно в ожидании благоприятного исхода от вмешательства К., в одних брюках подошел к двери и, упав на колени, вцепился в рукав К., шепча:

— Если ты не можешь добиться пощады для нас обоих, попробуй освободить хотя бы меня. Виллем старше, он во всех отношениях не такой чувствительный, да к тому же его уже пороли года два назад, правда, не сильно, но меня еще ни разу не бесчестили, да и виноват во всем Виллем, это он меня подбил, он меня учит и хорошему и плохому. А внизу у входа в банк ждет моя невеста, мне так стыдно,

так ужасно стыдно! — Он вытер залитое слезами лицо о пиджак К.

— Ну, я больше ждать не буду! — сказал экзекутор, схватил розгу обеими руками и стал хлестать Франца, а Виллем забился в угол и подсматривал исподтишка, не смея обернуться.

Вдруг Франц поднял крик, такой неумолчный и непрерывный, словно не человек кричал, а терзали какой-то музыкальный инструмент. Весь коридор наполнился этими звуками, их, наверно, было слышно во всем здании.

— Не кричи! — воскликнул К., не удержавшись и напряженно вглядываясь в коридор, откуда могли прибежать курьеры, толкнул Франца, не сильно, но все же так, что тот как подкошенный упал на пол, судорожно шаря руками по земле; но экзекутор не зевал, розга нашла Франца и на полу и стала равномерно нахлестывать извивающееся тело. А в конце коридора уже показался курьер, за ним, шагах в двух, второй. К. быстро захлопнул дверь, подошел к окну, выходящему во двор, и распахнул его настежь. Крики совершенно прекратились. Чтобы не дать курьерам подойти слишком близко, он крикнул:

— Это я!

— Добрый день, господин прокуррист! — откликнулись те. — Что-нибудь неладное?

— Нет, нет! — крикнул К. — Просто собака во дворе завыла. — Но курьеры не двинулись с места, и он добавил: — Можете идти работать!

Чтобы не связываться в разговор с курьерами, он высунулся из окна. Когда он через несколько минут обернулся, те уже ушли. Но К. так и остался стоять у окна; в кладовую он зайти не осмеливался, домой идти тоже не хотелось. Двор был небольшой, квадратный, и, глядя вниз, К. видел вокруг служебные помещения с темными

окнами; только в самых верхних стеклах отражался лунный свет. К. напряженно вглядывался в дальний угол двора, где сгрудились какие-то тачки. Его мучило, что он не смог предотвратить порку, но он был не виноват в этой неудаче: если бы Франц не закричал — конечно, ему, наверняка было очень больно, но в решающую минуту надо уметь владеть собой, — если бы он не закричал, то К., по всей видимости, нашел бы способ уговорить экзекутора. Раз все низшие служащие такая сволочь, почему же этот экзекутор, выполняющий самые бесчеловечные обязанности, должен быть исключением? И к тому же К. хорошо видел, как у него при виде ассигнации заблестели глаза; наверно, он и порол так старательно, чтобы нагнать цену. Разумеется, К. не скупился бы, ему действительно хотелось освободить стражей: если он уж начал борьбу с разложением в судебных органах, то естественно, что он вмешивается и тут. Но как только Франц поднял крик, все сорвалось. Не мог же К. допустить, чтобы курьеры, а может быть, и другие люди сбежались сюда и застали его в кладовой за переговорами с этим сбродом. Такой жертвы от К. никто, разумеется, требовать не мог. Если бы он на это решился, то уже проще было бы ему самому раздеться вместо этих стражей и подставить свою спину под удары экзекутора. Впрочем, тот наверняка не принял бы такую замену, потому что он, ничего не выиграв, тяжело нарушил бы свой долг, и нарушил бы его еще вдвойне, потому что К., находясь под следствием, наверно, считался неприкосновенным для всех служителей правосудия. Конечно, тут могли существовать и всякие другие определения. Словом, К. ничего другого сделать не мог, как только захлопнуть дверь, хотя этим он вовсе не устранил грозящую опасность. Жаль, конечно, что он напоследок толкнул Франца, но это можно объяснить его возбужденным состоянием.

Вдали слышались шаги курьеров; не желая, чтобы его заметили, К. закрыл окно и пошел к парадной лестнице. Проходя мимо кладовой, он остановился и прислушался. Было совсем тихо. Может быть, этот малый запорол стражей насмерть — ведь они были всецело в его власти. К. потянулся было к двери, но тут же отдернул руку. Помочь он все равно никому не поможет, а сейчас могут подойти курьеры. Но он тут же дал себе слово вывести это дело на чистую воду и, насколько у него хватит сил, добиться наказания для истинных виновников — высших чинов суда, которые так и не осмелились до сих пор показаться ему на глаза. Спускаясь по внешней лестнице банка, он пристально разглядывал всех прохожих, но даже поодаль не было девушки, которая ждала бы кого-нибудь. Значит, слова Франца о невесте, якобы ожидавшей его, оказались ложью — правда, простительной, но имеющей лишь одну цель: возбудить еще большую жалость.

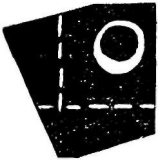
На следующий день К. никак не мог забыть историю с стражами, работал рассеянно, и чтобы справиться со всеми делами, ему пришлось просидеть в своем кабинете еще дольше, чем вчера. По дороге домой он прошел мимо кладовки и приоткрыл дверь, уже как бы по привычке. Но то, что он увидел вместо ожидаемой темноты, совершенно ошеломило его. Ничего не изменилось, он увидел то же самое, что и вчера. За порогом — груды проспектов, бутылки из-под чернил, дальше экзекутор с розгой, еще совершенно раздетые стражи, свеча на полке — и снова стражи застонали, закричали: «Сударь!» Но К. тут же захлопнул дверь, да еще пристукнул ее кулаками, словно она от этого закроется еще крепче. Чуть не плача, бросился он к курьерам, спокойно работавшим у копировальных машин, и те остановили работу, с удивлением глядя на К.



— Да приберите же вы наконец в кладовой! — закричал он. — Мы тонем в грязи!

Курьеры обещали завтра же все убрать, К. кивнул в знак согласия: сейчас было уже очень поздно, и он не мог заставить их работать сейчас, как предположил сначала. Он присел, чтобы хоть немного побыть около людей, перелистал несколько копий, желая показать, будто он их проверяет, и, поняв, что курьеры не решатся уйти одновременно с ним, усталое и бездумно побрел домой.

## ДЯДЯ. ЛЕНИ



днажды, к концу дня, когда К. был очень занят отправкой почты, к нему в кабинет, оттеснив двух курьеров, принесших бумаги, проник его дядюшка Альберт, небогатый землевладелец. Увидев дядю, К. испугался меньше, чем пугался раньше, при одном представлении о его приезде. Приезд дяди был неизбежен — об этом К., знал еще месяц назад. Уже тогда он мысленно видел, как, слегка сутулясь, с мятой шляпой-панамой под левой рукой, дядя спешит к нему и, уже издали протягивая правую руку, торопливо и бесцеремонно сует ее для рукопожатия через стол, опрокидывая все, что стоит на пути. Дядя вечно спешил: он был одержим навязчивой мыслью, будто за свое однодневное пребывание в столице ему нужно не только успеть сделать все, что он себе наметил, но, кроме того, не упустить ни одного интересного разговора, дела или развлечения, какие ему предоставит случай. И К., многим обязанный своему бывшему опекуну, должен был помогать ему, чем только можно, и в довершение ко всему пригласить к себе переночевать. «Призрак из провинции» — так называл его К. про себя.

Поздоровавшись на ходу, — сесть в кресло, как предложил К., ему было некогда, — дядя попросил К. остаться с ним наедине.

— Это необходимо, — сказал он, с трудом переводя дух. — Для моего спокойствия это необходимо.

К. тотчас выслал курьеров из комнаты с указанием никого к нему не впускать.

— Что я слышал, Йозеф? — воскликнул дядя, как только они остались вдвоем, я, сев на стол, не глядя, подмял под себя какие-то бумаги, чтобы сидеть было помягче.

К. промолчал, он знал, что будет дальше, но, внезапно оторванный от срочной работы, он вдруг поддался ощущению приятной усталости и уставился в окно на противоположную сторону улицы: со своего места он видел только маленький треугольный просвет — кусок глухой стены между двумя витринами.

— И ты еще смотришь в окно! — крикнул дядя, вздевывая руки. — Ради всего святого, Йозеф, ответь мне! Неужели это правда, неужели это действительно так?

— Милый дядя, — сказал К., с трудом выходя из оцепенения. — Понятия не имею, чего ты от меня хочешь!

— Йозеф, — сказал дядя с укоризной, — насколько я знаю, ты всегда говорил правду. Неужели твои последние слова — дурной знак?

— Теперь я догадываюсь, о чем ты, — покорно сказал К. — Видимо, ты слышал о моем процессе.

— Вот именно, — сказал дядя, медленно кивая головой, — я слышал о твоём процессе.

— От кого же? — спросил К.

— Мне об этом написала Эрна, — сказал дядя. — Тебя она давно не видела, ты, к сожалению, мало ею интересуешься, и, однако, она все узнала. Сегодня я получил от нее письмо и, разумеется, немедленно приехал. Это единственная причина, но причина весьма основательная. Могу прочитать то место, которое касается тебя. — Он вытащил письмо из бумажника. — Вот оно: «Йозефа я давно не видела, на прошлой неделе заходила в банк, но Йозеф был так занят, что меня к нему не пустили. Прождала почти час, но потом пришлось уйти домой — у меня был урок музыки. Мне очень хотелось с ним поговорить, может быть, в другой раз удастся. Ко дню рождения он прислал мне

огромную коробку шоколадных конфет, вот какой он милый и внимательный. Тогда я забыла вам об этом написать и вспомнила только сейчас, когда вы спросили про него. К сожалению, в нашем пансионе шоколад исчезает немедленно; не успеешь обрадоваться, что тебе подарили столько шоколаду, как его уже нет. Кстати, мне необходимо рассказать вам про Йозефа еще одну вещь. Как я уже писала, меня к нему в банк не пропустили потому, что он был занят с каким-то господином. Сначала я терпеливо ждала, а потом спросила курьера, надолго ли его задержат. Курьер ответил, что, должно быть, надолго, потому что разговор, очевидно, идет о процессе, который затеян против господина старшего прокуриста. Я спросила, что это еще за процесс, не ошибся ли он, а он сказал — нет, не ошибся, затеян процесс, и процесс очень серьезный, но больше он ничего не знает. Сам он с удовольствием помог бы господину прокуристу, потому что господин прокурист хороший, справедливый человек, но как за это взяться — он не знает, можно только пожелать, чтобы за него заступились люди влиятельные. Наверно, так оно и будет и все кончится хорошо, но пока, судя по настроению господина прокуриста, дела вовсе не так хороши. Конечно, я не придала этому разговору никакого значения, постаралась успокоить этого глупого курьера, запретила ему рассказывать другим и вообще считаю его слова просто болтовней. И все-таки было бы хорошо, если бы ты, милый папа, в следующий приезд вник в это дело, тебе легко будет узнать подробности, а если понадобится, то ты сможешь вмешаться через твоих влиятельных знакомых. Если же это не понадобится — а так оно, видимо, и есть, — то по крайней мере твоей любящей дочери раньше представится возможность обнять тебя, чему она будет очень рада».

— Хорошая девочка! — сказал дядя, окончив чтение, и смахнул слезинку с глаз.

К. утвердительно кивнул: в последнее время из-за всех этих историй он совсем забыл про Эрну, даже про ее день рождения забыл; про шоколад она выдумала, только чтобы оправдать его перед дядей и тетей. Это было очень трогательно. Он про себя решил регулярно посылать ей билеты в театр, но даже если этого было и мало, он все равно никак не был расположен посещать пансион и разговаривать с маленькой, восемнадцатилетней гимназисткой.

— Ну, что же ты мне скажешь? — спросил дядя. После чтения письма он перестал суетиться и волноваться и как будто собрался перечитать его еще раз.

— Да, дядя, — сказал К., — это правда.

— Правда? — воскликнул Дядя. — То есть как это правда? Какой процесс? Уж не уголовный ли?

— Да, уголовный, — сказал К.

— И ты спокойно сидишь тут, когда тебе грозит уголовный процесс! — еще громче закричал дядя.

— Чем я спокойнее, тем исход будет лучше, — сказал К. усталое. — Да ты не бойся!

— Нет, ты меня не успокаивай! — кричал дядя. — Йозеф, милый Йозеф, подумай же о себе, о твоих родных, о нашем добром имени! Ты всегда был нашей гордостью, ты не должен стать нашим позором! Нет, твое отношение мне не нравится, — и, наклонив голову набок, он искоса посмотрел на К. — Так себя не ведет ни в чем не повинный человек в здравом уме. Скорее скажи мне, в чем дело, тогда я сумею тебе помочь. Тут, конечно, замешаны банковские операции?

— Н е т , — сказал К. и в с т а л . — И вообще, милый дядя, ты слишком громко говоришь; курьер, наверно, подслушивает за дверью. Мне это неприятно. Лучше выйдем отсюда. Постараюсь, если смогу, ответить на все твои вопро-

сы. Я отлично понимаю, что несу ответственность перед семьей.

— Правильно! — вскричал дядя. — Очень правильно. Ну, скорее, Йозеф, пойдем скорее!

— Но мне надо еще отдать кое-какие распоряжения, — сказал К. и тут же вызвал по телефону своего заместителя, который через несколько минут вошел в кабинет.

Дядя взволнованно показал ему жестом, что его вызвал К., а не он, хотя это и без того было ясно. Стоя у письменного стола, К. тихим голосом, указывая на различные бумаги, объяснил молодому человеку, что надо сегодня сделать в его отсутствие, и тот выслушал его холодно, но внимательно. Дядя все время мешал, таращил глаза, кусал губы, и хотя он явно не слушал, но одно его присутствие было помехой. Потом он стал расхаживать по комнате, останавливаясь то перед окном, то перед картиной, причем у него то и дело вырывались разные восклицания: «Нет, мне это совершенно непонятно!» или: «Скажите на милость, что же теперь будет?» Молодой человек делал вид, что ничего не замечает, спокойно выслушал до конца все поручения К., кое-что записал и вышел, поклонившись К. и дяде, но в эту минуту дядя стоял к нему спиной, смотрел в окошко и, раскинув руки, судорожно мял гардины.

Не успела дверь закрыться, как дядя закричал:

— Наконец-то он ушел, этот паяц! Теперь и мы можем уйти. Наконец-то!

К сожалению, никакими силами нельзя было заставить дядю прекратить вопросы насчет процесса, пока они шли по вестибюлю, где стояли чиновники и курьеры и где как раз проходил заместитель директора банка.

— Так вот, Йозеф, — говорил дядя, отвечая легким поклоном на приветствия окружающих, — скажи мне откровенно, что это за процесс?

К. ответил несколькими ничего не значащими фразами, даже пустил смешок и только на лестнице объяснил дяде, что не хотел говорить откровенно при этих людях.

— Правильно, — сказал дядя. — А теперь рассказывай!

Наклонив голову и торопливо попыхивая сигарой, он стал слушать.

— Прежде всего, дядя, — сказал К., — этот процесс не из тех, какие разбирают в обычном суде.

— Это плохо! — сказал дядя.

— Почему? — спросил К. и посмотрел на дядю.

— Я тебе говорю — это плохо! — повторил дядя. Они стояли у парадной лестницы, выходящей на улицу, и так как швейцар явно прислушивался, то К. потянул дядю вниз, и они смешались с оживленной толпой. Дядя взял К. под руку, прекратил настойчивые расспросы о процессе, и они молча пошли по тротуару.

— Но как же это случилось? — спросил наконец дядя и так внезапно остановился, что люди, шедшие за ним, испуганно шарахнулись. — Такие вещи сразу не делаются, они готовятся исподволь. Должны же были появиться, какие-то признаки, намеки, почему ты мне ничего не писал? Ты же знаешь, что для тебя я готов на все, я до сих пор в каком-то смысле считаю себя твоим опекуном и до сих пор гордился этим. Конечно, я и сейчас тебе помогу, только теперь, когда процесс уже на ходу, это очень трудно. Во всяком случае, тебе лучше всего сейчас же взять небольшой отпуск и поехать к нам в деревню. Теперь я замечаю, как ты исхудал. В деревне ты окрепнешь, и это полезно, ведь тебе, безусловно, предстоят всякие трудности. А кроме того, ты некоторым образом уйдешь от суда. Здесь они располагают всякими мерами принуждения, которые они автоматически могут применить и к тебе; а в деревню они должны сначала послать уполномоченных или пытаться подействовать на тебя письмами, телеграммами,

телефонными звонками. Это, конечно, ослабляет напряжение, и хотя ты не будешь вполне свободен, но все же сможешь передохнуть.

— Но мне могут запретить вы езд, — сказал К., поддаваясь дядиному ходу мыслей.

— Не думаю, чтобы они на это пошли, — задумчиво сказал дядя. — Даже если ты уедешь, они все же не теряют власти над тобой.

— А я-то думал, — сказал К. и подхватил дядю под руку, чтобы он не останавливался, — я-то думал, что ты всему этому придаешь еще меньше значения, чем я, а смотри, как близко к сердцу ты все это принял.

— Йозеф! — закричал дядя, пытаясь вырвать у него руку и остановиться, но К. его не отпустил. — Ты стал совсем другим, в тебе всегда было столько здравого смысла, неужели именно сейчас он тебе изменил? Хочешь проиграть процесс? Да ты понимаешь, что это значит? Это значит, что тебя просто вычеркнут из жизни. И всех родных ты потянешь за собой или, во всяком случае, унизишь до предела. Возьми себя в руки, Йозеф! Твое равнодушие сводит меня с ума! Посмотришь на тебя и сразу согласишься: «Кто процесс допускает, тот его проигрывает».

— Милый дядя, — сказал К. — волноваться бессмысленно и тебе, да и мне, если бы я волновался. Волнениями процесс не выиграешь, поверь хоть немного моему практическому опыту, прислушайся, как я всегда прислушивался к тебе и прислушиваюсь сейчас, хоть и с некоторым удивлением. Ты говоришь, что вся наша семья тоже будет втянута в процесс — правда, лично я этого никак не пойму, впрочем, это несущественно, — но если это так, я охотно буду тебе повиноваться во всем. Однако отъезд в деревню я считаю нецелесообразным даже с твоей точки зрения, потому что это будет похоже на бегство, на признание своей вины. Кроме того, хотя меня здесь и больше пре-



следуют, однако отсюда я могу лучше руководить своим делом.

— Правильно, — сказал дядя таким тоном, словно они наконец поняли друг друга. — Я предложил это только потому, что мне показалось, будто ты своим равнодушием все испортишь, если останешься тут. И я считаю более правильным вместо тебя поработать в твою пользу. Но раз ты решил сам в полную силу взяться за дело, то, разумеется, это куда лучше.

— Значит, сговорились, — сказал К. — А есть ли у тебя предложения, какие шаги мне надо предпринять в дальнейшем?

— Раньше нужно хорошенько все обдумать, — сказал дядя. — Не забывай, что я уже лет двадцать почти безвыездно живу в деревне, ну и, конечно, чутье на такие дела со временем притупляется. К тому же теряешь нужные связи с людьми, которые, наверно, лучше в этом разбираются. В деревне ото всех отрываешься, понимаешь. Но в сущности самому это заметно только при таких обстоятельствах, как сейчас. И вообще все это для меня было несколько неожиданно, хотя, как ни странно, после письма Эрны я уже что-то подозревал, а сегодня увидел тебя и сразу все понял. Но это не важно, главное сейчас — не терять времени.

С этими словами он привстал на цыпочки и замахал руками, подзывая такси; крикнув адрес шоферу, он потянул за собой К. в машину:

— Едем к адвокату Гульду, — сказал он, — он мой школьный товарищ. Тебе, конечно, знакома эта фамилия? Нет? Очень странно. Ведь он славится как защитник и адвокат бедняков. А я питаю особое доверие к нему, как к человеку.

— Я согласен со всем, что ты предпримешь, — сказал К., хотя суетливость и настойчивость дяди вызывали в

нем некоторую неловкость. Было не очень приятно ехать в качестве обвиняемого к адвокату для бедняков. — Я и не знал, — сказал он, — что по таким делам тоже можно привлекать адвокатов.

— Ну как же, — сказал дядя, — это само собой понятно. Почему бы и нет? А теперь расскажи мне все, что было до сих пор, мне надо знать все подробности твоего дела.

К. тут же стал рассказывать, ничего не умалчивая, и эта полная откровенность была единственным протестом, который он позволил себе против дядиново утверждения, что его процесс — большой позор. Имя фрейлейн Бюрстнер он упомянул только один раз, и то вскользь, но это не нарушило откровенности рассказа: ведь фрейлейн Бюрстнер действительно никакого отношения к процессу не имела. Рассказывая, К. смотрел в окошко такси и заметил, что они как раз проезжают мимо предместья, где находятся канцелярии суда. Он обратил на это внимание дяди, но тот не нашел ничего особенного в таком стечении обстоятельств. Такси остановилось у мрачного дома. Дядя тотчас позвонил в первую же дверь нижнего этажа и, пока они ждали ответа, оскалил в улыбке свои крупные зубы и прошептал:

— Восемь часов вечера — довольно необычное время для посещения адвоката. Но Гульд на нас не рассердится.

В дверном окошечке показались два больших темных глаза, взглянули на посетителей и снова исчезли, но дверь так и не отворилась. Дядя и К. дали друг другу понять, что оба видели эти глаза.

— Видно, новая горничная, боится чужих, — сказал дядя и постучал еще раз.

Снова появились глаза, сейчас они могли показаться грустными, но, может быть, это был только обман зрения, вызванный газовым светом — над их головами горел

газовый рожок, он шипел очень громко, но света давал мало.

— Откройте! — крикнул дядя и застучал кулаком в дверь. — Мы друзья господина адвоката!

— Господин адвокат болен! — пробормотал кто-то сзади.

В дверях, в глубине небольшого подъезда, стоял господин в шлафроке, он и произнес эти слова чрезвычайно тихим голосом.

Дядя, уже обозленный долгим ожиданием, резко обернулся к нему и воскликнул:

— Болен? Вы говорите, он болен? — и угрожающе навалился на господина, будто тот и был сама болезнь.

— Вам уже открыли, — сказал господин, указывая на дверь адвоката, и, подобрав полы шлафрока, исчез. Дверь действительно была открыта, и молоденькая девушка в длинном белом фартуке — К. узнал ее темные, чуть выпуклые глаза — стояла в прихожей со свечой в руке.

— В другой раз открывайте поживее! — сказал дядя вместо приветствия девушке, слегка присевшей в ответ. — Пойдем, Йозеф, — обратился он к К., который медленно протискивался мимо девушки.

— Господин адвокат болен, — сказала девушка, но дядя, не останавливаясь, побежал к следующей двери. К. залюбовался девушкой, когда она повернулась, чтобы запереть входную дверь. У нее было круглое, как у куклы, личико; округлыми были не только бледные щеки и подбородок, круглились даже виски и края лба.

— Йозеф! — крикнул дядя, и, обернувшись к девушке, спросил: — Опять с сердцем плохо?

— Как видно, да, — сказала девушка; она уже успела пройти со свечой вперед и открыть дверь комнаты.

В дальнем углу, куда еще не проникал свет от овечки, с подушек поднялась голова с длинной бородкой.

— Лени, кто это пришел? — спросил адвокат. За слепящим светом он не мог рассмотреть гостей.

— Это Альберт, твой старый друг, — сказал дядя.

— Ах, Альберт, — повторил адвокат и опустил на подушки, как будто перед этими гостями не нужно было притворяться.

— Неужели тебе так плохо? — спросил дядя, присаживаясь на край постели. — Мне просто не верится. Наверно, у тебя обычный твой сердечный приступ, он скоро пройдет, как проходил раньше.

— Возможно, — сказал адвокат тихим голосом. — Но так худо мне еще никогда не было. Дышать трудно, совсем не сплю, день ото дня слабею.

— Вот как, — сказал дядя и крепко прижал широкой ладонью свою шляпу к колену. — Неважные новости! А уход за тобой хороший? Здесь так уныло, так темно. Правда, я у тебя давно не бывал, но раньше мне все казалось веселее. Да и эта твоя барышня не очень-то приветлива. А может, она притворяется?

Девушка все еще стояла со свечой у двери; насколько можно было судить по ее мимолетным взглядам, она обращала больше внимания на К., чем на дядю, даже когда тот заговорил о ней. К. облокотился на спинку стула, пододвинув его поближе к девушке.

— Для такого больного человека, как я, важнее всего покой, — сказала адвокат. — Мне тут совсем не уныло. — И, помолчав, добавил: — А Лени хорошо за мной ухаживает. Она молодец.

Но дядю эти слова не убедили, он был явно настроен против сиделки, и хотя он ничего не возразил больному, но сурово следил глазами за девушкой, когда она подошла к кровати, поставила свечу на ночной столик, наклонилась к больному и, поправляя подушки, что-то ему зашептала. Забыв, что надо щадить больного, дядя встал со стула и

начал расхаживать за спиной сиделки с таким видом, что К. не удивился бы, если бы он схватил ее за юбку и оттащил от кровати. К. смотрел на все спокойно, болезнь адвоката даже пришлась к стати: иначе он сам никак не мог бы остановить дядюшкино рвение, с каким тот взялся за его дело, а сейчас дядя отвлекся и особого рвения не проявлял, и это было К. очень на руку.

Но тут дядя, может, желая обидеть сиделку, сказал:

— Барышня, попрошу вас оставить нас одних хоть ненадолго, мне нужно обсудить с моим другом кое-какие личные дела.

Сиделка, наклонившись над больным, как раз поправляла простыни у стенки и, обернувшись, словно в противовес дяде, который сначала заикнулся от злости, а потом вдруг выпалил ту фразу, сказала очень спокойно:

— Вы же видите, как болен господин адвокат. Он не может сейчас обсуждать личные дела.

Вероятно, она повторила слова дяди только по инерции, но даже беспристрастный человек, мог бы принять это за насмешку, а уж дядя взвился, как ужаленный.

— Ах ты проклятая! — пробормотал он голосом, сдавленным от возмущения, так что почти нельзя было разобрать слова.

К. испугался, хотя и ожидал такой вспышки, и бросился к дяде, готовый закрыть ему рот обеими руками. К счастью, больной, приподнявшись на кровати, выглянул из-за спины девушки; дядя сделал мрачное лицо, словно проглотил какую-то гадость, и уже спокойнее сказал:

— Ну, знаете, мы еще не окончательно выжили из ума; если бы то, чего я требую, было невозможно, я бы не требовал. Пожалуйста, уходите!

Сиделка стояла у постели, выпрямившись и повернув голову к дяде, а сама, как показалось К., поглаживала руку адвоката.

— При Лени ты можешь говорить в с е , — сказал адвокат, и в его голосе явно прозвучала настойчивая просьба.

— Дело не меня касается, — сказал дядя, — тайна не моя. — И он резко отвернулся, словно входит ни в какие предрассудки не желает, однако дает им время на размышление.

— А чья же? — спросил адвокат слабым голосом и опустил на подушки.

— Моего племянника, — сказал дядя. — Я его привел сюда. — И он представил К.: — Это Йозеф К., прокурор.

— А-а! — сказал больной уже гораздо оживленнее и протянул руку К. — Простите, я вас не заметил. — Выйди, Лени, — сказала он сиделке. Та не стала возражать, и адвокат пожал ей руку, словно прощаясь надолго. — Значит, так, — сказал он дяде, когда тот, успокоенный, подошел поближе. — Значит, ты не навещать больного пришел, а по делу!

Казалось, что до сих пор адвоката угнетала мысль о том, что его пришли навещать как больного, потому что он вдруг совсем ожил, приподнялся и сел, опираясь на локоть, что само по себе было утомительно; и все время тербил бороду, глубоко запуская в нее пальцы.

— Стоило только этой ведьме уйти, и вид у тебя сразу стал гораздо лучше, — сказал дядя. Тут он остановился и, шепнув: — Пари держу, что она подслушивает! — подскочил к двери. Но за дверью никого не оказалось, и дядя вернулся не то чтобы разубежденный, потому что ее отсутствие показалось ему еще большей низостью, а скорее озлобленный.

— Ты в ней ошибаешься, — сказал адвокат, но защищать сиделку не стал; может быть, он хотел этим показать, что она в защите не нуждается, и уже гораздо более сочувственно продолжал: — Что же касается дела твоего уважаемого племянника, то я почел бы себя счастливым, если

бы у меня хватило сил на эту чрезвычайно трудную работу; но я очень боюсь, что сил у меня не хватит, однако попробую сделать все, что смогу; а если не справлюсь, можно будет привлечь еще кого-нибудь. Откровенно говоря, это дело меня слишком сильно заинтересовало, чтобы я решил отказаться от всякого участия в нем. И если сердце у меня не выдержит, то трудно найти более достойную причину его остановки.

К. не понимал, казалось, ни слова из этой речи, он посмотрел на дядю, ища объяснения, но тот со свечой в руке сидел на ночном столике, с которого уже скатился пузырек с лекарством, кивал головой, соглашаясь с каждым словом адвоката, и нет-нет да поглядывал на К., приглашая и его выразить свое согласие. Может быть, дядя уже раньше рассказал адвокату о процессе? Но это было невозможно, весь ход событий говорил против этого.

— Не понимаю... — начал наконец К.

— Нет, это я, по-видимому, вас не понял, — удивленно и растерянно перебил его адвокат. — Может быть, я поторопился? О чем же вы хотели со мной посоветоваться? Я решил, что речь идет о вашем процессе?

— Разумеется! — сказал дядя и обернулся к К. — Чего ты не понимаешь?

— Да откуда же вы знаете обо мне и о моем процессе? — спросил К.

— Ах, вот оно что! — с улыбкой сказал адвокат. — На то я и адвокат, я бываю в судейских кругах, там говорят о разных процессах, и невольно запоминаешь самые выдающиеся, особенно если они касаются племянника твоего друга. Ничего удивительного в этом нет.

— Чего тебе надо? — опять спросил дядя у К. — Ты как-то беспокоен.

— Вы бываете в этих судейских кругах? — спросил К.

— Да, — сказал адвокат.

— Ты задаешь ребяческие вопросы, — сказал дядя.

— А с кем же мне еще встречаться, как не с людьми моей профессии? — добавил адвокат. Это звучало так убедительно, что К. ничего не ответил.

«Но ведь вы работаете во Дворце правосудия, а не в тех канцеляриях на чердаке?» — хотелось ему спросить, но заставить себя произнести эту фразу он не мог.

— Сами понимаете, — продолжал адвокат таким тоном, словно мимоходом объяснял что-то само собой разумеющееся, — сами понимаете, что из этих знакомств я извлекаю большую пользу для своей клиентуры, и притом во многих отношениях, хотя говорить об этом не очень-то полагается. Конечно, сейчас болезнь несколько мешает мне, но добрые друзья из суда навещают меня и благодаря им я многое узнаю. И узнаю я, пожалуй, больше, чем те, кто целыми днями просиживает в суде. Вот и сейчас, например, у меня дорогой гость. — И он показал на темный угол комнаты.

— Где же он? — спросил К. грубовато, настолько он был удивлен.

Он неуверенно оглянулся; слабый свет свечи далеко не достигал противоположной стены. Но там действительно что-то зашевелилось. Тут дядя поднял свечу, и они увидели небольшой столик и сидящего за ним пожилого господина. Должно быть, он там сидел, не дыша, и потому так долго оставался незамеченным. Теперь он неторопливо поднялся, явно недовольный тем, что на него обратили внимание. Он зашевелил руками, похожими на короткие крылья, как будто отмахивался от всяких знакомств и приветствий, никак не желая мешать посетителям, и настоятельно просил оставить его в темном углу и забыть о его присутствии. Однако никто не пошел ему в этом навстречу.

— Вы застали нас врасплох, — объяснил адвокат гостям и ободрительно кивнул пожилому господину, пригла-



шая его подойти поближе; тот подошел медленно, неуверенно, озираясь вокруг, но все же с каким-то достоинством. — Господин директор канцелярии... Ах, простите, я вас не представил — это мой друг Альберт К., это его племянник К., прокуриса банка, а это господин директор канцелярии... Как я уже говорил, господин директор был настолько любезен, что посетил меня. Только посвященный может понять всю ценность такого визита, только тот, кто знает, как завален работой господин директор. И все-таки он пришел, мы с ним мирно беседовали, насколько позволяла моя немощь. Мы, правда, не запрещали Лени впускать посетителей, потому что мы никого не ждали, но мы хотели побыть наедине, а тут вдруг ты застучал кулаком в двери, Альберт, и тогда господин директор отодвинулся вместе с креслом и столиком в дальний угол, и вот теперь неожиданно выяснилось, что нам, если, конечно, возникнет такая потребность, по всей вероятности, можно будет обсудить совместно некоторые дела, а для этого надо всем сесть поближе. Господин директор канцелярии! — попросил он, с подобострастной улыбкой наклоняя голову и указывая на широкое кресло у кровати.

— К сожалению, я могу задержаться только на несколько минут, — любезно сказал директор канцелярии, удобно развалившись в кресле и глядя на часы. — Дела меня зовут. Однако я не хочу упустить возможность познакомиться с другом моего друга.

Он слегка поклонился дяде, который, видно, был очень доволен новым знакомством. Но так как подобострастие было не в его характере, он встретил слова директора канцелярии смущенным, но очень громким смехом. Впечатление не из приятных! К. спокойно наблюдал за происходящим, потому что на него никто не обращал внимания: директор канцелярии, очевидно по привычке, раз уж его позвали, овладел разговором, адвокат, явно притворившийся-

ся больным, по-видимому из желания отвадить новых гостей, теперь внимательно слушал, приставив ладонь к уху, а дядя в качестве светоносца — свечка качалась у него на коленке, и адвокат беспокойно поглядывал в его сторону — уже перестал стесняться и откровенно восхищался не только речью директора канцелярии, но и плавными, волнообразными жестами рук, сопровождавшими его слова. К. стоял, опершись о спинку кровати, и директор, быть может умышленно, ни разу к нему не обратился; как видно, старшие смотрели на него только как на слушателя. Впрочем, и сам К. почти не понимал, о чем идет речь, а думал о сиделке и о том, как невежлив был с ней дядя, или о том, не видел ли он директора канцелярии где-то раньше, может быть, даже на собрании в день первого допроса. Может быть, он и ошибался, но все же директор канцелярии удивительно походил на участников собрания — тех стариков с жидкими бородами, которые стояли в первых рядах.

Вдруг все встрепенулись — из прихожей послышался звон разбитой посуды.

— Посмотрю, что там случилось, — сказал К. и, не топясь, пошел к двери, словно хотел дать остальным возможность задержать его.

Но как только он вышел в прихожую и попытался ориентироваться в темноте, на его пальцы, державшие ручку двери, легла маленькая рука, куда меньше, чем его рука, и тихо притворила дверь. Это была сиделка, ждавшая тут же.

— Ничего не случилось, — шепнула она, — я нарочно бросила тарелку об стену, чтобы вызвать вас сюда.

К. растерялся и сказал:

— Я тоже о вас думал.

— Тем лучше, — сказала сиделка. — Пойдем!

Они сделали несколько шагов и очутились перед дверью с матовым стеклом. Сиделка распахнула ее перед К.

— Ну, входите же! — сказала она.

Это явно был рабочий кабинет адвоката. Насколько можно было разглядеть в лунном свете, освещавшем только небольшой квадрат пола у трех окон, вся комната была заставлена тяжелой старомодной мебелью.

— Сю да , — сказала сиделка, указывая на темный ларь с резной деревянной спинкой. Прежде чем сесть, К. огляделся: комната была высокая, большая; наверно, бедняки из клиентуры адвоката чувствовали себя в ней затерянными. К. представил себе, как они мелкими шажками семенят к огромному письменному столу. Но он тут же позабыл обо всем, кроме сиделки, — та оказалась настолько близко от него, что почти прижимала его к боковой ручке ларя.

— А я думала, что вы сами выйдете , — сказала она , — и мне не придется вас вызывать. Удивительное дело. Сначала вы, только успели войти, уже глаз с меня не сводили, а потом заставляете себя ждать. Зовите меня просто Лени , — торопливо и непосредственно добавила она, словно не желая терять ни минуты на объяснения.

— Охотно , — сказал К. — Но знаете, Лени, все это ничуть не удивительно и вполне объяснимо. Во-первых, мне надо было выслушать болтовню этих стариков, нельзя же было уйти ни с того ни с сего, а во-вторых, я человек несмелый, скорее застенчивый, да и вы с виду вовсе не из тех, кого можно завоевать одним махом.

— Не в том дело , — сказала Лени и, положив руку на спинку ларя, посмотрела на К. — Просто я вам не понравилась, да и сейчас, вероятно, не нравлюсь.

— Нравитесь — не то слово , — сказал К. уклончиво.

— О-о! — с улыбкой сказала Лени.

Этим восклицанием в ответ на слова К. она словно утверждала за собой какое-то превосходство. Поэтому К.

промолчал. Привыкнув к темноте, он уже различал некоторые детали обстановки. Особенно бросилась в глаза большая картина, висевшая справа от двери, и он подался вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. На картине был изображен человек в судейской мантии, он сидел на высоком, как трон, кресле; там и сям на резьбе выступала позолота. Но самым необычным было то, что поза судьи не выражала ни покоя, ни достоинства, напротив, левой рукой он схватился за подлокотник у самой спинки кресла, а правую вытянул вперед, вцепившись пальцами в поручень, будто в следующую секунду он с силой, может быть даже с гневом, вскочит с места, чтобы сказать решительные слова, а возможно, и объявить приговор. Обвиняемый, очевидно, стоял внизу на лестнице — на картине были видны только верхние ступени, покрытые желтым ковром.

— Может быть, это и есть мой судья, — сказал К., указывая пальцем на картину.

— Да я его знаю, — сказала Лени, — он сюда часто приходит. Эту картину с него писали в молодости, но он и тогда был ничуть не похож, ведь он совсем крошечного роста. А на картине он велел изобразить себя таким вот высоченным — и все от тщеславия. Впрочем, все они тут такие. Я ведь тоже тщеславная и ужасно недовольна, что я вам не нравлюсь.

В ответ на эти слова К. только обнял Лени и притянул к себе, а она молча положила голову ему на плечо. А про картину он спросил:

— А в каком же он чине?

— Он следовательно, — сказала Лени и, взяв К. за руку, обнимавшую ее, стала перебирать его пальцы.

— Всего только следовательно! — разочарованно сказал К. — А высшие чины прячутся. Но ведь он же сидит на троне!

— Это все выдумки, — сказала Лени и прильнула щекой к руке К. — На самом деле он сидит в кухонном кресле, на которое накинута старая попона. Неужели вы постоянно думаете о своем процессе? — медленно добавила она.

— Нет, вовсе не т, — сказал К., — наоборот, я, наверно, слишком мало о нем думаю.

— Ваша ошибка не в т о м, — сказала Л е н и . — Я слышала, что вы чересчур упрямы.

— Кто это вам сказал? — спросил К., он чувствовал, как она прижимается к его груди, видел ее пышные, темные, скрученные тугим узлом волосы.

— Я слишком много выдам, если скажу — к т о, — сказала Л е н и . — Пожалуйста, не спрашивайте меня, лучше исправьте свою ошибку, не будьте таким упрямым, все равно сопротивляться этому суду бесполезно, надо сознаться во всем. При первой же возможности сознайтесь! Только тогда есть надежда ускользнуть, только тогда. Впрочем, и это невозможно без посторонней помощи, но тут вам беспокоиться нечего, я сама вам помогу.

— Однако вы много знаете об этом суде и обо всех плутнях, которые там н у ж н ы, — сказал К., но тут она прижалась к нему так крепко, что пришлось посадить ее к себе на колени.

— Вот и чудесно! — сказала она и, угнездившись поудобнее, одернула юбку и поправила блузку. Потом обхватила его шею руками, откинулась назад и долго смотрела на него.

— А если я не сознаюсь, вы мне не можете помочь? — испытующе спросил К.

Однако я вербую себе помощниц, подумал он удивленно: сначала фрейлейн Бюрстнер, потом жена служителя суда, а теперь эта маленькая сиделка, — непонятно, почему ее ко мне так тянет? Ишь, как расселась у меня на колених, будто только тут ей и место!

— Н е т , — сказала Лени и медленно покачала головой , — тогда я вам помочь не смогу. Но ведь вы и не хотите от меня никакой помощи, она вам не нужна, вы упрямец, вас не переубедишь!.. А у вас есть возлюбленная? — спросила она, помолчав.

— Н е т , — сказал К.

— Неправда! — сказала она.

— Впрочем, есть! — сказал К. — Подумайте только, я чуть от нее не отрезал, а сам всегда ношу ее фотографию при себе.

Лени стала его просить, он вынул фотографию Эльзы, и девушка, свернувшись у него на коленях, стала разглядывать карточку. Это была моментальная любительская фотография, где Эльзу сняли во время танца — она любила танцевать в своем ресторанчике. Еще летели складки юбки на повороте, а она уперлась руками в крепкие бока и, откинув голову, со смехом смотрела куда-то в сторону: на фотографии не было видно, кому она так улыбалась.

— Слишком сильно зашнурована, — сказала Лени и показала то место, которое, по ее мнению, было слишком перетянута. — Мне она не нравится, она груба и неуклюжа. Правда, может быть, с вами она кроткая и нежная; судя по этой карточке, и это возможно. Такие крупные, высокие девушки иногда оказываются очень кроткими и ласковыми. Но может ли она пожертвовать собой ради вас?

— Н е т , — сказал К . , — она и не кроткая, и не ласковая, и собой ради меня не пожертвует. Правда, до сих пор я от нее ничего такого и не требовал. По совести сказать, я и фотографию эту никогда не рассматривал так внимательно, как вы.

— Выходит, что для вас она совсем ничего не значит и т , — сказала Л е н и , — и вовсе она не ваша возлюбленная.

— Но это т а к , — сказал К . , — я от своих слов не отпираюсь.

— Ну, пусть она сейчас ваша возлюбленная, — сказала Лени, — но вы даже скучать по ней не будете, если поте-ряете ее или возьмете взамен другую.

— Конечно, — улыбнулся К., — и это возможно, но у нее перед вами огромное преимущество: она ничего не знает о моем процессе, а если бы и знала — не думала бы о нем. И она никогда не стала бы уговаривать меня сдаться, пойти на уступки.

— Ну, это еще не преимущество, — сказала Лени, — и если других преимуществ у нее нет, я надежды не теряю. А есть у нее какие-нибудь физические недостатки?

— Физические недостатки? — переопросил К.

— Да, — сказала Лени. — У меня, например, есть не-большой физический недостаток, вот посмотрите.

Она растопырила средний и безымянный пальцы пра-вой руки — кожа между ними заросла почти до верхнего сустава коротеньких пальцев. В полутьме К. не сразу за-метил, что она хочет показать, и, взяв его руку, она дала ему ощупать свои пальцы.

— Какая игра природы! — сказал К. и, оглядев всю руку, добавил: — Какая миленькая лапка!

Лени с некоторой гордостью смотрела на К. — он вновь и вновь в удивлении разводил и сводил оба ее пальца, потом бегло поцеловал их и отпустил.

— О-о! — крикнула она. — Вы меня поцеловали!

Приоткрыв рот, она поспешно встала коленками на его колени. К. совсем растерялся, она очутилась так близко, что он почувствовал ее запах, горький и терпкий, как пе-рец. Она прижала к себе его голову, наклонилась над ней и стала целовать и кусать его шею, даже волосы на за-тылке.

— Вы меня берете взамен той! — воскликнула она между поцелуями. — Вот видите, вы берете меня взамен!

Тут ее колено соскользнуло, и, вскрикнув, она чуть не

упала на ковер. К. обхватил ее, пытаясь удержать, но она потянула его за собой.

— Теперь ты мой! — сказала она.

— Вот тебе ключ от дома, приходи, когда захочешь, — были ее последние слова, и поцелуй на лету коснулся его спины, когда он уходил.

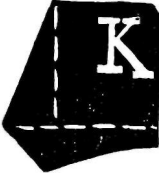
Выйдя за ворота дома, он попал под мелкий дождик, хотел шагнуть на мостовую, чтобы увидеть Лени хотя бы в окне, но тут из автомобиля, стоявшего у ворот — К. по рассеянности его не заметил, — выскочил дядя, схватил его за плечи и притиснул к воротам, словно хотел пригвоздить на месте.

— Ах, мальчик, мальчик! — крикнул он. — Что ты натворил! Дело уже было на мази, а теперь ты страшно навредил себе. Забрался куда-то с этой маленькой грязной тварью, — ведь она наверняка любовница адвоката! — проторчал там бог знает сколько времени и даже никакого предложения не придумал, ничего не утаил, так открыто, при всех побежал к ней, да там и остался. А мы сидим все трое — твой дядя, который для тебя же старается, адвокат, которого надо перетянуть на твою сторону, а главное, сам директор канцелярии, большой человек, ведь на этой стадии твое дело целиком в его руках. Хотим обсудить, как тебе помочь, я должен осторожно обработать адвоката, он — директора канцелярии, неужели ты не понимаешь, что у тебя были все основания как-то прийти мне на помощь? А вместо этого ты удираешь! Тут уж ничего нельзя скрыть; хорошо, что они люди вежливые, воспитанные, ни слова не сказали, но в конце концов им тоже стало невмоготу. Говорить они об этом не стали, пришлось сидеть и молчать. Вот мы и сидим, и молчим, ждем, когда же ты явишься. Но все напрасно. Наконец



директор канцелярии встает — он и так уж просидел много дольше, чем собирался, — прощается со мной и явно жалеет меня, хотя ничем помочь не может, ждет с самой невероятной любезностью еще немного у дверей и только потом уходит. Разумеется, я был счастлив, когда он ушел, мне уже и дышать было нечем. А на больного адвоката все это так подействовало, что он, добрый человек, ни слова сказать не мог, когда я с ним прощался. И, наверно, ты больше всех виноват в том, что он совсем погибает, ты ускоряешь смерть человека, от которого сам зависишь. А меня, своего дядю, ты бросил тут под дождем, пощупай, я весь промок — столько часов ждать и мучиться от беспокойства!

## АДВОКАТ. ФАБРИКАНТ. ХУДОЖНИК



Как-то в зимнее утро — за окном, в смутном свете, падал снег — К. сидел в своем кабинете, до предела усталый, несмотря на ранний час. Чтобы оградить себя хотя бы от взглядов низших служащих, он велел курьеру никого к нему не впускать, так как он занят серьезной работой. Но вместо того, чтобы приняться за дело, он беспокойно ерзал в кресле, медленно передвигая предметы на столе, а потом помимо воли опустил вытянутую руку на стол, склонил голову и застыл в неподвижности.

Мысль о процессе уже не покидала его. Много раз он обдумывал, не лучше ли было бы составить оправдательную записку и подать ее в суд. В ней он хотел дать краткую автобиографию и сопроводить каждое сколько-нибудь выдающееся событие своей жизни пояснением — на каком основании он поступал именно так, а не иначе, одобряет ли он или осуждает этот поступок со своей теперешней точки зрения и чем он может его объяснить. Преимущества такой оправдательной записки перед обычной защитой, какую сможет вести и без того далеко не безупречный адвокат, были несомненны. К тому же К. и не знал, что предпринимает адвокат: ничего особенного он, во всяком случае, не делал, вот уже больше месяца он не вызывал его к себе, да и все предыдущие их переговоры не создали у К. впечатления, будто этот человек способен чего-то добиться для него. Прежде всего адвокат почти ни о чем его не расспрашивал. А ведь вопросов должно было воз-

никнуть немало. Главное — поставить вопросы. У К. было такое ощущение, что он и сам мог бы задать множество насущных вопросов. А этот адвокат, вместо того чтобы спрашивать, либо что-нибудь рассказывал сам, либо молча сидел против К., перегнувшись через стол, очевидно по недостатку слуха, теребил бороду, глубоко запуская в нее пальцы, и глядел на ковер — возможно, даже прямо на то место, где в тот раз К. лежал с Лени. Время от времени он читал К. всякие пустячные наставления, словно малолетнему ребенку. За эти бесполезные и к тому же прескучные разговоры К. твердо решил не платить ни гроша при окончательном расчете. А потом адвокат, очевидно считая, что К. уже достаточно смирился, снова начинал его понемножку подбадривать. Судя по его рассказам, он уже выиграл не один такой процесс — многие из них хоть и были не так серьезны по существу, как этот, но на первый взгляд казались куда безнадежнее. Отчеты об этих процессах лежат у него тут, в я щ и к е , — при этом он постукивал по одному из ящиков стола, — но показать эти записи он, к сожалению, не может, так как это служебная тайна. Однако большой опыт, приобретенный им в ходе этих процессов, безусловно, пойдет на пользу К. Разумеется, он уже начал работать, и первое ходатайство уже почти готово. Оно чрезвычайно важно, так как первое впечатление, которое производит защита, влияет на ход всего судопроизводства. К сожалению — и об этом он должен предупредить К. , — иногда случается так, что первые жалобы суд вообще не рассматривает. Их просто подшивают к делу и заявляют, что предварительные допросы, а также наблюдение за обвиняемым гораздо важнее. А если проситель настаивает, то ему говорят, что перед окончательным решением суда, когда будут собраны все материалы, включая, разумеется, и все документы, первое ходатайство защиты тоже будет рассмотрено. К сожалению,

и это может оказаться не так, потому что первую жалобу обычно куда-то закладывают или даже совсем теряют, а если она и сохраняется, то, по дошедшим до адвоката слухам, ее все равно никто, по-видимому, не читает. Все это достойно сожаления, но отчасти может быть и оправдано. К. должен принять во внимание, что все разбира-тельство ведется негласно; конечно, если суд найдет нуж-ным, оно ведется гласно, но обычно закон гласности не предписывает. Вследствие этого все судебные документы, особенно обвинительный акт, ни обвиняемому, ни его за-щитнику не доступны, так что в общем они либо совсем не знают, либо знают очень смутно, насчет чего именно направлять первое ходатайство, поэтому в нем только слу-чайно может содержаться что-нибудь имеющее значение для дела. А по-настоящему точные и доказательные хода-тайства можно выработать только позже, когда по ходу следствия и допросов обвиняемого можно будет яснее увидеть отдельные пункты обвинения и их обоснование или хотя бы построить какие-то догадки. Вести при таких условиях защиту, конечно, весьма невыгодно и затрудни-тельно. Но и это делается намеренно. Дело в том, что суд, собственно говоря, защиту не допускает, а только терпит ее, и даже вопрос о том, возможно ли истолковать соответствующую статью закона в духе такой терпимости, тоже является спорным. Потому-то, строго говоря, нет признанных судом адвокатов, а все выступающие перед этим судом в качестве защитников в сущности являются подпольными адвокатами. Разумеется, это очень унижает все сословие, и когда К. в следующий раз попадет в канце-лярию суда, он для ознакомления с этой стороной вопроса может осмотреть адвокатскую комнату. Можно предположить, что его в высшей степени напугает обще-ство, которое там собирается. Уже одно то, что им предо-ставлена тесная, низкая комната, говорит о презрении,

какое суд питает к этим людям. Освещается помещение только через небольшой люк, расположенный на такой высоте, что если хочешь выглянуть, то тебе в нос не только сразу ударяет дым, но и прямо в лицо летит сажа из камина, расположенного тут же; нет, надо еще найти кого-нибудь из коллег, кто подставил бы тебе спину. А в полу этой комнаты — и это еще один пример того, в каком виде она содержится, — в полу уже больше года появилась дыра, не такая большая, чтобы туда мог провалиться человек, но достаточно широкая, чтобы туда попасть всей ногой. Эта адвокатская комната расположена на втором чердаке; значит, если чья-нибудь нога попадает в эту дыру, она свисает вниз и болтается над первым чердаком, над тем самым проходом, где сидят в ожидании клиенты.

Не удивительно, что в адвокатских кругах такое положение вещей считают, мягко говоря, позорным. Жалобы по начальству никаких результатов не дают, однако адвокатам строжайше запрещено делать какой-либо ремонт помещения за свой счет. Впрочем, и это отношение к адвокатам вполне обосновано. Защиту вообще хотят, насколько возможно, отстранить, вся ставка делается на самого обвиняемого. Точка зрения в сущности не плохая, но было бы чрезвычайно ошибочным делать вывод, что в этом суде адвокаты обвиняемым не нужны. Напротив, ни в каком другом суде нет такой настоятельной необходимости в адвокатах. Дело в том, что все судопроизводство является тайной не только для общественности, но и для самого обвиняемого. Разумеется, только в тех пределах, в каких это возможно, но возможности тут неограниченные. Ведь и обвиняемый не имеет доступа к судебным материалам, а делать выводы об этих материалах на основании допросов весьма затруднительно, особенно для самого обвиняемого, который к тому же растерян и обеспокоен всякими другими отвлекающими его неприятностями. Вот тут-то

и вмешивается защита. Вообще-то защитников на допросы не допускают, поэтому им надо сразу после защиты, по возможности прямо у дверей кабинета следователя, выпытать у обвиняемого, о чем его допрашивали, и из этих, часто уже весьма путаных показаний отобрать все, что может быть полезно для защиты. Но и это не самое главное, потому что таким путем можно узнать очень мало, хотя и тут, как везде, человек дельный, конечно, узнает больше других. Но самым важным остаются личные связи адвоката, в них-то и кроется основная ценность защиты. Разумеется, К. уже по собственному опыту убедился, что организация судебного аппарата на низших ступенях не вполне совершенна, что там много нерадивых и продажных чиновников, из-за чего в строго замкнутой системе суда появляются бреши. В них-то по большей части и протискиваются всякие адвокаты, тут идет и подслушивание и подкуп, а бывали, по крайней мере в прежние времена, и похищения судебных актов. Не приходится отрицать, что этими способами на время достигались иногда поразительно благоприятные для подсудимого результаты, и мелкие адвокатшки обычно бахвалятся этим, привлекая новую клиентуру, но на дальнейший ход процесса все это никак не влияет или даже влияет плохо. По-настоящему ценными являются только честные личные знакомства, главным образом с высшими чиновниками; конечно, речь идет хоть и о высших чиновниках, но низшей категории. Только так и можно повлиять на ход процесса — сначала исподволь, а потом все более и более заметно. Но это доступно лишь немногим адвокатам, и тут К. повезло: выбор он сделал правильный. Пожалуй, только у двух-трех адвокатов есть такие связи, как у него, у доктора Гульда. Таким, как он, разумеется, нет дела до той компании из адвокатской комнаты, никакого отношения к ним он не имеет. Тем тесней его связи с судейскими чиновниками, Ему, доктору Гуль-

ду, вовсе и не нужно ходить в суд, околачиваться у дверей следственных органов, ждать случайного появления чиновников и, в зависимости от их настроения, добиваться успеха, почти всегда только кажущегося, а иногда и ничего не добиться. Нет — К. сам это видел — чиновники, и даже весьма высокого ранга, сами приходят сюда, охотно делятся сведениями либо открыто, либо так, что легко можно догадаться, обсуждают следующие этапы процесса; более того, в отдельных случаях они даже дают себя переубедить и охотно становятся на вашу точку зрения. Правда, именно в этом им особенно доверять не следует — даже если они определенно высказывают благоприятные для защиты намерения, — ибо вполне возможно, что отсюда они отправятся прямо в канцелярию и к следующему же заседанию продиктуют прямо противоположное заключение для обвиняемого, гораздо более суровое, чем то первоначальное заключение, от которого они, по их утверждению, отказались начисто. Против этого, конечно, обороняться трудно, ведь то, что сказано с глазу на глаз, так и остается сказанным с глазу на глаз и открыто обсуждаться не может, даже если бы защита не стремилась сохранить благорасположение данного лица. С другой же стороны, вполне правильно, что эти лица связываются с защитой — разумеется, только с защитой компетентной, и делают они это отнюдь не из одного человеколюбия или дружественных чувств, а отчасти и ради собственной выгоды. Тут-то и ощущается недостаток судебного устройства, которое с самого начала предписывает секретность в делах. Чиновникам не хватает связи с населением; правда, для обычных, средних процессов они хорошо осведомлены, и такие процессы идут гладко сами по себе, словно по рельсам, их надо только изредка подтолкнуть. А вот в очень простых случаях, а также в случаях очень сложных они совершенно беспомощны: из-за того, что они

всегда безоговорочно скованы законами, у них нет понимания человеческих взаимоотношений, а это страшно затрудняет ведение таких дел. Тут-то они и приходят просить совета у адвоката, а за ними идет курьер с теми протоколами, которые обычно хранятся в тайне. Вон у того окна, глядя на улицу с истинной грустью, сживали господ, каких тут меньше всего можно было бы ждать, а в это время адвокат изучал документы у своего стола, чтобы подать им разумный совет. Именно в таких обстоятельствах становилось виднее всего, насколько серьезно эти господа относятся к своей профессии и в какое отчаяние их приводят препятствия, непреодолимые по самой своей природе. Надо им отдать справедливость, положение у них и без того сложное, и службу эту никак нельзя назвать легкой. Ступени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвященным. А все судопроизводство в общем является тайной и для низших служащих, оттого они почти никогда не могут проследить дальнейший ход тех данных, которые они обрабатывают, оттого и судебное дело предстает перед ними только на их уровне, и они часто сами не знают, откуда оно пришло, и не получают никаких сведений, куда же оно пойдет дальше. Таким образом, знания, которые можно было бы почерпнуть на различных стадиях из этого процесса, а также из окончательного заключения и его обоснования, ускользают от этих чиновников. Они имеют право заниматься только той частью дела, которая выделена для них законом, и обычно знают о дальнейшем ходе вещей, то есть о результатах своей работы, еще меньше, чем защита, которая, как правило, связана с обвиняемым до конца процесса. Значит, и в этом отношении защитник может дать им весьма ценные сведения. И если К. все это учтет, то он вряд ли станет удивляться раздражительности чиновников, которая часто проявляется по отношению к клиентам в чрез-



вычайно обидной форме — впрочем, каждый это испытывает на себе. Все чиновники раздражены, даже когда кажутся внешне спокойными. И от этого, разумеется, больше всего страдают мелкие адвокаты. Рассказывают, например, следующую историю, удивительно похожую на правду. Один старый чиновник, добрый, смирный человек, целые сутки изучал трудное дело, к тому же чрезвычайно запутанное из-за вмешательства адвокатов, — усерднее таких чинуш никого не найти. Уже к утру, проработав двадцать четыре часа без видимых результатов, он подошел к входной двери, спрятался за ней и каждого адвоката, который пытался войти, сбрасывал с лестницы. Адвокаты собрались на лестничной площадке и стали советоваться, что им делать. С одной стороны, они не имеют права требовать, чтобы их впустили, значит, жаловаться на этого чиновника по начальству они не могут, а кроме того, как уже говорилось, они должны остерегаться и не раздражать чиновников зря. С другой же стороны, каждый проведенный вне суда день для них потерян, и проникнуть туда им очень важно. В конце концов они договорились изматывать старичка. Стали посылать наверх одного адвоката за другим, те взбегали по лестнице и давали себя сбрасывать оттуда при довольно настойчивом, но, разумеется, пассивном сопротивлении, а внизу их подхватывали коллеги. Так продолжалось почти целый час, и тут старичок, уже сильно уставший от ночной работы, совсем сдал и ушел к себе в канцелярию. Стоявшие внизу сначала не поверили и послали одного из коллег наверх взглянуть, действительно ли за дверью никого нет. И только тогда они все поднялись наверх и, должно быть, не посмели даже возмутиться. Ведь адвокат — а даже самый ничтожный из них хоть отчасти представляет себе все обстоятельство — никогда не пытается ввести в судопроизводство какие бы то ни было изменения или улучшения, в то время

как почти каждый обвиняемый, даже какой-нибудь недоумок, при первом же соприкосновении с процессом начинает думать, какие бы предложения внести, чтобы улучшить постановку дела, и часто тратит на это время и силы, которые можно было бы с гораздо большей пользой употребить на что-либо иное. Единственно правильное — это примириться с существующим порядком вещей. И если бы даже человек был в силах исправить какие-то отдельные мелочи, что является нелепым заблуждением, то в лучшем случае он чего-то добился бы для хода будущих процессов, но себе самому он только нанес бы непоправимый вред, привлекая внимание и особую мстительность чиновников. Главное — не привлекать внимания! Держаться спокойно, как бы тебе это ни претило! Попытаться понять, что суд — этот грандиозный организм — всегда находится, так сказать, в неустойчивом равновесии, и если ты на своем месте самовольно что-то нарушишь, ты можешь у себя же из-под ног выбить почву и свалиться в пропасть, а грандиозный организм сам восстановит это небольшое нарушение за счет чего-то другого — ведь все связано между собой — и останется неизменным, если только не станет, что вполне вероятно, еще замкнутее, еще строже, еще бдительнее и грознее. Лучше предоставить всю работу адвокату и не мешать ему. Конечно, упреки никому на пользу не идут, особенно если нельзя человеку растолковать, за что его упрекают и в чем винят, но все-таки следует сказать, что К. чрезвычайно навредил делу тем, как он вел себя при директоре канцелярии. Видимо, придется вычеркнуть этого влиятельнейшего человека из списка тех, у кого можно было бы чего-то добиться для К. Теперь он нарочно пропускает мимо ушей даже мимолетные упоминания о процессе. В некоторых отношениях эти чиновники — сущие дети. Иногда какие-нибудь пустяки — впрочем, поведение К., к сожалению, нельзя

отнести к этой категории — так обижают их, что они перестают разговаривать даже с лучшими своими друзьями, отворачиваются от них при встрече и везде, где только можно, действуют им наперекор. И вдруг, совершенно неожиданно, без всяких оснований, их может рассмешить какая-нибудь глупая шутка, на которую решаешься только оттого, что все кажется безнадежным, и тут снова настает полное примирение. С ними общаться и трудно и легко, никаких правил тут не существует. Иногда просто диву даешься, как это одной человеческой жизни хватает на то, чтобы овладеть всеми теми знаниями, которые дают возможность работать хотя бы с некоторым успехом. Правда, бывают, как, впрочем, и у всех, мрачные дни, когда думаешь, что ни малейших успехов не достиг, и кажется, будто хорошо кончились только те процессы, в которых благополучный исход был predetermined с самого начала, без всякой посторонней помощи, а все остальные проиграны, несмотря на всю беготню, все старания, все кажущиеся мелкие успехи, которые так тебя радовали. Тут, конечно, теряешь всякую уверенность и даже не осмеливаешься возражать, если тебя спросят, правда ли, что некоторые процессы, проходившие по существу благополучно, ты сорвал именно своим вмешательством. Единственное, что тебе остается, это какая-то внутренняя самозащита. Таким припадкам сомнения — разумеется, это только припадки — адвокаты бывают особенно подвержены, когда дело, которое они вели уже давно и вполне удовлетворительно, внезапно вырывают у них из рук. Ничего хуже с адвокатом случиться не может. И отнимает дело, конечно, не сам обвиняемый, этого никогда не бывает: если обвиняемый уже взял определенного адвоката, то он за него держится, несмотря ни на что. Да и как он может справиться сам, если он уже воспользовался чьей-то помощью? Так что этого не бывает, но иногда бывает

другое: процесс принимает такой оборот, что адвоката к нему уже не допускают. И само дело, и обвиняемого, и вообще всё просто отнимают у адвоката, и тут уж не помогут самые лучшие отношения с чиновниками, потому что те и сами ничего не знают. Просто весь процесс перешел в такую стадию, где никакой помощи уже оказать нельзя, где дело ведется в недоступных судебных органах и обвиняемый становится недоступным для адвоката. И в один прекрасный день, явившись домой, находишь у себя на столе все те ходатайства, которые составлялись с такой тщательностью, с такой крепкой надеждой на исход дела; оказывается, их отослали тебе обратно, так как на новом этапе процесса их использовать запрещено и они стали бесполезными клочками бумаги. Причем это еще не значит, что процесс проигран, вовсе нет; во всяком случае, никаких оснований для такого предположения нет, просто ты о процессе больше ничего не знаешь и узнать никак не можешь. К счастью, такие случаи — исключение, и даже если процесс самого К. тоже подпадет под такой случай, то пока дело до этого еще не дошло. Сейчас еще представляются самые широкие возможности для работы адвоката, и в том, что он их использует, К. может не сомневаться. Ходатайство, как уже говорилось, еще не подано, да это и не к спеху, гораздо важнее предварительные переговоры с ведущими чиновниками, а они уже велись. Но велись — надо честно сознаться — с переменным успехом. Однако лучше покамест не выдавать подробностей, это может плохо повлиять на К. — пробудить слишком радостные надежды или слишком напугать его; можно сказать только одно: некоторые чиновники высказывались чрезвычайно доброжелательно и выражали полную готовность содействовать, в то время как другие высказывали меньшую доброжелательность, однако в помощи ни в коей мере не отказывали. В общем результаты, мож-

но сказать, вполне ободряющие, однако делать какие-либо заключения еще нельзя, так как это обычное начало всех предварительных переговоров и только дальнейшее развитие дела покажет, насколько ценны эти предварительные переговоры. Во всяком случае, ничего еще не потеряно, и если бы удалось, несмотря ни на что, вернуть расположение директора канцелярии — а к этому уже приняты разные меры, — то, как говорят хирурги, рану можно считать чистой и надо только спокойно дожидаться дальнейшего.

На такие и подобные разговоры адвокат был неистощим. И это повторялось при каждой встрече. Всегда имелись налицо какие-то успехи, но никогда не сообщалось, в чем они состоят. Работа над первым ходатайством шла непрестанно, но оно все еще не было готово; однако при следующей встрече именно это оказывалось огромным преимуществом; как раз все последние дни были исключительно неблагоприятны для подачи заявлений, хотя предвидеть это заранее никто не мог. И если К., измученный бесконечными словоизвержениями, замечал, даже учитывая все трудности, что дело подвигается очень медленно, то ему возражали, что подвигается оно совсем не так медленно, но, конечно, двинулось бы гораздо дальше, если бы К. обратился к адвокату вовремя. Но, к сожалению, тут он оплошал, и эта оплошность не только сейчас, но и впредь будет порождать затруднения.

Единственное приятное разнообразие в эти посещения вносил приход Лени: она всегда устраивала так, что подавала адвокату чай в присутствии К. Встав за спиной К., она притворялась, что смотрит, как адвокат, с какой-то жадностью, низко пригнувшись к чашке, наливает и пьет чай, и тайком позволяла К. пожимать ей руку. Наступало полное молчание. Адвокат пил чай, К. пожимал руку Лени, а Лени иногда осмеливалась нежно поглаживать К. по голове.

— Ты еще тут? — спрашивал адвокат, допив чай.

— Я хотела убрать посуду, — отвечала Лени с последним рукопожатием, но тут адвокат вытирал губы и с новой силой начинал заговаривать К.

Хотел ли он утешить К. или привести его в отчаяние? К. никак не мог понять, чего тот добивается, хотя отлично понимал, что его защита в ненадежных руках. Возможно, что адвокат говорил правду, хотя было очевидно, что он хочет выставить себя в самом выгодном свете и, вероятно, никогда не вел такой большой процесс, каким, по его мнению, был процесс К. Но самым подозрительным казалось постоянное подчеркивание личных связей с чиновниками. Использовались ли эти связи исключительно для пользы К.? Адвокат постоянно напирал на то, что речь идет только о низших служащих, то есть о людях зависимых, и что для их продвижения по службе определенные повороты процесса, конечно, могут иметь большое значение. Может быть, они используют адвоката, чтобы добиться именно таких, всегда неблагоприятных для обвиняемого оборотов дела? Может быть, они вели себя так не в каждом процессе, это вряд ли было возможно; наверно, случались и такие процессы, когда они помогали адвокату за его услуги, ведь они сами были заинтересованы в том, чтобы поддерживать в чистоте его репутацию. Но если дело и вправду обстоит так, то каким образом они вмешаются в процесс К., чрезвычайно трудный и, по уверениям адвоката, очень сложный, то есть важный и привлечший внимание судебных властей с самого начала? Нет, никаких сомнений их дальнейшие намерения не вызвали. Некоторые симптомы были заметны уже в том, что первое ходатайство все еще не подано, хотя процесс тянется уже несколько месяцев, но до сих пор, по словам адвоката, еще находится в низших инстанциях, а это, конечно, очень способствует намерению усыпить внимание

обвиняемого, обезоружить его и вдруг обрушить на него приговор или по меньшей мере объявить ему, что следствие окончилось для него неблагоприятно и дело передано в высшие инстанции.

Нет, К. непременно должен был сам вмешаться. Именно в состоянии крайней усталости, как в это зимнее утро, когда помимо воли все мысли были обращены на его дело, он был в этом безоговорочно убежден. Презрение, с каким он раньше относился к процессу, теперь пропало. Будь он один на свете, он еще мог бы пренебречь процессом, хотя тогда — и в этом сомнений не было — процесс вообще не мог бы возникнуть. Но теперь, когда дядя затащил его к адвокату, приходилось считаться с семейными взаимоотношениями; да и его служба отчасти зависела от хода процесса, потому что он сам неосторожно и даже с каким-то необъяснимым удовлетворением упоминал о своем процессе при знакомых, а другие знакомые сами о нем узнавали неизвестно откуда; отношения с фрейлейн Бюрстнер тоже колебались в зависимости от процесса — словом, у него уже не было выбора, принимать или не принимать этот процесс, он попал в самую гущу и должен был защищаться. А если он устал — тем хуже для него.

Впрочем, для преувеличенной тревоги никаких оснований пока что не было. Он сумел в сравнительно короткое время подняться в своем банке до высокой должности и, признанный всеми, занимал эту должность до сих пор; значит, теперь ему только надо эти свои таланты, благодаря которым он всего достиг, приложить к ведению процесса, и нет никаких сомнений, что тогда все окончится благополучно. Но прежде всего, если хотеть чего-то добиться, надо с самого начала отмести всякие мысли о возможной вине. Никакой вины нет. И весь этот процесс — просто большое дело, какие он с успехом часто вел для банка, и в этом деле, как правило, таятся всевозможные

опасности — их только и надо предотвратить. Во имя этой цели никак нельзя играть с мыслью о какой бы то ни было вине, наоборот, надо все мысли твердо сосредоточить на собственной правоте. А отсюда неизбежно вытекало решение отстранить адвоката от дела как можно скорее, лучше всего — сегодня же вечером. Правда, по словам того же адвоката, это было бы неслыханным прецедентом, к тому же очень обидным, но К. больше не мог терпеть, чтобы все его усилия разбивались о препятствия, которые, возможно, подстраивал его собственный адвокат. А как только он стряхнет с себя эту зависимость, он сам сразу подаст ходатайство и, возможно, ему ежедневно придется добиваться, чтобы эту бумагу рассмотрели. Разумеется, для того чтобы добиться этого, К. не станет, подобно другим, просиживать в коридоре, положив шляпу под стул. Он сам, или знакомые женщины, или те, кого он пошлет, будут ежедневно нажимать на чиновников, чтобы заставить их не глазеть сквозь решетки в коридор, а сесть к столу и рассмотреть ходатайство К. Тут нельзя ослаблять натиск, надо все организовать, проверить; пусть суд наконец столкнется с таким обвиняемым, который умеет постоять за свои права.

Но если К. верил, что он сумеет все это провести в жизнь, то составление ходатайства представило для него непреодолимые трудности. Раньше, с неделю назад, он только с чувством некоторой неловкости думал о том, что будет вынужден составлять такую бумагу. Но он даже и не думал, что это может быть так трудно. Он вспомнил, как однажды утром, когда он был завален работой, он вдруг отодвинул все в сторону и взял блокнот, чтобы набросать ходатайство и, может быть, потом отдать этот черновик для исполнения тяжелодуму-адвокату, и как именно в эту минуту отворилась дверь директорского кабинета и с громким смехом вошел заместитель директора.



Тут К. стало очень неприятно, хотя заместитель директора смеялся вовсе не над его ходатайством, о котором он ничего не знал, а над только что услышанным биржевым анекдотом; для того чтобы этот анекдот стал понятен, надо было сделать рисунок, и заместитель директора, наклонясь над столом К., взял у него из рук карандаш и набросал рисунок на листке блокнота, предназначенном для черновика.

Но сегодня К. забыл о чувстве неловкости — написать ходатайство было необходимо. Если на службе он не сможет выкроить для этого время — что было вполне вероятно, — значит, придется писать дома, по ночам. А если ночей не хватит, придется взять отпуск. Только не останавливаться на полдороге, это самое бессмысленное не только в делах, но и вообще всегда и везде. Правда, ходатайство потребует долгой, почти бесконечной работы. Даже при самом стойком характере человек мог прийти к мысли, что такую бумагу вообще составить невозможно. И не от лени, не от низости, которые только и могли помешать адвокату в этой работе, а потому, что, не зная ни самого обвинения, ни всех возможных добавлений к нему, придется описать всю свою жизнь, восстановить в памяти мельчайшие поступки и события и проверить их со всех сторон. И какая же это грустная работа! Может быть, она подходит тем, кто, уйдя на пенсию, захочет чем-то занять мозг, уже впадающий в детство, и как-то скоротать долгие дни. Но теперь, когда человеку необходимо сохранить всю свежесть мысли для работы, когда часы летят с необыкновенной быстротой, потому что его карьера на подъеме и он представляет собой даже в некотором роде угрозу для заместителя директора, теперь, когда ему, человеку молодому, хочется насладиться жизнью в столь короткие вечера и ночи, именно теперь он должен заниматься составлением этого документа! И К. снова мыслен-

но пожалел себя. Почти нечаянно, лишь бы прекратить этот ход мысли, он нажал кнопку звонка, проведенного в приемную. Нажимая кнопку, он взглянул на часы. Уже одиннадцать, значит, два часа драгоценнейшего времени он истратил на раздумье и, конечно, устал еще больше прежнего. И все-таки время прошло не зря, он принял решение, которое может оказаться полезным.

Кроме почты, курьер принес визитные карточки двух господ, давно ожидавших К. Как назло, это были очень важные клиенты банка, которых ни в каком случае нельзя было заставлять ждать. И почему они пришли в такое неподходящее время, и почему — как, наверно, спрашивали себя эти господа за закрытой дверью — столь усердный К. тратил самое горячее служебное время на личные дела? Устав от всего, что было, и с усталостью ожидая того, что будет, К. поднялся навстречу первому клиенту.

Это был маленький разбитной человек, фабрикант, которого К. хорошо знал. Он выразил сожаление, что отрывает К. от важной работы, а К., со своей стороны, выразил сожаление, что заставил его так долго ждать. Но слова сожаления он произнес настолько машинально и таким неестественным тоном, что если бы фабрикант не был так занят своим делом, он непременно подметил бы это. Вместо того он торопливо вытащил счета и таблицы из всех карманов, разложил их перед К. и стал разъяснять отдельные пункты, поправил небольшую ошибку в расчетах, которую поймал даже при таком беглом просмотре, напомнил, что К. заключил с ним такую же сделку год назад, мимоходом заметил, что на этот раз другой банк готов идти на значительные жертвы, лишь бы заключить с ним эту сделку, и наконец умолк, чтобы выслушать мнение К. Действительно, К. вначале с большим вниманием следил за словами фабриканта, мысль о важной сделке

захватила и его, но, к сожалению, ненадолго; вскоре он перестал слушать, некоторое время еще кивал головой в ответ на громкие восклицания фабриканта, но потом прекратил и это, ограничиваясь только тем, что смотрел на лысую голову, склоненную над бумагами, и спрашивал себя, когда же фабрикант наконец поймет, что все его разглагольствования бесполезны. И когда фабрикант замолчал, К. сначала всерьез подумал, будто замолчал он для того, чтобы дать ему возможность сознаться, что слушать он не в состоянии. Но по напряженному взгляду фабриканта, готового на любые возражения, К. с сожалением понял, что деловой разговор придется продолжить. Он наклонил голову, словно подчиняясь приказанию, и стал медленно водить карандашом по бумагам, то и дело останавливаясь и всматриваясь в какую-нибудь цифру. Видимо, фабрикант предположил, что К. с чем-то не согласен, а может быть, цифры были не совсем точные, может быть, и не они решали дело, во всяком случае, фабрикант закрыл бумаги рукой и, придвинувшись совсем близко к К., снова начал в общих чертах излагать ему свое дело.

— Трудно все это, — сказал К., наморщив губы, и так как фабрикант закрыл бумаги — единственное, на чем еще можно было сосредоточиться, — он безвольно откинулся на спинку кресла.

Он только поднял глаза, когда отворилась дверь директорского кабинета и вдали, не очень отчетливо, словно в какой-то дымке, мелькнула фигура заместителя директора. К. не обратил на это особого внимания, но его обрадовала реакция фабриканта — для К. это было очень кстати. Ибо фабрикант тотчас же вскочил с кресла и поспешил навстречу заместителю директора. К. хотел, чтобы он двигался в десять раз скорее, потому что боялся, что заместитель вдруг скроется. Страх оказался напрас-

ным, оба господина встретились, пожали друг другу руки и вместе подошли к столу К. Фабрикант пожаловался, что прокурист никак не склонен идти ему навстречу в этом деле, и кивнул в сторону К., который под взглядом заместителя снова низко нагнулся над бумагами. Они оба стояли, прислонясь к его столу, и фабрикант начал уговаривать заместителя, стараясь привлечь его на свою сторону. К. почувствовал себя так, будто оба эти человека непомерно разрастаются и уже через его голову решают его судьбу. Медленно и осторожно он завел глаза кверху, чтобы взглянуть, что же там происходит; не глядя, взял одну из бумаг со стола, положил ее на ладонь и, постепенно подымаясь с кресла, стал протягивать ее обоим собеседникам. Он ни о чем в это время не думал, а действовал так, как, по его представлению, ему придется действовать, когда он наконец подготовит тот важный документ, который его окончательно оправдает. Заместитель директора, с большим вниманием слушавший фабриканта, взглянул на бумагу мимоходом, даже не прочитав, что там было написано, ибо то, что было важно для прокуриста, для него никакого интереса не представляло, однако взял бумагу из рук у К., сказал: «Спасибо, я все уже знаю», — и спокойно положил бумагу на стол. К. с неприязнью покосился на него. Но заместитель даже не заметил его взгляда, а если и заметил, то лишь еще больше развеселился. Он то и дело разражался громким смехом, даже явно привел фабриканта в смущение остроумным ответом и в заключение пригласил его к себе в кабинет, чтобы окончательно договориться.

— Дело весьма важное, — сказал он фабриканту, — мне это совершенно ясно. А господину прокуристу, — при этом он обращался только к фабриканту, — наверно, будет по душе, если мы его от этого освободим. Ваше дело требует спокойного обсуждения. А он как будто сегодня и

так перегружен работой, к тому же в приемной вот уже несколько часов его ожидают люди.

У К. еле хватило выдержки отвернуться от заместителя директора и любезно, хотя и напряженно улыбнуться одному только фабриканту. Больше он не стал вмешиваться и, слегка наклонившись вперед, упершись обеими руками в стол, как приказчик на прилавок, глядел, как оба господина, переговариваясь между собой, взяли бумаги со стола и скрылись в кабинете директора. В дверях фабрикант еще раз обернулся, сказал, что не прощается и не преминет осведомить господина прокурора о результатах переговоров, а кроме того, собирается сделать ему еще одно небольшое сообщение.

Наконец К. остался один. Он и не подумал впустить следующего клиента и только неясно сознавал, насколько это удачно, что люди там, в приемной, уверены, будто он еще занят с фабрикантом, и поэтому никто, даже курьер, не решается войти к нему. Он подошел к окну, сел на подоконник, держась одной рукой за щеколду, и выглянул на площадь. Снег еще падал, погода никак не прояснялась.

Долго просидел он неподвижно, не понимая, что именно его так беспокоит, и только изредка испуганно обращившись через плечо к двери в приемную, где ему слышался какой-то шум. Но так как никто не входил, он успокоился, подошел к умывальнику, умылся холодной водой и с освеженной головой вернулся к окошку. Решение взять свою защиту в собственные руки теперь казалось ему гораздо более ответственным, чем он предполагал сначала. Когда он взваливал всю защиту на адвоката, процесс в сущности мало его касался, он наблюдал за ним только со стороны, а непосредственно его ничто не затрагивало, он мог при желании поинтересоваться, как идут его дела, но мог и отойти в сторону, когда ему этого

хотелось. А сейчас, если он возьмет ведение своего дела на себя, он — хотя бы на данное время — будет совершенно поглощен судебными делами. Если все пойдет успешно, то впоследствии придет полное и окончательное освобождение, но чтобы этого достичь, ему придется все время сталкиваться с гораздо большими опасностями, чем до сих пор. И если он еще сомневался в этом, то сегодняшняя встреча с фабрикантом при заместителе директора достаточно убедила его. Как он при них сидел совершенно растерянный лишь оттого, что намеревался с сегодняшнего дня взять свою защиту на себя! Что же будет дальше? Какие дни предстоят ему? Найдет ли он путь, который приведет его к благополучному исходу? Не вызовет ли тщательно продуманное ведение защиты — а иначе все было бы лишено смысла, — не вызовет ли такая защита необходимости отключиться, насколько возможно, от всякой другой работы? Сможет ли он благополучно пройти через это? И как ему провести в жизнь этот план тут, в банке? Ведь время ему нужно не только для составления ходатайства — для этого хватило бы и отпуска, хотя просить об отпуске сейчас было бы большой смелостью, — ему нужно время для целого процесса, а кто знает, как долго он будет тянуться? Вот сколько препятствий вдруг встало на жизненном пути К.!

Неужто в таком состоянии он должен работать для банка? Он взглянул на стол. Неужели сейчас принимать клиентов, вести с ними переговоры? Там его процесс идет полным ходом, там, наверху, на чердаке, судейские чиновники сидят над актами этого процесса, а он должен заниматься делами банка? Не похоже ли это на пытку, не с ведома ли суда в связи с процессом его подвергают этой пытке? А разве в банке при оценке его работы кто-нибудь станет учитывать его особое положение? Никто и никогда. Кое-что о его процессе знали, хотя и было не

совсем ясно, кому и сколько об этом известно. Надо надеяться, что слухи еще не дошли до заместителя директора, иначе сразу стало бы видно, как он старается использовать эти сведения против К. вопреки чувству товарищества и простой человечности. А сам директор? Да, конечно, он хорошо относится к К., и если бы он узнал о процессе, то сейчас же сделал бы все от него зависящее, чтобы внести какие-то облегчения для К., но ему это вряд ли удалось бы, потому что теперь, когда К. почти перестал противодействовать влиянию заместителя, это влияние усилилось, причем заместитель для укрепления своей власти использовал болезненное состояние самого директора. На что же К. мог надеяться? Может быть, от этих мыслей сила сопротивления в нем понижалась, но, с другой стороны, нельзя обманывать себя, надо все предвидеть, все, насколько это возможно в данную минуту.

Без всякой причины, просто чтобы не возвращаться к письменному столу, К. отворил окно. Оно открывалось с трудом, пришлось обеими руками нажать на задвижки. Всю комнату и ввысь и вширь заполнил туман, пропитанный дымом, вместе с ним вполз запах гари. Сквозняком внесло несколько снежинок.

— Прескверная осень, — сказал за спиной К. голос фабриканта — тот вышел от заместителя директора и незаметно подошел к окну. К. утвердительно кивнул и с опаской поглядел на портфель фабриканта: наверно, он сейчас вынет оттуда бумаги и начнет рассказывать, как прошли переговоры с заместителем директора. Но фабрикант поймал взгляд К., похлопал по своему портфелю и сказал, не открывая его:

— Вам, наверно, интересно услышать, чего я достиг. У меня, можно сказать, заключение уже в кармане. Превосходный человек ваш заместитель директора, но ему пальца в рот не клади.

Он засмеялся и потряс руку К., явно желая и его рас- смешить. Но тому показалось подозрительным, что фаб- рикант не хочет показать ему документы, да и нечего смешного в его словах он не нашел.

— Господин прокурист, — сказал вдруг фабрикант, — на вас, наверно, погода плохо действует? Вид у вас такой удрученный.

— Да, — сказал К. и поднес руку к виску, — голова болит, семейные неполадки.

— Верно, в е р н о, — сказал фабрикант, человек он был торопливый и никогда не дослушивал спокойно, что ему говорят, — каждому приходится нести свой крест.

К. невольно подался к двери, как будто хотел выпро- водить фабриканта, но тот сказал:

— Господин прокурист, у меня есть для вас еще одно небольшое сообщение. Очень боюсь, что сейчас вам не до того, но за последнее время я уже дважды был у вас и каждый раз об этом забывал. Если еще отклады- вать, то мое сообщение, наверно, потеряет всякий смысл. А это жаль, может быть, оно все-таки будет иметь для вас какое-то значение. — И прежде чем К. успел ответить, фабрикант подошел к нему вплотную, постучал согнутым пальцем ему в грудь и тихо сказал: — У вас идет процесс, не так ли?

К. отшатнулся и воскликнул:

— Вам это сказал заместитель директора!

— Да нет ж е, — сказал фабрикант, — откуда замести- тель мог узнать об этом?

— А вы? — уже спокойнее спросил К.

— Я кое о чем осведомлен из судебных кругов, — ска- зал фабрикант. — Вот об этом-то я и хотел с вами погово- рить.

— Сколько же людей связано с судебными кругами! — сказал К., опустив голову, и подвел фабриканта к столу.



Они уселись, как сидели раньше, и фабрикант сказал: — К сожалению, я могу сообщить вам очень немногое. Но в таких делах нельзя пренебрегать даже самой малостью. Кроме того, мной руководит искреннее желание хоть чем-нибудь помочь вам, даже если эта помощь окажется весьма скромной. Ведь до сих пор у нас в делах были самые дружеские отношения, не так ли? Ну вот видите!

К. хотел было извиниться за свое поведение во время сегодняшнего разговора, но фабрикант не терпел, когда его перебивали. Он засунул портфель глубоко под мышку, чтобы показать, как он торопится, и продолжал:

— О вашем процессе я узнал от некоего Титорелли. Он художник, Титорелли — его псевдоним, настоящего его имени я даже не знаю. Уже много лет подряд он изредка заходит ко мне в контору и приносит небольшие картинки, и за них — ведь он почти нищий — я даю ему что-то вроде милостыни. Эти сделки — мы оба к ним привыкли — всегда проходили гладко. Но вот его посещения стали учащаться, я его упрекнул, мы разговорились, я заинтересовался, как это он может жить одними этими картинками, и, к своему удивлению, узнал, что главный источник его дохода — писание портретов. «Работаю на с у д», — сказал он. — «На какой суд?» — спросил я. И тут он рассказал мне об этом суде. Вероятно, вы лучше всех поймете, как меня удивил его рассказ. С тех пор при каждом посещении я выслушиваю какие-нибудь новости и постепенно составил себе некоторое представление об этом суде. Правда, Титорелли очень болтлив, и часто мне приходится его останавливать, не только потому, что он наверняка привирает, но главным образом из-за того, что мне, человеку деловому, которому и свои заботы покоя не дают, некогда слишком много заниматься чужими делами. Но это я мимоходом. И вот я подумал: а вдруг Титорел-

ли будет вам хоть чем-то полезен, он знаком со многими судьями, и хотя сам он особого влияния не имеет, но все же сможет дать совет, как попасть ко всяким влиятельным лицам. И если даже эти советы сами по себе ничего не значат, то вам, по моему мнению, они могут очень и очень пригодиться. Ведь вы сами почти адвокат. Я всегда говорю: «Прокуррист К. почти что адвокат». Нет, за исход вашего процесса я совершенно не беспокоюсь. И все-таки не зайдете ли вы к Титорелли? По моей рекомендации он сделает для вас все, что в его силах. Право же, я думаю, что вам стоит к нему пойти. Не обязательно сегодня, а как-нибудь при случае. Разумеется — и я должен вам это подчеркнуть, — вы ни в коем случае не обязаны следовать моему совету и идти к Титорелли. Нет, если вы можете обойтись без Титорелли, то лучше оставить его в стороне. Может быть, у вас уже есть свой определенный план и Титорелли только нарушит его? Нет, нет, тогда вам ни в коем случае к нему ходить не надо! Конечно, от такого типа нелегко принимать советы. Впрочем, как хотите. Вот рекомендательное письмо и вот его адрес.

К. взял письмо и сунул его в карман — он был очень разочарован. Даже при самых благоприятных обстоятельствах польза от этого знакомства была неизмеримо меньше вреда, который нанес ему художник, доведя до сведения фабриканта слухи о процессе и распространяя сплетни.

К. с трудом заставил себя пробормотать какую-то благодарность вслед фабриканту, уже выходящему из комнаты.

— Я зайду к нему, — сказал он, прощаясь с фабрикантом у двери, — или, пожалуй, так как я сейчас очень занят, напишу ему, чтоб он зашел ко мне сюда.

— О, я знал, что вы найдете наилучший выход, — сказал фабрикант. — Правда, я думал, что вам лучше было

бы не приглашать в банк людей вроде этого Титорелли и не разговаривать с ним тут о процессе. Да и не очень-то полезно давать письма в руки таким людям. Но, конечно, вы все сами продумали, вам виднее, что можно делать и чего нельзя.

К. наклонил голову и проводил фабриканта через приемную. При всем своем внешнем спокойствии он очень испугался за себя: в сущности он говорил о письме к Титорелли, только чтобы показать фабриканту, что ценит его рекомендацию и обдумывает, как ему встретиться с Титорелли, но вместе с тем, если бы он счел помощь Титорелли полезной, он и в самом деле не преминул бы ему написать. Но слова фабриканта открыли ему опасность такого шага со всеми его последствиями. Неужели он уже не может надеяться на свой здравый смысл, на свой ум? Если он способен письменно пригласить какую-то сомнительную личность в банк и в двух шагах от заместителя директора, отделенный от него одной только дверью, просить у этого проходимца советов насчет своего процесса, то не значило ли это, что он, по всей вероятности, а может быть, и наверняка, не видит и других опасностей и бросается в них очертя голову? Не всегда же с ним рядом будет человек, который сможет его предупредить. Как раз сейчас, когда ему надо собрать все силы и действовать, на него напали сомнения в собственной бдительности. Неужели ему будет так же трудно заниматься своим процессом, как трудно вести банковские дела? Сейчас он, конечно, сам уже не понимал, как ему могло прийти в голову написать Титорелли и пригласить его в банк.

Он еще в недоумении покачивал головой, когда к нему подошел курьер и обратил его внимание на трех посетителей, сидевших в приемной на скамье. Они уже давно ждали, когда их наконец пригласят в кабинет К. Увидев,

что курьер обратился к К., они встали и, пытаясь воспользоваться случаем, наперебой старались заговорить с К. Раз банк обошелся с ними так бесцеремонно, заставив их терять время в приемной, то они тоже никаких церемоний признавать не собирались.

— Господин прокурис т, — начал было один.

Но К. уже велел подать свое зимнее пальто и, одеваясь с помощью курьера, обратился ко всем трои м:

— Простите, господа, сейчас я, к сожалению, не могу вас принять. Очень прошу меня извинить, но у меня весьма срочное дело и я должен сейчас же уйти. Вы сами видите, как долго меня задерживали. Не будете ли вы так любезны прийти завтра или когда вам будет удобно? А может быть, мы обсудим ваши дела по телефону? Или, быть может, вы сейчас вкратце изложите мне, что вам нужно, и я дам вам письменный ответ? Но лучше всего, конечно, если бы вы зашли еще раз.

От этих предложений посетители совершенно онемели и только переглядывались друг с другом: неужели они столько ждали понапрасну?

— Значит, договорились? — сказал К. и обернулся к курьеру, который подавал ему шляпу.

Сквозь открытую дверь кабинета видно было, что за окном гуще повалил снег. К. поднял воротник пальто и застегнул его у шеи.

И в эту минуту из соседнего кабинета вышел заместитель директора, с усмешкой увидел, что К. стоит в пальто, договариваясь о чем-то с посетителями, и спросил:

— Разве вы уже уходите, господин прокурис т?

— Да , — сказал К. и выпрямился, — мне необходимо уйти по делу.

Но заместитель директора уже обернулся к посетителям:

— А как же эти господа? — спросил он. — Кажется, они уже давно ожидают.

— Мы договорились, — сказал К.

Но тут посетители не выдержали; они окружили К. и заявили, что не стали бы ждать часами, если бы у них не было важных дел, которые надо обсудить немедленно, и притом с глазу на глаз. Заместитель директора послушал их, посмотрел на К. — тот, держа шляпу в руках, чистил на ней какое-то пятнышко — и потом сказал:

— Господа, есть очень простой выход. Если я могу вас удовлетворить, я с удовольствием возьму на себя переговоры вместо господина прокурора. Разумеется, ваши дела надо разрешить немедленно. Мы, такие же деловые люди, как и вы, понимаем, как драгоценно ваше время. Не угодно ли вам пройти сюда? — И он отворил дверь, которая вела в его приемную.

Как этот заместитель директора умел присваивать себе все, от чего К. по необходимости вынужден был отказываться! Но, может быть, К. вообще слишком перегибает палку, и это вовсе не обязательно? Пока он будет бегать к какому-то неизвестному художнику с весьма необоснованными и — нечего скрывать — ничтожными надеждами, тут, на службе, его престиж потерпит непоправимый урон. Вероятно, было бы лучше всего снять пальто и по крайней мере заполучить для себя хотя бы тех двух клиентов, которые остались ждать в приемной. Возможно, что К. и попытался бы так сделать, если бы не увидел, что к нему в кабинет вошел заместитель директора и роется на его книжной полке, словно у себя дома. Когда К. подошел к двери, тот воскликнул:

— А-а, вы еще не ушли? — Он посмотрел на К. — от резких прямых морщин его лицо казалось не старым, а скорее властным — и потом снова стал шарить среди бумаг. — Ищете договор, — сказала она. — Представитель фирмы

утверждает, что бумаги у вас. Не поможете ли вы мне найти их?

К. подошел было к нему, но заместитель директора сказал:

— Спасибо, уже нашел, — и, захватив толстую папку с документами, где явно лежал не только один этот договор, он прошел к себе в кабинет.

Теперь мне с ним не под силу бороться, сказал себе К., но пусть только уладятся все мои личные неприятности, и я ему первому отплачу, да еще как! Эта мысль немного успокоила К., он велел курьеру, уже давно открывшему перед ним дверь в коридор, сообщить директору банка, что ушел по делам, и, уже радуясь, что может хоть какое-то время целиком посвятить своему делу, вышел из банка.

Не задерживаясь он поехал к художнику, который жил на окраине, в конце города, противоположном тому, где находились судебные канцелярии. Эта окраина была еще беднее той: мрачные дома, переулки, где в лужах талого снега медленно кружился всякий мусор. В доме, где жил художник, было открыто только одно крыло широких ворот; в другом крыле внизу был пробит люк, и навстречу К. оттуда хлынула дымящаяся струя какой-то отвратительной желтой жидкости, и несколько крыс метнулось в канаву, спасаясь от нее. Внизу у лестницы, на земле ничком лежал какой-то младенец и плакал, но его почти не было слышно из-за оглушительного шума слесарной мастерской, расположенной с другой стороны подворотни. Двери в мастерскую были открыты, трое подмастерьев стояли вокруг какого-то изделия и били по нему молотками. От широкого листа белой жести, висящего на стене, падал бледный отсвет и, пробиваясь меж двух подмастерьев, освещал лица и фартуки. Но К. только мельком взглянул туда, ему хотелось как можно скорее

уйти, переговорить с художником как можно короче и сразу вернуться в банк. И если он хоть чего-нибудь тут добьется, то это хорошо повлияет на его сегодняшнюю работу в банке.

На третьем этаже ему пришлось умерить шаг — он совсем задыхался, этажи были непомерно высокие, а художник, видимо, жил в мансарде. К тому же воздух был затхлый, узкая лестница шла круто, без площадок, зажатая с двух сторон стенами — в них кое-где, высоко над ступеньками, были пробиты узкие оконца. К. немного приостановился, и тут из соседней квартиры выбежала стайка маленьких девочек и со смехом помчалась вверх по лестнице. К. медленно поднимался за ними, и, когда одна из девочек споткнулась и отстала от других, он нагнал ее и спросил:

— Здесь живет художник Титорелли?

У девочки был небольшой горб, ей можно было дать лет тринадцать; в ответ она толкнула К. локотком в бок и взглянула на него искоса. Несмотря на молодость и физический недостаток, в ней чувствовалась безнадежная испорченность. Даже не улыбнувшись, она вперила в К. настойчивый, острый и вызывающий взгляд.

К. притворился, что не заметил ее уловки и спросил:

— А ты знаешь художника Титорелли?

Она кивнула и тоже спросила:

— А что вам от него нужно?

К. решил, что не мешает разузнать еще кое-что о Титорелли.

— Хочу, чтобы он написал мой портрет, — сказал он.

— Портрет? — переспросила она и, широко разинув рот, шлепнула К. ладонью, словно он сказал что-то чрезвычайно неожиданное или несообразное, подхватила обеими руками свою и без того короткую юбочку и во всю

прыть побежала догонять остальных девочек, чьи крики уже терялись где-то наверху.

За следующим поворотом лестницы К. опять увидел их всех. Горбатенькая, очевидно, уже выдала им намерения К., и они дожидались его. Прижавшись к стенкам по обеим сторонам лестницы, чтобы дать К. свободный проход, они стояли, перебирая пальцами фартучки. В их лицах, в том, как они стояли рядом у стенок, была смесь какого-то ребячества и распутства. Горбатенькая пошла вперед, остальные со смехом сомкнулись за спиной К. Только благодаря ей К. сразу нашел дорогу. Он хотел было идти прямо наверх, но она сказала, что к Титорелли можно попасть только через боковую лестницу. Лестница, ведущая к нему, была еще уже, еще длиннее, шла круто вверх и кончалась у самой двери Титорелли. По сравнению со всей лестницей эта дверь хорошо освещалась небольшим, косо прорезанным в потолке окошечком, она была сколочена из некрашенных досок, и на ней широкими мазками кисти красной краской было выведено имя Титорелли. К. со своей свитой еще только поднялся до середины лестницы, как вдруг наверху, очевидно услышав шум на лестнице, приоткрыли двери, и в щель высунулся мужчина, на котором как будто ничего, кроме ночной рубахи, не было.

— Ох! — воскликнул он, увидев толпу, и сразу исчез. Горбунья от радости захлопала в ладоши, другие девочки стали подталкивать К. сзади, торопя его наверх.

Но не успели они подняться на самый верх, как дверь распахнулась и художник с низким поклоном попросил К. войти. Однако девочек он впустить не захотел и оттеснил их от дверей, сколько они ни просили и сколько ни пытались проникнуть к нему против его воли, не добившись разрешения. Только горбунье удалось проскользнуть у него под рукой, но художник погнался за ней, схватил за



юбки, закружил ее вокруг себя и выставил за дверь, к другим девочкам, которые не посмели переступить порог, даже когда художник отошел от двери. К. никак не мог взять в толк, как отнестись к тому, что происходит; тут как будто царили самые дружеские отношения. Вытянув шейки, девочки весело кричали художнику какие-то шуточные слова, которых К. не понимал, художник смеялся, и горбунья в его руках чуть ли не взлетала в воздух. Потом он закрыл дверь, еще раз поклонился К., пожал ему руку и представился:

— Художник-живописец Титорелли.

К. показал на дверь, за которой перешептывались девочки, и проговорил:

— Как видно, в этом доме вас очень любят!

— Ах уж эти мне мартышки! — сказал художник, тщетно пытаясь застегнуть ночную рубашку у ворота.

Он стоял босой, теперь, кроме рубахи, на нем были широкие штаны из желтоватого холста, они держались только на ремне, и длинный конец его свободно болтался.

— Мне от этих мартышек житья нет, — сказал он и, бросив попытки застегнуть рубаху, так как и последняя пуговица отлетела, принес кресло и пригласил К. сесть.

— Как-то я написал портрет одной из них — ее сейчас тут не было, — и с тех пор они меня преследуют. Когда я дома, они заходят только с моего позволения, но стоит мне уйти, сюда непременно проберется хоть одна. Они подделали ключ к моей двери и передают друг другу. Вы просто не представляете себе, как они мне надоели. Например, прихожу сюда с дамой, которую я собираюсь рисовать, открываю дверь своим ключом и вижу: за столом сидит горбунья и красит себе губы моей кисточкой, а ее братцы и сестрицы, за которыми ей велели присматривать, бегают по комнате, пачкают во всех углах. Или, например, вчера: вернулся я очень поздно —

поэтому вы уж простите меня за костюм и за беспорядок в комнате, — значит, вернулся я домой поздно, хотел лечь в постель, и вдруг кто-то щиплет меня за ногу. Лезу под кровать и вытаскиваю одну из этих негодниц! И почему их так ко мне тянет — понять невозможно. Вы сами видели, что я их не очень-то поощряю. Они мне и работать мешают. Если бы это ателье не досталось мне бесплатно, я бы давно отсюда выехал.

И тут за дверью нежный голосок боязливо пропищал:  
— Титорелли, можно нам войти?

— Нет! — ответил художник.

— Даже мне одной нельзя? — спросил тот же голосок.

— Тоже нельзя! — сказал художник и, подойдя к двери, запер ее на ключ.

К. уже успел оглядеть комнату; никогда в жизни он не подумал бы, что эту жалкую каморку кто-нибудь называет «ателье». Двумя шагами можно было измерить ее и в длину и в ширину. Всё — полы, стены, потолок — было деревянное, между досками виднелись узкие щели. У дальней стены стояла кровать с грудой разноцветных одеял и подушек. Посреди комнаты на мольберте видна была картина, прикрытая рубахой с болтающимися до полу рукавами. За спиной К. было окошко, в нем сквозь туман виднелась только крыша соседнего дома, засыпанная снегом.

При звуке ключа, повернутого в двери, К. вспомнил, что он в сущности намеревался уйти поскорее. Поэтому он вынул из кармана письмо фабриканта, подал его художнику и сказал:

— Я узнал о вас от этого господина, вашего знакомого, и по его совету пришел к вам.

Художник быстро просмотрел письмо и бросил его на кровать. Если б фабрикант не говорил так определенно о

Титорелли как о своем приятеле, о бедном человеке, который зависит от его щедрот, то вполне можно было бы сейчас подумать, что Титорелли вовсе и не знаком с фабрикантом или, во всяком случае, совсем его не помнит. А тут художник еще спросил:

— Вы желаете купить картины или хотите заказать свой портрет?

К. с изумлением посмотрел на художника. Что же, собственно говоря, было написано в письме? К. считал, что фабрикант, само собой разумеется, сообщил в своем письме художнику, что К. хочет только одного: навести справки о своем процессе. И зачем он так необдуманно и торопливо бросился сюда! Но теперь надобно было хоть что-нибудь ответить художнику, и, взглянув на мольберт, К. сказал:

— Вы сейчас работаете над картиной?

— Да, — сказал художник и, сняв рубаху, прикрывавшую картину, швырнул ее на кровать, туда же, куда бросил письмо. — Пишу портрет. Неплохая работа, но еще не совсем готова.

Все складывалось как нельзя удачнее для К.: ему просто преподнесли на блюдечке предлог заговорить о суде, потому что портрет перед ним явно изображал судью. Более того, он очень походил на портрет судьи в кабинете адвоката. Правда, тут был изображен совершенно другой судья — чернобородый толстяк с пышной, окладистой бородой, закрывавшей щеки; кроме того, у адвоката висел портрет, написанный маслом, тогда как этот был сделан пастелью в расплывчатых и мягких тонах. Но все остальное было очень похоже: судья и тут словно в угрозе приподымался на своем троне, сжимая боковые ручки.

«Да ведь это судья», — хотел было сказать К., но удержался и, подойдя к картине, стал рассматривать ее во всех подробностях. Ему показалась непонятной длин-

ная фигура, стоявшая за высокой спинкой кресла, похожего на трон, и он опросил художника, что это такое.

— Ее надо еще немного подработать, — объяснил ему художник и, взяв со столика пастельный карандаш, несколькими штрихами подчеркнул контуры фигуры, но для К. она от этого не стала яснее.

— Это Правосудие, — объяснил наконец художник.

— Да, теперь узнаю, — сказал К. — Вот повязка на глазах, а вот и чаши весов. Но, по-моему, у нее крылышки на пятках и она как будто бежит?

Да, — сказал художник, — я ее написал такой по заказу. Собственно говоря, это богиня правосудия и богиня победы в едином лице.

— Не очень-то правильное сочетание, — сказал К. с улыбкой. — Ведь богиня правосудия должна стоять на месте, иначе весы придут в колебание, а тогда справедливый приговор невозможен.

— Ну, тут я подчиняюсь своему заказчику, — сказал художник.

— Да, конечно, — сказал К., не желая обидеть его своим замечанием. — Очевидно, вы нарисовали эту статую так, как ее обычно и изображают — за креслом.

— Нет, — сказал художник, — ни кресла, ни статуи я никогда не видел, все это выдумки, но мне дали точное указание, что я должен написать.

— Как? — переспросил К., нарочно сделав вид, что не понимает художника. — Но ведь в кресле сидит судья?

— Верно, — сказал художник, — но это не верховный судья, а этот никогда и не сидел в таком кресле.

— И однако заставил написать себя в столь торжественной позе! Он тут похож на председателя суда!

— Да, честолюбие у этих господ большое! — сказал художник. — Но у них есть распоряжение свыше, чтобы их изображали именно в такой позе. Каждому точно

предписано, в каком виде ему разрешается позировать. К сожалению, по этой картине трудно судить о подробностях одежды и форме кресел, пастель для таких портретов не подходит.

— Да, — сказал К., — странно, что этот портрет писан пастелью.

— Так пожелал судья, — сказал художник. — Портрет предназначен в подарок даме.

При взгляде на портрет художнику, очевидно, пришла охота поработать; засучив рукава рубахи, он взял пастельные карандаши, и К. увидел, как под их мелькающими остриями вокруг головы судьи возник красноватый ореол, расходящийся лучами к краям картины. Постепенно игра теней образовала вокруг головы судьи что-то вроде украшения или даже короны. Но вокруг фигуры Правосудия ореол оставался светлым, чуть оттененным, и в этой игре света фигура выступила еще резче, теперь она уже не напоминала ни богиню правосудия, ни богиню победы; скорее всего, она походила на богиню охоты. Почти помимо воли К. увлекся работой художника; но наконец он мысленно стал упрекать себя, что задержался так долго, а для своего дела еще ничего не предпринял.

— А как зовут судью? — внезапно спросил он.

— Этого я вам сказать не имею права, — ответил художник. Он низко наклонился над картиной и явно не обращал никакого внимания на гостя, которого встретил так приветливо. К. счел это просто капризом и рассердился, что теряет столько времени.

— А вы, должно быть, доверенное лицо в суде? — спросил он. И тут художник отложил карандаши, выпрямился и, потирая руки, с улыбкой посмотрел на К.

— Ну, давайте начистоту! — сказал художник. — Вы хотите что-то узнать о суде? Кстати, так и написано в вашем рекомендательном письме, а о моих картинах вы

заговорили, чтобы расположить меня к себе. Да я на вас не в обиде. Вы же не могли знать, что меня этим не проведешь. Нет, нет, не надо! — резко сказал он, когда К. хотел что-то возразить. И тут же добавил: — Впрочем, вы совершенно правильно заметили, я действительно доверенное лицо в суде.

Он сделал паузу, словно хотел дать К. время привыкнуть к этому утверждению. За дверью снова послышались голоса девочек. Должно быть, они столпились у замочной скважины, а может быть, подсматривали и в щели между досками. К. не стал особенно оправдываться, ему не хотелось отвлекать художника от рассказа о суде, и вместе с тем он не хотел, чтобы художник слишком преувеличивал свое значение и тем самым старался стать недоступным, поэтому К. спросил:

— А это официально признанная должность?

— Нет, — коротко ответил художник, словно этот вопрос заставил его замолчать. Но для К. его молчание было не с руки, и он сказал:

— Знаете, люди на таких неофициальных должностях часто бывают куда влиятельнее официальных служащих.

— Именно так со мной и обстоит дело, — кивнул головой художник, хмуря лоб. — Вчера я говорил с фабрикантом о вашем процессе, и он меня спросил, не могу ли я вам помочь. Я сказал: «Пусть этот человек зайдет ко мне», — и рад, что вы так быстро явились. Как видно, это дело затронуло вас всерьез, чему я, впрочем, не удивляюсь. Может быть, вы для начала снимете пальто?

Хотя К. собирался уйти как можно скорее, он очень обрадовался предложению художника. Ему становилось все более душно в этой комнате, несколько раз он удивленно косился на явно нетопленную железную печурку в углу — было непонятно, отчего в комнате стояла такая

духота. Пока он снимал пальто и расстегивал пиджак, художник извиняющимся тоном сказал:

— Мне тепло необходимо. А тут очень тепло, правда? В этом отношении комната расположена необыкновенно удобно.

К. ничего не сказал; собственно говоря, ему неприятна была не столько жара, сколько затхлый воздух, дышать было трудно, видно, комната давно не проветривалась. Неприятное ощущение еще больше усилилось, когда художник попросил К. сесть на кровать, а сам уселся на единственный стул, перед мольбертом. При этом художник, очевидно, не понял, почему К., сел только на краешек постели, — он стал настойчиво просить гостя сесть поудобнее, а увидев, что К. не решается, встал, подошел и втиснул его поглубже, в самый ворох подушек и одеял. Потом снова уселся на свой стул и впервые задал точный деловой вопрос, заставив К. позабыть обо всем вокруг.

— Ведь вы невиновны? — спросил он.

— Да! — сказал К. Он с радостью ответил на этот вопрос, особенно потому, что перед ним было частное лицо и никакой ответственности за свои слова он не нес. Никто еще не спрашивал его так откровенно. Чтобы продлить это радостное ощущение, К. добавил: — Я совершенно невиновен.

— Вот как , — сказал художник и, словно в задумчивости, наклонил голову. Вдруг он поднял голову и сказал: — Но если вы невиновны, то дело обстоит очень просто.

К. сразу помрачнел: выдает себя за доверенное лицо в суде, а рассуждает, как наивный ребенок!

— Моя невиновность ничуть не упрощает дела, — сказал К. Он вдруг помимо воли улыбнулся и покачал головой: — Тут масса всяких тонкостей, в которых может

запутаться и суд. И все же в конце концов где-то, буквально на пустом месте, судьи находят тягчайшую вину и вытаскивают ее на свет.

— Да, да, конечно, — сказал художник, словно К. без надобности перебивал ход его мыслей. — Но ведь вы-то невиновны?

— Ну конечно, — сказал К.

— Это самое главное, — сказал художник.

Противоречить ему было бесполезно. Одно казалось неясным, несмотря на его решительный тон: говорит ли он это от убежденности или от равнодушия. К. решил тотчас же выяснить это, для чего и сказал:

— Конечно, вы осведомлены о суде куда лучше меня, ведь я знаю о нем только понаслышке, да и то от самых разных людей. Но в одном они все согласны: легкомысленных обвинений не бывает, и если уж судьи выдвинули обвинение, значит, они твердо уверены в вине обвиняемого, и в этом их переубедить очень трудно.

— Трудно? — переспросил художник, вздевая руки кверху. — Да их переубедить просто невозможно! Если бы я всех этих судей написал тут, на холсте, и вы бы стали защищаться перед этими холстами, вы бы достигли больших успехов, чем защищаясь перед настоящим судом.

«Он прав!» — сказал К. про себя, забыв, что он только хотел выпытать у художника его мнение.

За дверью снова запищала девчонка:

— Титорелли, ну когда же он наконец уйдет?

— Молчите! — крикнул художник. — Не понимаете, что ли, у меня с этим господином серьезный разговор!

Но девочка не утихомирилась:

— Ты его хочешь нарисовать? — И так как художник промолчал, она добавила: — Пожалуйста, не рисуй его, он такой некрасивый! — Остальные одобрительно зашумели, выкрикивая какие-то непонятные слова.



Художник подскочил к двери, приоткрыл ее — стали видны умоляюще протянутые руки девочек — и сказал:

— Если вы не замолчите, я вас всех с лестницы спущу! Сядьте на ступеньки и ведите себя смиренно.

Видно, они не сразу послушались, и ему пришлось скомандовать:

— Ну, марш на ступеньки! — И только тогда стало тихо.

— Простите, — сказал художник, возвращаясь к К. Но К. даже не повернулся к двери, он полностью предоставил художнику защищать его, как и когда тот захочет. Он и теперь не пошевелился, когда художник, нагнувшись к нему, прошептал ему на ухо так, чтобы на лестнице не было слышно: — Эти девчонки тоже имеют отношение к суду.

— Как? — спросил К., отшатнувшись и глядя на художника.

Но тот уже сел на свое место и то ли в шутку, то ли серьезно сказал:

— Да ведь все на свете имеет отношение к суду.

— Этого я пока не замечал, — коротко бросил К., но после такой общей фразы его уже больше не тревожили слова художника про девочек. И все же К. поглядывал на дверь, за которой притаились на ступеньках девочки. Одна из них, просунув соломинку в щель между досками, медленно водила ею вниз и вверх.

— Очевидно, вы никакого представления о суде не имеете, — сказал художник; он широко расставил ноги и постукивал по полу пальцами. — Но так как вы невиновны, вам это и не потребуется. Я и один могу вас вызвать.

— Каким же образом? — спросил К. — Только что вы сами сказали, что никакие доказательства на суд совершенно не действуют.

— Не действуют только те доказательства, которые излагаются непосредственно перед самим судом, — сказал художник и поднял указательный палец, словно К. упустил очень тонкий оттенок. — Однако все оборачивается совершенно иначе, когда пробуешь действовать за пределами официального суда, скажем в совещательных комнатах, в коридорах или, к примеру, даже тут, в ателье.

Теперь слова художника показались К. гораздо более убедительными, они в основном вполне совпадали с тем, что К. слышал и от других людей. Более того, в них таилась явная надежда. Если судей так легко было склонить на свою сторону через личные отношения, как утверждал адвокат, то связи художника с тщеславными судьями были особенно важны; во всяком случае, недооценивать эти связи было бы глупо. Тем самым художник тоже включался в компанию помощников, которых К. постепенно собирал вокруг себя. В банке не раз хвалили его организаторские таланты, и сейчас, когда он был всецело предоставлен самому себе, у него была полная возможность использовать этот свой талант как можно шире.

Художник увидел, какое впечатление его слова произвели на К., и сказал с некоторой тревогой:

— А вам не кажется, что я говорю почти как юрист? Видно, на меня влияет непрестанное общение с господами судейскими. Конечно, и это имеет свои выгоды, но как-то пропадает артистический размах мысли.

— А как вы впервые столкнулись с этими судьями? — спросил К. Ему хотелось войти в доверие к художнику, прежде чем прямо воспользоваться его услугами.

— Очень просто, — сказал художник. — Эти связи я унаследовал. Мой отец тоже был судебным художником. А это место передается по наследству. Новых людей на него брать нельзя. Дело в том, что для изображения разных чиновников установлено множество разнообраз-

ных, сложных и прежде всего тайных правил, недоступных никому, кроме определенных семейств. Например, вон в том ящике стола лежат записки моего отца, я их никому не показываю. Только тот, кто их знает, способен писать портреты судей. Впрочем, даже если бы я потерял эти записки, у меня в голове останется множество правил, я один их знаю, заучил их наизусть, так что никто не посмеет оспаривать мое место. Ведь каждому судье хочется, чтобы его писали так, как писали когда-то прежних великих судей, а это умею лишь я один.

— Вам можно только позавидовать, — сказал К., подумав о своем месте в банке. — Значит, ваше положение непоколебимо?

— Вот именно непоколебимо, — сказал художник и гордо развернул плечи. — Потому-то я и могу изредка помочь несчастному, против которого ведется процесс.

— Каким образом? — спросил К., словно не его художник только что назвал «несчастливым». Но художник, не обращая внимания, продолжал:

— Взять, к примеру, ваш случай: так как вы совершенно невиновны, я предприму следующее.

К. уже раздражало постоянное упоминание о его полной невиновности. Выходило так, будто, напоминая об этом, художник ставит благополучный исход процесса непременным условием своей помощи, которая тем самым превращается в ничто. Но, несмотря на все сомнения, К. сдержался и не стал прерывать художника. Отказываться от его помощи он не желал, это он решил твердо, причем в этой помощи он сомневался меньше, чем в помощи адвоката. К. даже предпочитал помощь художника, из-за того, что тот предлагал ее более бескорыстно, более искренне.

Художник пододвинул стул поближе к кровати и, понизив голос, продолжал:

— Совсем забыл спросить вас вот о чем: как вы предпочитаете освободиться от суда? Есть три возможности: полное оправдание, оправдание мнимое и волокита. Лучшее всего, конечно, полное оправдание, но на такое решение я никоим образом повлиять не могу. По-моему, вообще нет такого человека на свете, который мог бы своим влиянием добиться полного оправдания. Тут, вероятно, решает только абсолютная невинность обвиняемого. Так как вы невиновны, то вы, вполне возможно, могли бы все надежды возложить на свою невинность. Но тогда вам не нужна ни моя помощь, ни чья-нибудь еще.

Эта точная классификация сначала смутила К., но потом он сказал, тоже понизив голос, как и художник:

— Мне кажется, вы сами себе противоречите.

— В чем же? — снисходительно спросил художник и с улыбкой откинулся на спинку стула. От этой улыбки у К. появилось такое ощущение, что сейчас он сам начнет искать противоречия не в словах художника, а во всем судопроизводстве. Однако он не остановился и продолжал:

— Вы только что заметили, что никакие доказательства на суд не действуют, потом вы сказали, что это касается только открытого суда, а теперь вы заявляете, что за невинного человека вообще перед судом заступаться не нужно. Тут уже кроется противоречие. Кроме того, раньше вы говорили, что можно воздействовать лично на судей, а теперь вы отрицаете, что для полного оправдания, как вы это назвали, какое-либо личное влияние на судью вообще возможно. Это уже второе противоречие.

— Все эти противоречия очень легко разъяснить, — сказал художник. — Речь идет о двух совершенно разных вещах: о том, что сказано в законе, и о том, что я лично узнал по опыту, и путать это вам не следует. В законе, которого я, правда, не читал, с одной стороны, сказано,

что невиновного оправдывают, а с другой стороны, там ничего не сказано про то, что на судей можно влиять. Но я по опыту знаю, что все делается наоборот. Ни об одном полном оправдании я еще не слышал, однако много раз слышал о влиянии на судей. Возможно, разумеется, что во всех известных мне случаях ни о какой невиновности не могло быть и речи. Но разве это правдоподобно? Сколько случаев — и ни одного невиновного? Уже ребенком я прислушивался к рассказам отца, когда он дома говорил о процессах, да и судьи, бывавшие у него в ателье, рассказывали о суде; в нашем кругу вообще ни о чем другом не говорят. А как только мне представилась возможность посещать суд, я всегда пользовался ею, слушал бесчисленные процессы на самых важных этапах и следил за ними, поскольку это было возможно; и должен сказать вам прямо — ни одного полного оправдания я ни разу не слышал.

— Значит, ни одного оправдания, — повторил К., словно обращаясь к себе и к своим надеждам. — Но это только подтверждает мнение, которое я составил себе об этом суде. Значит, и с этой стороны суд бесполезен. Один палач вполне мог бы его заменить.

— Нельзя же так обобщать, — недовольным голосом сказал художник. — Ведь я говорил только о своем личном опыте.

— Этого достаточно, — сказал К. — Разве вы слышали, что в прежнее время кого-то оправдывали?

— Говорят, что такие случаи оправдания бывали, — сказал художник. — Но установить это сейчас очень трудно. Ведь окончательные решения суда не публикуются, даже судьям доступ к ним закрыт, поэтому о старых судебных процессах сохранились только легенды. Правда, в большинстве из них говорится о полных оправданиях, в них можно верить, но доказать ничего нельзя. Однако

и пренебрегать ими не следует, какая-то крупица истины в них безусловно есть, и, потом, они так прекрасны! Я сам написал несколько картин на основании этих легенд.

— Легендами мое мнение не изменишь, — сказал К., — да и перед судом ни на какие легенды, вероятно, сослаться нельзя.

Художник рассмеялся.

— Ну конечно, нельзя, — сказал он.

— Значит, и говорить об этом бесполезно, — сказал К., решив покамест выслушать все соображения художника, хотя они казались ему малоубедительными и противоречили другим сведениям. Да ему было и некогда проверять правдивость всех рассказов художника и тем более возражать ему; будет уже величайшим достижением, если он заставит художника помочь ему хоть в чем-то, хотя бы и не в самом важном. Поэтому он только сказал: — Давайте оставим разговор о полном оправдании. Вы как будто упомянули еще о двух других возможностях.

— Да, о мнимом оправдании и о волоките. Только о них и может идти речь, — сказал художник. — Но прежде чем об этом говорить, вы, может быть, снимете пиджак? Вам, наверно, жарко?

— Да, — сказал К. До этой минуты он ни о чем другом, кроме объяснений художника, не думал, но при одном упоминании о жаре у него на лбу выступили крупные капли пота. — Жара тут невыносимая.

Художник кивнул, словно сочувствуя неприятным ощущениям К.

— Нельзя ли открыть окно? — спросил К.

— Нельзя, — сказал художник, — стекло вставлено намертво, оно не открывается.

Только тут К. понял, как он все время надеялся, что один из них — художник или он сам — вдруг подойдет к

окну и распахнет его настежь. Он был даже готов вдыхать туман всей грудью. У него кружилась голова от ощущения полного отсутствия воздуха. Он шлепнул рукой по перине, лежавшей рядом, и слабым голосом сказал:

— Но ведь это неудобно и вредно.

— О нет! — сказал художник, словно защищая такое устройство окна. — Благодаря тому, что оно не открывается, это простое стекло лучше держит тепло, чем двойные рамы. А если мне захочется проветрить — правда, это не очень нужно, тут через все щели идет воздух, — то можно открыть дверь или даже обе двери.

Это объяснение немного успокоило К., и он оглянулся, ища вторую дверь.

Заметив это, художник сказал:

— Она за вами, пришлось ее заставить кроватью.

Только тут К. увидел в стене за кроватью маленькую дверцу.

— Да, помещение для ателье маловато, — заметил художник, словно опережал упрек К. — Пришлось как-то устраиваться. Конечно, кровать стоит очень неудобно, у самой двери. Вот, например, тот судья, которого я сейчас пишу, всегда приходит через эту дверь у кровати, я ему и ключ от нее выдал, чтобы в мое отсутствие он мог подождать меня тут, в ателье. Но обычно он является ранним утром, когда я еще сплю. Ну и, конечно, как бы крепко я ни спал, он меня будит, открывая дверь около самой кровати. У вас пропало бы всякое уважение к судьям, если бы вы слышали, какими ругательствами я его осыпаю, когда он рано утром перелезает через мою кровать. Конечно, я мог бы отнять у него ключ, но тогда будет еще хуже. Тут любую дверь можно сорвать с петель без малейшего усилия.

Пока он это говорил, К. обдумывал, не снять ли ему и вправду пиджак, И в конце концов решил, что если он

этого не сделает, он никак не сможет высидеть тут ни минутой дольше. Поэтому он снял пиджак и положил его к себе на колени, чтобы сразу его надеть, как только кончатся переговоры. Но не успел он снять пиджак, как одна из девочек закричала:

— Он уже пиджак снял!

Слышно было, как они, толкаясь, приникли ко всем щелям, чтобы поглазеть на это зрелище.

— Девочки решили, что я вас сейчас буду писать, — сказал художник, — для того вы и раздеваетесь.

— Вот как, — сказал К. Его это ничуть не забавляло, потому что он чувствовал себя ничуть не лучше, хоть уже и сидел в одной рубашке. Довольно ворчливо он спросил: — Кажется, вы говорили, что есть еще две возможности? — Он опять забыл, как они называются.

— Мнимое оправдание и волокита, — сказал художник. — От вас зависит, что выбрать. И того и другого можно добиться с моей помощью, хотя и не без усилий, разница только в том, что мнимое оправдание требует кратких, но очень напряженных усилий, а волокита — гораздо менее напряженных, зато длительных. Сначала поговорим о мнимом оправдании. Если пожелаете его добиться, я напишу на листе бумаги поручительство в вашей невиновности. Текст такого поручительства передал мне мой отец, и ничего в нем менять не полагается. С этим документом я обойду всех знакомых мне судей. Начну, скажем, с того, что подам бумагу судье, которого я сейчас пишу: сегодня вечером он придет мне позировать. Я положу перед ним документ, объясню, что вы невиновны, и поручусь за вас. И это не какое-нибудь пустяковое, формальное поручительство, нет, это поручительство настоящее, ко всему обязывающее. — Художник взглянул на К., словно упрекая его за то, что приходится брать на себя такую ответственность.



— Это было бы очень любезно с вашей стороны, — сказал К. — Но, несмотря на то, что судья вам поверит, он все же не оправдает меня полностью?

— Да, как я вам уже говорил, — ответил художник. — А кроме того, я вовсе не уверен, что мне поверят все судьи; некоторые, например, потребуют, чтобы я вас привел к ним лично. Что ж, тогда вам придется со мной пойти. Разумеется, в таком случае можно считать, что дело почти наполовину выиграно, тем более что я, конечно, подробнейшим образом проинструктирую вас, как себя вести с данным судьей. Хуже будет с теми судьями, которые — так тоже случается — откажут мне заранее. Тогда придется — но, разумеется, лишь после того, как я испробую всяческие подходы, — от них отказаться, но мы можем пойти на это, потому что каждый судья в отдельности ничего не решает. А когда наконец я соберу под вашим документом достаточное количество подписей от судей, я отнесу его тому судье, который ведет ваш процесс. Возможно, что среди подписей будет и его подпись, тогда события развернутся еще быстрее, чем обычно. По существу вообще почти никаких препятствий больше не будет, и в такой момент обвиняемый может чувствовать себя вполне уверенно. Удивительно, но факт: в такой момент люди бывают увереннее, чем после оправдательного приговора. Тут уже особенно стараться не приходится. У судьи есть поручительство в вашей невиновности за подписями множества судей, и он может без всяких колебаний оправдать вас, что он, после некоторых формальностей, несомненно, и сделает в виде одолжения и мне и другим своим знакомым. А вы покинете суд и будете свободны.

— Значит, я буду свободен? — сказал К. с некоторым недоверием.

— Да, — сказал художник, — но, конечно, это только

мнимая свобода, точнее говоря, свобода временная. Дело в том, что низшие судьи, к которым и принадлежат мои знакомые, не имеют права окончательно оправдывать человека, это право имеет только верховный суд, ни для вас, ни для меня и вообще ни для кого из нас совершенно недоступный. Как этот суд выглядит — мы не знаем, да, кстати сказать, и не хотим знать. Так что великое право окончательно освободить от обвинения нашим судьям не дано, однако им дано право отвода обвинения. Это значит, что если вас оправдали в этой инстанции, то на данный момент обвинение от вас отвели, но оно все же висит над вами, и если только придет приказ, оно сразу опять будет пущено в ход. Так как я очень тесно связан с судом, то могу вам сказать, каким образом чисто внешне проявляется разница между истинным оправданием и мнимым. При истинном оправдании вся документация процесса полностью исчезает, она совершенно изымается из дела, уничтожается не только обвинение, но и все протоколы процесса, даже оправдательный приговор, — все уничтожается. Другое дело при мнимом оправдании. Документация сама по себе не изменилась, она лишь обогатилась свидетельством о невиновности, временным оправданием и обоснованием этого оправдательного приговора. Но в общем процесс продолжается, и документы, как этого требует непрерывная канцелярская деятельность, пересылаются в высшие инстанции, потом возвращаются обратно в низшие и ходят туда и обратно, из инстанции в инстанцию, как маятник, то с большим, то с меньшим размахом, то с большими, то с меньшими остановками. Эти пути неисповедимы. Со стороны может показаться, что все давным-давно забыто, обвинительный акт утерян и оправдание было полным и настоящим. Но ни один посвященный этому не поверит. Ни один документ не может пропасть, суд ничего не забывает. И вот однажды —

когда никто этого не ждет — какой-нибудь судья внимательнее, чем обычно, просмотрит все документы, увидит, что по этому делу еще существует обвинение, и даст распоряжение о немедленном аресте. Все это я рассказываю, предполагая, что между мнимым оправданием и новым арестом пройдет довольно много времени; это возможно, и я знаю множество таких случаев, но вполне возможно, что оправданный вернется из суда к себе домой, а там его уже ждет приказ об аресте. Тут уж свободной жизни конец.

— И что же, процесс начинается снова? — спросил К. с недоверием.

— А как же, — сказал художник, — конечно, процесс начинается снова, но и тут имеется возможность, как и раньше, добиться мнимого оправдания. Опять надо собрать все силы и ни в коем случае не сдаваться. — Последние слова художник явно сказал потому, что у него создалось впечатление, будто К. очень удручен этим разговором.

— Но разве во второй раз, — сказал К., словно хотел предвосхитить все разъяснения художника, — разве во второй раз не труднее добиться оправдания, чем в первый?

— В этом отношении, — сказал художник, — ничего определенного сказать нельзя. Вероятно, вам кажется, что второй арест настроит судей против обвиняемого? Но это не так. Ведь судьи уже предвидели этот арест при вынесении мнимого оправдательного приговора. Так что это обстоятельство вряд ли может на них повлиять. Но, конечно, есть бесчисленное количество других причин, которые могут изменить и настроение судей и юридическую точку зрения на данное дело, поэтому второго оправдания приходится добиваться с учетом всех изменений, так что и тут надо приложить не меньше усилий, чем в первый раз.

— Но ведь и это оправдание не окончательное? — опросил К. и с сомнением покачал головой.

— Ну конечно, — сказал художник, — за вторым оправданием следует второй арест, за третьим оправданием — третий арест и так далее. Это включается в самое понятие мнимого оправдания. — К. промолчал. — Видно, мнимое оправдание вам не кажется особо выгодным, — сказал художник. — Может быть, волокита вам больше подойдет? Объяснить вам сущность волокиты?

К. только кивнул головой. Художник развалился на стуле, рубаха распахнулась у него на груди, он сунул руку в прореху и стал медленно поглаживать грудь и бока.

— Волокита, — сказал художник и на минуту устоялся перед собой, словно ища наиболее точного определения, — волокита состоит в том, что процесс надолго задерживается в самой начальной его стадии. Чтобы добиться этого, обвиняемый и его помощник — особенно его помощник — должны поддерживать непрерывную личную связь с судом. Повторяю, для этого не нужны такие усилия, как для того, чтобы добиться мнимого оправдания, но зато тут необходима особая сосредоточенность. Нужно ни на минуту не упускать процесс из виду, надо не только регулярно, в определенное время ходить к соответствующему судье, но и навещать его при каждом удобном случае и стараться установить с ним самые добрые отношения. Если же вы лично не знаете судью, надо влиять на него через знакомых судей, но при этом ни в коем случае не оставлять попыток вступить в личные переговоры. Если тут ничего не упустить, то можно с известной уверенностью сказать, что дальше своей первичной стадии процесс не пойдет. Правда, он не будет прекращен, но обвиняемый так же защищен от приговора, как если бы он был свободным человеком. По сравнению с мнимым оправданием волокита имеет еще то преимуще-

ство, что впереди у обвиняемого все более определенно, он не ждет в постоянном страхе ареста и ему не нужно бояться, что именно в тот момент, когда обстоятельства никак этому не благоприятствуют, ему вдруг придется снова пережить все заботы и тревожения, связанные с мнимым оправданием. Правда, и волокита несет обвиняемому некоторые невыгоды, которые нельзя недооценивать. Я не о том говорю, что обвиняемый при этом не свободен, ведь и при мнимом оправдании он тоже не может считать себя свободным в полном смысле этого слова. Тут невыгода другая. Процесс не может стоять на месте без явных или, на худой конец, мнимых причин. Поэтому нужно, чтобы процесс все время в чем-то внешне проявлялся. Значит, время от времени надо давать какие-то распоряжения, обвиняемому надо хоть изредка допрашивать, следствие должно продолжаться и так далее. Ведь процесс все время должен кружиться по тому тесному кругу, которым его искусственно ограничили. Разумеется, это приносит обвиняемому некоторые неприятности, хотя вы никак не должны их преувеличивать. Все это чисто внешне; например, допросы совсем коротенькие, а если идти на допрос нет ни времени, ни охоты, можно отпроситься, а с некоторыми судьями можно совместно составить расписание заранее, на много дней вперед, — словом, по существу речь идет только о том, что, будучи обвиняемым, надо время от времени являться к своему судье.

Художник еще договаривал последнюю фразу, а К. уже встал, перекинув пиджак через руку.

— Встает! — закричали за дверью.

— Вы уже хотите уйти? — спросил художник. — Повидимому, вас гонит здешний воздух. Мне это очень неприятно. Нужно было бы еще многое вам сказать. Пришлось изложить только вкратце. Но я надеюсь, что вы меня поняли.

— О да! — сказал К., хотя от напряжения, с которым он заставлял себя все выслушивать, у него болела голова.

Несмотря на это утверждение, художник еще раз сказал, как бы подводя итог, в напутствие и в утешение К.:

— Оба метода схожи в том, что препятствуют вынесению приговора обвиняемому.

— Но они препятствуют и полному освобождению, — тихо сказал К., словно стыдясь того, что он это понял.

— Вы схватили самую суть дела, — быстро сказал художник.

К. взялся было за свое пальто, хотя еще и пиджак надеть не решался. Охотнее всего он схватил бы все в охапку и выбежал на свежий воздух. Даже голоса девчонок не могли заставить его одеться, а они, не разглядев, уже кричали:

— Он одевается!

Художнику, очевидно, хотелось как-то объяснить состояние К., поэтому он сказал:

— Очевидно, вы еще не решили, какое из моих предложений принять. Одобряю. Я бы даже не советовал вам сразу принимать решение. Надо очень тонко разобратся и в преимуществах и в недостатках. Надо все точно взвесить. Но, разумеется, терять время тоже нельзя.

— Я скоро вернусь, — сказал К. и вдруг решительно натянул пиджак, перекинул пальто через руку и поспешил к двери, за которой уже подняли крик девчонки. К. почувствовал, что он видит их сквозь закрытую дверь.

— Вы должны сдержать слово, — сказал художник, не делая попытки его проводить, — не то я сам приду в банк справиться, что с вами.

— Открой же дверь! — сказал К. и рванул ручку — как видно, девочки крепко вцепились в нее снаружи.

— Ведь они вас там изведут! — сказал художник. — Лучше воспользуйтесь этим выходом, — и он показал на

дверцу за кроватью. К. сразу согласился и бросился к кровати.

Но вместо того, чтобы открыть эту дверь, художник полез под кровать и оттуда спросил:

— Погодите минутку, не взглянете ли вы на картину, которую я вам мог бы продать?

К. не хотел быть невежливым: все-таки художник принял в нем участие, обещал и дальше помогать ему, а кроме того, К. по забывчивости еще ничего не говорил о вознаграждении за эту помощь, поэтому он не мог отказать художнику и позволил ему достать картину, хотя сам весь дрожал от нетерпения — до того ему хотелось поскорее уйти из ателье. Художник вытащил из-под кровати груды холстов без подрамников, настолько запыленных, что когда художник попытался сдуть пыль с верхнего холста, она долго носилась в воздухе и у К. помутилось в глазах и запершило в горле.

— Степной пейзаж, — сказал художник и протянул К. холст. На нем были изображены два хилых деревца, стоящих поодаль друг от друга в темной траве. В глубине сиял многоцветный закат.

— Хорошо, — сказал К., — я ее покупаю. — К. нечаянно высказался так кратко и поэтому обрадовался, когда художник, ничуть не обидевшись, поднял с пола вторую картину.

— А эта картина — полная противоположность той, — сказал художник.

Может быть, он и хотел написать что-то другое, но ни малейшей разницы между картинами не было заметно: те же деревья, та же трава, в глубине — тот же закат. Но К. это было безразлично.

— Прекрасные пейзажи, — сказал он. — Я покупаю оба и повешу их у себя в кабинете.

— Видно, вам нравится тема, — сказал художник, до-

ставая третий холст. — Как удачно, что у меня есть еще одна подобная картина.

Но и это был не просто похожий, а совершенно тот же самый степной пейзаж. Видно, художник ловко воспользовался случаем, чтобы сбыть свои старые картины.

— Я и эту возьму, — сказал К. — Сколько стоят все три картины?

— Договоримся в другой раз, — сказал художник. — Вы сейчас торопитесь, а связь мы с вами будем поддерживать. Знаете, меня очень радует, что вам нравятся эти картины, я вам отдам все холсты, которые лежат под кроватью. Тут одни степные пейзажи, я писал много степных пейзажей. Некоторые люди не понимают таких картин, оттого что они слишком мрачные, зато другие, в том числе и вы, любят именно мрачное.

Но К. вовсе не был расположен разбираться в творческих переживаниях этого нищего художника.

— Упакуйте все картины! — крикнул он, перебивая художника. — Завтра придет мой курьер и заберет их.

— Не надо, — сказал художник. — Надеюсь, мне сейчас же удастся найти вам носильщика, он вас проводит. — И, перегнувшись через постель, отпер наконец дверь. — Не стесняйтесь, шагайте прямо по кровати, так все сюда входят, — сказал он.

Но К. и без его разрешения не постеснялся, он уже занес ногу на перину, но, заглянув в открытую дверь, отшатнулся.

— Что это там? — спросил он художника.

— Чего вы удивляетесь? — спросил тот так же удивленно. — Да, это судебные канцелярии. Разве вы не знали, что тут судебные канцелярии? Почему бы им не быть именно здесь? Да и мое ателье, в сущности, тоже относится к судебным канцеляриям, но суд предоставил мне его в личное пользование.



К. не того испугался, что и здесь очутился около канцелярии; его главным образом напугало собственное невежество в судебных делах: ему казалось, что самое основное правило поведения для обвиняемого — быть всегда наготове, ни разу не дать захватить себя врасплох, не смотреть бессознательно направо, если слева от него стоит судья, и вот именно против этого правила он все время грешит. Перед ним тянулся длинейший коридор, и оттуда шел такой воздух, по сравнению с которым воздух в ателье казался просто освежающим. По обе стороны этого прохода стояли скамьи, совсем как в той канцелярской приемной, куда обращался К. Очевидно, все канцелярии были устроены по одному образцу. В данный момент в этой канцелярии посетителей было немного. Какой-то мужчина развалился на скамье, закрыв голову руками, и, кажется, спал; другой стоял в самом конце полутемного коридора. К. перелез через кровать, художник с картинами вышел за ним следом. Вскоре они встретили служителя суда — теперь К. легко отличал этих служителей по золотой пуговице, которая красовалась на их гражданских пиджаках среди обыкновенных пуговиц, — и художник велел ему проводить К. и отнести картины. К. шел, пошатываясь, крепко прижав носовой платок ко рту. Они уже почти подошли к выходу, как вдруг им навстречу кинулась ватага девчонок. К. и тут не мог от них избавиться. Должно быть, они увидели, как открылась вторая дверь из ателье, бросились кругом и забежали с этой стороны.

— Дальше я вас провожать не стану! — со смехом заявил художник, окруженный девчонками. — До свиданья! И не раздумывайте слишком долго!

К. даже не обернулся ему вслед. На улице он схватил первый попавшийся экипаж. Ему непременно надо было избавиться от служителя суда, чья золотая пуговица непрестанно мозолила ему глаза, хотя другие люди ее, на-

верно, не замечали. В порыве услужливости служитель хотел было взобраться на козлы, но К. прогнал его. К. подъехал к банку далеко за полдень. Ему очень хотелось оставить картины в экипаже, но он побоялся, как бы художник потом не поинтересовался, где они. Поэтому он велел отнести их к себе в кабинет и запер на ключ в самом нижнем ящике стола, чтобы они хотя бы в ближайшее время не попались на глаза заместителю директора.

## КОММЕРСАНТ БЛОК. ОТКАЗ АДВОКАТУ



одошел день, когда К. наконец решил отказать адвокату в представительстве по его делу. Правда, он никак не мог преодолеть сомнение, правильно ли он поступает, но все пересилила мысль, что это необходимо. Решение пойти к адвокату, принятое в тот день, отняло у него много сил, работал он вяло, медленно, ему пришлось долго задержаться на службе, и уже пробило десять, когда он наконец подошел к двери адвоката. Прежде чем позвонить, К. подумал: не лучше ли было бы отказать адвокату по телефону или письмом, потому что личный разговор, наверно, будет очень неприятным. И однако, К. хотел сделать это лично: на всякий другой отказ адвокат мог не ответить или отделаться пустыми словами, и К. никогда не узнал бы, если только не выпытал бы у Лени, как адвокат принял этот отказ и какие последствия этот отказ будет иметь для самого К., по мнению адвоката, а с его мнением нельзя не считаться. Если же адвокат будет сидеть перед К. и отказ явится для него неожиданностью, то, даже не добившись от него ни слова, можно будет легко угадать все, что интересует К., по выражению лица и по поведению адвоката. Не исключено даже, что К. при этом убедится, как все-таки хорошо было бы поручить ему защиту, а тогда отказ можно и отменить.

Первые попытки дозвониться у двери адвоката были, как всегда, безрезультатными. «Лени могла бы и поторопиться», — подумал К. Слава богу, что хоть никто из сосе-

дей не вмешивался, Как это обычно бывало: то выскакивал мужчина в халате, то еще кто-нибудь, и начиналась перебранка. Нажимая кнопку звонка во второй раз, К. оглянулся на дверь соседей, но на этот раз она тоже не открывалась. Наконец в глазке адвокатской двери показались два глаза, но это не были глаза Лени. Кто-то отпер замок, но придержал дверь изнутри и крикнул в глубь квартиры: «Это он!» — и только тогда дверь отворилась.

К. протиснулся в дверь — он услышал, как за его спиной уже торопливо поворачивали ключ в соседней квартире. И когда его пропустили в прихожую, он буквально ринулся туда, но только успел увидеть, как по коридору пробежала в одной рубашке Лени, услышав предупреждающий возглас того, кто отпер дверь. К. посмотрел ей вслед, потом обернулся к стоящему у порога. Это был маленький, тщедушный человечек с бородкой, державший в руке свечу.

— Вы тут служите? — спросил К.

— Н е т , — ответил т о т , — я посторонний, я пришел к адвокату по делу, за советом.

— Без пиджака? — спросил К. и движением руки показал на скудный туалет посетителя.

— Ах, простите! — сказал тот и осветил сам себя свечкой, словно впервые заметил, в каком он виде.

— Лени — ваша любовница? — коротко спросил К. Он стоял, слегка расставив ноги и заложив за спину руки, державшие шляпу. Уже то, что на нем было добротное пальто, заставляло его чувствовать свое превосходство над этим заморышем.

— О господи! — сказал тот и в испуге, словно защищаясь, закрыл лицо рукой. — Нет, нет, как вы могли подумать!

— Вы мне внушаете доверие! — с улыбкой бросил К. , — но все же... Впрочем, пойдите! — Он махнул шляпой и пропустил того в п е р е д . — Как ваше имя? — спросил он.

— Блок, коммерсант Б л о к , — сказал тот, оборачиваясь, чтобы представиться, но К. не дал ему остановиться.

— Это ваша настоящая фамилия? — спросил он.

— Конечно! — сказал Б л о к . — Почему вы сомневаетесь?

— Подумал, что у вас могут быть причины скрывать свое и м я , — сказал К. Он чувствовал себя необыкновенно свободно — так бывает только на чужбине, когда, разговаривая с простым народом, сам умалчиваешь обо всем, что тебя касается, и равнодушно расспрашиваешь об их делах, причем как будто ставишь их на одну доску с собой, но обрываешь разговор, когда заблагорассудится.

У рабочего кабинета К. остановился, открыл дверь и крикнул коммерсанту, послушно идущему впереди: — Не торопитесь! Посветите-ка сюда!

К. подумал, что, может быть, Лени спряталась в кабинете, он заставил коммерсанта осветить все углы, но в комнате было пусто. Перед портретом судьи К. придержал коммерсанта за подтяжки.

— Вы его знаете? — спросил он и ткнул указательным пальцем вверх.

Коммерсант поднял свечу, поморгал, посмотрел наверх и сказал:

— Это судья.

— Верховный судья? — спросил К. и стал рядом с коммерсантом, чтобы проверить, какое впечатление производит на него портрет.

Коммерсант с благоговением посмотрел наверх.

— Да, это верховный с у д ь я , — сказал он.

— Не очень-то вы пронизательны, — сказал К. — Из всех ничтожных судейских чиновников он — самый мелкий.

— Теперь вспомнил, — сказал коммерсант и опустил свечу. — Ведь я это уже слышал.

— Ну конечно же! — воскликнул К. — Я совсем забыл, конечно же, вы должны были это слышать.

— Почему же? Почему? — спросил коммерсант, идя к двери, куда его подталкивал К.

Уже в коридоре К. спросил:

— Но вы, наверно, знаете, где прячется Лени?

— Прячется? — переспросил коммерсант. — Да нет же, она, наверное, на кухне, варит суп для адвоката.

— Почему же вы мне сразу не сказали? — спросил К.

— Я хотел вас туда провести, а вы меня отозвали назад, — сказал коммерсант, растерявшись от противоречивых распоряжений.

— Вы, как видно, считаете себя хитрецом! — сказал К. — Ну, ведите же меня туда!

В кухне К. еще ни разу не был, она оказалась неожиданно большой и богато оснащенной. Даже плита была раза в три больше обычной. Остальную обстановку почти нельзя было рассмотреть, потому что на кухне горела только маленькая лампочка, висевшая над входом. У плиты стояла Лени в своем обычном белом фартуке и выпускала яйца в кастрюлю, стоявшую на спиртовке.

— Добрый вечер, Йозеф, — сказала она, взглянув на него исподлобья.

— Добрый вечер, — ответил К. и показал коммерсанту на стоявший поодаль стул; тот повиновался и сел. Тогда К. подошел к Лени вплотную, наклонился через ее плечо и спросил:

— Кто это такой?

Лени обняла К. одной рукой — другой она мешала суп — и, притянув его к себе, сказала:

— Это несчастный человек, обедневший коммерсант, некто Блок. Ты посмотри на него.

Оба оглянулись. Коммерсант сидел на стуле, как ему велел К., он потушил ненужную свечу и пальцами приминал фитиль, чтобы не зачало.

— Ты была в одной рубашке, — сказал К. и, взяв в руки голову Лени, заставил ее отвернуться от Блока. Лени промолчала.

— Он твой любовник? — спросил К. Она хотела помешать в кастрюльке, но К. схватил ее за обе руки и сказал: — Отвечай!

Она сказала:

— Пойдем в кабинет, я тебе все объясню.

— Нет! — сказал К. — Я хочу, чтобы ты мне здесь же все объяснила. — Она повисла у него на шее, пытаясь его поцеловать, но К. отстранился и сказал: — Не хочу, чтобы ты меня сейчас целовала.

— Йозеф! — сказала Лени и посмотрела в глаза К. умоляюще и вместе с тем открыто. — Неужели ты ревнуешь меня к господину Блоку? Руди, — обратилась она к коммерсанту, — помоги же мне, слышишь, в чем меня подозревают? И брось ты эту овечку!

Можно было подумать, что Блок не обращает на них внимания, но оказывается, он все отлично слышал.

— Не понимаю, с чего это вы вздумали ревновать! — сказал он несколько вызывающе.

— Я сам не понимаю! — сказал К. и с улыбкой взглянул на коммерсанта.

Лени громко рассмеялась и, пользуясь тем, что К. отвлекся, повисла у него на руке и зашептала:

— Оставь его, сам видишь, что это за человек. Я его немножко пожалела, потому что он очень важный клиент для адвоката, и только потому. А как ты? Хочешь сейчас же переговорить с адвокатом? Ему сегодня очень плохо, но, если угодно, я о тебе доложу. А на ночь ты останешься у меня, непременно останешься. Ты так давно у нас не был, даже адвокат про тебя спрашивал. Не запускай процесс. Мне тоже надо тебе многое сообщить, я кой о чем разузнала. Но прежде всего сними пальто.

Она помогла ему снять пальто, взяла его шляпу, побежала в прихожую повесить вещи, потом прибежала назад и посмотрела, не готов ли суп.

— Доложить о тебе или сначала накормить его супом? — спросила она у К.

— Доложи сначала обо мне, — сказал К.

Он был раздражен, потому что собирался поговорить с Лени о своих делах, особенно о нерешенном вопросе — отказать адвокату или нет, но присутствие этого коммерсанта отбило у него всякую охоту. Однако дело казалось ему настолько важным, что нельзя было из-за этого заморыша все решительно менять, поэтому он окликнул Лени, выбежавшую было в коридор:

— Все-таки накорми его сначала супом, — сказал он, — пусть подкрепитя перед разговором со мной, ему силы понадобятся.

— Значит, вы тоже клиент адвоката? — тихо сказал из угла коммерсант. Но его слова вызвали общее неудовольствие.

— Какое вам дело? — спросил К., а Лени сказала:

— Ты бы помолчал, — и обратилась к К.: — Значит, сначала я ему дам супу, — и стала наливать суп в тарелку у . — Боюсь, как бы он сразу не заснул, после еды он всегда засыпает.

— Ничего, от моих слов с него сон слетит, — сказал К.

Ему все хотелось намекнуть, что он собирается обсудить с адвокатом что-то очень важное, хотелось, чтобы Лени сначала заинтересовалась, о чем пойдет разговор, а уж тогда попросить у нее совета. Но она только в точности выполнила его пожелание. Проходя мимо него с тарелкой, она подчеркнуто ласково взглянула на него и сказала: — Как только он поест, я сразу доложу о тебе, чтобы ты поскорее вернулся ко мне сюда.

— Ступай, ступай! — сказал К. — Ступай!



— Будь же поласковее! — сказала она и у самой двери, держа тарелку в руках, еще раз повернулась к нему всем телом.

К. посмотрел ей вслед. Теперь он твердо решил отказать адвокату; может быть, даже лучше, что он не успел перед этим поговорить с Лени, у нее никакого кругозора нет; наверно, она стала бы его отговаривать и, возможно, удержала бы на этот раз, и снова он мучился бы от неизвестности и сомнений, и все-таки через некоторое время выполнил бы свое намерение, потому что слишком упорно его вынашивал. А ведь чем раньше он решится, тем меньше вреда будет причинено. Впрочем, этот коммерсант тоже что-нибудь, наверно, может сказать.

К. обернулся, и как только коммерсант это заметил, он тут же хотел вскочить с места, но К. его удержал.

— Сидите, сидите, — сказал он и пододвинул к нему свой стул. — А вы давнишний клиент адвоката? — спросил он его.

— Да, — сказал коммерсант, — очень давнишний.

— Сколько же лет он представляет ваши интересы? — спросил К.

— Не знаю, в каком смысле вы об этом спрашиваете, — сказал коммерсант. — В моих торговых операциях — я торгую зерном — он представляет мои интересы с тех самых пор, как я принял дело, значит, уже лет двадцать, а в моем личном процессе, на который вы, вероятно, намекаете, он тоже представляет мои интересы с самого начала, то есть уже больше пяти лет. Да, гораздо больше пяти лет, — добавил он и вытащил старый бумажник. — Тут у меня все записано; если хотите, я вам назову точные даты. А запомнить наизусть трудно. Пожалуй, мой процесс длится много дольше, он начался вскоре после смерти жены, а тому уже больше пяти с половиной лет.

К. подвинулся к нему поближе.

— Значит, адвокат берется и за обычные гражданские дела? — спросил он. Такая связь суда с правовыми нормами удивительно успокоила К.

— Ну конечно, — сказал коммерсант и шепотом добавил: — Говорят даже, что в гражданских делах он больше смыслит, чем в тех, других.

Но, как видно, Блок тут же раскаялся в своих словах; положив руку на плечо К., он попросил:

— Прошу вас, не выдавайте меня!

К. успокаивающе похлопал его по коленке и сказал:

— Что вы, разве я предатель?

— Он очень мстительный, — сказал коммерсант.

— Ну, такому верному клиенту он никогда ничего не сделает, — сказал К.

— Еще как сделает! — сказал коммерсант. — Когда он рассердится, он никакой разницы не видит, а кроме того, не настолько уж я ему верен.

— То есть как это? — спросил К.

— Не знаю, можно ли вам все доверить, — с сомнением в голосе сказал коммерсант.

— По-моему, можно, — сказал К.

— Ну что же, — сказал коммерсант, — я вам кое-что доверю. Но тогда и вы должны мне открыть какую-нибудь тайну, чтобы мы вместе держались против адвоката.

— Очень уж вы осторожны, — сказал К. — Хорошо, я вам сообщу тайну, которая вас успокоит окончательно. В чем же вы неверны адвокату?

— У меня, — робко начал коммерсант таким тоном, словно сознавался в какой-то низости, — у меня кроме него есть и еще адвокаты.

— Ну, это не такой уж проступок, — немного разочарованно сказал К.

— Здесь это считается проступком, — сказал коммерсант. Он еще никак не мог отдышаться после своего при-

знания, хотя слова К. немного подбодрили его. — Это не разрешается. И уж ни в коем случае не разрешено наряду с постоянным адвокатом приглашать еще подпольных адвокатов. А я именно так и сделал, у меня кроме него еще пять подпольных адвокатов.

— Пять! — крикнул К. Его поразило именно количество. — Целых пять адвокатов, кроме этого!

Коммерсант кивнул.

— И еще веду переговоры с шестым.

— Но зачем вам столько адвокатов? — спросил К.

— Мне они все нужны, — сказал коммерсант.

— А вы можете объяснить зачем? — спросил К.

— Охотно, — сказал коммерсант. — Ну, прежде всего я не хочу проиграть свой процесс, это само собой понятно. Поэтому я не должен упускать ничего, что может пойти мне на пользу, и если даже, в некоторых случаях, надежда получить от них пользу очень невелика, все равно я и такую надежду упускать не должен. Потому-то я и растратил на процесс все, что у меня было. Например, я вынул весь капитал из моего предприятия: раньше контора моей фирмы занимала почти целый этаж, а теперь осталась только каморка во флигеле, где я работаю с одним только рассыльным. Мои дела приняли такой оборот не только потому, что я истратил все деньги, но я и все силы истратил. Когда хочешь вести процесс, ни на что другое времени не остается.

— Значит, вы сами действуете и в суде? — спросил К. — Об этом я особенно хотел бы узнать подробнее.

— Тут я вам почти ничего сообщить не могу, — сказал коммерсант. — Сначала я было попробовал сам этим заняться, но потом бросил. Слишком утомительно, а результатов почти никаких. Действовать там самому, самому вести переговоры — нет, мне это оказалось совершенно не под силу. Даже просто сидеть и ждать — страшное напря-

жение. Сами знаете, какой в этих канцеляриях тяжелый воздух.

— Откуда вам известно, что я там был? — спросил К.

— Да я сидел в приемной, когда вы проходили.

— Какое совпадение! — воскликнул К. Его настолько это поразило, что он совсем забыл, каким нелепым ему показался коммерсант сначала. — Значит, вы меня видели! Вы были в приемной, когда я проходил! Да, один раз я там проходил.

— Нет такое уж это совпадение, — сказал коммерсант, — я туда хожу почти каждый день.

— Наверно, и мне придется бывать почаще, — сказал К. — Только вряд ли меня примут с таким почетом, как в тот раз. Все передо мной встали — наверно, решили, что я судья.

— Нет, — сказал коммерсант, — мы приветствовали судью. Мы уже знали, что вы обвиняемый. Такие сведения распространяются моментально.

— Значит, вы все знали, — сказал К. — Но тогда вам, может быть, показалось, что я вел себя слишком высокомерно? Был об этом разговор?

— Нет, — сказал коммерсант, — напротив. Впрочем, все это глупости.

— Как это глупости? — переспросил К.

— Ну зачем вы меня спрашиваете? — раздраженно сказал коммерсант. — Людей этих вы, по-видимому, не знаете и можете все неправильно истолковать. Примите только во внимание, что при данных обстоятельствах в разговорах всплывают такие вещи, которых разумом никак не понять. Человек устает, голова забита другими мыслями, вот и начинаются всякие суеверия. Я говорю о других, но и сам я ничуть не лучше. Например, есть такое суеверие, будто по лицу обвиняемого, особенно по рисунку его губ, видно, чем кончится его процесс. И эти люди утвер-

ждали, что, судя по вашим губам, вам вскоре вынесут приговор. Повторяю, это смешное суеверие, и по большей части факты говорят против него, но когда вращаешься среди тех людей, трудно противостоять предрассудкам. И подумайте, до чего сильно это суеверие! Помните, как вы заговорили с одним из них? Он вам даже ответить не мог. Конечно, там все может сбить человека с толку, но его особенно поразили ваши губы. Потом он рассказывал, что по вашим губам он прочел не только ваш, но и свой приговор.

— По моим губам? — спросил К., вынул карманное зеркальце и посмотрелся в него. — Ничего особенного в своих губах я не вижу. А вы?

— И я тоже, — сказал коммерсант, — абсолютно ничего!

— До чего же эти люди суеверны! — воскликнул К.

— А что я вам говорю? — сказал коммерсант.

— Неужели они так часто встречаются и делятся всеми своими мыслями? — спросил К. — А я до сих пор держался совсем особняком.

— Не так уж они часто встречаются, — сказал коммерсант, — да это и невозможно, слишком их много. Да и общих интересов у них мало. Иногда какая-нибудь группа начинает верить, что у них общие интересы, но вскоре оказывается, что это ошибка. В этом суде коллективно ничего не добьешься. Каждый случай изучается отдельно, этот суд работает весьма тщательно. Скопом тут ничего не добиться. Лишь единицы втайне иногда чего-то могут достигнуть; только потом об этом узнают остальные, но как оно случилось, никому не известно. Словом, ничего общего у этих людей нет. Правда, иногда они встречаются в приемных, но там особенно не поговоришь. А все эти суеверия завелись исстари, и множатся они сами по себе.

Видел я этих людей в приемной, — сказал К., — и мне их ожидание показалось совсем бесполезным.

— Нет, ожидание не бесполезно, — сказал коммерсант, — бесполезны только попытки самому вмешаться. Я вам уже говорил, что кроме этого адвоката у меня их еще пять. Кажется — и мне самому вначале так казалось, — что можно было бы всецело передать дело в их руки. Но это было бы совершенно неправильно. Сейчас мне еще труднее передать им все, чем если бы у меня был один адвокат. Вам это, конечно, непонятно?

— Непонятно, — сказал К., и, словно пытаюсь успокоить коммерсанта, остановить его слишком быструю речь, он накрыл его руку своей рукой. — Я только хочу вас попросить: говорите немного медленнее, ведь это все для меня страшно важно, а так я не успеваю за вами следить.

— Хорошо, что вы мне напомнили, — сказал коммерсант. — Ведь вы новичок, младенец. Вашему процессу всего-то полгода. Слышал, слышал. Такой молодой процесс! А я уже передумал обо всем тысячи раз, для меня нет на свете ничего понятнее.

— И, наверно, вы рады, что ваш процесс уже так далеко зашел? — спросил К. Ему не хотелось прямо задать вопрос, как обстоят дела у коммерсанта. Но и прямого ответа он не получил.

— Да вот уже пять лет, как я тяну свой процесс, — сказал коммерсант и опустил голову. — Это немалое достижение.

И он замолчал. К. прислушался, не идет ли Лени. С одной стороны, ему не хотелось, чтобы она пришла, потому что ему еще надо было о многом расспросить коммерсанта, не хотелось ему, чтобы Лени застала их за дружеским разговором, а с другой стороны, он злился, что, несмотря на его присутствие, Лени так долго торчит у адвоката, куда дольше, чем нужно, чтобы накормить его супом.

— Я хорошо помню то время, — снова заговорил коммерсант, и К. весь обратился в слух, — когда мой процесс был примерно в таком же возрасте, как сейчас ваш. Тогда меня обслуживал только этот адвокат, но я им был не очень доволен.

«Вот сейчас я все узнаю», — подумал К. и оживленно закивал головой, словно вызывая этим коммерсанта на полную откровенность в самом важном вопросе.

— Мой процесс, — продолжал коммерсант, — не двигался с места. Правда, велось следствие, я бывал на всех допросах, собирал материал, представил в суд все свои конторские книги, что, как я потом узнал, было совершенно излишне, все время бегал к адвокату, он тоже подавал многочисленные ходатайства...

— Как? Многочисленные ходатайства? — переспросил К.

— Ну конечно, — сказал коммерсант.

— Для меня это чрезвычайно важно, — сказал К., — Ведь по моему делу он все еще составляет первое ходатайство. Он ничего не сделал. Теперь я вижу, как безобразно он запустил мои дела.

— То, что бумага еще не готова, может быть, вызвано всякими уважительными причинами, — сказал коммерсант. — Да и кроме того, впоследствии выяснилось, что для меня все эти ходатайства были совершенно бесполезны. Одно я даже прочел — мне его любезно предоставил один из служащих в суде. Правда, составлено оно было по-ученому, но в сущности без всякого смысла. Прежде всего — уйма латыни, в которой я не разбираюсь, потом — целые страницы общих фраз по адресу суда, потом — лестные слова об отдельных чиновниках — он их, правда, не называл по имени, но каждый посвященный легко догадывался, о ком шла речь, — затем самовосхваление, причем тут адвокат подлизывался к суду хуже собаки, и, нако-

нец, исследования всяких судебных процессов прошлых лет, якобы схожих с моим делом. Слов нет, эти исследования, насколько я мог понять, были проведены очень тщательно. Но я ни в коем случае не хочу в чем бы то ни было осуждать адвоката за его работу. К тому же та бумага, которую я прочитал, только одна из многих, во всяком случае — и это я должен оговорить сейчас же, — никакого продвижения в моем процессе я тогда не видел.

— А как вы представляете себе это продвижение? — спросил К.

— Ваш вопрос вполне разумен, — с улыбкой сказал коммерсант. — Эти дела очень редко двигаются с места. Но тогда я этого еще не знал. Ведь я коммерсант — прежде я еще больше занимался коммерцией, чем сейчас, — и мне хотелось видеть ощутимые результаты, дело должно было двигаться к концу или по крайней мере достигнуть какого-то развития. А вместо этого шли бесконечные допросы, почти всегда одного и того же содержания; ответы на них я выучил наизусть, как молитву; но несколько раз в неделю ко мне являлись посыльные из суда — и в контору и домой, всюду, где могли меня застать; конечно, это очень мне мешало (теперь по крайней мере в этом отношении стало лучше, телефонные вызовы мешают гораздо меньше), а то среди моих деловых знакомых и особенно среди моих родственников начали распространяться слухи о моем процессе, так что вреда это мне принесло достаточно, а вместе с тем не было видно ни малейшего признака того, что в ближайшее время будет назначено хотя бы первое слушание дела. Тогда я обратился к адвокату с жалобой. Он дал мне пространные объяснения, однако решительно отказался сделать какие-то шаги в том направлении, как я предполагал: ускорить слушание дела все равно никто не может, а настаивать на этом в заявле-



нии, как того требовал я, было бы просто неслыханно и могло погубить и его и меня. Я и подумал: то, чего не может или не хочет этот адвокат, захочет и сможет другой. И я стал искать других адвокатов. Сразу забегу вперед: никто никогда не требовал назначения дела к слушанию, никто этого не мог добиться, да и вообще с одной оговоркой, о чем я скажу позже, это действительно никак невозможно, значит, в этом отношении адвокат меня не обманул; но в остальном мне не пришлось жалеть, что я обратился к другим адвокатам. Вероятно, вы уже слышали от доктора Гульда о подпольных адвокатах. Должно быть, он говорил о них с большим презрением, да они этого и заслуживают. Однако когда он о них говорит и сравнивает с собой и своими коллегами, то совершает небольшую ошибку, и я вам попутно разъясню, какую именно. Обычно, говоря об адвокатах своего круга, он в отличие от подпольных называет их «крупными» адвокатами. Это неверно: конечно, каждый может называть себя «крупным», если ему заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твердо. Если руководствоваться ею, то кроме подпольных адвокатов существуют еще адвокаты крупные и мелкие. Так вот этот адвокат и его коллеги принадлежат к «мелким» адвокатам, а крупные адвокаты — о них я только слышал, но никогда их не видел, — те стоят по рангу неизмеримо выше «мелких» адвокатов, куда выше, чем «мелкие» стоят над презренными подпольными.

— Что же это за крупные адвокаты? — спросил К. — Кто они такие? Как к ним попасть?

— Значит, вы о них еще никогда не слышали, — сказал коммерсант, — а ведь нет ни одного обвиняемого, который, узнав о них, не мечтал бы попасть к ним. Лучше не поддавайтесь этому соблазну. Кто эти крупные адвокаты — я понятия не имею, и попасть к ним, по-видимому, невоз-

можно. Не знаю ни одного случая, когда с уверенностью можно было бы говорить об их вмешательстве. Кого-то они защищают, но по своему желанию этого нельзя добиться; защищают они только тех, кого им угодно защищать. Должно быть, то дело, за которое они берутся, уже выходит за пределы низших судебных инстанций. Вообще же лучше о них и не думать, потому что иначе все переговоры с другими адвокатами, все их советы и вся их помощь покажутся жалкими, никчемными; я сам это испытал: хочется просто бросить все, лечь дома в постель и ни о чем не слышать. Но, конечно, глупее этого ничего быть не может, да и в постели тебе все равно не будет покоя.

— Значит, вы и прежде о крупных адвокатах не думали? — спросил К.

— Думал, но недолго, — сказал коммерсант и опять усмехнулся. — Совершенно забыть о них невозможно, особенно ночью приходят всякие мысли. Но когда-то мне больше всего хотелось добиться осязаемых результатов, потому я и обратился к подпольным адвокатам.

— Как вы тут хорошо сидите вдвоем! — сказала Лени, она вернулась с тарелкой и остановилась в дверях.

И действительно, они сидели, почти прижавшись друг к другу; при малейшем повороте их головы могли столкнуться, а так как коммерсант при своем малом росте еще весь сгорбился, К. был вынужден наклоняться к нему совсем близко, чтобы слышать все как следует.

— погоди минутку! — остановил девушку К., и его рука, все еще лежавшая на руке коммерсанта, нетерпеливо дрогнула.

— Он просил, чтобы я ему рассказал о своем процессе, — обратился коммерсант к Лени.

— Ну рассказывай, рассказывай! — сказала та.

Она говорила с коммерсантом ласково, но очень свысока, и К. это не понравилось; он уже понял, что это был

человек вполне достойный; во всяком случае, он много пережил и прекрасно обо всем рассказывал. Очевидно, Лени судила о нем неверно. К., смотрел, как Лени с раздражением отняла у коммерсанта свечу — тот все время крепко держал ее в руке, — обтерла его пальцы своим фартуком и опустила перед ним на колени, чтобы счистить воск, накапавший ему на брюки.

— Вы ведь хотели рассказать мне про подпольных адвокатов! — сказал К. и без всяких околичностей отодвинул руку Лени.

— Ты это что? — сказала Лени и, слегка хлопнув К. по руке, продолжила свою работу.

— Да, да, про подпольных адвокатов, — сказал коммерсант и провел рукой по лбу, как бы обдумывая, что говорить.

Желая ему помочь, К. подсказал:

— Вы хотели добиться немедленных результатов и потому обратились к подпольным адвокатам.

— Совершенно верно, — сказал коммерсант, но ничего не добавил.

«Видно, не желает говорить при Лени», — подумал К., и хотя ему очень хотелось все услышать, он поборол нетерпение и больше настаивать не стал.

— Ты доложила обо мне? — спросил он Лени.

— Конечно, — ответила та. — Он тебя дожидается. Оставь Блока, с ним ты и потом успеешь поговорить, Блок побудет тут.

К. решил не сразу.

— Вы останетесь тут? — спросил он коммерсанта.

Ему хотелось, чтобы тот сам подтвердил это, и не нравилось, что Лени говорит о Блоке как об отсутствующем. Да и вообще сегодня К. испытывал какое-то затаенное раздражение против Лени.

Но ответила опять она:

— Он здесь часто ночует.

— Ночует здесь? — воскликнул К.

А он-то надеялся, что Блок просто дождетя, пока он как можно скорее закончит переговоры с адвокатом, а затем они вместе выйдут и основательно, без всяких помех все обсудят.

— Ну да, — сказала Л е н и . — Не каждого пускают к адвокату в любой час, как тебя, Йозеф. Ты как будто и не удивляешься, что адвокат, несмотря на болезнь, принимает тебя в одиннадцать часов ночи. Все, что ради тебя делают друзья, ты принимаешь как должное. Конечно, твои друзья, во всяком случае я сама, все делают с удовольствием. Никакой благодарности я и не требую! Лишь бы ты меня любил.

«Тебя любить? — подумал в первую минуту К., но сразу мелькнула мысль: — Ну конечно, я ее люблю».

Однако вслух он сказал, обходя эту тему:

— Меня адвокат принимает, потому что я его клиент. А если и тут не обойтись без чужой помощи, значит, на каждом шагу только и придется, что клянчить и благодарить.

— Какой он сегодня нехороший, — сказала Лени коммерсанту.

«Вот теперь и про меня говорит, будто меня нет», — подумал К. и даже рассердился на коммерсанта, когда тот так же бесцеремонно, как Лени, сказал:

— Адвокат его принимает еще и по другой причине: его процесс много интереснее моего. Кроме того, его процесс только что начался и, значит, не очень запутан, потому адвокат и занимается им так охотно. Потом все изменится.

— Да, да! — со смехом сказала Лени, глядя на коммерсанта. — Ишь разболтался! А ты ему не в е р ь , — это она сказала, уже обращаясь к К. — Он ужасно милый, но

и ужасно болтливый. Может быть, адвокат его за это и не выносит. Во всяком случае, принимает он его, только когда ему вздумается. Я и то сколько раз старалась заступиться, и все зря. Представь себе, иногда я докладываю о Блоке, а он его принимает только на третий день. Но если в ту минуту, как его позовут, Блок не явится, значит, все пропало, нужно сызнова о нем докладывать. Поэтому я разрешила Блоку ночевать тут: бывает, что адвокат ночью звонит и требует его к себе. А теперь Блок и ночью наготове. Правда, иногда он узнаёт, что Блок тут, и отменяет свой вызов.

К. вопросительно посмотрел на коммерсанта. Тот кивнул головой и сказал так же откровенно, как говорил до того с К. (видно, он растерялся только от смущения):

— Да, впоследствии начинаешь очень зависеть от своего адвоката.

— Он только для виду жалуется, — сказала Л е н и , — а сам любит тут ночевать, он мне сколько раз говорил. — Она подошла к маленькой дверце и открыла ее. — Хочешь взглянуть на его спальню? — спросила она.

К. подошел и заглянул с порога в низкую каморку без окон, целиком занятую узенькой кроватью. Забираться в кровать можно было только через спинку. У изголовья в стене виднелась небольшая ниша, там с педантичной аккуратностью были расставлены свеча, чернильница, ручка с пером и пачка бумаг — очевидно, документы процесса.

— Значит, вы спите в комнате для прислуги? — спросил К., обращаясь к коммерсанту.

— Мне ее уступила Л е н и , — сказал коммерсант. — Это очень удобно.

К. пристально посмотрел на него. Очевидно, первое впечатление, которое произвел Блок, было правильной: опыт у него был большой, потому что его процесс тянулся

давно, но стоил ему этот опыт недешево. И вдруг весь вид этого человека стал для К. невыносим.

— Ну и укладывай его спать! — крикнул он Лени, которая явно его не поняла.

Нет, сейчас он пойдет к адвокату и откажет ему, а этот отказ освободит его не только от самого адвоката, но и от Лени, и от этого коммерсанта.

Но не успел он дойти до двери, как коммерсант громко окликнул его:

— Господин прокурист! — К. сердито обернулся. — Вы забыли свое обещание, — сказал коммерсант и умоляюще потянулся к К. со своего места. — Вы хотели сообщить мне какой-то секрет.

— Верно! — сказал К., мельком взглянув на Лени, внимательно смотревшую на него. — Так вот, слушайте: теперь это уже почти не секрет. Я сейчас иду к адвокату, чтобы ему отказать.

— Он ему отказывает! — крикнул коммерсант, вскочил со стула и забегал по кухне, воздевая руки к небу. — Он отказывает адвокату! — восклицал он снова и снова.

Лени хотела было наброситься на К., но коммерсант перебил ей дорогу, за что она стукнула его кулаком. Не разжимая кулаков, Лени бросилась за К., но тот опередил ее и уже вбегал в комнату к адвокату, когда Лени его догнала. Он почти успел захлопнуть двери, но Лени ногой задержала одну створку и схватила его за локоть, пытаясь вытащить обратно. Но он так стиснул ей кисть руки, что она, охнув, выпустила его. Зайти в комнату она не посмела, и К. запер дверь изнутри на ключ.

— Я вас очень давно жду, — сказал адвокат с кровати, положив на ночной столик документ, который он читал при свече, и, надев очки, пристально посмотрел на К.

Но вместо того, чтобы извиниться, К. сказал:

— А я скоро уйду.

Адвокат оставил без внимания эти слова и так как К. не извинился, добавил:

— В следующий раз я вас так поздно не приму.

— Это вполне совпадает с моими намерениями, — сказал К.

Адвокат посмотрел на него вопросительно.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал он.

— Если вам угодно, — сказал К., пододвинул кресло к ночному столику и сел.

— Мне показалось, что вы заперли дверь на ключ, — сказал адвокат.

— Да, — сказал К., — из-за Лени. — Он не намеревался никого шадить.

Но адвокат спросил:

— Она опять к вам приставала?

— Приставала? — переспросил К.

— Ну да! — сказал адвокат и рассмеялся. От смеха у него начался приступ кашля, а когда кашель прошел, он опять засмеялся.

— Да вы, наверно, уже сами заметили, какая она зойливая, — сказал он и похлопал К. по руке — тот по рассеянности положил руку на ночной столик, но тут же быстро отдернул ее.

— Видно, вы не придаете этому значения, — сказал адвокат, когда К. промолчал. — Тем лучше! Иначе мне, наверно, пришлось бы перед вами извиняться. Это ее причуда, и я давно ей все простил и даже разговаривать об этом не стал бы, если бы вы не заперли дверь. Не мне объяснять вам эту причуду, но сейчас у вас такой растерянный вид, что придется все рассказать. Причуда эта состоит в том, что большинство обвиняемых кажутся Лени красавцами. Она ко всем привязывается, всех их любит, да и ее как будто все любят; а потом, чтобы меня поразвлечь, она иногда мне о них рассказывает — конечно,

с моего согласия. Меня это ничуть не удивляет, а вот вы как будто удивлены. Если есть на это глаз, то во многих обвиняемых и в самом деле можно увидеть красоту. Конечно, это удивительное, можно сказать, феноменальное явление природы. Разумеется, сам факт обвинения отнюдь не вызывает какие-либо отчетливые, ясно определенные перемены во внешности. Ведь это не то, что при других судебных делах: тут большинство обвиняемых продолжают вести свой обычный образ жизни, и если у них есть хороший адвокат, взявший на себя все заботы, то и процесс их не касается. Тем не менее люди, искушенные в таких делах, могут среди любой толпы узнать каждого обвиняемого в лицо. По каким приметам? — спросите вы. Мой ответ вас, может быть, не удовлетворит. Просто эти обвиняемые — самые красивые. И не вина делает их красивыми — я обязан так считать хотя бы как адвокат, ведь не все же они виноваты, — да и не ожидание справедливого наказания придает им красоту, потому что не все они будут наказаны; значит, все кроется в поднятом против них деле, это оно так на них влияет. Разумеется, среди этих красивых людей есть особенно прекрасные. Но красивы они все, даже Блок, этот жалкий червяк.

Когда адвокат договорил, К. уже решил окончательное, он даже вызывающе вскинул голову в ответ на последние слова адвоката, словно подтверждая самому себе правильность сложившегося у него убеждения, что адвокат всегда — и на этот раз тем более — старается отвлечь его общими разговорами, не имеющими никакого касательства к основному вопросу: проводит ли он какую-либо работу для пользы дела К. Адвокат, очевидно, заметил, что К. на этот раз настроен против него еще больше, чем обычно, и замолчал, выжидая, чтобы К. сам заговорил; но, видя, что К. упорно молчит, спросил его:

— Вы сегодня пришли ко мне с определенной целью?



— Да , — ответил К. и немного затенил рукой свечу, чтобы лучше видеть адвоката. — Я хотел вам сказать, что с сегодняшнего дня я лишаю вас права защищать мои интересы в суде.

— Правильно ли я вас понял? — спросил адвокат и, присев в постели, оперся рукой на подушки.

— Полагаю, что правильно, — сказал К., он сидел прямо и был все время начеку.

— Что ж, можно обсудить и этот план, — сказал адвокат, помолчав.

— Это уже не только план, — сказал К.

— Возможно, — сказал адвокат. — И все же не будем торопиться.

Он сказал «не будем», как будто не собирался выпустить К. из рук и был намерен остаться если не его представителем, то по крайней мере советчиком.

— Никто и не торопится, — сказал К., медленно поднялся и встал за спинкой кресла. — Я думал долго, может быть, даже слишком долго. Но решение принято окончательно.

— Тогда позвольте мне сказать несколько слов, — сказал адвокат, сбросил с себя перину и сел на край кровати. Его голые, покрытые седыми волосами ноги дрожали от холода. Он попросил К. подать ему плед с дивана.

К. подал плед и сказал:

— Вы совершенно зря подвергаете себя простуде.

— Нет, не зря, все это очень важно, — сказал адвокат, снова кутаясь в перину и укрывая ноги пледом. — Ваш дядя мне друг, да и вас я за это время полюбил. В этом я вам признаюсь откровенно. Стыдиться тут нечего.

К. было очень неприятно слушать чувствительные излияния старика, потому что они вынуждали его на решительное объяснение, а ему очень хотелось этого избежать, да и, кроме того, как он откровенно признался самому се-

бе, все это сбило его с толку, хотя ни в какой мере не поколебало его решения.

— Благодарю за дружеские чувства, — сказал он. — Я вполне сознаю, что вы сделали для меня все, что только возможно и что, по-вашему, могло принести пользу. Однако в последнее время я пришел к убеждению, что этого недостаточно. Разумеется, я никогда не решусь навязывать свое мнение человеку, который настолько старше и опытнее меня; если я когда-либо невольно осмеливался на это, прошу меня простить, но дело тут, как вы сами выразились, чрезвычайно важное и, по моему глубокому убеждению, требует гораздо более решительного вмешательства в ход процесса, чем это было до сих пор.

— Я вас понимаю, — сказал адвокат. — Вы очень терпеливы.

— Вовсе я не так уж нетерпелив, — сказал К. с некоторым раздражением и сразу же перестал тщательно выбирать слова: — Вероятно, при первом моем посещении, когда я пришел с дядей, вы заметили, что особого интереса к своему процессу я не проявлял, и когда мне не напоминали о нем, так сказать, насильно, я вообще о нем забывал. Но мой дядя настаивал, чтобы я поручил вам представлять мои интересы, и ему в угоду я это сделал. После этого, естественно, можно было ожидать, что я буду еще меньше тяготиться процессом, ведь для того и передают адвокату защиту своих интересов, чтобы свалить с себя заботы и хотя бы отчасти забыть о процессе. Но все вышло наоборот. Никогда еще я столько не тревожился из-за процесса, как с того момента, когда вы взяли на себя защиту моих интересов. До этого я был один, ничего по своему делу не предпринимал, да и почти что его не чувствовал, а потом у меня появился защитник, все шло к тому, чтобы что-то сдвинуть с места, и в непрестанном, все возрастающем напряжении я ждал, что вы нако-

нец вмешаетесь, но вы ничего не делали. Правда, вы мне сообщили о суде много такого, чего мне, наверно, никто другой рассказать бы не мог. Но теперь, когда процесс форменным образом подкрадывается исподтишка, мне этого недостаточно. — К. оттолкнул кресло и встал, выпрямившись во весь рост, заложив руки в карманы.

— На известной стадии процесса, — сказал адвокат спокойно и негромко, — ничего нового, как показывает практика, не происходит. Сколько клиентов на этой стадии процесса стояли передо мной в той же позе, что и вы, и говорили то же самое!

— Это значит, — сказал К., — что все они, эти люди, были так же правы, как прав я. Ваши возражения меня не убедили.

— Я вам и не собирался возражать, — сказал адвокат, — я только хотел бы добавить, что ожидал от вас более глубоких суждений, тем паче, что я дал вам возможность гораздо глубже заглянуть в судопроизводство и в мои действия, чем обычно дают своим клиентам. А теперь остается только признать, что, несмотря на все, вы не питаете ко мне нужного доверия. И мне это никак не помогает.

Как он унижался перед К., этот адвокат! И никакого профессионального самолюбия. А ведь тут-то оно и должно было бы проявиться в полную силу. Почему он так себя вел? Адвокатская практика у него, по всей видимости, была большая, человек он был богатый, значит, отказ одного клиента и потеря заработка для него никакой роли не играли. Кроме того, как человек слабого здоровья, он должен был бы и сам стараться немного разгрузиться в работе. Но вопреки всему он крепко держался за К. Почему? Из личной приязни к дяде? Или процесс К. действительно казался ему таким необычным, что он надеялся отличиться благодаря ему? Но перед кем? Перед

К. или же — не исключена и эта возможность! — перед своими приятелями из суда? По его виду ничего нельзя было определить, как пристально К. его ни разглядывал. Можно было подумать, что он нарочно сделал такое непроницаемое лицо и выжидает, какое впечатление произведут его слова. Но он истолковал молчание К., видимо, в благоприятном для себя смысле и опять заговорил:

— Вы, наверно, заметили, что при весьма обширной канцелярии у меня нет никаких помощников. В прежние времена было иначе. Тогда на меня работали несколько молодых юристов, но теперь я работаю один. Отчасти это связано с изменением моей практики, с тем, что я ограничиваюсь главным образом ведением таких процессов, как ваш, отчасти же с тем, что я глубже проник в суть таких дел. Я понял, что нельзя поручать эту работу другим, если я не хочу грешить перед моими клиентами и перед взятой на себя задачей. Но решение взять всю работу на себя, конечно, имело свои последствия: пришлось отказывать почти всем и браться только за те дела, к которым у меня лежало сердце, впрочем, даже тут, поблизости, существует достаточно прилипал, готовых подбирать любые крохи, какие я им брошу. В довершение ко всему я заболел от переутомления. Но, несмотря на все, я ни разу не пожалел о принятом решении; возможно даже, что я должен был бы отстранить от себя еще больше дел, но то, что я всецело отдался взятым на себя процессам, оказалось необходимым и вполне оправдывалось достигнутыми успехами. В одном документе я как-то прочел прекрасное определение различия между ведением обычных гражданских дел и ведением дел такого рода. Там было сказано: в первом случае адвокат доводит своего клиента до приговора суда на веревочке, во втором же он сразу взваливает клиента себе на плечи и несет, не снимая, до самого приговора и даже после него. Так оно

и есть. Впрочем, я был не совсем прав, говоря, что никогда не раскаивался в том, что взвалил на себя такую огромную работу. Если, как это случилось с вами, мою работу отменяют столь безоговорочно, я начинаю раскаиваться.

Однако весь этот разговор скорее раздражал, чем убеждал К. Ему казалось, что уже по одному тону адвоката можно угадать, что ждет его, если он сдастся: опять пойдет обнадеживание, начнутся намеки на успешную работу над ходатайством, на более благоприятное расположение духа судейских чиновников, ну и, разумеется, на огромные трудности, препятствующие работе, — словом, все до тошноты знакомые приемы будут использованы, чтобы обмануть К. неопределенными надеждами и измучить неопределенными угрозами.

«Надо этому решительно положить конец», — подумал он и сказал:

— А что вы предпримете по моему делу, если останетесь моим поверенным?

Адвокат не запротестовал даже при такой обидной для него постановке вопроса и ответил:

— Буду продолжать то, что я уже предпринял для вас.

— Так я и з н а л, — сказал К. — Не будем же тратить лишних слов.

— Нет, я сделаю еще одну попытку, — сказал адвокат, будто все то, из-за чего волновался К., случилось с ним самим, а не с К. — Я, видите ли, подозреваю, что не только ваша неверная оценка моей правовой помощи, но и все ваше поведение вызвано тем, что с вами, хотя вы и обвиняемый, до сих пор обращались слишком хорошо, или, выражаясь точнее, слишком небрежно, с напускной небрежностью. Но и на это есть свои причины; иногда оковы лучше такой свободы. Но я все же хотел бы вам показать,

как обращаются с другими обвиняемыми; может быть, для вас это будет полезным уроком. Сейчас я вызову к себе Блока. Откройте дверь и сядьте сюда, к ночному столику!

— С удовольствием! — сказал К. и сделал так, как велел адвокат; поучиться он всегда был готов. Но чтобы на всякий случай застраховаться, он спросил адвоката: — Но вы приняли к сведению, что я вас освобождаю от обязанности представлять меня?

— Да, — сказал адвокат, — но вы можете сегодня же изменить свое решение.

Он снова лег на подушки, натянул перину до подбородка и, отвернувшись к стене, позвонил.

На звонок сразу вошла Лени, она быстро огляделась, пытаясь понять, что произошло; то, что К. мирно сидит у постели адвоката, ее, очевидно, успокоило. С улыбкой она кивнула К. в ответ на его неподвижный взгляд.

— Приведи Блока, — сказал адвокат.

Но вместо того, чтобы за ним пойти, она просто подошла к двери и крикнула:

— Блок! К адвокату! — И видя, что адвокат отвернулся к стене и ни на что не обращает внимания, она проскользнула за кресло К.

С этой минуты она не оставляла его в покое: то перегнется к нему через спинку кресла, то обеими руками погладит — правда, очень осторожно и нежно — его волосы или проведет ладонью по щекам. В конце концов К. решил прекратить это и крепко взял ее за руку. Сперва она пыталась отнять руку, но потом смирилась.

Блок явился по первому зову и остановился в дверях, сложно раздумывая, войти ему или нет. Он высоко поднял брови и наклонил голову, прислушиваясь, не повторят ли приказ пройти к адвокату. К. мог бы подбодрить его, поздравить, но он решил окончательно порвать не только с адвокатом, но и вообще со всем, что происходило в этой

квартире, и поэтому держался безучастно. Лени тоже молчала. Заметив, что его по крайней мере никто не гонит, Блок на цыпочках вошел в комнату, судорожно стиснув руки за спиной. Для возможного отступления он оставил двери открытыми. На К. он не смотрел, все внимание его было устремлено на высокую перину, под которой даже не видно было адвоката; тот совсем прижался к стене.

Из-под перины послышался голос.

— Блок тут? — спросил он.

От этого вопроса Блок, уже подошедший довольно близко, зашатался так, будто его толкнули в грудь, а потом в спину, скрючился в поклоне и проговорил:

— К вашим услугам.

— Чего тебе надо? — спросил адвокат. — Опять пришел некстати.

— Но меня как будто звали? — спросил Блок, не столько у адвоката, сколько у себя самого, и, вытянув руки, словно для защиты, уже приготовился бежать.

— Да, з в а л и, — сказал адвокат. — И все равно ты пришел некстати. — И, помолчав, добавил: — Ты всегда приходишь некстати.

С той минуты, как адвокат заговорил, Блок уже не смотрел на кровать, он уставился куда-то в угол и только вслушивался в голос, как будто боялся, что не перенесет ослепительного вида того, кто с ним разговаривает. Но и слышать адвоката было трудно, потому что он говорил в стенку и притом очень быстро и тихо.

— Вам угодно, чтобы я ушел? — спросил Блок.

— Раз уж ты тут — оставайся! — сказал адвокат.

Можно было подумать, что адвокат не то чтобы исполнил желание Блока, а, наоборот, пригрозил его выпороть, что ли, потому что при этих словах Блок задрожал всем телом.

— Вчера я был у третьего судьи, — сказал адвокат, — у моего друга, и постепенно навел разговор на тебя. Хочешь знать, что он сказал?

— О да, прошу вас! — сказал Блок. Но так как адвокат ответил не сразу, Блок опять повторил свою просьбу и совсем согнулся, будто хотел стать на колени. Но тут К. закричал на него.

— Что ты делаешь? — крикнул он. Лени хотела оставить его, тогда он схватил ее и за другую руку. Отнюдь не в порыве любви, он крепко сжал ее руки, и Лени, вздыхая, попыталась их отнять. А за выходку К. расплатился Блок, потому что адвокат сразу спросил его:

— Кто твой адвокат?

— Вы! — ответил Блок.

— А кроме меня кто еще? — спросил адвокат.

— Кроме вас никого, — ответил Блок.

— Так ты никого и не слушай! — сказал адвокат.

Блок понял его и, сердито взглянув на К., решительно затряс головой. Если бы перевести этот жест на слова, они прозвучали бы грубой бранью. И с таким человеком К. собирался дружески обсуждать свое дело!

— Не буду тебе мешать, — сказал К, откидываясь в кресле. — Ползай на брюхе, становись на колени — словом, делай что хочешь. Я вмешиваться не буду.

Но у Блока, как видно, осталось еще какое-то самолюбие, во всяком случае по отношению к К., потому что он надвинулся на него, размахивая кулаками, и, еле сдерживая голос из страха перед адвокатом, закричал:

— Не смейте так со мной разговаривать! Это недопустимо! За что вы меня обижаете? Да еще при господине адвокате! Тут нас обоих, и меня и вас, терпят только из милости! Вы ничуть не лучше меня, вы такой же обвиняемый, и против вас тоже ведется процесс! А если вы считаете себя важным господином, так я такой же важный,



может, еще важнее вас! И потрудитесь со мной так не разговаривать, да, вот именно! Может, вы считаете себя привилегированным, оттого что сидите тут, в кресле, а я должен, как вы изволили выразиться, ползать на брюхе? Так разрешите мне напомнить вам старую судебную поговорку: для обвиняемого движение лучше покоя, потому что если ты находишься в покое, то, может быть, сам того не зная, уже сидишь на чаше весов вместе со всеми своими грехами.

К. ничего не сказал, только тупо уставился на этого обезумевшего человека. Как он изменился в течение одного только часа! Неужели процесс так его издергал, что он потерял способность понимать, кто ему друг и кто враг? Неужели он не видит, что адвокат нарочно унижает его, и на этот раз лишь с одной целью — похвалиться своей властью перед К. и, быть может, этим подчинить и его? Но если Блок не способен это понять или же так боится адвоката, что даже понимание ему не помогает, то как он ухитрится, как осмеливается обманывать адвоката, скрывать, что кроме него он пригласил еще других адвокатов? И как он осмеливается нападать на К., зная, что тот в любую минуту может выдать его тайну?

Но Блок и не на то осмелился; он подошел к постели адвоката и стал жаловаться на К.:

— Господин адвокат, — сказал он, — вы слышали, как этот человек со мной разговаривает? Ведь его процесс длится какие-то часы, а он уже хочет поучать меня — меня, чей процесс тянется уже пять лет. Да еще бранится! Ничего не знает, а бранится, а ведь я в меру своих слабых силенок точно выучил, усвоил, чего требуют и приличия, и долг, и судебные традиции.

— Не обращай ни на кого внимания, — сказал адвокат, — делай, как считаешь правильным.

— Непременно, — сказал Блок, словно сам себя подбадривая, и, оглянувшись, встал на колени перед самой кроватью. — Я уже на коленях, мой адвокат! — сказал он. Но адвокат промолчал. Осторожно, одной рукой, Блок погладил перину. В наступившей тишине Лени вдруг сказала, высвобождая руки из рук К.:

— Пусти. Ты мне делаешь больно. Я хочу к Блоку.

Она отошла и присела на край постели. Блок страшно обрадовался ей и стал немymi жестами и мимикой просить ее заступиться за него перед адвокатом. Очевидно, ему до разреза нужно было выудить у адвоката какие-то сведения — возможно, лишь для того, чтобы их использовали другие адвокаты. Должно быть, Лени точно знала, какой подход нужен к адвокату, она глазами показала Блоку на его руку и сделала губы трубочкой, точно для поцелуя. Блок тут же чмокнул адвоката в руку и по знаку Лени еще и еще раз приложился к руке. Но адвокат упорно молчал. Лени наклонилась к адвокату, перегибаясь через кровать, так что обрисовалось все ее здоровое, красивое тело, и, низко склоняясь к его голове, стала гладить его длинные седые волосы. Тут ему уже нельзя было промолчать.

— Не решаюсь ему сообщить, — сказал адвокат и слегка повернул голову — может быть, для того, чтобы лучше почувствовать прикосновения Лени. Блок исподтишка прислушивался, опустив голову, словно преступал какой-то запрет.

— Отчего же ты не решаешься? — спросила Лени.

У К. было такое чувство, словно он слышит заученный диалог, который уже часто повторялся и будет повторяться еще не раз и только для Блока никогда не теряет новизны.

— А как он себя вел сегодня? — спросил адвокат вместо ответа.

Перед тем как высказать свое мнение, Лени посмотрела на Блока и помедлила, глядя, как он умоляюще воздел к ней сложенные руки. Наконец она строго кивнула, обернулась к адвокату и сказала:

— Он был очень послушен и прилежен.

И это пожилой коммерсант, бородатый человек, умолял девчонку дать о нем хороший отзыв! Может быть, у него и есть какие-то задние мысли, но все равно никакого оправдания в глазах своего ближнего он не заслуживал. Эта оценка даже зрителя унижала. Значит, таков был метод адвоката (и какое счастье, что К. попал в эту атмосферу ненадолго!) — довести клиента до полного забвения всего на свете и заставить его тащиться по ложному пути в надежде дойти до конца процесса. Да разве Блок клиент? Он собака адвоката! Если бы тот велел ему залезть под кровать, как в собачью будку, и лаять оттуда, он подчинился бы с наслаждением. К. слушал внимательно и сосредоточенно, словно ему поручили точно воспринять и запомнить все, что тут говорилось, и доложить об этом в какой-то высшей инстанции.

— Чем же он занимался весь день? — спросил адвокат.

— А я его заперла в комнате для прислуги, чтобы он мне не мешал работать, — сказала Лени. — Он всегда там сидит. Время от времени я заглядывала в оконце, смотрела, что он делает. А он стоит на коленях на кровати, разложил на подоконнике документы, которые ты ему выдал, и все читает, читает. Мне это очень пришлось по душе: ведь окошко выходит во двор, в простенок, оттуда и свету почти нет. А Блок сидит и читает. Сразу видно, какой он покорный.

— Рад слышать, — сказал адвокат. — А он понимает, что читает?

Во время их разговора Блок непрерывно шевелил гу-

бами, очевидно заранее составляя ответы, которые надеялся услышать от Лени.

— Ну, на этот вопрос, — сказала Лени, — я, конечно, в точности ответить не могу. Во всяком случае, я видела, что читает он очень старательно. Целый день перечитывает одну и ту же страницу и все водит и водит пальцем по строкам. Заглянешь к нему, а он вздыхает; видно, чтение ему очень трудно дается. Должно быть, документы ты ему дал очень непонятные.

— О да! — сказал адвокат. — Они и вправду нелегкие. Да я и не верю, что он в них разбирается. Я их для того только и дал, чтобы он понял, какую труднейшую борьбу мне приходится вести за его оправдание. А ради кого я веду эту трудную борьбу? Ради... нет, просто смешно сказать — ради Блока! Пусть он научится это ценить. А он занимался без перерыва?

— Да, почти без перерыва, — ответила Лени. — Только раз попросил попить. Я ему подала стакан воды через оконце. А в восемь часов я его выпустила и немножко покормила.

Блок покосился на К., словно ему давали похвальные отзывы и они не могли не произвести впечатления. По-видимому, в нем пробудилась надежда, он двигался свободнее, даже поерзал на коленях по полу.

Тем резче показалась перемена: он буквально окаменел от слов адвоката.

— Ты все его хвалишь, — сказал адвокат, — а мне от этого еще труднее говорить. Дело в том, что судья неблагоприятно отзывался и о самом Блоке и о его процессе.

— Неблагоприятно? — переспросила Лени. — Как же это возможно?

Блок посмотрел на нее таким напряженным взглядом, словно верил, что она еще и сейчас способна обратить в его пользу слова, давно уже сказанные судьей.

— Да, неблагоприятно, — сказал адвокат. — Его даже перевернуло, когда я заговорил о Блоке. «Не говорите со мной об этом Блоке!» — сказал он. «Но ведь Блок мой клиент», — сказала я. «Вами злоупотребляют», — сказал он. «Но я не считаю это дело безнадежным» — «Да, вами злоупотребляют», — повторил он. «Не думаю, — сказал я. — Блок прилежно занимается процессом и всегда в курсе дела. Он почти что живет у меня, чтобы постоянно быть наготове. Такое старание редко встретишь. Правда, лично он весьма неприятен, привычки у него отвратительные, он нечистоплотен, но к своему процессу относится безупречно». Я нарочно сказал «безупречно» — разумеется, я преувеличивал. На это он мне говорит: «Блок просто хитер. Он накопил большой опыт и умеет затеять волокиту. Но его невежество во много раз превышает его хитрость. Что бы он сказал, если бы узнал, что его процесс еще не начинался, если бы ему сказали, что даже звонок к началу процесса еще не прозвонил?»

— Спокойно, Блок! — сказал адвокат, когда Блок попытался подняться на дрожащих коленях, очевидно с намерением просить объяснения.

И тут адвокат впервые решил дать объяснение непосредственно самому Блоку. Он посмотрел усталыми глазами не то на Блока, не то мимо него, но Блок под этим взглядом снова медленно опустился на колени.

— Для тебя мнение судьбы никакого значения не имеет, — сказал адвокат, — и не пугайся при каждом звуке. Если ты начнешь так себя вести, я тебе вообще ничего передавать не буду. Нельзя слова сказать, чтобы ты не делал такие глаза, будто тебе вынесли смертный приговор! Постыдился бы моего клиента! К тому же ты подымаешь доверие, которое он ко мне питает. Да и что тебе в сущности нужно? Ты пока еще жив, пока еще находишься под моим покровительством. Что за бессмыслен-

ные страхи! Где-то ты вычитал, что бывают случаи, когда приговор можно вдруг услышать неожиданно, от кого угодно, когда угодно. Конечно, это правда, хотя и с некоторыми оговорками, но правда и то, что мне противен твой страх и в нем я вижу недостаток необходимого доверия. А что я, собственно, сказал такого? Повторил высказывание одного из судей. Но ты же знаешь, что вокруг всякого дела создается столько разных мнений, что невозможно разобраться. Например, этот судья считает началом процесса один момент, а я — совершенно другой. Просто разница во мнениях, ничего более. На определенной стадии процесса, по старинному обычаю, раздается звонок. По мнению этого судьи, процесс начинается именно тогда. Не стану тебе излагать сейчас все, что опровергает эту точку зрения, да ты все равно и не поймешь, скажу только, что возражений много.

Блок смущенно пощипывал меховой коврик у кровати; как видно, его так напугало мнение судьи, что он на время забыл свое унижение перед адвокатом и помнил только о себе, со всех сторон обдумывая слова судьи.

— Блок! — сказала Лени предостерегающе и, взяв его за ворот, подтянула кверху. — Не щипли мех, слушай, что тебе говорит адвокат.

**В СОБОРЕ**

получил задание: надо было показать некоторые памятники искусства приезжему итальянцу, связанному давнишней деловой дружбой с банком, где его чрезвычайно ценили. В другое время К., без сомнения, считал бы такое задание весьма почетным, но теперь, когда сохранять свой престиж в банке ему стоило огромного напряжения, он согласился с неохотой. Каждый час, проведенный вне стен кабинета, был для него сплошным огорчением, хотя и служебное время он проводил уже далеко не так продуктивно, как раньше. Иногда часы тянулись в какой-то жалкой видимости настоящей работы, но тем сильнее он бывал озабочен, когда приходилось отсутствовать. Тогда ему казалось, что он видит, как заместитель директора, который и без того всегда его выслеживал, заходит к нему в кабинет, садится за его стол, роется в его бумагах, принимает клиентов, с которыми К. уже годами связан и даже дружен, и восстанавливает их против него, да еще, пожалуй, находит у него какие-то ошибки, — а в последнее время К. чувствовал, как ему со всех сторон угрожают эти ошибки и он ничем не может их избежать. И если ему теперь поручали какие-нибудь даже весьма почетные деловые визиты и небольшие поездки — а в последнее время, может быть чисто случайно, такие поручения подворачивались все чаще, — то ему постоянно мерещилось, будто его нарочно хотят удалить на время из кабинета, чтобы проверить

его работу, или, во всяком случае, считают, что можно легко обойтись и без него.

От многих поручений можно было отказаться без труда, однако на это он не решался; если его подозрения имели хоть малейшее основание, то, отказываясь, он как бы признавался в своих страхах. Поэтому он с видимым безразличием принимал все такие поручения и однажды даже умолчал про серьезную простуду, когда нужно было отправиться на два дня в очень нелегкую служебную командировку, чтобы, упаси бог, ее не отменили, сославшись на скверную осеннюю погоду и дожди.

И вот, вернувшись из этой поездки с невыносимой головной болью, он узнал, что завтра ему придется сопровождать итальянского гостя. Соблазн отказаться хотя бы на этот раз был необычайно велик, тем более что придуманное для него поручение не было непосредственно связано с его служебными обязанностями. Безусловно, для дела было весьма важно проявить гостеприимство по отношению к приезжему, но для К. это никакого значения не имело, он отлично знал, что удержаться на службе он может только благодаря своим деловым успехам, а если это не удастся, то все остальное бесполезно, даже если он неожиданно очарует этого итальянца; ему не хотелось ни на день отрываться от рабочей обстановки — слишком велик был страх, что его больше не допустят к работе, и хотя он отлично сознавал, насколько этот страх преувеличен, душа у него была не на месте. Однако в данном случае было почти невозможно найти благовидный предлог для отказа. К. хоть и не очень хорошо, но вполне достаточно владел итальянским языком, а главное, с юных лет разбирался в вопросах искусства, а в банке этим его познания придали слишком большое значение, узнав, что К. некоторое время, правда, из чисто деловых соображений, был членом местного общества охраны па-



мятников старины. А так как итальянец слыл любителем искусства, то роль гида, само собой понятно, выпала на долю К.

Утро было дождливое, очень ветреное, когда К., заранее раздражаясь при мысли о предстоящем дне, уже в семь утра явился в банк, чтобы выполнить хотя бы часть работы, пока не помешает приход гостя. Он очень устал, просидев до поздней ночи над итальянской грамматикой, чтобы немного подготовиться; сейчас его тянуло к окну, где он часто проводил больше времени, чем у письменного стола, но он одолел искушение и сел за работу. К сожалению, вскоре вошел курьер и доложил, что господин директор послал его взглянуть, пришел ли господин К. и если он уже тут, то не будет ли он любезен зайти в приемную — итальянский гость уже прибыл.

— Сейчас иду, — сказал К., сунул в карман маленький словарь, взял под мышку альбом городских достопримечательностей, приготовленный в подарок гостю, и пошел через кабинет заместителя директора в директорскую приемную. Он был счастлив, что так рано явился на службу и сразу оказался в распоряжении директора, чего, вероятно, никто не ожидал. Разумеется, кабинет заместителя еще пустовал, словно стояла глубокая ночь; должно быть, директор и за ним посылал курьера, чтобы просить его в приемную, а его на месте не оказалось. Когда К. вошел в приемную, ему навстречу из глубины кресел поднялись два господина. Директор приветливо улыбался, видимо очень обрадованный его приходом, и сразу представил его итальянцу; тот крепко пожал К. руку и с улыбкой сказал что-то про ранних пташек. К. не сразу понял, что хочет сказать гость, да и слово было какое-то незнакомое, и К. только потом угадал его смысл. К. ответил какой-то гладкой фразой, итальянец опять рассмеялся и несколько раз погладил свои пышные, иссиня-

черные с проседью усы. Усы были явно надушены, даже хотелось подойти поближе и понюхать. Когда все снова сели и завели короткую вступительную беседу, К. вдруг с испугом заметил, что понимает итальянца только по временам. Когда тот говорил совсем спокойно, К. понимал почти все, но это было редко; по большей части речь гостя лилась сплошным потоком, и он при этом радостно потряхивал головой. А главное, в увлечении он все время переходил на какой-то диалект, в котором К. даже не улавливал итальянских слов. Зато директор не только все понимал, но и отвечал на этом же диалекте — впрочем, К. должен был это предвидеть, потому что итальянец был родом из Южной Италии, а директор прожил там несколько лет. Во всяком случае, К. понял, что у него почти не будет возможности объясниться с итальянцем: по-французски тот говорил так же невнятно, а к тому же усы закрывали ему рот, иначе по движению губ можно было бы легче понять его. К. предвидел много неприятностей и пока что оставил всякие попытки понять итальянца, да в присутствии директора, который понимал его с легкостью, это было бы ненужным напряжением, и К. ограничился тем, что с некоторой досадой наблюдал, как гость непринужденно и вместе с тем легко откинулся в глубоком кресле, как он то и дело одергивает свой коротенький, ловко скроенный пиджачок и вдруг, высоко подняв локти и, свободно шевеля кистями рук, пытается изобразить что-то, чего К. никак не мог понять, хотя весь подался вперед, не спуская глаз с рук итальянца. Но в конце концов от этого безучастного, совершенно машинального созерцания чужой беседы К. почувствовал прежнюю усталость и, к счастью вовремя, с испугом поймал себя на том, что в рассеянности хотел было встать, повернуться и выйти вон. Наконец итальянец взглянул на часы и вскочил с места. Попрошавшись с директором, он

так близко подошел к К., что тому пришлось отодвинуться, чтобы встать. Директор, заметив, как растерялся К. от этого итальянского диалекта, вмешался в разговор, да так умно и деликатно, что казалось, будто он только подает незначительные советы, хотя на самом деле он вкратце переводил для К. все то, что говорил неугомонный итальянец, перебивавший его на каждом слове. Таким образом К. узнал, что итальянцу непременно надо сделать какие-то дела и, хотя у него, к сожалению, очень мало времени, он ни в коем случае не намерен в спешке осматривать все достопримечательности и собирается, если только К. даст согласие — а решать должен именно он, — осмотреть только один собор, но зато как можно подробнее. Он будет чрезвычайно счастлив обозревать этот собор в сопровождении столь ученого и столь любезного спутника — так он выразился про К., который изо всех сил старался не слушать итальянца и на лету схватывать объяснения директора, — и он просит К., если только ему это удобно, встретиться в соборе примерно часа через два, то есть около десяти. Сам он надеется к этому времени уже освободиться и прибыть туда. К. ответил как полагалось, итальянец пожал руку директору, потом К., потом снова директору и пошел к двери, уже почти не оборачиваясь к провожавшим его директору и К., но все еще не переставая говорить. К. еще немного пробыл у директора — тот сегодня выглядел очень плохо. Директору казалось, что он в чем-то должен извиниться перед К., и он сказал дружески, стоя с ним рядом, что сначала собирался сам сопровождать итальянца, но потом — причины он объяснять не стал — решил лучше послать К. И пусть К. не смущается, если не сразу будет понимать итальянца, это скоро придет, а если он даже многого не поймет, то это тоже не беда; этому итальянцу вовсе не так важно, поймут его или нет. Да и кроме того, директор не ожидал,

что К. так хорошо знает итальянский: без сомнения, со своей задачей он справится отлично.

На этом он отпустил К. Все оставшееся время К. потратил на выписывание из словаря трудных слов, которые могли ему понадобиться при осмотре собора. Работа была на редкость нудная, а тут еще курьеры проносили почту, чиновники заходили за справками и, видя, что К. занят, останавливались в дверях, но не уходили, пока К. не выслушивал их. Заместитель директора тоже не упустил случая помешать К., он нарочно заходил, брал из рук К. словарь и явно без всякой надобности перелистывал его, а когда двери приоткрывались, клиенты, ждавшие в приемной, появлялись из полутьмы и робко кланялись; видно, они хотели обратить на себя внимание и не были уверены, замечают ли их оттуда, в то время как сам К., оказавшийся как бы центром этого водоворота, старался составлять фразы, искал нужные слова в словаре, выписывал их, упражнялся в произношении и, наконец, пытался выучить их наизусть. Но его обычно хорошая память как будто совсем ему изменила, и в нем то и дело вспыхивала такая злоба к итальянцу, из-за которого приходилось столько мучиться, что он совал словарь под бумаги с твердым намерением больше не готовиться; но затем, сообразив, что не может же он молча ходить с итальянцем по собору и обозревать произведения искусства, как немой, он снова, с еще большей злобой, вытаскивал словарь.

В половине десятого, когда он уже собирался уходить, звонил телефон: Лени, пожелав ему доброго утра, спросила, как он себя чувствует. К. торопливо поблагодарил и сказал, что сейчас он разговаривать не может, потому что торопится в собор.

— Как в собор? — спросила Лени.

— Так, в собор.

— А зачем тебе в собор? — спросила Лени.

К. попытался вкратце объяснить ей, в чем дело, но не успел он начать, как Лени его перебила.

— Тебя затравили! — сказала она.

К. не выносил неожиданного и непрошеного сочувствия, поэтому он коротко простился с Лени, но, уже кладя трубку, все же сказал не то себе, не то девушке, которая была далеко и уже не могла его слышать:

— Да, меня затравили!

Было уже поздно, могло случиться, что он опоздает. В последнюю минуту, прежде чем сесть в такси, он спохватился, что не успел вручить итальянцу альбом, и захватил его с собой. Он держал альбом на коленях и все время, пока ехали, нетерпеливо барабанил по нему пальцами. Дождь почти перестал, но было сыро, холодно и сумрачно; наверно, в соборе ничего не будет видно, и, уж конечно, от стояния на холодных плитах простуда у К. еще больше обострится.

На соборной площади было пусто. К. вспомнил, как еще в детстве замечал, что в домах, замыкавших эту тесную площадь, шторы почти всегда бывают спущены. Правда, в такую погоду это было понятнее, чем обычно. В соборе тоже было совсем пустынно, вряд ли кому-нибудь могло взбрести в голову прийти сюда в такое время. К. обежал оба боковых придела и встретил только какую-то старуху, закутанную в теплый платок; она стояла на коленях перед мадонной, не спуская с нее глаз. Издали он еще увидел служку, но тот, прихрамывая, исчез в стеной дверце. К. пришел точно вовремя: когда он входил, пробило десять, но итальянец еще не явился. К. вернулся к главному входу, нерешительно постоял там и потом, несмотря на дождь, обошел весь собор снаружи — посмотреть, не ждет ли его итальянец у одного из боковых входов. Но там никого не было. Может быть, директор не-

правильно понял, какое время тот назначил? Да разве можно было понять этого типа? Во всяком случае, К. должен был подождать его хотя бы с полчаса. Так как он очень устал, он вернулся в собор и, увидев на ступеньке какой-то обрывок коврика, пододвинул его носком себе под ноги и, плотнее закутавшись в пальто, поднял воротник и сел на скамью. Чтобы рассеяться, он открыл альбом, полистал его немного, но пришлось и от этого отказаться: стало так темно, что даже в соседнем приделе К. ничего не мог разглядеть.

Вдали, на главном алтаре, большим треугольником горели свечи. К. не мог наверняка сказать, видел ли он их раньше. Может быть, их только что зажгли. Служки ходят неслышно по должности, их и не заметишь. Когда К. случайно оглянулся, он увидел, что неподалеку от него, у одной из колонн, горит высокая толстая свеча. И хотя это было очень красиво, но для освещения алтарной живописи, размещенной в темноте боковых приделов, такого света было недостаточно, он только усугублял темноту. Итальянец поступил хотя и невежливо, но благоразумно, не явившись в собор, все равно ничего не было видно, пришлось бы осматривать картины по кусочкам при свете карманного фонарика К. Чтобы испытать, как это будет, К. прошел к одной из боковых капелл, поднялся на ступеньки к невысокой мраморной ограде и, перегнувшись через нее, осветил фонариком картину в алтаре. Лампадка, колеблясь перед картиной, только мешала. Первое, что К. отчасти увидел, отчасти угадал, была огромная фигура рыцаря в доспехах, занимавшая самый край картины. Рыцарь опирался на меч, вонзенный в голую землю, лишь кое-где на ней пробивались редкие травинки. Казалось, что этот рыцарь внимательно за чем-то наблюдает. Странно было, что он застыл на месте без всякого движения. Очевидно, он назначен стоять на страже. К., уже давно

не выдавший картин, долго разглядывал рыцаря, непременно моргая от напряжения и от невыносимого зеленоватого света фонарика. Когда он осветил фонариком всю остальную картину, он увидел положение во гроб тела Христова, в обычной траковке; к тому же картина была довольно новая. Он сунул фонарик в карман и сел на прежнее место.

Ждать итальянца уже не стоило, но на улице явно лил сильный дождь, и так как в соборе, сверх ожидания, было не слишком холодно, К. решил пока что переждать тут. Рядом с ним возвышалась главная кафедра, на круглом навесе полулежали два золотых контурных креста, которые соприкасались верхними концами. С внешней стороны и перила и переход к несущей колонне были покрыты резьбой в виде зеленого плюща, ее поддерживали ангелочки, то смеющиеся, то спокойные. К. подошел к кафедре, обошел ее со всех сторон: каменная резьба была необычайно искусной, казалось, что густые тени пойманы и закреплены и в резьбе и на фоне.

К. засунул руку в темное углубление и осторожно ощупал камень. Раньше он не знал о существовании такой кафедры. В эту минуту за скамьями соседнего ряда он случайно увидел церковного служку в черном сюртуке с обвисшими складками, с табакеркой в левой руке. Он издали наблюдал за К. «Чего ему надо? — подумал К. — Разве у меня такой подозрительный вид? А может быть, он ждет чаевых?» Но тут служка, видя, что К. его заметил, показал правой рукой с зажатой в пальцах щепоткой табаку куда-то в неопределенном направлении. К. не совсем понял, чего он хочет, подождал минуту, но служка все время куда-то показывал, подкрепляя свой жест энергичными кивками.

— Чего ему надо? — тихо проговорил К., не решаясь громко окликнуть его; но потом вытащил кошелек и,

протиснувшись между скамьями, подошел к этому человеку.

Тот сразу отстранил его рукой, пожал плечами и заковылял прочь. Вот так же, торопливо ковыляя и подпрыгивая, К. в детстве пытался изображать скачку на конях. «Видно, впал в детство, — подумал К., — теперь у него только и хватает ума, что служить в церкви. И как он останавливается, когда я останавливаюсь, как подкарауливает, пойду ли я дальше». К. с улыбкой прошел вслед за стариком по всему боковому приделу до главного алтаря. Старик продолжал куда-то указывать пальцем, но К. нарочно не оборачивался; по-видимому, старик только пытался отвлечь его, чтобы он не шел за ним по пятам. Наконец К. отстал от него — не хотелось особенно тревожить старика, да и было бы очень кстати на случай, если придет итальянец, показать ему и эту достопримечательность.

Войдя в главный придел, чтобы найти то место, где он оставил альбом, он вдруг увидел у колонны, недалеко от хоров, над алтарем, маленькую боковую кафедру из бледного голого камня. Кафедра была настолько мала, что издали казалась пустой нишей, куда забыли поставить статую святого. Проповеднику не хватило бы места и на шаг отступить от перил. Кроме того, каменный свод над кафедрой выступал очень далеко, и хотя на нем не было никакой лепки, он шел настолько полого, что человеку среднего роста никак нельзя было выпрямиться, а пришлось бы стоять, перегнувшись через перила. Казалось, все было задумано нарочно для мучений проповедника, и нельзя было понять, зачем нужна эта кафедра, когда можно располагать главной, большой, столь искусно разукрашенной.

К., наверно, не заметил бы эту маленькую кафедру, если бы в ней не горела лампа, какие обычно зажигают для проповедника перед проповедью. Неужели сейчас кто-то будет читать проповедь? Тут, в пустом соборе?



К. поглядел на лесенку, которая вела на кафедру, лепясь к самой колонне; она была настолько узкой, что, казалось, служила не людям, а просто украшению колонны. Но тут К. растерянно улыбнулся, увидев, что у основания лесенки действительно стоял священник; положив руку на перильца, словно собираясь подняться на кафедру, он смотрел на К. Потом слегка кивнул, и К., осенив себя крестом, поклонился в ответ, хотя ему следовало бы поклониться первому. Священник круто повернулся и короткими быстрыми шагами поднялся на кафедру. Неужели, сейчас начнется проповедь? По-видимому, церковный служака все-таки что-то соображал и хотел подтолкнуть К. к проповеднику, что было не лишнее в этой пустующей церкви. Правда, где-то у изображения мадонны стояла старуха, надо бы и ей подойти сюда. А если уж собираются начинать проповедь, почему перед этим не вступает орган? Но орган молчал, слабо поблескивая в темноте с высоты своего величия.

К. подумал, не удалиться ли ему поскорее. Если не уйти сейчас, то во время проповеди будет поздно, придется остаться, пока она не окончится, а он и так потерял сколько времени вне службы, ждать итальянца он больше не обязан. К. взглянул на часы: уже одиннадцать! Неужели сейчас начнется проповедь? Неужели К. один может заменить всех прихожан? А если бы он был иностранцем, который только хотел осмотреть собор? В сущности для того он сюда и пришел. Бессмысленно было даже предполагать, что может начаться проповедь — сейчас, в одиннадцать утра, будним днем, при ужасающей погоде. Должно быть, священнослужитель — а он, несомненно, был священником, этот молодой человек с гладким смуглым лицом, — подымался на кафедру только затем, чтобы потушить лампу, зажженную по ошибке.

Но все вышло не так. Священник проверил лампу,

подвернул фитиль еще немного, потом медленно наклонился к балюстраде и обеими руками обхватил выступающий край. Он простоял так некоторое время, не поворачивая головы и только окидывая взглядом церковь. К. отступил далеко назад и теперь стоял, облокотившись на переднюю скамью. Мельком он увидел, как где-то — он точно не заметил где — старый церковный служака, сгорбившись, мирно прикорнул, словно выполнив важную задачу. И какая тишина наступила в соборе! Но К. вынужден был ее нарушить, он вовсе не собирался оставаться здесь; если же священник по долгу службы обязан читать проповедь в определенные часы, не считаясь с обстоятельствами, то он прочтет ее и без участия К., тем более что присутствие К. ни в чем успеху этой проповеди, разумеется, способствовать не будет.

И К. медленно двинулся с места, ощупью, на цыпочках прошел вдоль скамьи, выбрался в широкий средний проход и пошел по нему без помехи; только каменные плиты звенели даже от легкой поступи, и под высокими сводами слабо, но мерно и многократно возникало гулкое эхо шагов. К. чувствовал себя каким-то потерянным, двигаясь меж пустых скамей, да еще под взглядом священнослужителя, и ему казалось, что величие собора почти немислимо вынести обыкновенному человеку. Подойдя к своему прежнему месту, он буквально на ходу схватил оставленный там альбом. Он уже почти прошел скамьи и выбрался было на свободное пространство между ними и выходом, как вдруг впервые услышал голос священника. Голос был мощный, хорошо поставленный. И как он прогремел под готовыми его принять сводами собора! Но не паству звал священник, призыв прозвучал отчетливо, уйти от него было некуда: — Йозеф К.!

К. остановился, вперив глаза в землю. Пока еще он был на свободе, он мог идти дальше и выскользнуть через

одну из трех темных деревянных дверей — они были совсем близко. Можно сделать вид, что он ничего не разобрал, а если и разобрал, то не желает обращать внимания. Но стоило ему обернуться, и он попался: значит, он отлично понял, что оклик относится к нему, и сам идет на зов. Если бы священник позвал еще раз, К. непременно ушел бы, но сколько он ни ждал, все было тихо, и тут он немного повернул голову: ему хотелось взглянуть, что делает священник. А тот, как прежде, спокойно, стоял на кафедре, но было видно, что он заметил движение К.

Это было бы просто детской игрой в прятки, если бы К. тут не обернулся окончательно, но он обернулся, и священник тотчас поманил его пальцем к себе. Все пошло в открытую, и К., отчасти из любопытства, отчасти из желания не затягивать дело, быстрыми, размашистыми шагами подбежал к кафедре. У первого ряда скамей он остановился, но священнику это расстояние показалось слишком большим, он протянул руку и резко ткнул указательным пальцем вниз, прямо перед собой, у подножия кафедры. К. подошел так близко, что ему пришлось откинуть голову, чтобы видеть священника.

— Ты Йозеф К.! — сказал священник и как-то неопределенно повел рукой, лежавшей на балюстраде.

— Да, — сказал К. и подумал, как легко и открыто он раньше называл свое имя, а вот с некоторого времени оно стало ему в тягость, теперь его имя уже заранее знали многие люди, с которыми он встречался впервые, а как приятно было раньше: сначала представиться и только после этого завязать знакомство.

— Ты — обвиняемый, — сказал священник совсем тихо.

— Да, — сказал К., — мне об этом дали знать.

— Значит, ты тот, кого я ищу, — сказал священник. — Я капеллан тюрьмы.

— Вот оно что, — сказал К.

— Я велел позвать тебя сюда, — сказал священник, — чтобы поговорить с тобой.

— Я этого не знал, — сказал К., — и пришел я сюда показать собор одному итальянцу.

— Оставь эти посторонние мысли, — сказал священник. — Что у тебя в руках, молитвенник?

— Нет, — сказал К., — это альбом местных достопримечательностей.

— Положи его! — сказал священник, и К. швырнул альбом так резко, что он раскрылся и пролетел по полу с измятыми страницами. — Знаешь ли ты, что с твоим процессом дело обстоит плохо? — спросил священник.

— Да, мне тоже так кажется, — сказал К. — Я прилагал все усилия, но пока что без всякого успеха. Правда, ходатайство еще не готово.

— А как ты себе представляешь конец? — спросил священник.

— Сначала я думал, что все кончится хорошо, — сказал К., — а теперь и сам иногда сомневаюсь. Не знаю, чем это кончится. А ты знаешь?

— Нет, — сказал священник, — но боюсь, что кончится плохо. Считают, что ты виновен. Может быть, твой процесс и не выйдет за пределы низших судебных инстанций. Во всяком случае, покамест считается, что твоя вина доказана.

— Но ведь я невиновен. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой.

— Правильно, — сказал священник, — но виновные всегда так говорят.

— А ты тоже предубежден против меня? — спросил К.

— Никакого предубеждения у меня нет, — сказал священник.

— Благодарю тебя за это, — сказал К. — А вот остальные, те, кто участвует в процессе, все предубеждены. Они влияют и на неучаствующих. Мое положение все ухудшается.

— У тебя неверное представление о сущности дела, — сказал священник. — Приговор не выносится сразу, но разбирательство постепенно переходит в приговор.

— Вот оно как, — сказал К. я низко опустил голову.

— Что же ты намерен предпринять дальше по своему делу? — спросил священник.

— Буду и дальше искать помощи, — сказал К. и поднял голову, чтобы посмотреть, как к этому отнесется священник. — Наверно, есть неисчислимые возможности, которыми я еще не воспользовался.

— Ты слишком много ищешь помощи у других, — неодобрительно сказал священник, — особенно у женщин. Неужели ты не замечаешь, что помощь эта не настоящая?

— В некоторых случаях, и даже довольно часто, я мог бы с тобой согласиться, — сказал К., — но далеко не всегда. У женщин огромная власть. Если бы я мог повлиять на некоторых знакомых мне женщин и они, сообщая, поработали бы в мою пользу, я многого бы добился. Особенно в этом суде — ведь там сплошь одни юбочники. Покажи следователю женщину хоть издали, и он готов перескочить через стол и через обвиняемого, лишь бы успеть ее догнать.

Священник низко наклонил голову к балюстраде. Казалось, только сейчас свод кафедры стал давить его. И что за скверная погода на улице! Там уже был не пасмурный день, там наступила глубокая ночь. Витражи огромных окон ни одним проблеском не освещали темную стену. А тут еще служба стал тушить свечи на главном алтаре одну за другой.

— Ты рассердился на меня? — спросил К. священника. — Видно, ты сам не знаешь, какому правосудию служишь.

Ответа не было.

— Конечно, я знаю только то, что меня касается, — продолжал К.

И вдруг священник закричал сверху: — Неужели ты за два шага уже ничего не видишь?

Окрик прозвучал гневно, но это был голос человека, который видит, как другой падает, и нечаянно, против воли, подымает крик, оттого что и сам испугался.

Оба надолго замолчали. Конечно, священник не мог различить К. в темноте, сгустившейся внизу, зато К. ясно видел священника при свете маленькой лампы. Но почему же он не спускается вниз? Проповеди он все равно не читает, только сообщил К. сведения, которые, если подумать, могут скорее повредить, чем помочь ему. Правда, К. ничуть не сомневался в добрых намерениях священника. Вполне возможно, что он сойдет вниз и они обо всем договорятся; вполне возможно, что священник даст ему решающий и вполне приемлемый совет, например расскажет ему не о том, как можно повлиять на процесс, а о том, как из него вырваться, как обойти его, как начать жить вне процесса. Должна же существовать и такая возможность — в последнее время К. все чаще и чаще думал о ней. А если священник знает про эту возможность, то, быть может, если его очень попросить, он откроет ее, хотя и сам принадлежит к судейскому кругу, — накричал же он на К. вопреки своей кажущейся кротости, когда К. задел правосудие.

— Не сойдешь ли ты вниз? — спросил К. — Проповеди все равно уже читать не придется. Спустись ко мне.

— Да, теперь, пожалуй, можно и сойти, — сказал священник. Должно быть, он раскаивался, что накричал.

Снимая лампу с крюка, он добавил: — Сначала я должен был поговорить с тобой отсюда, на расстоянии. А то на меня очень легко повлиять, и я забываю свои обязанности.

К. ждал его внизу, у лесенки. Священник еще со ступенек, на ходу протянул ему руку.

— Ты можешь уделить мне немного времени? — спросил К.

— Столько, сколько тебе потребуется! — сказал священник и передал К. лампу, чтобы он ее нес. И вблизи в нем сохранилась какая-то торжественность осанки.

— Ты очень добр ко мне, — сказал К., — они вместе стали ходить взад и вперед по темному приделу. — Из всех судейских ты — исключение. Я доверяю тебе больше, чем всем, кого знал до сих пор. С тобой я могу говорить откровенно.

— Не заблуждайся! — сказал священник.

— В чем же это мне не заблуждаться? — спросил К.

— Ты заблуждаешься в оценке суда, — сказал священник. — Вот что сказано об этом заблуждении во Введении к Закону. У врат Закона стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к Закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии? «Возможно, — отвечает привратник, — но сейчас войти нельзя». Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник смеется и говорит: «Если тебе так не терпится — попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх». Не ожидал таких препон поселянин, ведь

доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он; но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидит он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докумачает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом и многое другое, но вопросы задает безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить привратника. А тот все принимает, но при этом говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». Идут года, внимание просителя неотступно приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко клянет эту свою неудачу, а потом приходит старость и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и оттого, что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг или его обманывает зрение. Но теперь, во тьме, он видит, что неугасимый свет струится из врат Закона. И вот жизнь его подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу — этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком — окоченевшее тело уже не повинуется ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться — теперь по



сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. «Что тебе еще нужно узнать? — спрашивает привратник. — Ненасытный ты человек!» — «Ведь все люди стремятся к Закону, — говорит тот, — как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?» И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услышать ответ: «Никому сюда входа нет, эти ворота были предназначены для тебя одного. Теперь пойду и запру их».

— Значит, привратник обманул этого человека, — торопливо сказал К. Его всерьез захватил этот рассказ.

— Не торопись, — сказал священник, — и не принимай чужих слов на веру. Я рассказал тебе эту притчу так, как она стоит во Введении. Там ничего не говорится про обман.

— Но ведь это же я с н о , — сказал К. , — и первое твое толкование было совершенно правильно. Привратник только тогда открыл спасительную правду, когда этому человеку уже ничем нельзя было помочь.

— А раньше его не спрашивали, — сказал священник. — И не забывай, что он был только привратником и свой долг выполнял честно.

— Почему ты считаешь, что он выполнял свой долг? — спросил К. — Вовсе он его не выполнял. Может быть, его долг был не пускать туда посторонних, но уж того человека, для которого вход был предназначен, он обязан был впустить.

— Ты недостаточно уважаешь Свод законов, — сказал священник, — потому и переосмыслил эту притчу. А в ней есть два важных объяснения привратника насчет допуска к Закону: одно в начале, другое в конце. Первое гласит, что в настоящую минуту привратник его допустить не может, а второе — что этот вход предназначен только для него. Если бы между этими двумя объяснениями было

какое-то противоречие, ты был бы прав и привратник действительно обманул бы этого человека. Но тут никакого противоречия нет. Напротив, первое объяснение уже ведет ко второму. Можно даже сказать, что привратник преступает свой долг тем, что подает этому человеку надежду на то, что впоследствии его туда впустят. А в то же время его единственной обязанностью было не впускать этого человека, и многие толкователи Закона всерьез удивляются, что привратник вообще допускает этот намек, так как он, по-видимому, любит точность и строго следует своим обязанностям. Многие годы он не покидал свой пост и только под конец запирает врата; он полон сознания важности своей службы и прямо говорит: «Могущество мое велико»; он уважает вышестоящих и прямо говорит: «Я только самый ничтожный из стражей»; он не болтлив, потому что за все эти годы задает только, как там сказано, «безучастные» вопросы; он неподкупен, потому что, принимая подарки, говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил», а там, где речь идет о его долге, ничто не может ни смягчить, ни ожесточить его: там прямо сказано, что этот человек «докучает привратнику своими просьбами», и, наконец, самое описание его внешности говорит о педантичном складе его характера: и острый горбатый нос, и длинная жидкая черная монгольская борода. Разве найдешь более преданного привратника? Но в привратнике проявляются и другие черты, весьма выгодные для того, кто требует пропуск, и если их понять, то поймешь также, почему он, намекая на какие-то будущие возможности, в какой-то мере превышает свои полномочия. Скрывать не приходится — он несколько скудоумен и в связи с этим слишком высокого мнения о себе. И если даже его слова о своем могуществе и о могуществе других привратников, чей вид ему и самому невыносим, — если, как я уже сказал, эти его слова сами по себе справедливы, то по

манере выражаться ясно видно, как его восприятие ограничено и скудоумием и самомнением. Толкователи говорят об этом так: «Правильное восприятие явления и неправильное толкование того же явления никогда полностью взаимно не исключаются». Однако надо признать, что скудоумие и самомнение, в какой бы малой степени они ни наличествовали, являются недостатками характера привратника, они ослабляют охрану врат. Надо еще добавить, что по природе этот привратник как будто дружелюбный человек, он вовсе не всегда держится как лицо официальное. В первую же минуту он шутики ради приглашает посетителя войти, хотя и намерен строго соблюдать запрет, да и потом не прогоняет его, а, как сказано, дает ему скамеечку и разрешает присесть в стороне у входа. И терпение, с которым он столько лет подряд выслушивает просьбы этого человека, и краткие расспросы, и прием подарков, и, наконец, то благородство, с каким он терпит, когда поселянин громко проклиная свою неудачу, зачем именно этого привратника поставили тут, — все это дает повод заключить, что в душе привратника шевелится сострадание. На его месте не всякий поступил бы так. И под конец он наклонился к этому человеку по одному его кивку, чтобы выслушать последний вопрос. И только в возгласе: «Ненасытный ты человек!» — прорывается легкое нетерпение; ведь привратник знает, что всему конец. А некоторые идут в толковании этого возгласа даже дальше, они считают, что слова «Ненасытный ты человек!» выражают своего рода дружеское восхищение, не лишнее, конечно, некоторой снисходительности. Во всяком случае, образ привратника встает совсем в другом свете, чем тебе представляется.

— Ты знаком с этой историей и лучше и дольше, чем я, — сказал К. Они помолчали. Потом К. сказал: — Значит, ты считаешь, что этого человека не обманули?

— Не толкуй мои слова превратно, — сказал священник, — я только изложил тебе существующие толкования. Но ты не должен слишком обращать на них внимания. Сам Свод законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, кого это приводит в отчаяние. Есть даже такое толкование, по которому обманутым является сам привратник.

— Ну, это очень отдаленное толкование, — сказал К. — На чем же оно основано?

— Основано о н о , — сказал священник, — на скудоумии привратника. О нем сказано, что он ничего не знает о недрах Закона и ему известна только та тропа перед воротами, по которой он должен ходить взад и вперед. Считается, что его представление о недрах Закона — сущее ребячество, и предполагают, что он сам боится того, чем пугает просителя. Больше того, его страх куда сильнее страха просителя — тот только и жаждет войти в недра Закона, даже услышав о страшных их стражах, а привратник и войти не хочет, по крайней мере об этом ничего не сказано. Правда, другие говорят, что он, видимо, уже побывал там, внутри, потому что принимали же его когда-то на службу в суд, а это могло произойти только в самих недрах. Но на это возражают, что его назначил привратником чей-то голос оттуда и что туда, в самые недра, он, конечно, не проникал, потому что уже один вид третьего стража внушал ему невыносимый страх. К тому же нигде не сказано, что за все эти годы он сообщил хоть что-нибудь о недрах Закона. Может быть, ему это запрещено, но и о запрещении он ни слова не говорит. Из всего этого можно заключить, что он сам не знает, ни того, что творится в недрах Закона, ни того, какой в этом смысл, и все время находится в заблуждении. Но выходит так, что он, по-видимому, заблуждается и насчет этого просителя, ибо привратник, сам того не ведая, подчинен просителю. То,

что он обращается с просителем, как с подчиненным, ясно видно во многом, и ты, наверно, помнишь, в чем именно. Но то, что в сущности подчиненным является привратник, тоже видно не менее ясно, как говорит другое толкование. Всегда свободный человек выше связанного. А проситель в сущности человек свободный, он может уйти, куда захочет, лишь вход в недра Закона ему воспрещается, причем запрет наложен единственно только этим привратником. И если он садится в сторонке на скамеечку у врат и просиживает там всю жизнь, то делает он это добровольно, и ни о каком принуждении притча не упоминает. Привратник же связан своей должностью с постом, он не может уйти с поста, но и в недра Закона он, при всем желании, войти не может. Кроме того, хоть он и служит Закону, но служба его ограничена только этим входом, то есть служит он только этому человеку, единственному, для кого предназначен вход. Выходит, что и по этой причине привратник подвластен просителю. Приходится предположить, что много лет — то есть в сущности все свои зрелые годы — он служил, так сказать, впустую, потому что в притче сказано, что к нему пришел мужчина, а под этим разумеется зрелый муж, и, значит, привратник был вынужден долго ждать, прежде чем ему будет дано выполнить свой долг, притом ждать именно столько, сколько угодно тому человеку, ибо тот пришел по своей воле, когда захотел. Да и кончается его служба только с окончанием жизни этого человека, значит, до самого конца привратник ему подвластен. И много раз в притче подтверждается, что, по всей видимости, привратнику об этом ничего не известно. Но толкователи не узрели тут ничего удивительного, потому что, согласно этому толкованию, привратник находится в еще более тяжком заблуждении, ибо оно касается его должности. Мы слышим, как в конце притчи он говорит: «Теперь я пойду и запру их», но в начале

сказано, что врата в Закон открыты, «как всегда», а если они всегда открыты — именно всегда, независимо от продолжительности жизни того человека, для которого они предназначены, — значит, и привратник закрыть их не может. Тут толкования расходятся: хочет ли привратник, сообщая о том, что он закроет врата, только дать ответ или подчеркнуть свои обязанности или же он стремится в последнюю минуту повергнуть просителя в горечь и раскаяние. Но многие сходятся на том, что закрыть врата он не сможет. Считается даже, что под конец он и в познании истины стоит ниже того человека, потому что тот видит неугасимый свет, что струится из врат Закона, а привратник, охраняя вход, очевидно, стоит спиной к вратам и ничем не выказывает, что заметил какие-либо изменения.

— Все это отлично обоснованно, — сказал К., негромко повторявший про себя отдельные места из разъяснений священника. — Обосновано все хорошо, и я тоже верю, что привратник заблуждается. Однако прежнее мое утверждение все же остается в силе, потому что оба толкования частично совпадают. Совершенно неважно, понимает ли привратник все до конца или введен в заблуждение. Я сказал, что введен в заблуждение проситель. Можно было бы усомниться в этом, если бы привратник все понимал до конца, но если и привратник обманут, то его заблуждения непременно передаются просителю. Тогда, конечно, сам привратник не является обманщиком, но, значит, он столь скудоумен, что его немедленно надо было бы выгнать со службы. Не упускай из виду, что заблуждение привратника самому ему никак не вредит, а просителю наносит непоправимый вред.

— Тут ты столкнешься с совершенно противоположным толкованием, — сказал священник. — Многие, например, считают, что эта притча никому не дает права судить

о привратнике. Каким бы он нам ни казался, он слуга Закона, а значит, причастен к Закону, значит, суду человеческого не подлежит. Но тогда нельзя и считать, что привратник подвластен просителю. Быть связанным с Законом хотя бы тем, что стоишь на страже у врат, неизмеримо важнее, чем жить на свете свободным. Тот человек только подходит к Закону, тогда как привратник уже стоит там. Закон определил его на службу, и усомниться в достоинствах привратника, значит усомниться в Законе.

— Нет, с этим мнением я никак не согласен, — сказал К. и покачал головой. — Если так думать, значит, надо принимать за правду все, что говорит привратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно.

— Нет, — сказал священник, — вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего.

— Печальный вывод! — сказал К. — Ложь возводится в систему.

К. сказал это, как бы подводя итог, но окончательного вывода не сделал. Слишком он устал, чтобы проследить все толкования этой притчи, да и ход мыслей, вызванный ею, был ему непривычен. Эти отвлеченные измышления скорее годилось обсуждать компании судейских чиновников, нежели ему. Простая притча стала расплывчатой, ему хотелось выбросить ее из головы, и священник проявил тут удивительный такт, молча приняв последнее замечание К., хотя оно явно противоречило его собственному мнению.

Молча шли они рядом. К. старался держаться как можно ближе к священнику, не понимая, где он находится. Лампа у него в руках давно погасла. Вдруг прямо против него серебряное изображение какого-то святого блеснуло

отсветам серебра и сразу слилось с темнотой. Не желая быть полностью зависимым от священника, К. спросил его:

— Мы, кажется, подходим к главному выходу?

— Нет, — сказал священник, — мы очень далеко от него. А разве ты уже хочешь уйти?

И хотя К. за минуту до того не думал об уходе, он сразу ответил:

— Конечно, мне необходимо уйти. Я служу прокурором в банке, меня ждут, я пришел сюда, только чтобы показать собор одному деловому знакомому, иностранцу.

— Ну что ж, — сказал священник и подал К. руку, — тогда иди.

— Да мне в темноте одному не выбраться, — сказал К.

— Иди к левой стороне, — сказал священник, — потом, не сворачивая, вдоль этой стены, и ты найдешь выход.

Священник уже отошел на несколько шагов, и тут К. крикнул ему очень громко:

— Подожди, прошу тебя!

— Я жду! — сказал священник.

— Тебе больше ничего от меня не нужно? — спросил К.

— Нет, — сказал священник.

— Но ты был так добр ко мне сначала, — сказал К., — все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет.

— Но ведь тебе нужно уйти? — сказал священник.

— Да, конечно, — сказал К. — Ты должен понять меня.

— Сначала ты должен понять, кто я такой, — сказал священник.



— Ты тюремный капеллан, — сказал К. и снова подошел к священнику; ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это изобразил, он вполне мог еще побыть тут.

— Значит, я тоже служу с у д у , — сказал священник. — Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя? Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.

**КОНЕЦ**



Накануне того дня, когда К. исполнился тридцать один год, — было около девяти вечера, и уличный шум уже стихал, — на квартиру к нему явились два господина в сюртуках, бледные, одутловатые, в цилиндрах, словно приросших к голове. После обычного обмена учтивостями у входной двери — кому войти первому — они еще более учтиво стали пропускать друг друга у двери комнаты К. Хотя его никто не предупредил о визите, он уже сидел у двери на стуле с таким видом, с каким обычно ждут гостей, весь в черном, и медленно натягивал новые черные перчатки, тесно облежавшие пальцы. Он сразу встал и с любопытством поглядел на господ.

— Значит, меня поручили вам? — спросил он.

Оба господина кивнули, и каждый повел рукой с цилиндром в сторону другого. К. признался себе, что ждал не таких посетителей. Он подошел к окну и еще раз посмотрел на темную улицу. На той стороне почти во всех окнах уже было темно, во многих спустили занавеси. В одном из освещенных окон верхнего этажа за решеткой играли маленькие дети, они тянулись друг к другу ручонками, еще не умея встать на ножки.

«Посылают за мной старых отставных актеров, — сказал себе К. и оглянулся, чтобы еще раз удостовериться в этом. — Дешево же они хотят от меня отделаться». К. вдруг обернулся к ним и спросил:

— В каком театре вы играете?

— В театре? — спросил один господин у другого, словно советуясь с ним, и уголки его губ дрогнули. Другой стал гримасничать, как немой, который пытается перебороть свою немощь. «Видно, они не подготовились к вопросам», — сказал К. про себя и пошел за своей шляпой.

Оба господина хотели взять К. под руки уже на лестнице, но он сказал:

— Нет, возьмете на улице, я же не больной.

Но у самых ворот они повисли на нем так, как еще ни разу в жизни никто не висел. Притиснув сзади плечо к его плечу и не сгибая локтей, каждый обвил рукой К. по всей длине и сжал его кисть заученной, привычной, непреодолимой хваткой. К. шел, выпрямившись между ними, и все трое так слились в одно целое, что, если бы ударить по одному из них, удар пришелся бы по всем трем. Такая слитность присуща, пожалуй, только неодушевленным предметам.

Под каждым фонарем К. пытался разглядеть своих спутников получше, чем можно было в полутьме его комнаты, хотя это было очень трудно при таком тесном соприкосновении. «Может быть, они теноры», — подумал он, разглядев их двойные подбородки. Ему были противны их лоснящиеся чистотой физиономии. Казалось, что буквально видишь руку, которая прочистила им углы глаз, вытерла верхнюю губу, выскребла складки на подбородке.

Разглядев их, К. остановился, и с ним остановились оба господина; они оказались на краю пустой, безлюдной, засаженной кустарником площади.

— Почему это послали именно вас? — крикнул К. скорее нетерпеливо, чем вопросительно. Те явно не знали, что ответить, и ждали, опустив свободную руку, как ждут санитары, когда больной останавливается передохнуть.

— Дальше я не пойду, — сказал К., нащупывая почву. На это им отвечать не понадобилось, они просто, не

ослабля хватки, попытались сдвинуть К. с места, но он не поддался. «Больше уж мне мои силы не понадобятся, нужно хоть сейчас напрячь их вовсю», — подумал К., и ему вспомнилось, как мухи отдираются от липкой бумаги и при этом отрывают себе ножки. «Да, этим господам придется туго».

И тут на маленькой лесенке, которая вела на площадь с улочки, лежавшей внизу, показалась фрейлейн Бюрстнер. К. был не совсем уверен, она ли это, хотя сходство было большое. Но для К. не имело никакого значения, была ли то фрейлейн Бюрстнер или нет, просто он вдруг осознал всю бессмысленность сопротивления. Ничего героического не будет в том, что он вдруг станет сопротивляться, доставит этим господам лишние хлопоты, попытается в самообороне ощутить напоследок хоть какую-то видимость жизни. Он двинулся с места, и радость, которую он этим доставил обоим господам, отчасти перешла и ему. Они дали ему возможность направлять их шаги, и он направил их в ту же сторону, куда шла перед ним фрейлейн Бюрстнер, но не потому, что хотел ее догнать, не потому, что хотел видеть ее подольше, а лишь для того, чтобы не забыть то предзнаменование, которое он в ней увидел. «Единственное, что мне остается сейчас сделать, — сказал он себе, и равномерный шаг его самого и его спутников как бы подкреплял эту мысль, — единственное, что я могу сейчас сделать, — это сохранить до конца ясность ума и суждения. Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямым? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, — начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен,

что на этом пути мне в спутники даны эти полунемые, бесчувственные люди и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно».

Между тем фрейлейн Бюрстнер уже свернула на боковую улицу, но К. мог теперь обойтись и без нее и отдался на волю своих провожатых. В полном согласии они перешли втроем мост, освещенный луной; оба господина беспрекословно следовали самому малейшему движению К., и, когда он повернулся к перилам, оба всем телом повернулись за ним. Вода, переливаясь и дрожа в лунном свете, струилась вокруг маленького острова, где, словно теснясь друг к другу, густо росли кусты и деревья. Дорожки, усыпанные гравием — сейчас их не было видно, — вели к удобным скамейкам, где К. летом часто отдыхал, позевывая и потягиваясь всем телом.

— А я вовсе и не хотел тут останавливаться, — сказал К. своим спутникам, пристыженный их беспрекословной готовностью.

К. показалось, что за его спиной один мягко упрекнул другого в недогадливости, и они двинулись дальше.

Улицы пошли в гору, кое-где им навстречу попадались полицейские, стоявшие на посту или расхаживавшие по мостовой; они проходили то в отдалении, то совсем близко. Один из них, с пышными усами, держа руку на эфесе сабли, словно нарочно подошел вплотную к этой несколько подозрительной группе. Оба господина остановились, полицейский открыл было рот, но тут К. рывком потянул их обоих вперед. На ходу К. то и дело осторожно озирался, чтобы увидеть, не пошел ли полицейский за ними; а когда они завернули от него за угол, К. побежал, и его спутникам пришлось, несмотря на одышку, бежать вместе с ним.

Вскоре они оказались за городом, где сразу, почти без перехода, начинались поля. Небольшая каменоломня, за-

брошенная и пустая, лежала у зданий еще совершенно городского вида. Здесь оба господина остановились: то ли они наметили это место заранее, то ли слишком устали, чтобы бежать дальше. Они отпустили К., молча ожидавшего, что же будет, сняли цилиндры и, оглядывая каменоломню, отерли носовыми платками пот со лба. На всем лежало лунное сияние в том естественном спокойствии, какое ни одному другому свету не присуще.

После обмена вежливыми репликами о том, кому выполнять следующую часть задания, — очевидно, обязанности этих господ точно распределены не были, — один из них подошел к К. и снял с него пиджак, жилетку и, наконец, рубаху. К. невольно вздрогнул от озноба, и господин ободряюще похлопал его по спине. Потом он аккуратно сложил вещи, как будто ими придется воспользоваться, — правда, не в ближайшее время. Чтобы К. не стоял неподвижно в ощутимой ночной прохладе, он взял его под руку и стал ходить с ним взад и вперед, пока второй господин искал в каменоломне подходящее место. Найдя его, тот помахал им рукой, и первый господин подвел К. туда. У самого шурфа лежал отколотый камень. Оба господина посадили К. на землю, прислонили к стене и уложили головой на камень. Но несмотря на все их усилия, несмотря на то, что К. старался как-то им содействовать, его поза оставалась напряженной и неестественной. Поэтому первый господин попросил второго дать ему одному попробовать уложить К. поудобнее, но и это не помогло. В конце концов они оставили К. лежать, как он лег, хотя с первого раза им удалось уложить его лучше, чем теперь. Потом первый господин растянул сюртук и вынул из ножен, висевших на пояском ремне поверх жилетки, длинный, тонкий, обоюдоострый нож мясника и, подняв его, проверил на свету, хорошо ли он отточен. Снова начался отвратительный обмен учтивостями: первый подал нож

второму через голову К., второй вернул его первому тоже через голову К. И К. внезапно понял, что он должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его головой, и вонзить его в себя. Но он этого не сделал, только повернул еще не тронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы. Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каменоломне. И как вспыхивает свет, так вдруг распахнулось окно там, наверху, и человек, казавшийся издали, в высоте, слабым и тонким, порывисто наклонился далеко вперед и протянул руки еще дальше. Кто это был? Друг? Просто добрый человек? Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Может быть, все хотели помочь? Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно, такие аргументы существовали, и хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.

Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.

— Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его.



НОВЕЛЫ  
И  
ПРИМЫ





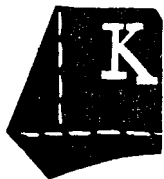


## ПРОГУЛКА В ГОРЫ



**Н**е знаю, — воскликнул я беззвучно, — я же не знаю. Раз никто не идет, так никто и не идет. Я никому не сделал зла, мне никто не сделал зла, но помочь мне никто не хочет. Никто, никто. Ну и подумаешь. Только вот никто не поможет мне, а то эти Никто-Никто были бы даже очень приятны. Я бы очень охотно — почему нет? — совершил прогулку в компании таких Никто-Никто. Разумеется, в горы, куда же еще? Сколько их, и все они прижимаются друг к другу, сколько рук, и все они переплелись, схватились вместе, сколько ног, и все они топчутся вплотную одна к другой. Само собой, все во фраках. Вот так мы и идем. Ветер пробирается всюду, где только между нами осталась щелочка. В горах дышится так свободно! Удивительно еще, что мы не поем.

## ПЛАТЬЯ



**К**огда я вижу на красивых девушках красивые платья, с пышными складками, рюшами и всяческой отделкой, мне часто приходит на ум, что платья не долго сохранят свой вид: складки сомнутся и их уже не разгладить, отделка запылится и ее уже не очистить, и ни одна женщина

не захочет изо дня в день с утра до вечера носить то же самое роскошное платье, ибо она побоится показаться жалкой и смешной.

Однако я вижу красивых девушек с хрупкими изящными фигурками, с очаровательными личиками, гладкой кожей и пышными волосами, которые изо дня в день появляются в той же самой данной им от природы маске и, подперев то же самое личико теми же самыми ладонями, любуются на свое отражение в зеркале.

Только иногда, когда они поздно вечером вернутся с бала и взглянут в зеркало, им вдруг покажется, что на них смотрит потрепанное, одутловатое, запыленное лицо, всеми уже виденное и перевиденное и порядком поизносившееся.

## ДЕРЕВЬЯ



бо мы как срубленные деревья зимой. Кажется, что они просто скатились на снег, слегка толкнуть — и можно сдвинуть их с места. Нет, сдвинуть их нельзя — они крепко примерзли к земле. Но, поди ж ты, и это только кажется.

## РАЗОБЛАЧЕННЫЙ ПРОХОДИМЕЦ



аконец-то, часам к десяти, мы с моим спутником — я был с ним едва знаком, но он и сегодня будто невзначай за мной увязался и добрых два часа таскал меня по улицам — подошли к господскому дому, куда я был приглашен провести вечер.

— Ну вот, — сказал я, хлопнув в ладоши в знак того, что мне окончательно пора уходить. Я и до этого делал попытки с ним расстаться, но не такие решительные. Он меня ужасно утомил.

— Торопитесь наверх? — спросил он. Из рта у него послышался странный звук, будто лязгнули зубы.

— Да! Тороплюсь!

Я был зван в гости, о чем сразу же предупредил, и мне следовало давно уже быть наверху, где меня ждали, а не стоять у ворот, глядя куда-то вбок, мимо ушей моего случайного спутника. А тут мы еще замолчали, словно расположились здесь надолго. Нашему молчанию вторили обступившие нас дома и темнота на всем пространстве от крыш до самых звезд. И только шаги невидимых прохожих, чьи пути-дороги были мне безразличны, и ветер, прижимавшийся к противоположной стороне улицы, и граммофон, надрывавшийся за чьими-то запертыми окнами, распоряжались этой тишиной, словно они от века и навек ее полновластные хозяева.

Мой провожатый покорился неизбежности и с улыбкой, говорившей о сожалении — как его, так и якобы моем, — вытянул руку вдоль каменной ограды и, закрыв глаза, прислонился к ней головой.

Но я не стал провожать его улыбку взглядом — внезапный стыд заставил меня отвернуться. Только по улыбке догадался я, что передо мной самый обыкновенный проходимец из тех, что обманывают простаков. А ведь я не первый месяц в городе, мне ли не знать эту братию! Я не раз наблюдал, как такой пройдоха вечерами показывается из-за угла, гостеприимно простирая руки, словно трактирщик; как он толчется у афишной тумбы, перед которой вы стали, будто играет в прятки, но уж непременно хоть одним глазком подглядывает за вами; как на перекрестках, где вы невольно теряетесь, он выскакивает точно

из-под земли и ждет вас на самом краю тротуара. Уж я-то вижу их насквозь, ведь это были мои первые городские знакомые, встреченные в захудалых харчевнях, и это им я обязан первыми уроками той неуступчивости, которая, как я успел убедиться, присуща всему на земле, так что я уже ощущаю ее и в самом себе. Такой субъект станет против вас и не сдвинется с места, хоть вы давно от него ускользнули и некого больше обманывать. Он не сядет, не ляжет и не упадет наземь, а все будет паяться на вас, стараясь обмануть и на расстоянии! И у всех у них одни и те же приемы: станут поперек дороги, стараясь отвлечь вас от вашей цели, предлагая взамен для постоа собственную грудь; а когда вы наконец придете в ярость, бросятся к вам с распахнутыми объятиями.

И эти-то надоевшие фокусы я лишь сегодня распознал, до одури навозившись с тем субъектом. Я изо всех сил тер себе кончики пальцев, стараясь стряхнуть этот позор.

А субъект все стоял, прислонясь к стене, по-прежнему полагая себя пройдохой, и довольство собой румянило его щеки.

— Вы разгаданы! — крикнул я и даже легонько хлопнул его по плечу.

А потом взбежал по лестнице, и беспричинно преданные лица слуг в прихожей были для меня приятной неожиданностью. Я смотрел на одного, на другого, пока они снимали с меня пальто и обмахивали мне штiblеты. А потом вздохнул с облегчением и, выпрямившись во весь рост, вошел в гостиную.



Возможно, и есть такие, в которых я возбуждаю чувство жалости, но я этого не ощущаю. Моя небольшая торговая контора требует от меня столько забот, что голова трещит, а особых перспектив я не вижу, ведь дело-то у меня очень небольшое. Я уже заранее должен обо всем распорядиться, следить, чтобы приказчик ничего не забыл, предостеречь его от возможных ошибок и каждый сезон учить моды следующего, и не то, что будут носить в моем кругу, а то, что понравится далекому провинциальному покупателю.

Мои деньги в чужих руках; обстоятельства этих людей мне неизвестны; я не могу предвидеть, какая беда на них обрушится; как же я могу ее предотвратить? Что, если одних обуял дух расточительства и они кутят где-нибудь в ресторане, а другие не сегодня-завтра сбегут в Америку, а пока кутят вместе с ними?

Когда наконец вечером, после рабочего дня, я запираю свою контору и мне вдруг становится ясно, что в течение нескольких часов я не буду трудиться на пользу своего дела, требующего от меня непрерывных хлопот, вот тут-то ко мне возвращается, словно отхлынувшая обратно волна, остаток той энергии, которой я зарядился с утра; меня распирает от этой ни на что не направленной энергии, она рвется наружу и увлекает меня за собой.

Однако я не могу воспользоваться таким своим настроением; все, что я могу сделать, — это пойти домой, потому что лицо и руки у меня грязные и потные, костюм в пятнах и пыли, на голове рабочая кепка, а на ногах башмаки, исцарапанные гвоздями от ящиков. Я несусь,

как на волнах, прищелкиваю пальцами то одной, то другой руки, глажу по головке встречных детишек.

Но идти мне недалеко. Я уже дома, открываю дверцу лифта и вхожу в кабину.

И вижу, что я вдруг совершенно один. Другие, которым приходится подыматься пешком, утомляются и не могут отдышаться, дожидаясь, пока им отворят дверь, у них есть повод для недовольства и раздражения, они входят в переднюю, вешают шляпу, идут по коридору мимо нескольких застекленных дверей к себе в комнату и только там оказываются одни.

А я уже сейчас в лифте один и смотрю, опершись на колени, в узенькое зеркало. Когда лифт начинает подыматься, я говорю:

«Успокойтесь, отойдите, куда вам хочется, под сень деревьев, за оконные портьеры, в зелень беседок!»

Я говорю с озлоблением. А за матовыми стеклами кабины скользят вниз лестничные перила, словно течет быстрая река.

«Летите прочь; пусть ваши крылья, которых я ни разу не видел, унесут вас в деревню или в Париж, если уж вас так тянет туда.

Но посмотрите в окно, когда со всех трех улиц на площадь вливаются демонстрации, не уступая друг другу дороги, перепутываясь, а за их последними рядами уже снова возникает пустая площадь. Машите платками, возмущайтесь, умиляйтесь, славьте нарядную даму, проезжающую мимо.

Перейдите по деревянному мостику через речушку, улыбнитесь купающимся детям, порадитесь громовому ура тысячи матросов на дальнем крейсере.

Пойдите следом за незаметным прохожим и, затащив в подворотню, ограбьте его, а потом, засунув руки в кар-

маны, поглядите, каждый, как он печально побредет дальше и свернет за угол.

Скачущие врасыпную полицейские осаживают коней и оттесняют вас. Ну и пусть, безлюдные улицы портят им настроение. Вот, пожалуйста, они уже едут обратно по двое в ряд, шагом огибают угол улицы, вскачь несутся через площадь».

Пора выходить. Я спускаю лифт, звоню, горничная открывает дверь, и я здороваюсь с ней.

## ДЕТИ НА ДОРОГЕ



Я слышал, как за садовой решеткой тархтели телеги, а порой и видел их в слабо колышущиеся просветы листвы. Как звонко потрескивали этим знойным летом их деревянные спицы и дышла! Работники возвращались с полей, они так гоготали, что мне неловко было слушать.

Я сидел на маленьких качелях, отдыхая под деревьями в саду моих родителей.

А за решеткой не унималась жизнь. Дети пробежали мимо и вмиг исчезли; груженные доверху возы с мужчинами и женщинами — кто наверху на снопах, кто сбоку на грядках — отбрасывали тени на цветочные клумбы; а ближе к вечеру я увидел прохаживающегося мужчину с палкой; несколько девушек, гулявших под руку, поклонились ему и почтительно отступили на поросшую травой обочину.

А потом в воздух взлетела, словно брызнула, стайка птиц; провожая их глазами, я видел, как они мгновенно взмыли в небо, и мне уже казалось, что не птицы поднимаются ввысь, а я проваливаюсь вниз. От овладевшей



мной слабости я крепко ухватился за веревки и стал покачиваться. Но вот повеяло прохладой, и в небе замигали звезды вместо птиц — я уже раскачивался вовсю.

Ужинаю я при свече. От усталости кладу локти на стол и вяло жую свой бутерброд. Теплый ветер раздувает сквозные занавеси, иногда кто-нибудь, проходя за окном, придерживает их, чтобы лучше меня увидеть и что-то сказать. А тут и свеча гаснет, и в тусклой дымке чадающего фитилька еще некоторое время кружат налетевшие мошки. Если кто-нибудь за окном обращается ко мне с вопросом, я гляжу на него, как глядят на далекие горы или в пустоту, да и мой ответ вряд ли его интересует.

Но если кто взлезает в окно и говорит, что все в сборе перед домом, тут уж я со вздохом встаю из-за стола.

— Что ты вздыхаешь? Что случилось? Непоправимая беда? Безысходное горе? Неужто все пропало?

Ничего не пропало. Мы выбегаем из дому.

— Слава богу! Наконец-то!

— Вечно ты опаздываешь!

— Я опаздываю?

— А то нет?

— Сидел бы дома, раз неохота с нами!

— Значит, пощады не будет?

— Какой пощады? Что ты мелешь?

Мы ныряем в вечерний сумрак. Для нас не существует ни дня, ни ночи. Мы то налетаем друг на друга, и пуговицы наших жилеток скрежещут, как зубы, то мчимся вереницей, держась на равном расстоянии, и дышим огнем, словно звери в джунглях. Будто кирасиры в былых войнах, мы, звонко цокая и высоко поднимая ноги, скачем по улице и с разбегу вырываемся на дорогу. Несколько мальчигов спустились в канаву и, едва исчезнув

в тени откоса, уже выстроились, точно чужие, на верхней тропе и оттуда глядят на нас.

— Эй, вы, спускайтесь!

— Нет уж, давайте вы сюда!

— Это чтобы нас сбросили под откос? И не подумайте! Нашли дураков!

— Скажи уж прямо, что боишься! Смелей!

— Бояться? Вас? Много на себя берете! И не с такими справлялись!

Мы кидаемся в атаку, но, встретив сильный отпор, падаем или скатываемся в травянистую канаву. Здесь все равномерно прогрето дневным зноем, мы не чувствуем в траве ни тепла, ни холода, а только безмерную усталость.

Стоит повернуться на правый бок и подложить кулак под голову, и тебя смаривает сон. Но ты еще раз пытаешься встряхнуться, вытягиваешь шею и вздергиваешь подбородок — чтобы провалиться в еще более глубокую яму. Потом выбрасываешь руки и слабо взбрыкиваешь ногами, словно готовясь вскочить, — и проваливаешься еще глубже... И кажется, этой игре конца не будет.

Но вот ты уже в самой глубокой яме, тут бы и уснуть по-настоящему, растянуться во всю длину, а главное выпрямить ноги в коленях, — но сна как не бывало; ты лежишь на спине, точно больной, сдерживая подступающие слезы, и только помаргиваешь, когда кто из ребят, прижав локти к бокам, прыгает с откоса на дорогу и его черные подошвы мелькают над тобой в воздухе.

Луна забралась выше; облитая ее сиянием, проехала почтовая карета. Сорвался легкий ветерок, он пробирает и в канаве; где-то невдалеке зашумел лес. Одиночество уже не доставляет удовольствия.

— Эй, где вы?

— Сюда! Сюда!

- Собирайтесь все вместе!
- Что ты прячешься, что за дурацкая фантазия?
- Разве вы не слышали, почта проехала!
- Как, уже проехала?
- Ну ясно! Когда она проезжала, ты видел третий сон!
- Это я спал? Будет врать!
- Лучше ты помалкивай. Ведь и по лицу видно!
- Что пристал?
- Пошли!

Мы бежим гурьбой, кое-кто держится за руки, приходится закидывать голову как можно выше, так как дорога идет под уклон. Кто-то испустил боевой клич индейцев, ноги сами несут нас в бешеном галопе, ветер подхватывает на каждом прыжке. Ничто не может нас удержать. Мы так разбежались, что, обгоняя друг друга, складываем руки на груди и спокойно озираемся по сторонам.

Останавливаемся мы перед мостиком, переброшенным через бурный ручей; те, кто убежал вперед, вернулись. Вода, омывающая корни и камни, бурлит, точно днем, не верится, что уже поздний вечер. Кое-кому не терпится залезть на перила мостика.

Из-за кустарников в отдалении вынырнул поезд, все купе освещены, окна приспущены. Кто-то затянул веселую песенку — тут и каждому захочется петь. Мы поем куда быстрее, чем идет поезд, и так как голоса не хватает, помогаем себе руками. Наши голоса звучат вразнобой, и нам это нравится. Когда твой голос сливается с другими, кажется, будто тебя поймали на крючок.

Так мы поем, спиной к лесу, лицом к далеким пассажирам. Взрослые в деревне еще не ложились, матери стелят на ночь.

Пора и по домам. Я целую стоящего рядом, пожимаю две-три ближайших руки и стремглав бегу назад, пока

никто меня не окликнул. На первом же перекрестке, где меня уже никто не увидит, поворачиваю и тропками пускаюсь обратно к лесу. Меня тянет город к югу от нас, о котором в деревне не перестают судачить.

— И люди же там! Представьте, никогда не спят!

— А почему не спят?

— Они не устают!

— А почему не устают?

— Потому что дураки.

— Разве дураки не устают?

— А с чего дуракам уставать?

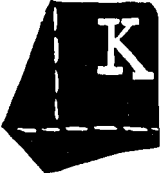
## ПРОХОДЯЩИЕ МИМО



сли гуляешь ночью по улице и навстречу бежит человек, видный уже издали — ведь улица идет в гору и на небе полная луна, — ты не удержишь его, даже если он тщедушный оборванец, даже если кто-то гонится за ним и кричит; нет, пусть бежит, куда бежал.

Ведь сейчас ночь, и ты ни при чем, что светит луна, а улица идет в гору, а потом, может быть, они для собственного удовольствия гоняются друг за другом, может быть, они оба преследуют третьего, может быть, первый ни в чем не виноват и его преследуют понапрасну, может быть, второй хочет убить его и ты будешь соучастником убийства, может быть, они ничего не знают друг о друге и каждый сам по себе спешит домой, может быть, это лунатики, может быть, первый вооружен.

Да, наконец, разве не может быть, что ты устал, что ты выпил излишне много вина? И ты рад, что уже и второй скрылся из виду.



Когда мне стало совсем уж неважно — это случилось в ноябрьские сумерки — и я, как по беговой дорожке, бегал по ковровой дорожке у себя в комнате туда и обратно, туда и обратно и, увидя в окно освещенную улицу, пугался, поворачивал назад и обретал в глубине зеркала на другом конце комнаты новую цель и кричал только для того, чтобы услышать крик, хоть и знал, что на него ничто не откликнется и ничто его не ослабит, что он возникнет и ничто его не удержит и он не кончится, даже когда замолкнет, — и тут вдруг прямо в стене открылась дверь, открылась очень поспешно, потому что надо было спешить, и даже извозничьи лошади на улице, заржав, взвились на дыбы, как обезумевшие в бою кони.

Из совсем темного коридора, в котором еще не зажигали лампы, возник, словно маленькое привидение, ребенок и встал на цыпочки на чуть заметно качающейся половине. Сумеречный свет в комнате ослепил его, он уже хотел закрыть лицо руками, но неожиданно успокоился, взглянув на окно, за которым темнота поборола наконец высоко поднимающую светлую дымку от уличных фонарей. Касаясь правым локтем стены, ребенок стоял в открытой двери на сквозняке, и ветер овеивал его ноги, шею, виски.

Я покосился на него, потом оказал: «Добрый день» — и взял с экрана перед печкой пиджак, потому что не хотел стоять здесь так, полуодетым. На миг я открыл рот, чтобы выдохнуть волнение. Во рту был плохой вкус, у меня дрожали ресницы, короче говоря, недоставало только этого давно, впрочем, предвиденного посещения.

Ребенок все еще стоял у стены, на том же месте, он касался правой ладонью стены и, раздумываясь от удовольствия, тер кончиками пальцев шершавую оштукатуренную стену. Я спросил:

— Вы действительно пришли ко мне? Это не ошибка? В таком большом доме ошибка всегда возможна. Я такой-то, живу на четвертом этаже. Так как же, вы хотите видеть именно меня?

— Спокойно, спокойно, — небрежно сказал ребенок, — все правильно.

— Тогда входите в комнату, я хотел бы закрыть дверь.

— Я уже закрыл дверь. Не утруждайте себя. Вообще успокойтесь.

— Какой же это труд? Но в коридоре много жильцов, и я, разумеется, со всеми знаком; большинство сейчас как раз возвращается со службы; если они услышат в комнате разговор, они просто сочтут себя вправе открыть дверь и посмотреть, что здесь происходит. Тут ничего не поделаешь. Трудовой день кончился; они на время свободны, не станут же они со мной считаться! Да вы и сами это знаете. Дайте я закрою дверь.

— Ну и что же? Что это вы, право? По мне, пусть хоть весь дом приходит. А потом, повторяю: я уже закрыл дверь; вы думаете, только вы умеете закрывать дверь? Я даже запер ее на ключ.

— Тогда все в порядке. Больше мне ничего не требуется. На ключ можно было даже не запирать. А теперь, раз уж вы пришли, располагайтесь поудобнее. Вы мой гость. Меня бояться вам нечего. Не стесняйтесь, будьте как дома. Я не собираюсь ни задерживать вас, ни прогонять. Неужели мне надо это говорить? Что вы, меня не знаете?

— Да, вам действительно не надо было это говорить. Больше того, вы не должны были это говорить. Я еще ребенок; к чему столько церемоний?

— Что вы, помилуйте. Разумеется, вы еще ребенок. Но не такой уж маленький. Вы уже подросток. Если бы вы были девочкой, вам бы не следовало так вот просто взять и запереться со мной в комнате.

— Об этом не стоит беспокоиться. Я только хотел сказать: то, что я вас хорошо знаю, для меня не такая уж гарантия, это только избавляет вас от труда лгать мне. К чему эти церемонии! Бросьте, бросьте, пожалуйста. К тому же я вас не так хорошо знаю, я не во всем и не всегда в вас разбираюсь, особенно в такой темноте. Хорошо бы зажечь свет. Нет, лучше не надо. Во всяком случае, я запомню, что вы мне угрожали.

— Что? Я угрожал вам? Но помилуйте, я так рад, что вы наконец пришли. Я сказал «наконец», потому что уже поздно. Мне непонятно, почему вы пришли так поздно. Возможно, что я обрадовался и в волнении наговорил всякой всячины, а вы меня не так поняли. Охотно допускаю, что наговорил всякой всячины и даже, если хотите, угрожал вам. Только, ради бога, не надо ссориться! Но как вы могли этому поверить? Как могли вы меня так обидеть? Почему вы хотите во что бы то ни стало испортить те короткие минуты, что вы здесь? Посторонний и тот бы постарался быть внимательнее, подойти к человеку ближе.

— Охотно верю; подумаешь, открытие! Я по самой своей природе ближе вам, чем любой посторонний, как бы он ни старался. Это вы тоже знаете, к чему же тогда такие жалобы? Скажите лучше, что это кривлянье, и я сейчас же уйду.

— Вот как! Однако наглости у вас хватает! Вы слишком осмелели. В конце концов, вы все же в моей комнате

и, как сумасшедший, трете пальцы о мою стену. Это моя комната, моя стена! И, кроме того, все, что вы говорите, не только дерзко, но и смешно. Вы говорите, что по самой своей природе вынуждены так со мной разговаривать. Это правда? Вынуждены по самой своей природе? Очень мило со стороны вашей природы. Ваша природа — это моя природа, и если я по своей природе любезен с вами, то и вы тоже обязаны быть любезны.

— А вы любезны?

— Я был любезен.

— Почему вы знаете, может, и я еще буду любезен.

— Ничего я не знаю.

И я подошел к ночному столику и зажег стоявшую на нем свечу. В ту пору у меня в комнате не было ни газового, ни электрического освещения. Я посидел еще некоторое время за столом, пока мне это не надоело, затем надел пальто, взял с дивана шляпу и задул свечу. Выходя, я задел за ножку кресла.

На лестнице я встретился с жильцом с моего этажа.

— Опять уходите из дому, вот бездельник! — сказал он, шагнув через две ступеньки и остановившись.

— А что прикажете делать? — ответил я. — Сейчас у меня в комнате было привидение.

— Вы говорите таким недовольным тоном, словно вам в супе попался волос.

— Шутить изволите. Но заметьте, привидение — это привидение.

— Истинная правда. А что, если вообще не веришь в привидения?

— А я, по-вашему, верю в привидения? Но что толку от моего неверия?

— Очень просто. Попробуйте преодолеть страх, когда к вам в самом деле пожалует привидение.



— Да, но суть не в этом страхе. Настоящий страх — это страх перед причиной явления. А этот страх остается. Он меня мучает. — Я нервничал и от волнения рылся во всех карманах.

— Но раз вы не боитесь самого привидения, почему вы его не спросили о причине его появления?

— Очевидно, вы еще ни разу не говорили с привидениями. Разве от них дождешься вразумительного ответа! Все только вокруг да около. Впечатление такое, будто они больше нас сомневаются в своем существовании, что, впрочем, не так уж удивительно при их хилости.

— А знаете, я слышал, что их можно откормить.

— Вы хорошо осведомлены. Можно. Но кому охота?

— А почему же? Если это, например, привидение женского пола, — сказал он и шагнул на верхнюю ступеньку.

— Ах, так, но даже и в таком случае не с т о и т, — сказал я.

Я опомнился. Сосед поднялся уже выше, и, чтобы увидеть меня, ему пришлось наклониться вперед и вытянуть шею.

— Но все ж е , — крикнул я, — если вы попробуете, придя наверх, забрать себе мое привидение, тогда между нами все кончено раз и навсегда.

— Да я ведь просто пошутил, — сказал он и втянул голову.

— В таком случае все в порядке, — сказал я. Теперь я, собственно, мог спокойно отправиться на прогулку. Но я чувствовал себя таким одиноким и потому предпочел подняться наверх и лечь спать.



Было чудесное весеннее воскресное утро. Георг Бендемман, молодой коммерсант, сидел у себя в кабинете на первом этаже невысокого домика на берегу реки, вдоль которой вытянулся целый ряд домиков того же типа, отличающихся один от другого, пожалуй, только окраской и высотой. Он как раз кончил письмо к другу молодости, живущему за границей, потом с нарочитой медлительностью вложил его в конверт и, облокотясь на письменный стол, стал смотреть в окно на реку, мост и начинающие зеленеть холмы на том берегу.

Он думал о том, что этот друг, недовольный тем, как у него шли дела на родине, несколько лет тому назад форменным образом сбежал в Россию. Теперь у него было торговое дело в Петербурге, которое вначале пошло очень хорошо, но за последние годы, как будто, разладилось, на что в каждый из своих приездов, от раза к разу все более редких, жаловался друг. Так он и трудился на чужбине без большой для себя выгоды; знакомое с детства лицо, нездоровая желтизна которого наводила на мысль о развивающейся болезни, осталось все тем же, несмотря на чужеземную бороду. По его словам, у него не установилось близких отношений с тамошней колонией его земляков, но и в русские семьи он был не очень-то вхож и, таким образом, обрек себя на холостяцкую жизнь.

Что можно написать такому явно зашедшему в тупик человеку? Ему можно посочувствовать, но помочь нельзя. Не посоветовать ли ему вернуться домой, продолжать свое существование здесь, возобновить старые связи — ведь этому никто не мешает, — а в остальном положиться на помощь друзей? Но ведь это же значит сказать ему —

и чем мягче это будет сделано, тем болезненнее он это воспримет, — что до сих пор его старания не увенчались успехом, что ему надо отказаться от своей затеи и ехать домой, где на него будут указывать пальцем, как на неудачника, вернувшегося на родину, это значит сказать ему, что его друзья, никуда не уезжавшие и преуспевающие дома, — люди деловые, а он большой ребенок и ему остается одно: во всем следовать их советам. Да при том еще разве можно быть уверенным, что не зря причинишь ему столько мучений? Возможно, что вообще не удастся убедить его вернуться домой — ведь он сам говорил, что уже отвык от здешних условий, — и тогда он вопреки здравому смыслу останется на чужбине, уговоры его только озлобят, и он еще дальше отойдет от прежних друзей. Если же он все-таки последует советам, а потом будет чувствовать себя здесь униженным — разумеется, не по вине людей, а по вине обстоятельств, — если он не сойдется с прежними друзьями, а без них не станет на ноги, если он будет стесняться и стыдиться своего положения и почувствует, что теперь у него действительно нет больше родины и друзей, не лучше ли тогда для него остаться на чужой стороне, как бы туго ему там ни жилось? Можно ли в таком случае предполагать, что он здесь поправит свои дела?

По этим соображениям не следует сообщать ему, если вообще продолжать с ним переписку, о себе то, что без всяких опасений напишешь просто знакомому. Друг уже больше трех лет не был на родине и давал этому весьма неубедительное объяснение — в России-де очень неопределенное политическое положение, мелкому коммерсанту нельзя отлучаться даже на самый короткий срок. А между тем сотни тысяч русских спокойно разъезжают по всему свету. А ведь именно за эти три года произошли большие перемены в жизни самого Георга. О кончине

матери, случившейся около двух лет тому назад, и о том, что с тех пор он, Георг, и его старый отец ведут сообща хозяйство, друг его, правда, еще успел узнать и выразил в письме свое соболезнование, но весьма сухо, причина чего, вероятно, крылась в том, что на чужбине невозможно себе представить всю горечь такой утраты. С тех пор он, Георг, гораздо энергичнее взялся за свое торговое дело, как, впрочем, и за все остальное. Возможно, что при жизни матери отец не давал ему развернуться, так как в делах признавал только собственный авторитет, возможно, что после смерти матери отец хоть и продолжал работать, но стал менее деятелен, возможно — и даже так оно, по всей вероятности, и было, — значительно более важную роль здесь сыграло счастливое стечение обстоятельств, — так или иначе, но за эти два года фирма Бендман процвела так, как и ожидать нельзя было, пришлось взять вдвое больше служащих, торговый оборот увеличился в пять раз, можно было не сомневаться и в дальнейшем преуспевании.

Но друг ничего не знал о такой перемене. Раньше — последний раз как будто в том письме, в котором он выражал свое соболезнование, — он всячески уговаривал Георга перебраться в Россию и пространно писал о тех перспективах, которые сулит Петербург именно для его, Георга, рода торговли. Цифры, которые называл друг, были совсем незначительны в сравнении с тем размахом, который приобрело торговое дело Георга. Но Георгу не хотелось писать другу о своих успехах в коммерции, а если бы он это сделал теперь, задним числом, это действительно могло бы произвести странное впечатление.

И поэтому Георг обычно ограничивался тем, что сообщал другу о всяких пустяках, которые приходят в голову, когда в воскресенье сидишь и не спеша вспоминаешь вперемешку все, что угодно. Ему хотелось одного —

не нарушить того представления, которое за долгий период отсутствия сложилось у его друга о родном городе и которым тот удовлетворился. Вот так оно и получилось, что Георг в трех письмах, разделенных довольно большими промежутками, сообщил другу о помолвке достаточно безразличного им обоим человека с не менее безразличной им девушкой, так что в конце концов даже заинтересовал друга этим событием, хотя это совсем не входило в намерения Георга.

Но Георгу было приятнее писать ему о таких делах, чем сообщить, что месяц тому назад он сам обручился с фрейлейн Фридой Бранденфельд — девушкой из состоятельной семьи. Он часто говорил с невестой о своем друге и о той особой позиции, которую занял в переписке с ним.

— Значит, он не будет у нас на свадьбе? — спросила она. — Но ведь я могу претендовать на знакомство со всеми твоими друзьями.

— Я не хочу беспокоить его, — ответил Георг. — Постарайся понять меня: он, конечно, приехал бы, по крайней мере я так полагаю, но он стеснялся бы и чувствовал бы себя несчастным, возможно, он позавидовал бы мне и уж, конечно, был бы недоволен — и не мог бы побороть свое недовольство — тем, что возвращается один. Один — ты понимаешь, что это значит?

— Но разве он не может узнать о нашей свадьбе стороной?

— Этому я, конечно, помешать не могу, но при том образе жизни, который он ведет, это маловероятно.

— Если твои друзья таковы, то тебе, Георг, вообще не следовало бы жениться.

— Ну, тут мы с тобой оба виноваты. Но я не жалеюсь.

И она, прерывисто дыша под его поцелуями, сказала:

— А мне все же обидно.

Он подумал, что и вправду не так уж страшно написать другу обо всем. «Я таков, и пусть берет меня таким, как я есть, — решил он. — Не могу же я переделать себя в угоду нашей дружбе».

И в длинном письме, которое он написал этим воскресным утром, он действительно сообщил ему о своей помолвке в следующих словах: «Самую приятную новость я приберег к концу. Я обручился с фрейлейн Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи, переехавшей в наш город несколько лет спустя после твоего отъезда, так что ты вряд ли ее знаешь. При случае я напишу тебе подробнее о моей невесте, а сегодня достаточно будет сказать, что я очень счастлив и что наши с тобой отношения изменились только в одном — до сих пор у тебя был просто друг, а теперь у тебя будет очень счастливый друг. Кроме того, в моей невесте, которая скоро сама тебе напишет, а пока просит передать сердечный привет, ты найдешь искреннего друга, что для холостяка не такое уж малое приобретение. Я знаю, обстоятельства таковы, что удерживают тебя от приезда к нам, но разве моя свадьба не достаточное основание, чтобы пренебречь всеми препятствиями? Как бы там ни было, считайся только с собой и действуй по своему усмотрению».

Георг долго сидел за письменным столом, глядя в окно и вертя письмо в руке. На поклон знакомого, который проходил мимо по улице, он ответил рассеянной улыбкой.

Наконец он сунул письмо в карман и прошел по короткому коридору в расположенную напротив спальню отца, куда не показывался уже несколько месяцев. Да в этом и не было нужды, потому что они постоянно встречались у себя в магазине и обедали одновременно в ресторане; вечером, правда, каждый сам заботился о своем ужине, но потом, в тех случаях, когда Георг не проводил время с друзьями или невестой, что теперь случалось до-

больно часто, они обычно сидели еще с полчаса вместе в общей гостиной, каждый уткнувшись в свою газету. Георг удивился, что у отца в спальне темно даже в такое солнечное утро. Как, значит, затемняет комнату, выходящую в узкий двор, высокая стена напротив. Отец сидел у окна в углу, наполненном всевозможными реликвиями, напоминающими о покойной матери, и читал газету, которую держал перед глазами как-то боком, стараясь приспособиться и помочь своему слабеющему зрению. Со стола не были убраны остатки завтрака, по-видимому, почти не тронутого.

— А, это ты, Георг, — сказал отец и сразу поднялся ему навстречу. Его тяжелый халат распахнулся, полы развевались при ходьбе. «Мой отец все еще богатырь», — подумал Георг.

— Здесь же страшно темно, — сказал он.

— Да, это верно, темно, — ответил отец.

— И окно закрыто.

— Мне так больше нравится.

— На дворе теплынь, — заметил Георг, как бы продолжая сказанное раньше, и сел.

Отец взял со стола посуду и поставил ее на ящик.

— Я, собственно, пришел только затем, чтобы сказать тебе, — продолжал Георг, рассеянно следя за движениями отца, — что все же написал сегодня в Петербург о моей помолвке.

Он вытащил было письмо из кармана, но тотчас же опустил его обратно.

— В Петербург? — спросил отец.

— Моему другу, — пояснил Георг и постарался заглянуть отцу в глаза. «В магазине он совсем другой, — подумал Георг. — Как он здесь расселся в кресле и руки на груди скрестил».

— Да. Твоему другу, — сказал отец с подчеркнутым ударением.

— Ты ведь знаешь, отец, я не хотел писать ему о своей женитьбе, забываясь только о нем, ни по какой другой причине. Ты сам знаешь, он трудный человек. Я решил, пусть услышит стороной о моей свадьбе — тут уж я ничего сделать не могу, хотя при его замкнутом образе жизни это маловероятно, — но только не от меня.

— А теперь ты передумал? — спросил отец, положил газету на подоконник, а на газету — очки и прикрыл их ладонью.

— Да, теперь я передумал. Если он мой близкий друг, решил я, то должен быть счастлив моим счастьем. И поэтому я уже не колебался и написал ему. Но раньше, чем бросить письмо в ящик, я хотел сказать об этом тебе.

— Георг, — сказал отец и растянул свой беззубый рот, — послушай! Ты пришел ко мне посоветоваться. Это, разумеется, делает тебе честь. Но это ничто, это хуже чем ничто, если ты не скажешь мне всей правды. Я не хочу касаться сейчас того, что сюда не относится. После смерти нашей дорогой мамочки творятся какие-то нехорошие дела. Возможно, и до них дойдет, и, возможно, даже скорее, чем мы думаем. В нашем торговом заведении что-то от меня ускользает; может быть, от меня ничего и не скрывают — я сейчас не хочу думать, что от меня что-то скрывают, — я уже не тот, что прежде, память ослабела, я уже не могу уследить за всем. Во-первых, это естественный ход вещей, а во-вторых, смерть нашей мамочки повлияла на меня куда сильнее, чем на тебя. Но раз уж мы затронули этот вопрос в связи с твоим письмом, то прошу тебя, Георг, не лги мне. Это же мелочь, это выеденного яйца не стоит, так не лги мне. У тебя действительно есть друг в Петербурге?

Георг в смущении встал.



— Оставим в покое моих друзей. Тысяча друзей не заменит мне отца. Знаешь, что я думаю? Ты не бережешь себя. Ведь у возраста свои права. В нашем деле мне без тебя не обойтись, ты это отлично знаешь, но если работа вредит твоему здоровью, я завтра же запру магазин, и это уже навсегда. Так не годится. Тебе надо переменить образ жизни. И при этом решительно. Ты сидишь здесь в темноте, а в гостиной яркое солнце. Ты чуть притронулся к завтраку, вместо того чтобы как следует подкрепиться. Ты сидишь при закрытом окне, а воздух был бы тебе так полезен. Нет, отец! Я позову врача, и мы будем следовать его предписаниям. Мы поменяем спальни, ты переедешь в комнату, которая выходит на улицу, а я сюда. Ты не почувствуешь никакой перемены, все твои вещи мы перенесем. Но это еще успеется, а сейчас ложись-ка в постель, тебе необходим покой. Давай, я помогу тебе раздеться, вот увидишь: я справлюсь. А может быть, ты уже сейчас хочешь перебраться в ту комнату? Тогда пока что ложись на мою кровать. Пожалуй, так будет даже разумнее.

Георг подошел вплотную к отцу, который поник седой всклокоченной головой.

— Георг, — позвал отец чуть слышно, не подымая головы.

Георг сейчас же опустился перед ним на колени, он увидел усталое отцовское лицо, увидел, что тот скосил на него глаза с необычно расширенными зрачками.

— У тебя нет друга в Петербурге. Ты всегда был шутником, ты не удержался и подшутил и надо мной. Ну откуда быть у тебя другу в Петербурге! Я этому поверить не могу.

— Ты вспомни, отец, — сказал Георг, поднял отца с кресла и, так как тот стоял перед ним такой беспомощный, снял с него халат. — Вот уже скоро три года, как мой

друг приезжал к нам в гости. Я помню, что ты его недолюбливал. Во всяком случае, я два раза, никак не меньше, сказал тебе, что его у нас уже нет, а он сидел у меня в комнате. Такая нелюбовь мне вполне понятна, у моего друга есть свои странности. Но бывало и так, что ты охотно с ним беседовал. Я даже был горд, что ты его слушал, расспрашивал, поддакивал ему. Если ты подумашь, ты обязательно вспомнишь. Он тогда рассказывал невероятные истории про русскую революцию. Так, раз в Киеве, куда он поехал по делам, он видел священника, который во время волнений вышел на балкон, вырезал себе на ладони большой крест и, подняв окровавленную руку, обратился к толпе. Ты же всем, кому угодно, рассказывал эту историю.

Между тем Георгу удалось снова усадить отца и осторожно снять с него трикотажные кальсоны, которые были надеты поверх полотняных, и носки. При виде белья далеко не первой свежести он упрекнул себя за то, что забросил отца. Следить, как часто отец меняет белье, конечно же, тоже было его обязанностью. Они с невестой еще не говорили определенно о том, как в дальнейшем устроят жизнь отца, ибо с молчаливого согласия предполагали оставить его на старой квартире. Но теперь Георг твердо решил взять его с собой в их будущий дом. Ведь если хорошенько подумать, то заботы, которыми он собирался окружить отца впредь, может стать, уже опоздали.

Георг взял отца на руки и понес в постель. Вдруг он заметил, что тот, прижавшись к его груди, играет с его цепочкой от часов, и ему стало страшно. Он не мог сразу уложить отца в постель, так крепко тот уцепился за эту цепочку.

Но очутившись в постели, он как будто опять пришел в себя. Сам укрылся, а потом натянул одеяло до подбородка. И смотрел даже ласково на Георга.

— Ты вспомнил его, ведь правда? — спросил Георг и, желая подбодрить отца, кивнул ему.

— Ты меня хорошо укрыл? — спросил отец, словно ему не было видно, закрыты ли у него ноги.

— Ты доволен, что лег в постель? — сказал Георг и подоткнул одеяло.

— Ты меня хорошо укрыл? — снова спросил отец, придавая, казалось, большое значение ответу.

— Успокойся, я тебя хорошо укрыл.

— Нет! — сразу же крикнул отец. Он отбросил одеяло с такой силой, что оно на мгновение взвилось вверх и развернулось, потом встал во весь рост в кровати. Только одной рукой он чуть придерживался за карниз. — Ты хотел меня навсегда укрыть, это я знаю, ну и сынок! Но ты меня еще не укрыл. И если мои силы уже уходят, на тебя-то их хватит, хватит с избытком. Да, я прекрасно знаю твоего друга. Такой сын, как он, был бы мне по сердцу. Потому ты и лгал ему все эти годы. И не почему другому! Ты думаешь, я не плакал о нем? Потому ты и запираешься у себя в конторе, — шеф занят, к нему нельзя, — только для того, чтобы без помехи писать свои двуличные письма в Россию. Но, к счастью, отец видит сына насквозь, этому его учить не надо. Теперь ты решил, что подмял отца под себя, да так, что можешь сесть на него верхом, а он и не пикнет, вот тут-то мой любезный сынок и задумал жениться!

Георг в ужасе смотрел на отца. Образ петербургского друга, которого отец вдруг отлично вспомнил, завладел Георгом, как никогда. Он видел его затерянным в далекой России. Он видел его в дверях пустого, разграбленного магазина. Вот он стоит среди поломанных полок, развороченных товаров, сорванной арматуры. И зачем он уехал так далеко!

— Нет, ты посмотри на меня! — крикнул отец, и

Георг почти машинально побежал к кровати, но остановился на полпути.

— Она задрала юбку, — пропел отец, — она задрала юбку, мерзкая баба, вот так, — и чтобы наглядно показать как, отец задрал рубашку так высоко, что на бедре открылся рубец от полученной в военные годы раны, — она задрала юбку вот так, и вот так, и вот этак, а ты в нее и втюрился, и чтобы ничто не мешало тебе удовлетворить свою похоть, ты осквернил память матери, предал друга и сунул в постель отца, пусть лежит там и не двигается! Ну как, может он двигаться или нет?

И он стоял, ни за что не держась, и дрыгал ногами. Он сиял от сознания своей пронизательности.

Георг держался в углу, как можно дальше от отца. Он уже раньше решил внимательно следить, боясь, как бы отец не напал на него каким-нибудь обходным путем — может быть, сзади, может быть, сверху. Теперь он снова вспомнил об этом уже забытом им решении и сейчас же опять забыл его, словно продернул сквозь игольное ушко короткую нитку.

— Но друг не предан! — крикнул отец и в подтверждение своих слов потряс указательным пальцем. — Я был его заступником здесь, в нашем городе.

— Комедиант! — не удержался Георг, но тут же спохватился — к сожалению, слишком поздно — и прикусил язык, да так сильно, что глаза полезли на лоб и он даже присел от боли.

— Да, конечно, я разыгрывал комедию! Комедию! Удачное слово! Чем еще оставалось утешаться бедному овдовевшему отцу? Скажи — и на ту минуту, пока отвечаешь, будь по-прежнему мне любящим сыном, — что еще оставалось мне делать здесь, в темной каморке, мне, дряхлому старику, которого предали вероломные служащие? А мой сын жил припеваючи, заключал сделки, под-

готовленные мною, от радости на голове ходил и смотрел на отца с недоступным видом, словно и вправду порядочный человек! Ты думаешь, я не хотел бы тебя любить? Ведь я же тебя породил!

«Сейчас он наклонится вперед, — подумал Георг. — Хоть бы он упал и расшибся!» Это слово прошуршало у него в мозгу.

Отец наклонился вперед, но не упал. И так как Георг не подбежал к нему, как можно было бы ожидать, он снова выпрямился.

— Стой там, где стоишь! Ты мне не нужен. Думаешь, у тебя есть еще силы подойти, и ты не подходишь потому, что сам не хочешь? Не заблуждайся! Я все еще намного сильнее тебя. Будь я один, мне, может быть, и пришлось бы уступить, но мать отдала мне свои силы, и с твоим другом мы отлично договорились, вся твоя клиентура у меня вот здесь, в кармане!

«Ишь ты, он в нижней рубаше, а у него карманы», — подумал Георг, и ему пришло в голову, что одной этой фразой он может погубить отца в глазах окружающих. Мысль эта только промелькнула у него в голове, так как он сейчас он все тут же забывал.

— Возьми под ручку свою невесту и попробуй попасться мне на глаза! Я ее так от тебя отошью, что не обрадуешься!

Георг скривил рот, точно не веря отцу. Отец же только кивал головой в тот угол, где стоял Георг, подтверждая этим, что не шутит.

— Очень ты меня позабавил, когда явился сюда и спросил, писать ли другу о твоей свадьбе. Дурак, он все уже знает, все уже знает! Я написал ему, ведь ты же забыл спрятать от меня перо и бумагу. Поэтому он уже несколько лет не приезжает, он все в сто раз лучше тебя

знает, твои письма он не читая бросает в корзину, а мои читает и перечитывает!

Он так воодушевился, что взмахнул над головой обеими руками.

— Все в тысячу раз лучше тебя знает! — крикнул он.

— В десять тысяч раз! — сказал Георг, желая подразнить отца, но, еще не сорвавшись с губ, слова эти прозвучали чрезвычайно серьезно.

— Я уже не первый год жду, что ты обратишься ко мне с этим вопросом! Ты думаешь, меня что-нибудь еще занимает, ты думаешь, я газеты читаю? На! — и он швырнул в Георга газетой, которая случайно попала в постель. Давнишняя газета с совсем незнакомым Георгу названием. — Как долго ты не решался, пока не созрел окончательно! Мать успела умереть, ей не пришлось порадоваться на сынка, друг твой погибает в своей России, уже три года тому назад он был такой желтый, что хоть на свалку неси, а я... сам видишь, какой я стал. Ты не слепой!

— Значит, ты шпионил за мной! — крикнул Георг.

— Это ты хотел, верно, раньше сказать. Сейчас это уже совсем ни к чему, — с сожалением, как бы про себя, заметил отец.

И прибавил громче:

— Итак, теперь ты знаешь — не ты один действовал, до сих пор ты знал только о себе! В сущности ты был невинным младенцем, но еще вернее то, что ты сущий дьявол! И потому знай: я приговариваю тебя к казни — казни водой.

Георг почувствовал, словно что-то гонит его вон из комнаты, в ушах у него еще стоял шум, с которым отец грохнулся на постель.

На лестнице, по которой он сбежал, как по покато́й плоскости, перепрыгивая через ступеньки, он налетел на

служанку, она подымалась наверх, чтобы убрать квартиру.

— Господи Иисусе! — воскликнула она и закрыла фартовым лицом, но он уже исчез.

Выскочив из калитки, он перебежал через улицу, устремляясь к реке. Вот он уже крепко, словно голодный в пищу, вцепился в перила, перекинул через них ноги, ведь в юношеские годы, к великой гордости родителей, он был хорошим гимнастом. Держась слабеющими руками за перила, он выждал, когда появится автобус, который заглушит звук его падения, прошептал: «Милые мои родители, и все-таки я любил в а с», — и отпустил руки.

В это время на мосту было оживленное движение.

## ПРЕВРАЩЕНИЕ

### I



роснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.

«Что со мной случилось?» — подумал он. Это не было сном. Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены

распакованные образцы сукон — Замза был коммивояжером, — висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука.

Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода — слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя — привела его и вовсе в грустное настроение. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху», — подумал он, но это было совершенно неосуществимо, он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле, тупую и слабую боль в боку.

«Ах ты, господи, — подумал он, — какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!» Он почувствовал вверху живота легкий зуд; медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову; нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками; хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб.



Он соскользнул в прежнее свое положение. «От этого раннего вставания,— подумал о н , — можно совсем обезуметь. Человек должен высыпаться. Другие коммивояжеры живут, как одалиски. Когда я, например, среди дня возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать полученные заказы, эти господа только завтракают. А осмелюсь я вести себя так, мой хозяин выгнал бы меня сразу. Кто знает, впрочем, может быть, это было бы даже очень хорошо для меня. Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки! Странная у него манера — садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок вынужден подойти вплотную к конторке из-за того, что хозяин туг на ухо. Однако надежда еще не совсем потеряна: как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей—на это уйдет еще лет пять-шесть, —я так и поступлю. Тут-то мы и распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отходит в пять».

И он взглянул на будильник, который тикал на сундуке. «Боже правый!» — подумал он. Было половина седьмого, и стрелки спокойно двигались дальше, было даже больше половины, без малого уже три четверти. Неужели будильник не звонил? С кровати было видно, что он поставлен правильно, на четыре часа; и он, несомненно, звонил. Но как можно было спокойно спать под этот сотрясающий мебель трезвон? Ну, спал-то он беспокойно, но, видимо, крепко. Однако что делать теперь? Следующий поезд уходит в семь часов; чтобы успеть на него, он должен отчаянно торопиться, а набор образцов еще не упакован, да и сам он отнюдь не чувствует себя свежим и легким на подъем. И даже поспей он на поезд, хозяйского разноса ему все равно не избежать — ведь рассыльный тор-

гового дома дежурил у пятичасового поезда и давно доложил о его, Грегора, опоздании. Рассыльный, человек бесхарактерный и неумный, был ставленником хозяина. А что, если сказать больным? Но это было бы крайне неприятно и показалось бы подозрительным, ибо за пятилетнюю свою службу Грегор ни разу еще не болел. Хозяин, конечно, привел бы врача больничной кассы и стал попрекать родителей сыном-лентяем, отводя любые возражения ссылкой на этого врача, по мнению которого все люди на свете совершенно здоровы и только не любят работать. И разве в данном случае он был бы так уж неправ? Если не считать сонливости, действительно странной после такого долгого сна, Грегор и в самом деле чувствовал себя превосходно и был даже чертовски голоден.

Покуда он все это торопливо обдумывал, никак не решаясь покинуть постель, — будильник как раз пробил без четверти семь, — в дверь у его изголовья осторожно постучали.

— Грегор, — услышал он (это была его мать), — уже без четверти семь. Разве ты не собирался уехать?

Этот ласковый голос! Грегор испугался, услышав ответные звуки собственного голоса, к которому, хоть это и был, несомненно, прежний его голос, примешивался какой-то подспудный, но упрямый болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с уверенностью сказать, не ослышался ли ты. Грегор хотел подробно ответить и все объяснить, но ввиду этих обстоятельств сказал только:

— Да, да, спасибо, мама, я уже встаю.

Снаружи, благодаря деревянной двери, по-видимому, не заметили, как изменился его голос, потому что после этих слов мать успокоилась и зашаркала прочь. Но короткий этот разговор обратил внимание остальных членов семьи

на то, что Грегор вопреки ожиданию все еще дома, и вот уже в одну из боковых дверей стучал отец — слабо, но кулаком.

— Грегор! Грегор! — кричал о н . — В чем дело?

И через несколько мгновений позвал еще раз, понизив голос:

— Грегор! Грегор!

А за другой боковой дверью тихо и жалостно говорила сестра:

— Грегор! Тебе нездоровится? Помочь тебе чем-нибудь?

Отвечая всем вместе: «Я уже готов», — Грегор старался тщательным выговором и длинными паузами между словами лишить свой голос какой бы то ни было необычности. Отец и в самом деле вернулся к своему завтраку, но сестра продолжала шептать:

— Грегор, открой, умоляю тебя.

Однако Грегор и не думал открывать, он благословлял приобретенную в поездках привычку и дома предусмотрительно запирает на ночь все двери.

Он хотел сначала спокойно и без помех встать, одеться и прежде всего позавтракать, а потом уж поразмыслить о дальнейшем, ибо — это ему стало ясно — в постели он ни до чего путного не додумался бы. Он вспомнил, что уже не раз, лежа в постели, ощущал какую-то легкую, вызванную, возможно, неудобной позой боль, которая, стоило встать, оказывалась чистейшей игрой воображения, и ему было любопытно, как рассеется его сегодняшний морок. Что изменение голоса всего-навсего предвестие профессиональной болезни коммивояжеров — жестокой простуды, в этом он несколько не сомневался.

Сбросить одеяло оказалось просто; достаточно было немного надуть живот, и оно упало само. Но дальше дело шло хуже, главным образом потому, что он был так широк.

Ему нужны были руки, чтобы подняться; а вместо этого у него было множество ножек, которые не переставали беспорядочно двигаться и с которыми он к тому же никак не мог совладать. Если он хотел какую-либо ножку согнуть, она первым делом вытягивалась; а если ему наконец удавалось выполнить этой ногой то, что он задумал, то другие тем временем, словно вырвавшись на волю, приходили в самое мучительное волнение. «Только не задерживаться понапрасну в постели», — сказал себе Грегор.

Сперва он хотел выбраться из постели нижней частью своего туловища, но эта нижняя часть, которой он, кстати, еще не видел, да и не мог представить себе, оказалась малоподвижной; дело шло медленно; а когда Грегор наконец в бешенстве напропалую рванулся вперед, он, взяв неверное направление, сильно ударился о прутья кровати, и обжигающая боль убедила его, что нижняя часть туловища у него сейчас, вероятно, самая чувствительная.

Поэтому он попытался выбраться сначала верхней частью туловища и стал осторожно поворачивать голову к краю кровати. Это ему легко удалось, и, несмотря на свою ширину и тяжесть, туловище его в конце концов медленно последовало за головой. Но когда голова, перевалившись наконец за край кровати, повисла, ему стало страшно продвигаться и дальше подобным образом. Ведь если бы он в конце концов упал, то разве что чудом не повредил бы себе голову. А терять сознание именно сейчас он ни в коем случае не должен был; лучше уж было остаться в постели.

Но когда, переведя дух после стольких усилий, он принял прежнее положение, когда он увидел, что его ножки копошатся, пожалуй, еще неистовей, и не сумел внести в этот произвол покой и порядок, он снова сказал себе, что в кровати никак нельзя оставаться и что самое разумное —

это рискнуть всем ради малейшей надежды освободить себя от кровати. Одновременно, однако, он не забывал нет-нет да напомнить себе, что от спокойного размышления толку гораздо больше, чем от порывов отчаяния. В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но, к сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную сторону узкой улицы, нельзя было почерпнуть бодрости и уверенности. «Уже семь часов, — сказал он себе, когда снова послышался бой будильника, — уже семь часов, а все еще такой туман». И несколько мгновений он полежал спокойно, слабо дыша, как будто ждал от полной тишины возвращения действительных и естественных обстоятельств.

Но потом он сказал себе: «Прежде чем пробьет четверть восьмого, я должен во что бы то ни стало окончательно покинуть кровать. Впрочем, к тому времени из конторы уже придут справиться обо мне, ведь контора открывается раньше семи». И он принялся выталкиваться из кровати, раскачивая туловище по всей его длине равномерно. Если бы он упал так с кровати, то, видимо, не повредил бы голову, резко приподняв ее во время падения. Спина же казалась достаточно твердой; при падении на ковер с ней, наверно, ничего не случилось бы. Больше всего беспокоила его мысль о том, что тело его упадет с грохотом и это вызовет за всеми дверями если не ужас, то уж, во всяком случае, тревогу. И все же на это нужно было решиться.

Когда Грегор уже наполовину повис над краем кровати — новый способ походил скорей на игру, чем на утомительную работу, нужно было только рывками раскачиваться я, — он подумал, как было бы все просто, если бы ему помогли. Двух сильных людей — он подумал об отце и о прислуге — было бы совершенно достаточно; им пришлось бы только, засунув руки под выпуклую его спину, снять

его с кровати, а затем, нагнувшись со своей ношей, подождать, пока он осторожно перевернется на полу, где его ножки получили бы, надо полагать, какой-то смысл. Но даже если бы двери не были заперты, неужели он действительно позвал бы кого-нибудь на помощь? Несмотря на свою беду, он не удержался от улыбки при этой мысли.

Он уже с трудом сохранял равновесие при сильных рывках и уже вот-вот должен был окончательно решиться, когда с парадного донесся звонок. «Это кто-то из фирмы», — сказал он себе и почти застыл, но зато его ножки заходили еще стремительней. Несколько мгновений все было тихо. «Они не отворяют», — сказал себе Грегор, отдаваясь какой-то безумной надежде. Но потом, конечно, прислуга, как всегда, твердо прошагала к парадному и открыла. Грегору достаточно было услышать только первое приветственное слово гостя, чтобы тотчас узнать, кто он: это был сам управляющий. И почему Грегору суждено было служить в фирме, где малейший промах вызывал сразу самые тяжкие подозрения? Разве ее служащие были все как один прохвосты, разве среди них не было надежного и преданного человека, который, хоть он и не отдал делу нескольких утренних часов, совсем обезумел от угрызений совести и просто не в состоянии покинуть постель? Неужели недостаточно было послать справиться ученика — если такие расспросы вообще нужны, — неужели непременно должен был прийти сам управляющий и тем самым показать всей ни в чем не повинной семье, что расследование этого подозрительного дела по силам только ему? И больше от волнения, в которое привели его эти мысли, чем по-настоящему решившись, Грегор изо всех сил рванулся с кровати. Удар был громкий, но не то чтобы оглушительный. Падение несколько смягчил ковер, да и спина оказалась эластичнее, чем предполагал Грегор, поэтому звук получился глухой, не такой уж разительный. Вот только голову

он держал недостаточно осторожно и ударил ее; он потерял ее о ковер, досадуя на боль.

— Там что-то упало, — сказал управляющий в соседней комнате слева.

Грегор попытался представить себе, не может ли и с управляющим произойти нечто подобное тому, что случилось сегодня с ним, Грегором; ведь вообще-то такой возможности нельзя было отрицать. Но как бы отметая этот вопрос, управляющий сделал в соседней комнате несколько решительных шагов, сопровождавшихся скрипом его лакированных сапог. Из комнаты справа, стремясь предупредить Грегора, шептала сестра:

— Грегор, пришел управляющий.

— Я знаю, — сказал Грегор тихо; повесить голос настолько, чтобы его услышала сестра, он не отважился.

— Грегор, — заговорил отец в комнате слева, — к нам пришел господин управляющий. Он спрашивает, почему ты не уехал с утренним поездом. Мы не знаем, что ответить ему. Впрочем, он хочет поговорить и с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь. Он уж великодушно извинит нас за беспорядок в комнате.

— Доброе утро, господин Замза, — приветливо вставил сам управляющий.

— Ему нездоровится, — сказала мать управляющему, куда отец продолжал говорить у двери. — Поверьте мне, господин управляющий, ему нездоровится. Разве иначе Грегор опоздал бы на поезд! Ведь мальчик только и думает что о фирме. Я даже немного сержусь, что он никуда не ходит по вечерам; он пробыл восемь дней в городе, но все вечера провел дома. Сидит себе за столом и молча читает газету или изучает расписание поездов. Единственное развлечение, которое он позволяет себе, — это выпиливание. За каких-нибудь два-три вечера он сделал, например, рамочку; такая красивая рамочка, просто загляденье; она

висит там в комнате, вы сейчас ее увидите, когда Грегор откроет. Право, я счастлива, что вы пришли, господин управляющий; без вас мы бы не заставили Грегора открыть дверь; он такой упрямый; и наверняка ему нездоровится, хоть он и отрицал это утром.

— Сейчас я выйду, — медленно и размеренно сказал Грегор, но не шевельнулся, чтобы не пропустить ни одного слова из их разговоров.

— Другого объяснения, сударыня, у меня н е т , — сказал управляющий. — Будем надеяться, что болезнь его не опасна. Хотя, с другой стороны, должен заметить, что нам, коммерсантам, — то ли к счастью, то ли к несчастью — приходится часто в интересах дела просто превозмогать легкий недуг.

— Значит, господин управляющий может уже войти к тебе? — спросил нетерпеливый отец и снова постучал в дверь.

— Н е т , — сказал Грегор.

В комнате слева наступила мучительная тишина, в комнате справа зарыдала сестра.

Почему сестра не шла к остальным? Вероятно, она только сейчас встала с постели и еще даже не начала одеваться. А почему она плакала? Потому что он не вставал и не впускал управляющего, потому что он рисковал потерять место и потому что тогда хозяин снова стал бы преследовать родителей старыми требованиями. Но ведь покамест это были напрасные страхи. Грегор был еще здесь и вовсе не собирался покидать свою семью. Сейчас он, правда, лежал на ковре, и, узнав, в каком он находится состоянии, никто не стал бы требовать от него, чтобы он впустил управляющего. Но не выгонят же так уж сразу Грегора из-за этой маленькой невежливости, для которой позднее легко найдется подходящее оправдание! И Грегору казалось, что гораздо разумнее было бы оставить его сей-



час в покое, а не докучать ему плачем и уговорами. Но ведь всех угнетала — и это извиняло их поведение — именно неизвестность.

— Господин Замза, — воскликнул управляющий, теперь уж повысив голос, — в чем дело? Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только «да» и «нет», доставляете своим родителям тяжелые, ненужные волнения и уклоняетесь — упомяну об этом лишь вскользь — от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен, я поражен! Я считал вас спокойным, рассудительным человеком, а вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула — оно касалось недавно доверенного вам инкассо, — но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступаться. А положение ваше отнюдь не прочно. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были, скажу я вам, весьма неудовлетворительны; правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, это мы признаем; но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза, не может существовать.

— Но, господин управляющий, — теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом, — я же немедленно, сию минуту открою. Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возмож-

мости встать. Я и сейчас еще лежу в кровати. Но я уже совсем пришел в себя. И уже встаю. Минутку терпения! Мне еще не так хорошо, как я думал. Но уже лучше. Подумать только, что за напасть! Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно, мои родители это подтвердят, нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Очень возможно, что это было заметно. И почему я не уведомил об этом фирму! Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь на ногах. Господин управляющий! Пошадите моих родителей! Ведь для упреков, которые вы сейчас мне делаете, нет никаких оснований; мне же и не говорили об этом ни слова. Вы, наверно, не видели последних заказов, которые я прислал. Да я еще и уеду с восьмичасовым поездом, несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин управляющий, я сейчас сам приду в фирму, будьте добры, так и скажите и засвидетельствуйте мое почтение хозяину!

И куда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко — видимо, наловчившись в кровати — приблизился к сундуку и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с управляющим; ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его, люди, которые сейчас так его ждут. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то, значит, и у него нет причин волноваться и, поторопившись, он действительно будет на вокзале в восемь часов. Сначала он несколько раз соскальзывал с полированного сундука, но наконец, сделав последний рывок, выпрямился во весь рост; на боль в нижней части туловища он уже не обращал внимания, хотя она была очень мучительна. Затем, навалившись на спинку стояв-

шего поблизости стула, он зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, чтобы выслушать ответ управляющего.

— Поняли ли вы хоть одно слово? — спросил тот родителей. — Уж не издевается ли он над нами?

— Господь с вами, — воскликнула мать, вся в слезах, — может быть, он тяжело болен, а мы его мучим. Грета! Грета! — крикнула она затем.

— Мама? — отозвалась сестра с другой стороны.

— Сейчас же ступай к врачу. Грегор болен. Скорей за врачом. Ты слышала, как говорил Грегор?

— Это был голос животного, — сказал управляющий, сказав поразительно тихо по сравнению с криками матери.

— Анна! Анна! — закричал отец через переднюю в кухню и хлопнул в ладоши. — Сейчас же приведите слесаря!

И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю — как же это сестра так быстро оделась? — и распахнули входную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась — наверно, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастье.

А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде, — вероятно потому, что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, действовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя по существу одного от другого, удивительных свершений. Чтобы перед приближавшимся решающим разговором придать своей речи как можно большую ясность, он немного откашлялся, стараясь, однако,

сделать это поглуше, потому что, возможно, и эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь.

Грегор медленно продвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь, припал к ней стоймя — на подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество — и немного передохнул, натрудившись. А затем принялся поворачивать ртом ключ и замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов — чем же схватить теперь ключ? — но зато челюсти оказались очень сильными; с их помощью он и в самом деле задвигал ключом, не обращая внимания на то, что, несомненно, причинил себе вред, ибо какая-то бурая жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол.

— Послушайте-ка, — сказал управляющий в соседней комнате, — он поворачивает ключ.

Это очень ободрило Грегора; но лучше бы все они, и отец, и мать, кричали ему, лучше бы они все кричали ему: «Сильней, Грегор! Ну-ка, поднатужься, ну-ка, нажми на замок!» И вообразив, что все напряженно следят за его усилиями, он самозабвенно, изо всех сил вцепился в ключ. По мере того как ключ поворачивался, Грегор переваливался около замка с ножки на ножку; держась теперь стоймя только с помощью рта, он по мере надобности то повисал на ключе, то наваливался на него всей тяжестью своего тела. Звонкий щелчок поддавшегося наконец замка как бы разбудил Грегора. Переведя дух, он сказал себе: «Значит, я все-таки обошелся без слесаря», — и положил голову на дверную ручку, чтобы отворить дверь.

Поскольку отворил он ее таким способом, его самого еще не было видно, когда дверь уже довольно широко от-

ворилась. Сначала он должен был медленно обойти одну створку, а обойти ее нужно было с большой осторожностью, чтобы не шлепнуться на спину у самого входа в комнату. Он был еще занят этим трудным передвижением и, торопясь, ни на что больше не обращал внимания, как вдруг услышал громкое «О!» управляющего — оно прозвучало, как свист ветра, — и увидел затем его самого: находясь ближе всех к двери, тот прижал ладонь к открытому рту и медленно пятился, словно его гнала какая-то невидимая, неодолимая сила. Мать — несмотря на присутствие управляющего, она стояла здесь с распущенными еще с ночи, взъерошенными волосами — сначала, стиснув руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору и рухнула, разметав вокруг себя юбки, опустив к груди лицо, так что его совсем не стало видно. Отец угрожающе сжал кулак, словно желая вытолкнуть Грегора в его комнату, потом нерешительно оглядел гостиную, закрыл руками глаза и заплакал, и могучая его грудь сотрясалась.

Грегор вовсе и не вошел в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половина его туловища и заглядывавшая в комнату голова, склоненная набок. Тем временем сделалось гораздо светлее; на противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания — это была больница — с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами; дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца завтрак был важнейшей трапезой дня, тянувшейся у него, за чтением газет, часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы; на ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес

шпаги и беззаботно улыбаясь, внушал уважение своей выправкой и синим мундиром. Дверь в переднюю была отворена, и так как входная дверь тоже была открыта, виднелась лестничная площадка и начало уходящей вниз лестницы.

— Ну вот, — сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один, — сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вам хочется, вам хочется, чтобы я поехал? Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец, и работаю с удовольствием; разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин управляющий? В контору? Да? Вы доложите обо всем? Иногда человек не и состоитии работать, но тогда как раз самое время вспомнить о прежних своих успехах в надежде, что тем внимательней и прилежнее будешь работать в дальнейшем, по устранении помехи. Ведь я так обязан хозяину, вы же отлично это знаете. С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я попал в беду, но я выкарабкаюсь. Только не ухудшайте моего и без того трудного положения. Будьте в фирме на моей стороне! Коммивояжеров не любят, я знаю. Думают, они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никто просто не задумывается над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело, знаете лучше, чем остальной персонал, и даже, говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также, что, находясь почти весь год вне фирмы, коммивояжер легко может стать жертвой сплетни, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как по большей части он о них ничего не знает и только потом, когда, измотанный, возвращается из поездки, испыты-

вает их скверные, уже далекие от причин последствия на собственной шкуре. Не уходите, господин управляющий, не дав мне ни одним словом понять, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту!

Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил, и, надувшись, глядел на него только поверх плеча, которое непрерывно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз, к двери — удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать комнату. Он был уже в передней, и, глядя на то, как неожиданно резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег себе ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало прямо-таки неземное блаженство.

Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно; с годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь, а свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задерживать, успокоить, убедить и в конце концов расположить в свою пользу; ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи! Ах, если бы сестра не ушла! Она умна, она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И, конечно же, управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей; она закрыла бы входную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла, Грегор должен был действовать сам. И, не подумав о том, что совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не подумав и о том, что его

речь, возможно и даже вероятней всего, снова осталась непонятой, он покинул створку дверей; пробрался через проход; хотел было направиться к управляющему, — который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила, — но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые за это утро стало удобно; под лапками была твердая почва; они, как он к радости своей отметил, отлично его слушались; даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел; и он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в тот самый миг, когда он покачивался от толчка, лежа на полу неподалеку от своей матери, как раз напротив нее, мать, которая, казалось, совсем оцепенела, вскочила вдруг на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала: «Помогите! Помогите ради бога!» — склонила голову, как будто хотела получше разглядеть Грегора, однако вместо этого бессмысленно отбежала назад; забыла, что позади нее стоит накрытый стол; достигнув его, она, словно по рассеянности, поспешно на него села и, кажется, совсем не заметила, что рядом с ней из опрокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе.

— Мама, м а м а , — тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза.

На мгновение он совсем забыл об управляющем; однако при виде льющегося кофе он не удержался и несколько раз судорожно глотнул воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, спрыгнула со стола и упала на грудь поспешившему ей навстречу отцу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями; управляющий был уже на лестнице; положив подбородок на перила, он бросил последний, прощальный взгляд назад. Грегор пустился было бегом, чтобы вернее его догнать; но управляющий, видимо, догадался о его намерении, ибо, перепрыгнув



через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул: «Фу!» — и звук этот разнесся по лестничной клетке. К сожалению, бегство управляющего, видимо, вконец расстроило державшегося до сих пор сравнительно стойко отца, потому что вместо того, чтобы самому побегать за управляющим или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость управляющего, которую тот вместе со шляпой и пальто оставил на стуле, а левой взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, стал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогли, да и не понимал отец никаких его просьб; как бы смиренно Грегор ни мотал головой, отец только сильнее и сильнее топал ногами. Мать, несмотря на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись в него, спрятала лицо в ладонях. Между окном и лестничной клеткой образовался сильный сквозняк, занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, несколько листов поплыло по полу. Отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться, он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате, но он боялся раздражить отца медлительностью своего поворота, а отцовская палка в любой миг могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец, однако, ничего другого Грегору все-таки не осталось, ибо он, к ужасу своему, увидел, что, пятясь назад, не способен даже придерживаться определенного направления; и поэтому, не переставая боязливо коситься на отца, он начал — по возможности быстро, на самом же деле очень медленно — поворачиваться. Отец, видно, оценил его добрую волю и не только не мешал ему поворачиваться, но даже издали направлял его движение кончиком своей палки. Если бы только не это несносное шипение отца! Из-за него Грегор

совсем терял голову. Он уже заканчивал поворот, когда, прислушиваясь к этому шипению, ошибся и повернул немного назад. Но когда он наконец благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в нее пролезть. Отец в его теперешнем состоянии, конечно, не сообразил, что надо открыть другую створку двери и дать Грегору проход. У него была одна навязчивая мысль — как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Никак не потерпел бы он и обстоятельной подготовки, которая требовалась Грегору, чтобы выпрямиться во весь рост и таким образом, может быть, пройти через дверь. Словно не было никакого препятствия, он гнал теперь Грегора вперед с особенным шумом; звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца; тут было и в самом деле не до шуток, и Грегор — будь что будет — втиснулся в дверь. Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе, один его бок был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна; вскоре он застрял и уже не мог самостоятельно двигаться дальше, на одном боку лапки повисли, дрожа, вверху; на другом они были больно прижаты к полу. И тогда отец с силой дал ему сзади поистине спасительного теперь пинка, и Грегор, обливаясь кровью, влетел в свою комнату. Дверь захлопнули палкой, и наступила долгожданная тишина.

## II

Лишь в сумерках очнулся Грегор от тяжелого, похожего на обморок сна. Если бы его и не побеспокоили, он все равно проснулся бы ненадолго позднее, так как чувствовал себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся, но ему показалось, что разбудили его чьи-то легкие шаги и звук

осторожно запираемой двери, выходявшей в переднюю. На потолке и на верхних частях мебели лежал проникавший с улицы свет электрических фонарей, но внизу, у Грегора, было темно. Медленно, еще неуклюже шаря своими щупальцами, которые он только теперь начинал ценить, Грегор подполз к двери, чтобы посмотреть, что там произошло. Левый его бок казался сплошным длинным, неприятно саднящим рубцом, и он по-настоящему хромал на оба ряда своих ног. В ходе утренних приключений одна ножка — чудом только одна — была тяжело ранена и безжизненно волочилась по полу.

Лишь у двери он понял, что, собственно, его туда повлекло; это был запах чего-то съедобного. Там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не засмеялся от радости, ибо есть ему хотелось еще сильнее, чем утром, и чуть ли не с глазами окунул голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда; мало того, что из-за раненого левого бока есть ему было трудно, — а есть он мог, только широко разевав рот и работая всем своим туловищем, — молоко, которое всегда было его любимым напитком и которое сестра, конечно, потому и принесла, показалось ему теперь совсем невкусным; он почти с отвращением отвернулся от миски и пополз назад, к середине комнаты.

В гостиной, как увидел Грегор сквозь щель в двери, зажгли свет, но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре вечернюю газету, то сейчас не было слышно ни звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, в последнее время вообще вышло из обихода. Но и кругом было очень тихо, хотя в квартире, конечно, были люди. «До чего же, однако, тихую жизнь ведет моя семья», — сказал себе Грегор и, уставившись в темноту, почувствовал великую гордость от сознания, что он сумел

добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, довольству пришел теперь ужасный конец? Чтобы не предаваться подобным мыслям, Грегор решил размяться и принялся ползать по комнате.

Один раз в течение долгого вечера чуть приоткрылась, но тут же захлопнулась одна боковая дверь и еще раз — другая; кому-то, видно, хотелось войти, но опасения взяли верх. Грегор остановился непосредственно у двери в гостиную, чтобы каким-нибудь образом залучить нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это, но дверь больше не отворялась, и ожидание Грегора оказалось напрасным. Утром, когда двери были заперты, все хотели войти к нему, теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а остальные были, несомненно, отперты в течение дня, никто не входил, а ключи между тем торчали снаружи.

Лишь поздно ночью погасили в гостиной свет, и тут сразу выяснилось, что родители и сестра до сих пор бодрствовали, потому что сейчас, как это было отчетливо слышно, они все удалились на цыпочках. Теперь, конечно, до утра к Грегору никто не войдет, значит, у него было достаточно времени, чтобы без помех поразмыслить, как ему перестроить свою жизнь. Но высокая пустая комната, в которой он вынужден был плашмя лежать на полу, пугала его, хотя причины своего страха он не понимал, ведь он жил в этой комнате вот уже пять лет, и, повернувшись почти безотчетно, он не без стыда поспешил уползти под диван, где, несмотря на то, что спину ему немного прижало, а голову уже нельзя было поднять, он сразу же почувствовал себя очень уютно и пожалел только, что туловище его слишком широко, чтобы поместиться целиком под диваном.

Там пробыл он всю ночь, проведя ее отчасти в дремоте, которую то и дело вспугивал голод, отчасти же в забо-

тах и смутных надеждах, неизменно приводивших его к заключению, что покамест он должен вести себя спокойно и обязан своим терпением и тактом облегчить семье неприятности, которые он причинил ей теперешним своим состоянием.

Уже рано утром — была еще почти ночь — Грегору представился случай испытать твердость только что принятого решения, когда сестра, почти совсем одетая, открыла дверь из передней и настороженно заглянула к нему в комнату. Она не сразу заметила Грегора, но, увидев его под диваном — ведь где-то, о господи, он должен был находиться, не мог же он улететь! — испугалась так, что, не совладав с собой, захлопнула дверь снаружи. Но словно раскаявшись в своем поведении, она тотчас же открыла дверь снова и на цыпочках, как к тяжелобольному или даже как к постороннему, вошла в комнату. Грегор высунул голову к самому краю дивана и стал следить за сестрой. Заметит ли она, что он оставил молоко, причем вовсе не потому, что не был голоден, и принесет ли какую-нибудь другую еду, которая подойдет ему больше? Если бы она не сделала этого сама, он скорее бы умер с голоду, чем обратил на это ее внимание, хотя его так и подмывало выскочить из-под дивана, броситься к ногам сестры и попросить у нее какой-нибудь хорошей еды. Но сразу же с удивлением заметив полную еще миску, из которой только чуть-чуть расплескалось молоко, сестра немедленно подняла ее, правда, не просто руками, а при помощи тряпки, и вынесла прочь. Грегору было очень любопытно, что она принесет взамен, и он стал строить всяческие догадки на этот счет. Но он никак не додумался бы до того, что сестра, по своей доброте, действительно сделала. Чтобы узнать его вкус, она принесла ему целый выбор кушаний, разложив всю эту снедь на старой газете. Тут были лежалые, с гнильцой овощи; оставшиеся от ужина кости, покрытые белым

застывшим соусом; немного изюму и миндаля; кусок сыру, который Грегор два дня назад объявил несъедобным; ломоть сухого хлеба, ломоть хлеба, намазанный маслом, и ломоть хлеба, намазанный маслом и посыпанный солью. Вдобавок ко всему этому она поставила ему ту же самую, раз и навсегда, вероятно, выделенную для Грегора миску, налив в нее воды. Затем она из деликатности, зная, что при ней Грегор не станет есть, поспешила удалиться и даже повернула ключ в двери, чтобы показать Грегору, что он может устраиваться, как ему будет удобнее. Лапки Грегора, когда он теперь направился к еде, замелькали одна быстрее другой. Да и раны его, как видно, совсем зажили, он не чувствовал уже никаких помех и, удивившись этому, вспомнил, как месяц с лишним назад он слегка обрезал палец ножом и как не далее чем позавчера эта рана еще причиняла ему довольно сильную боль. «Неужели я стал теперь менее чувствителен?» — подумал он и уже жадно впился в сыр, к которому его сразу потянуло настойчивее, чем к какой-либо другой еде. Со слезящимися от наслаждения глазами он быстро уничтожил подряд сыр, овощи, соус; свежая пища, напротив, ему не нравилась, даже запах ее казался ему несносным, и он оттаскивал в сторону от нее куски, которые хотел съесть. Он давно уже управился с едой и лениво лежал на том же месте, где ел, когда сестра в знак того, что ему пора удалиться, медленно повернула ключ. Это его сразу вспугнуло, хотя он уже почти дремал, и он опять поспешил под диван. Но ему стоило больших усилий пробыть под диваном даже то короткое время, покуда сестра находилась в комнате, ибо от обильной еды туловище его несколько округлилось и в тесноте ему было трудно дышать. Превозмогая слабые приступы удушья, он глядел выпученными глазами, как ничего не подозревавшая сестра смело венником в одну кучу не только его объедки, но и снесь, к

которой Грегор вообще не притрагивался, словно и это уже не пойдет впрок, как она поспешно выбросила все это в ведро, прикрыла его досечкой и вынесла. Не успела она отвернуться, как Грегор уже вылез из-под дивана, вытянулся и раздулся.

Таким образом Грегор получал теперь еду ежедневно — один раз утром, когда родители и прислуга еще спали, а второй раз после общего обеда, когда родители опять-таки ложились поспать, а прислугу сестра усылала из дому с каким-нибудь поручением. Они тоже, конечно, не хотели, чтобы Грегор умер с голоду, но знать все подробности кормления Грегора им было бы, вероятно, невыносимо тяжело, и, вероятно, сестра старалась избавить их хотя бы от маленьких огорчений, потому что страдали они и в самом деле достаточно.

Под каким предлогом выпроводили из квартиры в то первое утро врача и слесаря, Грегор так и не узнал: поскольку его не понимали, никому, в том числе и сестре, не приходило в голову, что он-то понимает других, и поэтому, когда сестра бывала в его комнате, ему доводилось слышать только вздохи да взывания к святым. Лишь позже, когда она немного привыкла ко всему — о том, чтобы привыкнуть совсем, не могло быть, конечно, и речи, — Грегор порой ловил какое-нибудь явно доброжелательное замечание. «Сегодня угощение пришлось ему по вкусу», — говорила она, если Грегор съедал все дочиста, тогда как в противном случае, что постепенно стало повторяться все чаще и чаще, она говорила почти печально: «Опять все осталось».

Но не узнавая никаких новостей непосредственно, Грегор подслушивал разговоры в соседних комнатах, и стоило ему отскудалибо услышать голоса, он сразу же спешил к соответствующей двери и прижимался к ней всем телом. Особенно в первое время не было ни одного разговора, ко-

торый так или иначе, хотя бы и тайно, его не касался. В течение двух дней за каждой трапезой совещались о том, как теперь себя вести; но и между трапезами говорили на ту же тему, и дома теперь всегда бывало не менее двух членом семьи, потому что никто, видимо, не хотел оставаться дома один, а покинуть квартиру всем сразу никак нельзя было. Кстати, прислуга — было не совсем ясно, что именно знала она о случившемся, — в первый же день, упав на колени, попросила мать немедленно отпустить ее, а прощаясь через четверть часа после этого, со слезами благодарила за увольнение как за величайшую милость и дала, хотя этого от нее вовсе не требовали, страшную клятву, что никому ни о чем не станет рассказывать.

Пришлось сестре вместе с матерью заняться стиркой; это не составило, впрочем, особого труда, ведь никто почти ничего не ел. Грегор то и дело слышал, как они тщетно уговаривали друг друга поесть и в ответ раздавалось «Спасибо, я уже сыт» или что-нибудь подобное. Пить, кажется, тоже перестали. Сестра часто спрашивала отца, не хочет ли он пива, и охотно вызывалась сходить за ним, а когда отец молчал, говорила, надеясь этим избавить его от всяких сомнений, что может послать за пивом дворничиху, но тогда отец отвечал решительным «нет», и больше об этом не заговаривали.

Уже в течение первого дня отец разъяснил матери и сестре имущественное положение семьи и виды на будущее. Он часто вставал из-за стола и извлекал из своей маленькой домашней кассы, которая сохранилась от его прогоревшей пять лет назад фирмы, то какую-нибудь квитанцию, то записную книжку. Слышно было, как он отпирал сложный замок и, достав то, что искал, опять поворачивал ключ. Эти объяснения отца были отчасти первой утешительной новостью, услышанной Грегором с



начала его заточения. Он считал, что от того предприятия у отца решительно ничего не осталось, во всяком случае, отец не утверждал противного, а Грегор его об этом не спрашивал. Единственной в ту пору заботой Грегора было сделать все, чтобы семья как можно скорей забыла банкротство, приведшее всех в состояние полной безнадежности. Поэтому он начал тогда трудиться с особым пылом и чуть ли не сразу сделался из маленького приказчика вояжером, у которого были, конечно, совсем другие заработки и чьи деловые успехи тотчас же, в виде комиссионных, превращались в наличные деньги, каковые и можно было положить дома на стол перед удивленной и счастливой семьей. То были хорошие времена, и потом они уже никогда, по крайней мере в прежнем великолепии, не повторялись, хотя Грегор и позже зарабатывал столько, что мог содержать и действительно содержал семью. К этому все привыкли — и семья, и сам Грегор; деньги у него с благодарностью принимали, а он охотно их давал, но особой теплоты больше не возникало. Только сестра осталась все-таки близка Грегору; и так как она в отличие от него очень любила музыку и трогательно играла на скрипке, у Грегора была тайная мысль определить ее на будущий год в консерваторию, несмотря на большие расходы, которые это вызовет и которые придется покрыть за счет чего-то другого. Во время коротких задержек Грегора в городе в разговорах с сестрой часто упоминалась консерватория, но упоминалась всегда как прекрасная, несбыточная мечта, и даже эти невинные упоминания вызывали у родителей неудовольствие; однако Грегор думал о консерватории очень определенно и собирался торжественно заявить о своем намерении в канун рождества.

Такие, совсем бесполезные в нынешнем его состоянии мысли вертелись в голове Грегора, когда он, прислушиваясь, стоймя прилипал к двери. Утомившись, он нет-нет

да переставал слушать и, нечаянно склонив голову, ударялся о дверь, но тотчас же опять выпрямлялся, так как малейший учиненный им шум был слышен за дверью и заставлял всех умолкать. «Что он там опять вытворяет?» — говорил после небольшой паузы отец, явно глядя на дверь, и лишь после этого постепенно возобновлялся прерванный разговор.

Так вот, постепенно (ибо отец повторялся в своих объяснениях — отчасти потому, что давно уже отошел от этих дел, отчасти же потому, что мать не все понимала с первого раза) Грегор с достаточными подробностями узнал, что, несмотря на все беды, от старых времен сохранилось еще маленькое состояние и что оно, так как процентов не трогали, за эти годы даже немного выросло. Кроме того, оказалось, что деньги, которые ежемесячно приносил домой Грегор — он оставлял себе всего несколько гульденов, — уходили не целиком и образовали небольшой капитал. Стоя за дверью, Грегор усиленно кивал головой, обрадованный такой неожиданной предусмотрительностью и бережливостью. Вообще-то он мог бы этими лишними деньгами погасить часть отцовского долга и приблизить тот день, когда он, Грегор, волен был бы отказать от своей службы, но теперь оказалось несомненно лучше, что отец распорядился деньгами именно так.

Денег этих, однако, было слишком мало, чтобы семья могла жить на проценты; их хватило бы, может быть, на год жизни, от силы на два, не больше. Они составляли, таким образом, только сумму, которую следовало, собственно, отложить на черный день, а не тратить; а деньги на жизнь надо было зарабатывать. Отец же был хоть и здоровым, но старым человеком, он уже пять лет не работал и не очень-то на себя надеялся; за эти пять лет, оказавшиеся первыми каникулами в его хлопотливой, но неудачливой жизни, он очень обрюзг и стал поэтому до-

вольно тяжел на подъем. Уж не должна ли была зарабатывать деньги старая мать, которая страдала астмой, с трудом передвигалась даже по квартире и через день, задышавшись, лежала на кушетке возле открытого окна? Или, может быть, их следовало зарабатывать сестре, которая в свои семнадцать лет была еще ребенком и имела полное право жить так же, как до сих пор, — изящно одеваться, спать допоздна, помогать в хозяйстве, участвовать в каких-нибудь скромных развлечениях и прежде всего играть на скрипке. Когда заходила речь об этой необходимости заработка, Грегор всегда отпуская дверь и бросался на прохладный кожаный диван, стоявший близ двери, потому что ему делалось жарко от стыда и от горя.

Он часто лежал там долгими ночами, не засыпая ни на одно мгновение, и часами терся о кожу дивана или, не жалея трудов, придвигал кресло к окну, вскарабкивался к проему и, упершись в кресло, припадал к подоконнику, что было явно только каким-то воспоминанием о чувстве освобождения, охватывавшем его прежде, когда он выглядывал из окна. На самом же деле все сколько-нибудь отдаленные предметы он видел день ото дня все хуже и хуже; больницу напротив, которую он прежде проклинал — так она примелькалась ему, Грегор вообще больше не различал, и не знай он доподлинно, что живет на тихой, но вполне городской улице Шарлоттенштрассе, он мог бы подумать, что глядит из своего окна на пустыню, в которую неразлично слились серая земля и серое небо. Стоило внимательной сестре лишь дважды увидеть, что кресло стоит у окна, как она стала каждый раз, прибрав комнату, снова придвигать кресло к окну и даже оставлять отныне открытыми внутренние оконные створки.

Если бы Грегор мог поговорить с сестрой и поблагодарить ее за все, что она для него делала, ему было бы легче принимать ее услуги; а так он страдал из-за этого.

Правда, сестра всячески старалась смягчить мучительность создавшегося положения, и чем больше времени проходило, тем это, конечно, лучше у нее получалось, но ведь и Грегору все становилось гораздо яснее со временем. Самый ее приход бывал для него ужасен. Хотя вообще-то сестра усердно оберегала всех от зрелища комнаты Грегора, сейчас она, войдя, не тратила времени на то, чтобы закрыть за собой дверь, а бежала прямо к окну, поспешно, словно она вот-вот задохнется, распахивала его настежь, а затем, как бы ни было холодно, на минутку задерживалась у окна, глубоко дыша. Этой шумной спешкой она пугала Грегора два раза в день; он все время дрожал под диваном, хотя отлично знал, что она, несомненно, избавила бы его от страхов, если бы только могла находиться в одной комнате с ним при закрытом окне.

Однажды — со дня случившегося с Грегором превращения минуло уже около месяца, и у сестры, следовательно, не было особых причин удивляться его виду — она пришла немного раньше обычного и застала Грегора глядящим в окно, у которого он неподвижно стоял, являя собой довольно страшное зрелище. Если бы она просто не вошла в комнату, для Грегора не было бы в этом ничего неожиданного, так как, находясь у окна, он не позволял ей открыть его, но она не просто не вошла, а отпрянула назад и заперла дверь; постороннему могло бы показаться даже, что Грегор подстергал ее и хотел укусить. Грегор, конечно, сразу же спрятался под диван, но ее возвращения ему пришлось ждать до полудня, и была в ней какая-то необычная встревоженность. Из этого он понял, что она все еще не выносит и никогда не сможет выносить его облика и что ей стоит больших усилий не убежать прочь при виде даже той небольшой части его тела, которая высовывается из-под дивана. Чтобы избавить сестру

и от этого зрелища, он однажды перенес на спине — на эту работу ему потребовалось четыре часа — простыню на диван и положил ее таким образом, чтобы она скрывала его целиком и сестра, даже нагнувшись, не могла увидеть его. Если бы, по ее мнению, в этой простыне не было надобности, сестра могла бы ведь и убрать ее, ведь Грегор укрылся так не для удовольствия, это было достаточно ясно, но сестра оставила простыню на месте, и Грегору показалось даже, что он поймал благодарный взгляд, когда осторожно приподнял головой простыню, чтобы посмотреть, как приняла это нововведение сестра.

Первые две недели родители не могли заставить себя войти к нему, и он часто слышал, как они с похвалой отзывались о теперешней работе сестры, тогда как прежде они то и дело сердились на сестру, потому что она казалась им довольно пустой девицей. Теперь и отец и мать часто стояли в ожидании перед комнатой Грегора, пока сестра там убирала, и, едва только она выходила оттуда, заставляли ее подробно рассказывать, в каком виде была комната, что ел Грегор, как он на этот раз вел себя и заметно ли хоть маленькое улучшение. Впрочем, мать отнительно скоро пожелала навестить Грегора, но отец и сестра удерживали ее от этого — сначала разумными доводами, которые Грегор, очень внимательно их выслушивая, целиком одобрял. Позднее удерживать ее приходилось уже силой, и когда она кричала: «Пустите меня к Грегору, это же мой несчастный сын! Неужели вы не понимаете, что я должна пойти к нему?» — Грегор думал, что, наверно, и в самом деле было бы хорошо, если бы мать приходила к нему, конечно, не каждый день, но, может быть, раз в неделю; ведь она понимала все куда лучше, чем сестра, которая при всем своем мужестве была только ребенком и в конечном счете, наверно, только по детскому легкомыслию взяла на себя такую обузу.

Желание Грегора увидеть мать вскоре исполнилось. Заботясь о родителях, Грегор в дневное время уже не показывался у окна, ползать же по несколькоим квадратным метрам пола долго не удавалось, лежать неподвижно было ему уже и ночами трудно, еда вскоре перестала доставлять ему какое бы то ни было удовольствие, и он приобрел привычку ползать для развлечения по стенам и по потолку. Особенно любил он висеть на потолке; это было совсем не то, что лежать на полу; дышалось свободнее, тело легко покачивалось; в том почти блаженном состоянии и рассеянности, в котором он там наверху пребывал, он подчас, к собственному своему удивлению, срывался и шлепался на пол. Но теперь он, конечно, владел своим телом совсем не так, как прежде, и с какой бы высоты он ни падал, он не причинял себе при этом никакого вреда. Сестра сразу заметила, что Грегор нашел новое развлечение — ведь, ползая, он повсюду оставлял следы клейкого вещества, — и решила предоставить ему как можно больше места для этого занятия, выставив из комнаты мешавшую ему ползать мебель, то есть прежде всего сундук и письменный стол. Но она была не в состоянии сделать это одна; позвать на помощь отца она не осмеливалась, прислуга же ей, безусловно, не помогла бы, ибо, хотя эта шестнадцатилетняя девушка, нанятая после ухода прежней кухарки, не отказывалась от места, она испросила разрешение держать кухню на запоре и открывать дверь лишь по особому оклику; поэтому сестре ничего не оставалось, как однажды, в отсутствие отца, привести мать. Та направилась к Грегору с возгласами взволнованной радости, но перед дверью его комнаты умолкла. Сестра, конечно, сначала проверила, все ли в порядке в комнате; лишь после этого она впустила мать. Грегор с величайшей поспешностью скомкал и еще дальше потянул простыню; казалось, что простыня брошена на диван и в

самом деле случайно. На этот раз Грегор не стал выглядывать из-под простыни; он отказался от возможности увидеть мать уже в этот раз, но был рад, что она наконец пришла.

— Входи, его не видно, — сказала сестра и явно повела мать за руку.

Грегор слышал, как слабые женщины старались сдвинуть с места тяжелый старый сундук и как сестра все время брала на себя большую часть работы, не слушая предостережений матери, которая боялась, что та надорвется. Это длилось очень долго. Когда они провозились уже с четверть часа, мать сказала, что лучше оставить сундук там, где он стоит: во-первых, он слишком тяжел и они не управятся с ним до прихода отца, а стоя посреди комнаты, сундук и вовсе преградит Грегору путь, а во-вторых, еще неизвестно, приятно ли Грегору, что мебель выносят. Ей, сказала она, кажется, что ему это скорей неприятно; ее, например, вид голой стены прямо-таки удручает; почему же не должен он удручать и Грегора, коль скоро тот привык к этой мебели и потому почувствует себя в пустой комнате совсем заброшенным.

— И разве, — заключила мать совсем тихо, хотя она и так говорила почти шепотом, словно не желая, чтобы Грегор, местонахождения которого она не знала, услышал хотя бы звук ее голоса, а в том, что слов он не понимает, она не сомневалась, — разве, убирая мебель, мы не показываем, что перестали надеяться на какое-либо улучшение и безжалостно предоставляем его самому себе? По-моему, лучше всего постараться оставить комнату такой же, какой она была прежде, чтобы Грегор, когда он к нам возвратится, не нашел в ней никаких перемен и поскорее забыл это время.

Услыхав слова матери, Грегор подумал, что отсутствие непосредственного общения с людьми при однообразной

жизни внутри семьи помутило, видимо, за эти два месяца его разум, ибо иначе он никак не мог объяснить себе появившейся у него вдруг потребности оказаться в пустой комнате. Неужели ему и в самом деле хотелось превратить свою теплую, уютно обставленную наследственной мебелью комнату в пещеру, где он, правда, мог бы беспрепятственно ползать во все стороны, но зато быстро и полностью забыл бы свое человеческое прошлое? Ведь он и теперь уже был близок к этому, и только голос матери, которого он давно не слышал, его востормошил. Ничего не следовало удалять; все должно было оставаться на месте; благотворное воздействие мебели на его состояние было необходимо; а если мебель мешала ему бессмысленно ползать, то это шло ему не во вред, а на великую пользу.

Но сестра была, увы, другого мнения; привыкнув — и не без основания — при обсуждении дел Грегора выступать в качестве знатока наперекор родителям, она и сейчас сочла совет матери достаточным поводом, чтобы настаивать на удалении не только сундука, но и вообще всей мебели, кроме дивана, без которого никак нельзя было обойтись. Требование это было вызвано, конечно, не только ребяческим упрямством сестры и ее так неожиданно и так нелегко обретенной в последнее время самоуверенностью; нет, она и в самом деле видела, что Грегору нужно много места для передвижения, а мебелью, судя по всему, он совершенно не пользовался. Может быть, впрочем, тут сказалась и свойственная девушкам этого возраста пылкость воображения, которая всегда рада случаю дать себе волю и теперь побуждала Грету сделать положение Грегора еще более устрашающим, чтобы оказывать ему еще большие, чем до сих пор, услуги. Ведь в помещение, где были бы только Грегор да голые стены, вряд ли осмелился бы кто-либо, кроме Греты, войти.



Поэтому она не вняла совету матери, которая, испытывая в этой комнате какую-то неуверенность и тревогу, вскоре умолкла и принялась в меру своих сил помогать сестре, выставившей сундук за дверь. Без сундука Грегор, на худой конец, мог еще обойтись, но письменный стол должен был остаться. И едва обе женщины, вместе с сундуком, который они, кряхтя, толкали, покинули комнату, Грегор высунул голову из-под дивана, чтобы найти способ осторожно и по возможности деликатно вмешаться. Но на беду первой вернулась мать, а Грета, оставшаяся одна в соседней комнате, раскачивала, обхватив его обеими руками, сундук, который, конечно, так и не сдвинула с места. Мать же не привыкла к виду Грегора, она могла даже заболеть, увидев его, и поэтому Грегор испуганно попятился к другому краю дивана, отчего висевшая спереди простыня все же зашевелилась. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание матери. Она остановилась, немного постояла и ушла к Грете.

Хотя Грегор все время твердил себе, что ничего особенного не происходит и что в квартире просто переставляют какую-то мебель, непрерывное хождение женщин, их негромкие возгласы, звуки скребущей пол мебели — все это, как он вскоре признался себе, показалось ему огромным, всеохватывающим переполохом; и, втянув голову, прижав ноги к туловищу, а туловищем плотно прильнув к полу, он вынужден был сказать себе, что не выдержит этого долго. Они опустошали его комнату, отнимали у него все, что было ему дорого; сундук, где лежали его лобзик и другие инструменты, они уже вынесли; теперь они двигали успевший уже продавить паркет письменный стол, за которым он готовил уроки, учась в торговом, в реальном и даже еще в народном училище, — и ему было уже некогда вникать в добрые намерения этих женщин, о существовании которых он, кстати, почти забыл, ибо

от усталости они работали уже молча и был слышен только тяжелый топот их ног.

Поэтому он выскочил из-под дивана — женщины были как раз в смежной комнате, они переводили дух, опершись на письменный стол, — четырежды поменял направление бега, и впрямь не зная, что ему спасать в первую очередь, увидел особенно заметный на уже пустой стене портрет дамы в мехах, поспешно вскарабкался на него и прижался к стеклу, которое, удерживая его, приятно охлаждало ему живот. По крайней мере этого портрета, целиком закрытого теперь. Грегором, у него наверняка не отберет никто. Он повернул голову к двери гостиной, чтобы увидеть женщин, когда они вернутся.

Они отдыхали не очень-то долго и уже возвращались; Грета почти несла мать, обняв ее одной рукой.

— Что же мы возьмем теперь? — сказала Грета и оглянулась. Тут взгляд ее встретился со взглядом висевшего на стене Грегора. По-видимому, благодаря присутствию матери сохранив самообладание, она склонилась к ней, чтобы помешать ей обернуться, и сказала — сказала, впрочем, дрожа и наобум:

— Не возвратиться ли нам на минутку в гостиную?

Намерение Греты было Грегору ясно — она хотела увести мать в безопасное место, а потом согнать его со стены. Ну что ж, пусть попробует! Он сидит на портрете и не отдаст его. Скорей уж он вцепится Грете в лицо.

Но слова Греты как раз и встревожили мать, она отступила в сторону, увидела огромное бурое пятно на цветастых обоях, вскрикнула, прежде чем до ее сознания понастоящему дошло, что это и есть Грегор, визгливо-пронзительно: «Ах, боже мой, боже мой!» — упала с раскинутыми в изнеможении руками на диван и застыла.

— Эй, Грегор! — крикнула сестра, подняв кулак и сверкая глазами.

Это были первые после случившегося с ним превращения слова, обращенные к нему непосредственно. Она побежала в смежную комнату за какими-нибудь каплями, с помощью которых можно было бы привести в чувство мать; Грегор тоже хотел помочь матери — спасти портрет время еще было; но Грегор прочно прилип к стеклу и насилию от него оторвался; затем он побежал в соседнюю комнату, словно мог дать сестре какой-то совет, как в прежние времена, но вынужден был праздно стоять позади нее; перебирая разные пузырьки, она обернулась и испугалась; какой-то пузырек упал на пол и разбился; осколок ранил Грегору лицо, а его всего обрызгало каким-то едким лекарством; не задерживаясь долее, Грета взяла столько пузырьков, сколько могла захватить, и побежала к матери; дверь она захлопнула ногой. Теперь Грегор оказался отрезан от матери, которая по его вине была, возможно, близка к смерти; он не должен был открывать дверь, если не хотел прогнать сестру, а сестре следовало находиться с матерью; теперь ему ничего не оставалось, кроме как ждать; и, казнясь раскаянием и тревогой, он начал ползать, облазил все: стены, мебель и потолок — и наконец, когда вся комната уже завертелась вокруг него, в отчаянии упал на середину большого стола.

Прошло несколько мгновений. Грегор без сил лежал на столе, кругом было тихо, возможно, это был добрый знак. Вдруг раздался звонок. Прислуга, конечно, заперлась у себя в кухне, и открывать пришлось Грете. Это вернулся отец.

— Что случилось? — были его первые слова; должно быть, вид Греты все ему выдал. Грета отвечала глухим голосом, она, очевидно, прижалась лицом к груди отца:

— Мама упала в обморок, но ей уже лучше. Грегор вырвался.

— Ведь я же этого ждал, — сказал отец, — ведь я же

вам всегда об этом твердил, но вы, женщины, никого не слушаете.

Грегору было ясно, что отец, превратно истолковав слишком скупые слова Греты, решил, что Грегор пустил в ход силу. Поэтому теперь Грегор должен был попытаться как-то смягчить отца, ведь объясниться с ним у него не было ни времени, ни возможности. И подбежав к двери своей комнаты, он прижался к ней, чтобы отец, войдя из передней, сразу увидел, что Грегор исполнен готовности немедленно вернуться к себе и что не нужно, следовательно, гнать его назад, а достаточно просто отворить дверь — и он сразу исчезнет.

Но отец был не в том настроении, чтобы замечать подобные тонкости.

— А! — воскликнул он, как только вошел, таким тоном, словно был одновременно зол и рад. Грегор отвел голову от двери и поднял ее навстречу отцу. Он никак не представлял себе отца таким, каким сейчас увидел его; правда, в последнее время, начав ползать по всей комнате, Грегор уже не следил, как прежде, за происходившим в квартире и теперь, собственно, не должен был удивляться никаким переменам. И все же, и все же — неужели это был отец? Тот самый человек, который прежде устало зарывался в постель, когда Грегор отправлялся в деловые поездки; который в вечера приездов встречал его дома в халате и, не в состоянии встать с кресла, только приподнимал руки в знак радости; а во время редких совместных прогулок в какое-нибудь воскресенье или по большим праздникам в наглухо застегнутом старом пальто, осторожно выставляя вперед костылик, шагал между Грегором и матерью, — которые и сами-то двигались медленно, — еще чуть-чуть медленней, чем они, и если хотел что-либо сказать, то почти всегда останавливался, чтобы собрать около себя своих провожатых. Сейчас он был довольно-таки

осанист; на нем был строгий синий мундир с золотыми пуговицами, какие носят банковские рассыльные; над высоким тугим воротником нависал жирный двойной подбородок; черные глаза глядели из-под кустистых бровей внимательно и живо; обычно растрепанные, седые волосы были безукоризненно причесаны на пробор и напомажены. Он бросил на диван, дугой через всю комнату, свою фуражку с золотой монограммой какого-то, вероятно, банка и, спрятав руки в карманы брюк, отчего фалды длинного его мундира отогнулись назад, двинулся на Грегора с искаженным от злости лицом. Он, видимо, и сам не знал, как поступит; но он необычно высоко поднимал ноги, и Грегор поразился огромному размеру его подошв. Однако Грегор не стал мешкать, ведь он же с первого дня новой своей жизни знал, что отец считает единственно правильным относиться к нему с величайшей строгостью. Поэтому он побежал от отца, останавливаясь, как только отец останавливался, и спеша вперед, стоило лишь пошевелиться отцу. Так сделали они несколько кругов по комнате без каких-либо существенных происшествий, и так как двигались они медленно, все это даже не походило на преследование. Поэтому Грегор пока оставался на полу, боясь к тому же, что если он вскарабкается на стену или на потолок, то это покажется отцу верхом наглости. Однако Грегор чувствовал, что даже и такой беготни он долго не выдержит; ведь если отец делал один шаг, то ему, Грегору, приходилось проделывать за это же время бесчисленное множество движений. Одышка становилась все ощутимее, а ведь на его легкие нельзя было вполне полагаться и прежде. И вот, когда он, еле волоча ноги и едва открывая глаза, пытался собрать все силы для бегства, не помышляя в отчаянии ни о каком другом способе спасения и уже почти забыв, что может воспользоваться стенами, заставленными здесь, правда, затейливой резной

мебелью со множеством острых выступов и зубцов, — вдруг совсем рядом с ним упал и покатился впереди него какой-то брошенный сверху предмет. Это было яблоко; вдогонку за первым тотчас же полетело второе; Грегор в ужасе остановился; бежать дальше было бессмысленно, ибо отец решил бомбардировать его яблоками. Он наполнил карманы содержимым стоявшей на буфете вазы для фруктов и теперь, не очень-то тщательно целясь, швырял одно яблоко за другим. Как наэлектризованные, эти маленькие красные яблоки катались по полу и сталкивались друг с другом. Одно легко брошенное яблоко задело Грегору спину, но скатилось, не причинив ему вреда. Зато другое, пущенное сразу вслед, накрепко застряло в спине у Грегора. Грегор хотел отползти подальше, как будто перемена места могла унять внезапную невероятную боль; но он почувствовал себя словно бы пригвожденным к полу и растянулся, теряя сознание. Он успел увидеть только, как распахнулась дверь его комнаты и в гостиную, опережая кричавшую что-то сестру, влетела мать в нижней рубашке — сестра раздела ее, чтобы облегчить ей дыхание во время обморока; как мать подбежала к отцу и с нее, одна за другой, свалились на пол развязанные юбки и как она, спотыкаясь о юбки, бросилась отцу на грудь и, обнимая его, целиком слившись с ним, — но тут зрение Грегора уже отказало, — охватив ладонями затылок отца, взмолилась, чтобы он сохранил Грегору жизнь.

### III

Тяжелое ранение, от которого Грегор страдал более месяца (яблоко никто не отважился удалить, и оно так и осталось в теле наглядной памяткой), тяжелое это ранение напомнило, кажется, даже отцу, что, несмотря на свой

нынешний плачевный и омерзительный облик, Грегор все-таки член семьи, что с ним нельзя обращаться как с врагом, а нужно во имя семейного долга подавить отвращение и терпеть, только терпеть.

И если из-за своей раны Грегор навсегда, вероятно, утратил прежнюю подвижность и теперь, чтобы пересечь комнату, ему, как старому инвалиду, требовалось несколько долгих-предолгих минут — о том, чтобы ползать вверх, нечего было и думать, — то за это ухудшение своего состояния он был, по его мнению, вполне вознагражден тем, что под вечер всегда отворялась дверь гостиной, дверь, за которой он начинал следить часа за два до этого, и, лежа в темноте своей комнаты, не видимый из гостиной, он мог видеть сидевших за освещенным столом родных и слушать их речи, так сказать, с общего разрешения, то есть совершенно иначе, чем раньше.

Это были, правда, уже не те оживленные беседы прежних времен, о которых Грегор всегда с тоской вспоминал в каморках гостиниц, когда падал, усталый, на влажную постель. Чаще всего бывало очень тихо. Отец вскоре после ужина засыпал в своем кресле; мать и сестра старались хранить тишину; мать, сильно нагнувшись вперед, ближе к свету, шила тонкое белье для магазина готового платья; сестра, поступившая в магазин продавщицей, занималась по вечерам стенографией и французским языком, чтобы, может быть, когда-нибудь позднее добиться лучшего места. Иногда отец просыпался и, словно не заметив, что спал, говорил матери: «Как ты сегодня опять долго шьешь!» — после чего тотчас же засыпал снова, а мать и сестра устало улыбались друг другу.

С каким-то упрямством отец отказывался снимать и дома форму рассыльного; и в то время как его халат без пользы висел на крючке, отец дремал на своем месте совершенно одетый, словно всегда был готов к службе и

даже здесь только и ждал голоса своего начальника. Из-за этого его и поначалу-то не новая форма, несмотря на заботы матери и сестры, утратила опрятный вид, и Грегор, бывало, целыми вечерами глядел на эту хоть и сплошь в пятнах, но сверкавшую неизменно начищенными пуговицами одежду, в которой старик весьма неудобно и все же спокойно спал.

Когда часы били десять, мать пыталась тихонько разбудить отца и уговорить его лечь в постель, потому что в кресле ему не удавалось уснуть тем крепким сном, в котором он, начинавший службу в шесть часов, крайне нуждался. Но из упрямства, завладевшего отцом с тех пор, как он стал рассыльным, он всегда оставался за столом, хотя, как правило, засыпал снова, после чего лишь с величайшим трудом удавалось убедить его перейти из кресла в кровать. Сколько ни уговаривали его мать и сестра, он не меньше четверти часа медленно качал головой, не открывая глаз и не поднимаясь. Мать дергала его за рукав, говорила ему на ухо ласковые слова, сестра отрывалась от своих занятий, чтобы помочь матери, но на отца это не действовало. Он только еще глубже опускался в кресло. Лишь когда женщины брали его под мышки, он открывал глаза, глядел попеременно то на мать, то на сестру и говорил: «Вот она, жизнь. Вот мой покой на старости лет». И, опираясь на обеих женщин, медленно, словно не мог справиться с весом собственного тела, поднимался, позволял им довести себя до двери, а дойдя до нее, кивал им, чтобы они удалились, и следовал уже самостоятельно дальше, однако мать в спехе бросала шитье, а сестра — перо, чтобы побежать за отцом и помочь ему улечься в постель.

У кого в этой переутомленной и надрывавшейся от трудов семье оставалось время печься о Грегоре больше, чем то было безусловно необходимо? Расходы на хозяйство



все больше сокращались; прислугу в конце концов считали; для самой тяжелой работы приходила теперь по утрам и по вечерам огромная костистая женщина с седыми развевающимися волосами; все остальное, помимо своей большой швейной работы, делала мать. Приходилось даже продавать семейные драгоценности, которые мать и сестра с великим удовольствием надевали прежде в торжественных случаях, — Грегор узнавал об этом по вечерам, когда все обсуждали вырученную сумму. Больше всего, однако, сетовали всегда на то, что эту слишком большую по теперешним обстоятельствам квартиру нельзя покинуть, потому что неясно, как переселить Грегора. Но Грегор понимал, что переселению мешает не только забота о нем, его-то можно было легко перевезти в каком-нибудь ящике с отверстиями для воздуха; удерживали семью от перемены квартиры главным образом полная безнадежность и мысль о том, что с ними стряслось такое несчастье, какого ни с кем из их знакомых и родственников никогда не случалось. Семья выполняла решительно все, чего требует мир от бедных людей, отец носил завтрак мелким банковским служащим, мать надрывалась за шитьем белья для чужих людей, сестра, повинувшись покупателям, сновала за прилавком, но на большее у них не хватало сил. И рана на спине Грегора каждый раз начинала болеть заново, когда мать и сестра, уложив отца, возвращались в гостиную, но не брались за работу, а садились рядом, щека к щеке; когда мать, указывая на комнату Грегора, говорила теперь: «Закрой ту дверь, Грета» — и Грегор опять оказывался в темноте, а женщины за стеной вдвоем проливали слезы или сидели, уставясь в одну точку, без слез.

Ночи и дни Грегор проводил почти совершенно без сна. Иногда он думал, что вот откроется дверь и он снова, совсем как прежде, возьмет в свои руки дела семьи; в

мыслях его после долгого перерыва вновь появлялись хозяин и управляющий, коммивояжеры и ученики-мальчики болван-дворник, два-три приятеля из других фирм, горничная из одной провинциальной гостиницы — милое мимолетное воспоминание, кассирша из одного шляпного магазина, за которой он всерьез, но слишком долго ухаживал, — все они появлялись попеременно с незнакомыми или уже забытыми людьми, но вместо того, чтобы помочь ему и его семье, оказывались, все как один, неприступны, и он бывал рад, когда они исчезали. А потом он опять терял всякую охоту заботиться о семье, его охватывало возмущение плохим уходом, и, не представляя себе, чего бы ему хотелось съесть, он замыслил забраться в кладовку, чтобы взять все, что ему, хотя бы он и не был голоден, причиталось. Уже не раздумывая, чем бы доставить Грегору особое удовольствие, сестра теперь утром и днем, прежде чем бежать в свой магазин, ногою запихивала в комнату Грегора какую-нибудь еду, чтобы вечером, независимо от того, притронется он к ней или — как бывало чаще всего — оставит ее нетронутой, одним взмахом веника вымести эту снесь. Уборка комнаты, которой сестра занималась теперь всегда по вечерам, проходила как нельзя более быстро. По стенам тянулись грязные полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора. Первое время при появлении сестры Грегор забивался в особенно запущенные углы, как бы упрекая ее таким выбором места. Но если бы он даже стоял там неделями, сестра все равно не исправилась бы; она же видела грязь ничуть не хуже, чем он, она просто решила оставить ее. При этом она с совершенно не свойственной ей в прежние времена обидчивостью, овладевшей теперь вообще всей семьей, следила за тем, чтобы уборка комнаты Грегора оставалась только ее, сестры, делом. Однажды мать затеяла в комнате Грегора большую уборку, для чего извела несколько ведер

воды — такое обилие влаги было, кстати, неприятно Грегору, и, обидевшись, он неподвижно распластался на диване, — но мать была за это наказана. Как только сестра заметила вечером перемену в комнате Грегора, она, до глубины души оскорбившись, вбежала в гостиную и, несмотря на заклинания заламывавшей руки матери, разразилась рыданиями, на которые родители — отец, конечно, испуганно вскочил со своего кресла — глядели сначала беспомощно и удивленно; потом засуетились и они: отец, справа, стал упрекать мать за то, что она не предоставила эту уборку сестре; сестра же, слева, наоборот, кричала, что ей никогда больше не дадут убирать комнату Грегора; тем временем мать пыталась утащить в спальню отца, который от волнения совсем потерял власть над собой; сотрясаясь от рыданий, сестра колотила по столу своими маленькими кулачками; а Грегор громко шипел от злости, потому что никому не приходило в голову закрыть дверь и избавить его от этого зрелища и от этого шума.

Но даже когда сестре, измученной службой, надоело заботиться, как прежде, о Грегоре, матери не пришлось заменять ее, но без присмотра Грегор все-таки не остался. Теперь пришел черед служанки. Старая эта вдова, которая за долгую жизнь вынесла, вероятно, на своих могучих плечах немало горестей, в сущности не питала к Грегору отвращения. Без всякого любопытства она однажды случайно открыла дверь его комнаты и при виде Грегора, который, хотя его никто не гнал, от неожиданности забежал по полу, удивленно остановилась, сложив на животе руки. С тех пор она неизменно, утром и вечером, мимоходом приоткрывала дверь и заглядывала к Грегору. Сначала она даже подзывала его к себе словами, которые, вероятно, казались ей приветливыми, такими, например, как: «Поди-ка сюда, навозный жучок!» или: «Где наш жучище?» Грегор не отвечал ей, он не двигался с места,

словно дверь вовсе не открывалась. Лучше бы этой служанке приказали ежедневно убирать его комнату, вместо того чтобы позволять ей без толку беспокоить его, когда ей заблагорассудится! Как-то ранним утром — в стекла бил сильный дождь, должно быть, уже признак наступающей весны, — когда служанка начала обычную свою болтовню, Грегор до того разозлился, что, словно бы изговившись для нападения, медленно, впрочем, и нетвердо, повернулся к служанке. Та, однако, вместо того чтобы испугаться, только занесла вверх стоявший у двери стул и широко открыла при этом рот, и было ясно, что она намерена закрыть его не раньше, чем стул в ее руке опустится на спину Грегору.

— Значит, дальше не полезем? — спросила она, когда Грегор от нее отвернулся, и спокойно поставила стул в угол, на прежнее место.

Грегор теперь почти ничего не ел. Только когда он случайно проходил мимо приготовленной ему снеди, он для забавы брал кусок в рот, а потом, продержав его там несколько часов, большей частью выплевывал. Сперва он думал, что аппетит у него отбивает вид его комнаты, но как раз с переменами в своей комнате он очень быстро примирился. Сложилась уже привычка выставлять в эту комнату вещи, для которых не находилось другого места, а таких вещей было теперь много, потому что одну комнату сдали трем жильцам. Эти строгие люди — у всех троих, как углядел через щель Грегор, были окладистые бороды — педантично добивались порядка, причем порядка не только в своей комнате, но, коль скоро уж они здесь поселились, во всей квартире и, значит, особенно в кухне. Хлама, тем более грязного, они терпеть не могли. Кроме того, большую часть мебели они привезли с собой. По этой причине в доме оказалось много лишних вещей, которые нельзя было продать, но и жаль было выбросить.

Все они перекочевали в комнату Грегора. Равным образом — ящик для золы и мусорный ящик из кухни. Все хотя бы лишь временно ненужное служанка, которая всегда торопилась, просто швыряла в комнату Грегора; к счастью, Грегор обычно видел только выбрасываемый предмет и державшую его руку. Возможно, служанка и собиралась при случае водворить эти вещи на место или, наоборот, выбросить все разом, но пока они так и оставались лежать там, куда их однажды бросили, если только Грегор, пробираясь сквозь эту рухлядь, не сдвигал ее с места — сначала поневоле, так как ему негде было ползать, а потом со все возрастающим удовольствием, хотя после таких путешествий он часами не мог двигаться от смертельной усталости и тоски.

Так как жильцы порою ужинали дома, в общей гостиной, дверь гостиной в иные вечера оставалась запертой, но Грегор легко мирился с этим, тем более что даже и теми вечерами, когда она бывала отворена, часто не пользовался, а лежал, чего не замечала семья, в самом темном углу своей комнаты. Но однажды служанка оставила дверь в гостиную приоткрытой; приоткрытой осталась она и вечером, когда вошли жильцы и зажегся свет. Они уселись с того края стола, где раньше ели отец, мать и Грегор, развернули салфетки и взяли в руки ножи и вилки. Тотчас же в дверях появилась мать с блюдом мяса и сразу же за ней сестра — с полным блюдом картошки. От еды обильно шел пар. Жильцы нагнулись над поставленными перед ними блюдами, словно желая проверить их, прежде чем приступить к еде, и тот, что сидел посредине и пользовался, видимо, особым уважением двух других, и в самом деле разрезал кусок мяса прямо на блюде, явно желая определить, достаточно ли оно мягкое и не следует ли отослать его обратно. Он остался доволен, а мать и сестра, напряженно следившие за ним, с облегчением улыбнулись.

Сами хозяева ели на кухне. Однако, прежде чем отправиться на кухню, отец зашел в гостиную и, сделав общий поклон, с фуражкой в руках обошел стол. Жильцы дружно поднялись и что-то пробормотали в бороды. Оставшись затем одни, они ели в полном почти молчании. Грегору показалось странным, что из всех разнообразных шумов трапезы то и дело выделялся звук жующих зубов, словно это должно было показать Грегору, что для еды нужны зубы и что самые распрекрасные челюсти, если они без зубов, никуда не годятся. «Да ведь и я чего-нибудь съел бы, — озабоченно говорил себе Грегор, — но только не того, что они. Как много эти люди едят, а я погибаю!»

Именно в тот вечер — Грегор не помнил, чтобы за все это время он хоть раз слышал, как играет сестра, — из кухни донеслись звуки скрипки. Жильцы уже покончили с ужином, средний, достав газету, дал двум другим по листу, и теперь они сидели откинувшись и читали. Когда заиграла скрипка, они прислушались, поднялись и на цыпочках подошли к двери передней, где, сгрудившись, и остановились. По-видимому, их услышали на кухне, и отец крикнул:

— Может быть, музыка господам неприятна? Ее можно прекратить сию же минуту.

— Напротив, — сказал средний жилец, — не угодно ли барышне пройти к нам и поиграть в этой комнате, где, право же, гораздо приятнее и уютнее?

— О, пожалуйста! — воскликнул отец, словно на скрипке играл он.

Жильцы вернулись в гостиную и стали ждать. Вскоре явились отец с пюпитром, мать с нотами и сестра со скрипкой. Сестра спокойно занялась приготовлениями к игре; родители, никогда прежде не сдававшие комнат и потому обращавшиеся с жильцами преувеличенно вежливо, не осмелились сесть на свои собственные стулья; отец прислонился к двери, засунув правую руку за борт застегнутой

ливрен, между двумя пуговицами; мать же, которой один из жильцов предложил стул, оставила его там, куда тот его случайно поставил, а сама сидела в сторонке, в углу.

Сестра начала играть. Отец и мать, каждый со своей стороны, внимательно следили за движениями ее рук. Грегор, привлеченный игрой, отважился продвинуться немного дальше обычного, и голова его была уже в гостиной. Он почти не удивлялся тому, что в последнее время стал относиться к другим не очень-то чутко; прежде эта чуткость была его гордостью. А между тем именно теперь у него было больше, чем когда-либо, оснований прятаться, ибо из-за пыли, лежавшей повсюду в его комнате и при малейшем движении поднимавшейся, он и сам тоже был весь покрыт пылью; на спине и на боках он таскал с собой нитки, волосы, остатки еды; слишком велико было его равнодушие ко всему, чтобы ложиться, как прежде, по нескольку раз в день на спину и чиститься о ковер. Но, несмотря на свой неопрятный вид, он не побоялся продвинуться вперед по сверкающему полу гостиной.

Впрочем, никто не обращал на него внимания. Родные были целиком поглощены игрой на скрипке, а жильцы, которые сначала, засунув руки в карманы брюк, стали у самого пюпитра сестры, откуда все они заглядывали в ноты, что, несомненно, мешало сестре, отошли вскоре, вполголоса переговариваясь и опустив головы, к окну, куда и бросал теперь озабоченные взгляды отец. Было и впрямь похоже на то, что они обманулись в своей надежде послушать хорошую, интересную игру на скрипке, что все это представление им наскучило и они уже лишь из вежливости поступались своим покоем. Особенно свидетельствовало об их большой нервозности то, как они выпустали вверх из ноздрей и изо рта дым сигар. А сестра играла так хорошо! Ее лицо склонилось набок, внимательно и печально следовал ее взгляд за нотными знаками. Грегор прополз еще

немного вперед и прижался головой к полу, чтобы получить возможность встретиться с ней глазами. Был ли он животным, если музыка так волновала его? Ему казалось, что перед ним открывается путь к желанной, неведомой пище. Он был полон решимости пробраться к сестре и, дернув ее за юбку, дать ей понять, чтобы она прошла со своей скрипкой в его комнату, ибо здесь никто не оценит ее игры так, как оценит эту игру он. Он решил не выпустить больше сестру из своей комнаты, по крайней мере до тех пор, покуда он жив; пусть ужасная его внешность сослужит ему наконец службу; ему хотелось, появляясь у всех дверей своей комнаты одновременно, шипением отпугивать всякого, кто подступится к ним; но сестра должна остаться у него не по принуждению, а добровольно; пусть она сядет рядом с ним на диван и склонит к нему ухо, и тогда он поведает ей, что был твердо намерен определить ее в консерваторию и что об этом, не случись такого несчастья, он еще в прошлое рождество — ведь рождество, наверно, уже прошло? — всем заявил бы, не боясь ничьих и никаких возражений. После этих слов сестра, растроганная, заплакала бы, а Грегор поднялся бы к ее плечу и поцеловал бы ее в шею, которую она, как поступила на службу, не закрывала ни воротниками, ни лентами.

— Господин Замза! — крикнул средний жилец отцу и, не тратя больше слов, указал пальцем на медленно продвигавшегося вперед Грегора. Скрипка умолкла, средний жилец сначала улыбнулся, сделав знак головой друзьям, а потом снова взглянул на Грегора. Отец, по-видимому, счел более необходимым, чем прогонять Грегора, успокоить сначала жильцов, хотя те вовсе не волновались и Грегор занимал их, казалось, больше, нежели игра на скрипке. Отец поспешил к ним, стараясь своими широко разведенными руками оттеснить жильцов в их комнату и одновременно заслонить от их глаз Грегора своим туло-



вищем. Теперь они и в самом деле начали сердиться — то ли из-за поведения отца, то ли обнаружив, что жили, не подозревая о том, с таким соседом, как Грегор. Они требовали от отца объяснений, поднимали в свою очередь руки, теребили бороды и лишь медленно отступали к своей комнате. Между тем сестра преодолела растерянность, в которую впала оттого, что так внезапно прервали ее игру; несколько мгновений она держала в бессильно повисших руках смычок и скрипку и, словно продолжая играть, по-прежнему глядела на ноты, а потом вдруг встрепенулась и, положив инструмент на колени матери — та все еще сидела на своем стуле, пытаясь преодолеть приступ удушья глубокими вздохами, — побежала в смежную комнату, к которой под натиском отца быстро приближались жильцы. Видно было, как под опытными руками сестры взлетают и укладываются одеяла и пуховики на кроватях. Прежде чем жильцы достигли своей комнаты, сестра кончила стелить постели и выскользнула оттуда. Отцом, видимо, снова настолько овладело его упрямство, что он забыл о всякой почтительности, с которой как-никак обязан был относиться к своим жильцам. Он все оттеснял и оттеснял их, покуда уже в дверях комнаты средний жилец не топнул громко ногой и не остановил этим отца.

— Позвольте мне заявить, — сказал он, подняв руку и поискав глазами также мать и сестру, — что ввиду мерзких порядков, царящих в этой квартире и в этой семье, — тут он решительно плюнул на пол, — я наотрез отказываюсь от комнаты. Разумеется, я ни гроша не заплачу и за те дни, что я здесь прожил, напротив, я еще подумаю, не предьявить ли мне вам каких-либо претензий, смею вас заверить, вполне обоснованных.

Он умолк и пристально посмотрел вперед, словно чего-то ждал. И действительно, оба его друга тотчас же подали голос:

— Мы тоже наотрез отказываемся.

После этого он взялся за дверную ручку и с шумом хлопнул дверь.

Отец ощупью проковылял к своему креслу и повалился в него; с первого взгляда можно было подумать, что он расположился, как обычно, вздремнуть, но по тому, как сильно и словно бы неудержимо качалась у него голова, видно было, что он вовсе не спал. Грегор все время неподвижно лежал на том месте, где его застигли жильцы. Разочарованный неудачей своего плана, а может быть, и от слабости после долгого голодания, он совсем утратил способность двигаться. Он не сомневался, что с минуты на минуту на него обрушится всеобщее негодование, и ждал. Его не испугнула даже скрипка, которая, выскользнув из дрожащих пальцев матери, упала с ее колен и издала глухий звук.

— Дорогие родители, — сказала сестра, хлопнув, чтобы призвать к вниманию, рукою по столу, — так жить дальше нельзя. Если вы этого, может быть, не понимаете, то я это понимаю. Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только: мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах, мы ухаживали за ним и терпели его, нас, по моему, нельзя ни в чем упрекнуть.

— Она тысячу раз права, — сказал отец тихо.

Мать, которая все еще задыхалась, начала глухо кашлять в кулак с безумным выражением глаз.

Сестра поспешила к матери и придержала ей голову ладонью. Отец, которого слова сестры навели, казался, на какие-то более определенные мысли, выпрямился в кресле; он играл своей форменной фуражкой, лежавшей на столе среди все еще неубранных после ужина тарелок, и время от времени поглядывал на притихшего Грегора.

— Мы должны попытаться избавиться от него, — ска-

зала сестра, обращаясь только к отцу, ибо мать ничего не слышала за своим кашлем, — оно вас обоих погубит, вот увидите. Если так тяжело трудишься, как мы все, невмоготу еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше.

И она разразилась такими рыданиями, что ее слезы скатились на лицо матери, которое сестра принялась вытирать машинальным движением рук.

— Дитя мое, — сочувственно и с поразительным пониманием сказал отец, — но что же нам делать?

Сестра только пожала плечами в знак растерянности, которая — в противоположность прежней ее решимости — овладела ею, когда она плакала.

— Если бы он понимал нас... — полувопросительно сказал отец.

Сестра, продолжая плакать, резко махнула рукой в знак того, что об этом нечего и думать.

— Если бы он понимал нас, — повторил отец и закрыл глаза, разделяя убежденность сестры в невозможности этого, — тогда, может быть, с ним и удалось бы о чем-то договориться. А так...

— Пусть убирается отсюда! — воскликнула сестра — Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память. А так это животное преследует нас, прогоняет жильцов, явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу. Гляди, отец, — закричала она внезапно, — он уже опять принимается за свое!

И в совершенно непонятном Грегору ужасе сестра даже покинула мать, буквально оттолкнувшись от стула, словно

предпочитала пожертвовать матерью, но не оставаться рядом с Грегором, и поспешила к отцу, который, встревожившись только из-за ее поведения, тоже встал и протянул навстречу ей руки, как бы желая ее защитить.

Но ведь у Грегора и в мыслях не было пугать кого бы то ни было, а тем более сестру. Он просто начал поворачиваться, чтобы уползти в свою комнату, а это действительно сразу же бросилось в глаза, потому что из-за болезненного своего состояния он должен был при трудных поворотах помогать себе головой, неоднократно поднимая ее и стучаясь ею об пол. Он остановился и оглянулся. Добрые его намерения, казалось, были распознаны, испуг прошел. Теперь все смотрели на него молча и грустно. Мать полулежала на стуле, вытянув ноги, глаза ее были от усталости почти закрыты; отец и сестра сидели рядом, сестра обняла отца за шею.

«Наверно, мне уже можно повернуться», — подумал Грегор и начал свою работу снова. Он не мог не пыхтеть от напряжения и вынужден был то и дело отдыхать. Впрочем, его никто и не торопил, его предоставили самому себе. Закончив поворот, он сразу же пополз прямо. Он удивился большому расстоянию, отделявшему его от комнаты, и не мог понять, как он при своей слабости недавно еще умудрился проделать этот же путь почти незаметно. Заботясь только о том, чтобы поскорей доползти, он не замечал, что никакие слова, никакие возгласы родных ему уже не мешают. Лишь оказавшись в дверях, он повернул голову, не полностью, потому что почувствовал, что шея у него деревенеет, но достаточно, чтобы увидеть, что позади него ничего не изменилось и только сестра встала. Последний его взгляд упал на мать, которая теперь совсем спала.

Как только он оказался в своей комнате, дверь поспешно захлопнули, заперли на задвижку, а потом и на ключ. Внезапного шума, раздавшегося сзади, Грегор испу-

гался так, что у него подкосились лапки. Это сестра так спешила. Она уже стояла наготове, потом легко метнулась вперед — Грегор даже не слышал, как она подошла, — и, крикнув родителям: «Наконец-то!» — повернула ключ в замке.

«А теперь что?» — спросил себя Грегор, озираясь в темноте. Вскоре он обнаружил, что вообще уже не может шевелиться. Он этому не удивился, скорее ему показалось неестественным, что до сих пор он ухитрялся передвигаться на таких тонких ножках. В остальном ему было довольно покойно. Он чувствовал, правда, боль во всем теле, но ему показалось, что она постепенно слабеет и наконец вовсе проходит. Сгнившего яблока в спине и образовавшегося вокруг него воспаления, которое успело покрыться пылью, он уже почти не ощущал. О своей семье он думал с нежностью и любовью. Он тоже считал, что должен исчезнуть, считал, пожалуй, еще решительней, чем сестра. В этом состоянии чистого и мирного раздумья он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его помимо его воли совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз.

Когда рано утром пришла служанка — торопясь, дюжая эта женщина, сколько ее ни просили не поднимать шума, хлопала дверьми так, что с ее приходом в квартире уже прекращался спокойный сон, — она, заглянув, как всегда, к Грегору, ничего особенного сначала не заметила. Она решила, что это он нарочно лежит так неподвижно, притворяясь обиженным: в смывшенности его она не сомневалась. Поскольку в руке у нее случайно был длинный веник, она попыталась пощекотать им Грегора, стоя в дверях. Но так как и это не оказало ожидаемого действия, она, рассердившись, легонько толкнула Грегора и насторожилась только тогда, когда, не встретив никакого сопротивления,

сдвинула его с места. Поняв вскоре, что произошло, она сделала большие глаза, присвистнула, но не стала медлить, а рванула дверь спальни и во весь голос крикнула в темноту:

— Поглядите-ка, оно издохло, вот оно лежит совсем-совсемдохлое!

Сидя в супружеской постели, супруги Замза сначала с трудом преодолели испуг, вызванный у них появлением служанки, а потом уже восприняли смысл ее слов. Восприняв же его, господин и госпожа Замза, каждый со своего края, поспешно встали с постели, господин Замза накинул на плечи одеяло, госпожа Замза поднялась в одной ночной рубашке; так вошли они в комнату Грегора. Тем временем отворилась и дверь гостиной, где ночевала, с тех пор как появились жильцы, Грета; она была совсем одета, как если бы не спала, да и бледность ее лица говорила о том же.

— Умер? — сказала госпожа Замза, вопросительно глядя на служанку, хотя могла сама это проверить и даже без проверки понять.

— О том и твержу, — сказала служанка и в доказательство оттолкнула веником труп Грегора еще дальше в сторону. Госпожа Замза сделала такое движение, словно хотела задержать веник, однако же не задержала его.

— Ну в о т, — сказал господин З а м з а, — теперь мы можем поблагодарить бога.

Он перекрестился, и три женщины последовали его примеру. Грета, которая не спускала глаз с трупа, сказала:

— Поглядите только, как он исхудал. Ведь он так давно ничего не ел. Что ему ни приносили из еды, он ни к чему не притрагивался.

Тело Грегора и в самом деле было совершенно сухим и плоским, это стало по-настоящему видно только теперь, когда его уже не приподнимали ножки, да и вообще ничего больше не отвлекало взгляда.

— Зайди к нам на минутку, Грета, — сказала госпожа Замза с печальной улыбкой, и Грета, не переставая оглядываться на труп, пошла за родителями в спальню. Служанка закрыла дверь и распахнула настежь окно. Несмотря на ранний час, свежий воздух был уже тепловат. Стоял конец марта.

Трое жильцов вышли из своей комнаты и удивились, не увидев завтрака: о них забыли.

— Где завтрак? — угрюмо спросил служанку средний.

Но служанка, приложив палец к губам, стала быстро и молча кивать жильцам, чтобы они вошли в комнату Грегора. Они вошли туда и в уже совсем светлой комнате обступили труп Грегора, спрятав руки в карманах потертых своих пиджачков.

Тут отворилась дверь спальни и появился господин Замза в ливрее и с ним под руку с одной стороны жена, а с другой — дочь. У всех были немного заплаканные глаза; Грета нет-нет да прижималась лицом к плечу отца.

— Сейчас же оставьте мою квартиру! — сказал господин Замза и указал на дверь, не отпуская от себя обеих женщин.

— Что вы имеете в виду? — несколько смущенно сказал средний жилец и льстиво улыбнулся. Два других, заложив руки за спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, сулящего, однако, благоприятный исход.

— Я имею в виду именно то, что с к а з а л, — ответил господин Замза и бок о бок со своими спутницами подошел к жильцу. Тот несколько мгновений постоял молча, глядя в пол, словно у него в голове все перестраивалось.

— Ну что же, тогда мы уйдем, — сказал он затем и поглядел на господина Замзу так, словно, внезапно смирившись, ждал его согласия даже и в этом случае.

Господин Замза только несколько раз коротко кивнул

ему, вытаращив глаза. После этого жилец и в самом деле тотчас направился широким шагом в переднюю; оба его друга, которые, прислушиваясь, уже перестали потирать руки, пустились за ним прямо-таки вприпрыжку, словно боялись, что господин Замза пройдет в переднюю раньше, чем они, и отрежет их от их жоака. В передней все три жильца сняли с вешалки шляпы, вытащили из подставки для тростей трости, молча поклонились и покинули квартиру. С каким-то, как оказалось, совершенно необоснованным недоверием господин Замза вышел с обеими женщинами на лестничную площадку; облокотясь на перила, они глядели, как жильцы медленно, правда, но неуклонно спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять; чем дальше уходили они вниз, тем меньше занимали они семью Замзы, а когда, сначала навстречу им, а потом высоко над ними, стал, щеголяя осанкой, подниматься с корзиной на голове подручный из мясной, господин Замза и женщины покинули площадку и все с каким-то облегчением вернулись в квартиру.

Они решили посвятить сегодняшний день отдыху и прогулке; они не только заслуживали этого перерыва в работе, он был им просто необходим. И поэтому они сели за стол и написали три объяснительных письма: господин Замза — своей дирекции, госпожа Замза — своему работодателю, а Грета — своему шефу. Покуда они писали, вошла служанка сказать, что она уходит, так как утренняя ее работа выполнена. Писавшие сначала только кивнули, не поднимая глаз, но когда служанка, вместо того чтобы удалиться, осталась на месте, на нее недовольно взглянули.

— Ну? — спросил господин Замза.

Служанка, улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, как будто у нее была для семьи какая-то счастливая новость, сообщить которую она собиралась только после



упорных расспросов. Почти вертикальное страусовое перышко на ее шляпе, всегда раздражавшее господина Замзу, покачивалось во все стороны.

— Так что же вам нужно? — спросила госпожа Замза, к которой служанка относилась все-таки наиболее почтительно.

— Да, — отвечала служанка, давясь от добродушного смеха, — насчет того, как убраться, можете не беспокоиться. Уже все в порядке.

Госпожа Замза и Грета склонились над своими письмами, словно намереваясь писать дальше; господин Замза, который заметил, что служанка собирается рассказать все подробно, решительно отклонил это движением руки. И так как ей не дали говорить, служанка вспомнила, что она очень торопится, крикнула с явной обидой: «Счастливо оставаться!» — резко повернулась и покинула квартиру, неистово хлопая дверьми.

— Вечером она будет уволена, — сказал господин Замза, но не получил ответа ни от жены, ни от дочери, ибо служанка нарушила их едва обретенный покой. Они поднялись, подошли к окну и, обнявшись, остановились там. Господин Замза повернулся на стуле в их сторону и несколько мгновений молча глядел на них. Затем он воскликнул:

— Подите же сюда! Забудьте наконец старое. И хоть немного подумайте обо мне.

Женщины тотчас повиновались, поспешили к нему, приласкали его и быстро закончили свои письма.

Затем они покинули квартиру все вместе, чего уже много месяцев не делали, и поехали на трамвае за город. Вагон, в котором они сидели одни, был полон теплого солнца. Удобно откинувшись на своих сиденьях, они обсуждали виды на будущее, каковые при ближайшем рассмотрении оказались совсем не плохими, ибо служба, о

которой они друг друга до сих пор, собственно, и не спрашивали, была у всех у них на редкость удобная, а главное — она многое обещала в дальнейшем. Самым существенным образом улучшить их положение легко могла сейчас, конечно, перемена квартиры; они решили снять меньшую и более дешевую, но зато более уютную и вообще более подходящую квартиру, чем теперешняя, которую выбрал еще Грегор. Когда они так беседовали, господину и госпоже Замза при виде их все более оживлявшейся дочери почти одновременно подумалось, что, несмотря на все горести, покрывшие бледностью ее щеки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчетно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы в утверждение их новых мечтаний и прекрасных намерений, дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело.

## В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ



то особого рода а п п а р а т, — сказал офицер ученому-путешественнику, не без любования оглядывая, конечно же, отлично знакомый ему аппарат. Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать при исполнении приговора, вынесенного одному солдату за непослушание и оскорбление начальника. Да и в исправительной колонии предстоявшая экзекуция большого интереса, по-видимому, не вызывала. Во всяком случае, здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине, замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и путе-

шественника, находились только двое: осужденный — туповатый, широкоротый малый с нечесаной головой и небритым лицом, — и солдат, не выпускавший из рук тяжелой цепи, к которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от лодыжек и шеи осужденного и скрепленные вдобавок соединительными цепочками. Между тем во всем облике осужденного была такая собачья покорность, что казалось, его можно отпустить прогуляться по косогорам, а стоит только свистнуть перед началом экзекуции, и он явится.

Путешественник не проявлял к аппарату интереса и прохаживался позади осужденного явно безучастно, тогда как офицер, делая последние приготовления, то залезал под аппарат, в котлован, то поднимался по трапу, чтобы осмотреть верхние части машины. Работы эти можно было, собственно, поручить какому-нибудь механику, но офицер выполнял их с великим усердием — то ли он был особым приверженцем этого аппарата, то ли по каким-то другим причинам никому больше нельзя было доверить эту работу.

— Ну, вот и все! — воскликнул он наконец и слез с трапа. Он был чрезвычайно утомлен, дышал, широко открыв рот, а из-под воротника мундира у него торчали два дамских носовых платочка.

— Эти мундиры, пожалуй, слишком тяжелы для тропиков, — сказал путешественник, вместо того чтобы, как ожидал офицер, справиться об аппарате.

— Конечно, — сказал офицер и стал мыть выпачканные смазочным маслом руки в приготовленной бадейке с водой, — но это знак родины, мы не хотим терять родину. Но поглядите на этот аппарат, — прибавил он сразу же и, вытирая руки полотенцем, указал на аппарат. — До сих пор нужно было работать вручную, а сейчас аппарат будет действовать уже совершенно самостоятельно.

Путешественник кивнул и поглядел туда, куда указы-

вал офицер. Тот пожелал застраховать себя от всяких случайностей и сказал:

— Бывают, конечно, неполадки: надеюсь, правда, что сегодня дело обойдется без них, но к ним все-таки надо быть готовым. Ведь аппарат должен работать двенадцать часов без перерыва. Но если и случатся неполадки, то самые незначительные, и они будут немедленно устранены... Не хотите ли присесть? — спросил он наконец и, вытащив из груды плетеных кресел одно, предложил его путешественнику; тот не смог отказаться.

Теперь, сидя у края котлована, он мельком туда заглянул. Котлован был не очень глубокий. С одной его стороны лежала насыпью вырытая земля, с другой стороны стоял аппарат.

— Не знаю, — сказал офицер, — объяснил ли вам уже комендант устройство этого аппарата.

Путешественник неопределенно махнул рукой; офицеру больше ничего и не требовалось, ибо теперь он мог сам начать объяснения.

— Этот аппарат, — сказал он и потрогал шатун, на который затем оперся, — изобретение прежнего нашего коменданта. Я помогал ему, начиная с самых первых опытов. И участвовал во всех работах вплоть до их завершения. Но заслуга этого изобретения принадлежит ему одному. Вы слышали о нашем прежнем коменданте? Нет? Ну, так я не преувеличу, если скажу, что структура всей этой исправительной колонии — его дело. Мы, его друзья, знали уже в час его смерти, что структура этой колонии настолько целостна, что его преемник, будь у него в голове хоть тысяча новых планов, никак не сможет изменить старый порядок по крайней мере в течение многих лет. И наше предвидение сбылось, новому коменданту пришлось это признать. Жаль, что вы не знали нашего прежнего коменданта!.. Однако, — прервал себя офицер, — я

заболтался, а наш аппарат — вот он, стоит перед нами. Он состоит, как вы видите, из трех частей. Постепенно каждая из этих частей получила довольно-таки просторечное наименование. Нижнюю часть прозвали лежаком, верхнюю — разметчиком, а вот эту, среднюю, висячую, — бороной.

— Бороной? — спросил путешественник.

Он не очень внимательно слушал, солнце в этой лишенной тени долине палило слишком жарко, и сосредоточиться было трудно. Тем больше удивлял его офицер, который, хотя на нем был тесный, парадный, отягощенный эполетами и увешанный аксельбантами мундир, так ревностно давал объяснения и, кроме того, продолжая говорить, еще нет-нет да подтягивал ключом гайку то тут, то там. В том же состоянии, что и путешественник, был, кажется, и солдат. Намотав цепь осужденного на запястья обеих рук, он оперся одной из них на винтовку и стоял, свесив голову, с самым безучастным видом. Путешественника это не удивляло, так как офицер говорил по-французски, а французской речи ни солдат, ни осужденный, конечно, не понимали. Но тем поразительней было, что осужденный все-таки старался следить за объяснениями офицера. С каким-то сонным упорством он все время направлял свой взгляд туда, куда в этот миг указывал офицер, а теперь, когда путешественник своим вопросом прервал офицера, осужденный, так же как офицер, поглядел на путешественника.

— Да, бороной, — сказал офицер. — Это название вполне подходит. Зубья расположены, как у бороны, да и вся эта штука работает, как борона, но только на одном месте и гораздо замысловатее. Впрочем, сейчас вы это поймете. Вот сюда, на лежак, кладут осужденного... Я сначала опишу аппарат, а уж потом приступлю к самой процедуре. Так вам будет легче за ней следить. К тому же одна ше-

стерня в разметчике сильно обточилась, она страшно скрежетет, когда вращается, и разговаривать тогда почти невозможно. К сожалению, запасные части очень трудно достать... Итак, это, как я сказал, лежак. Он сплошь покрыт слоем ваты, ее назначение вы скоро узнаете. На эту вату животом вниз кладут осужденного — разумеется, голого, — вот ремни, чтобы его привязать: для рук, для ног и для шеи. Вот здесь, в изголовье лежака, куда, как я сказал, приходится сначала лицо преступника, имеется небольшой войлочный шпенек, который можно легко отрегулировать, так чтобы он попал осужденному прямо в рот. Благодаря этому шпеньку осужденный не может ни кричать, ни прикусить себе язык. Преступник волей-неволей берет в рот этот войлок, ведь иначе шейный ремень переломит ему позвонки.

— Это вата? — спросил путешественник и наклонился вперед.

— Да, конечно, — сказал офицер, улыбаясь. — Пошупайте сами. — Он взял руку путешественника и провел ею по лежаку. — Эта вата особым образом препарирована, поэтому ее так трудно узнать; о ее назначении я еще скажу.

Путешественник уже немного заинтересовался аппаратом; защитив глаза от солнца рукою, он смотрел на аппарат снизу вверх. Это было большое сооружение. Лежак и разметчик имели одинаковую площадь и походили на два темных ящика. Разметчик был укреплен метра на два выше лежака и соединялся с ним по углам четырьмя латунными штангами, которые прямо-таки лучились на солнце. Между ящиками на стальном тросе висела борона.

Прежнего равнодушия путешественника офицер почти не замечал, но зато на интерес, пробудившийся в нем теперь, живо откликнулся, он приостановил даже свои объяснения, чтобы путешественник, не торопясь и без по-

мех, все рассмотрел. Осужденный подражал путешественнику; поскольку прикрыть глаза рукой он не мог, он моргал, глядя вверх незащищенными глазами.

— Итак, приговоренный лежит, — сказал путешественник и, развалившись в кресле, закинул ногу на ногу.

— Да, — сказал офицер и, сдвинув фуражку немного назад, провел ладонью по разгоряченному лицу. — А теперь послушайте! И в лежаке и в разметчике имеется по электрической батарее, в лежаке — для самого лежака, а в разметчике — для бороны. Как только осужденный привязан, приводится в движение лежак. Он слегка и очень быстро вибрирует, одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вы, конечно, видели подобные аппараты в лечебных заведениях, только у нашего лежака все движения точно рассчитаны: они должны быть строго согласованы с движениями бороны. Ведь на борону-то, собственно, и возложено исполнение приговора.

— А каков приговор? — спросил путешественник.

— Вы и этого не знаете? — удивленно спросил офицер, покусывая губы. — Извините, если мои объяснения сбивчивы, очень прошу простить меня. Прежде объяснения обычно давал комендант, однако новый комендант избавил себя от этой почетной обязанности; но что такого высокого гостя, — путешественник попытался обеими руками отклонить эту почесть, но офицер настоял на своем выражении, — что такого высокого гостя он не знакомит даже с формой нашего приговора, это еще одно нововведение, которое... — На языке у него вертелось проклятье, но он совладал с собой и сказал: — Меня об этом не предупредили, я не виноват. Впрочем, я лучше, чем кто-либо другой, смогу объяснить характер наших приговоров, ведь здесь, — он похлопал себя по нагрудному карману, — я ношу соответствующие чертежи, сделанные рукой прежнего коменданта.

— Рукой самого коменданта? — спросил путешественник. — Он что же, соединял в себе все? Он был и солдат, и судья, и конструктор, и химик, и чертежник?

— Так точно, — кивая головой, сказал офицер.

Он придирчиво поглядел на свои руки; они показались ему недостаточно чистыми, чтобы прикоснуться к чертежам, поэтому он подошел к бадейке и снова тщательно вымыл их.

Затем он извлек кожаный бумажник и сказал: — Наш приговор не суров. Борона записывает на теле осужденного ту заповедь, которую он нарушил. Например, у этого, — офицер указал на осужденного, — на теле будет написано: «Чти начальника своего!»

Путешественник мельком взглянул на осужденного; когда офицер указал на него, тот опустил голову и, казалось, предельно напряг слух, чтобы хоть что-нибудь понять. Но движения его толстых сомкнутых губ со всей очевидностью показывали, что он ничего не понимал. Путешественник хотел о многом спросить, но при виде осужденного спросил только:

— Знает ли он приговор?

— Н е т, — сказал офицер и приготовился продолжать объяснения, но путешественник прервал его:

— Он не знает приговора, который ему же и вынесли?

— Н е т, — сказал офицер, потом на мгновение запнулся, словно требуя от путешественника более подробного обоснования его вопроса, и затем сказал: — Было бы бесполезно объявлять ему приговор. Ведь он же узнает его собственным телом.

Путешественник хотел уже умолкнуть, как вдруг почувствовал, что осужденный направил взгляд на него; казалось, он спрашивал, одобряет ли путешественник описанную процедуру. Поэтому путешественник, который уже откинулся было в кресле, опять наклонился и спросил:



— Но что он вообще осужден — это хотя бы он знает?

— Нет, и этого он не знает, — сказал офицер и улыбнулся путешественнику, словно ожидая от него еще каких-нибудь странных открытий.

— Вот как, — сказал путешественник и провел рукой по лбу. — Но в таком случае он и сейчас еще не знает, как отнеслись к его попытке защититься?

— У него не было возможности защищаться, — оказал офицер и поглядел в сторону, как будто говорил сам с собой и не хотел смущать путешественника изложением этих обстоятельств.

— Но ведь, разумеется, у него должна была быть возможность защищаться, — сказал путешественник и поднялся с кресла.

Офицер испугался, что ему придется надолго прервать объяснения; он подошел к путешественнику и взял его под руку; указав другой рукой на осужденного, который теперь, когда на него так явно обратили внимание — да и солдат натянул цепь, — выпрямился, офицер сказал:

— Дело обстоит следующим образом. Я исполняю здесь, в колонии, обязанности судьи. Несмотря на мою молодость. Я и преждему коменданту помогал вершить правосудие и знаю этот аппарат лучше, чем кто бы то ни было. Вынося приговор, я придерживаюсь правила: «Винность всегда несомненна». Другие суды не могут следовать этому правилу, они коллегиальны и подчинены более высоким судебным инстанциям. У нас все иначе, во всяком случае, при прежнем коменданте было иначе. Новый, правда, пытается вмешиваться в мои дела, но до сих пор мне удавалось отражать эти попытки и, надеюсь, удастся в дальнейшем... Вы хотели, чтобы я объяснил вам данный случай; что ж, он так же прост, как любой другой. Сегодня утром один капитан доложил, что этот человек,

приставленный к нему денщиком и обязанный спать под его дверью, проспал службу. Дело в том, что ему положено вставать через каждый час, с боем часов, и отдавать честь перед дверью капитана. Обязанность, конечно, нетрудная, но необходимая, потому что денщик, который охраняет и обслуживает офицера, должен быть всегда начеку. Вчера ночью капитан пожелал проверить, выполняет ли денщик свою обязанность. Ровно в два часа он отворил дверь и увидел, что тот, съезжившись, спит. Капитан взял хлыст и полоснул его по лицу. Вместо того чтобы встать и попросить прощения, денщик схватил своего господина за ноги, стал трясти его и кричать: «Брось хлыст, а то убью!..» Вот вам и суть дела. Час назад капитан пришел ко мне, я записал его показания и сразу же вынес приговор. Затем я велел заковать денщика в цепи. Все это было очень просто. А если бы я сначала вызвал денщика и стал его допрашивать, получилась бы только путаница. Он стал бы лгать, а если бы мне удалось опровергнуть эту ложь, стал бы заменять ее новой и так далее. А сейчас он у меня в руках, и я его не выпущу... Ну, теперь все понятно? Время, однако, идет, пора бы уже начать экзекуцию, а я еще не объяснил вам устройство аппарата.

Он заставил путешественника снова сесть в кресло, подошел к аппарату и начал:

— Как видите, борона соответствует форме человеческого тела; вот борона для туловища, а вот бороны для ног. Для головы предназначен только этот небольшой резец. Вам ясно?

Он приветливо склонился перед путешественником, готовый к самым подробным объяснениям.

Путешественник, нахмурившись, глядел на борону. Сведения о здешнем судопроизводстве его не удовлетворили. Все же он твердил себе, что это как-никак исправительная колония, что здесь необходимы особые меры и

что приходится строго соблюдать военную дисциплину. Кроме того, он возлагал некоторые надежды на нового коменданта, который, при всей своей медлительности, явно намеревался ввести новое судопроизводство, которого этому узколобому офицеру никак не уразуметь. По ходу своих мыслей путешественник спросил:

— Будет ли комендант присутствовать при экзекуции?

— Это точно не известно, — сказал офицер, задетый этим внезапным вопросом, и приветливость исчезла с его лица. — Именно поэтому мы и должны поспешить. Мне очень жаль, но придется даже сократить объяснения. Однако завтра, когда аппарат очистят (большая загрязняемость — это единственный его недостаток), я мог бы объяснить все остальное. Итак, сейчас я ограничусь самым необходимым... Когда осужденный лежит на лежаке, а лежак приводится в колебательное движение, на тело осужденного опускается борона. Она автоматически настраивается так, что зубья ее едва касаются тела; как только настройка заканчивается, этот трос натягивается и становится несгибаем, как штанга. Тут-то и начинается. Никакого внешнего различия в наших экзекуциях непосвященный не усматривает. Кажется, что борона работает однотипно. Она, вибрируя, колет своими зубьями тело, которое в свою очередь вибрирует благодаря лежаку. Чтобы любой мог проверить исполнение приговора, борону сделали из стекла. Крепление зубьев вызвало некоторые технические трудности, но после многих опытов зубья все же удалось укрепить. Трудов мы не жалели. И теперь каждому видно через стекло, как наносится надпись на тело. Не хотите ли подойти поближе и посмотреть зубья?

Путешественник медленно поднялся, подошел к аппарату и наклонился над бороной.

— Вы видите, — сказал офицер, — два типа разнообразно расположенных зубьев. Возле каждого длинного

зубца имеется короткий. Длинный пишет, а короткий выпускает воду, чтобы смыть кровь и сохранить разборчивость надписи. Кровавая вода отводится по желобкам и стекает в главный желоб, а оттуда по сточной трубе в яму.

Офицер пальцем показал путь, каким идет вода. Когда он для большей наглядности подхватил у отвесного стока воображаемую струю обеими пригоршнями, путешественник поднял голову и, шаря рукой у себя за спиной, попятился было к креслу. Тут он, к ужасу своему, увидел, что и осужденный, подобно ему, последовал приглашению офицера осмотреть борону вблизи. Поташив за цепь зашпанного солдата, он тоже склонился над стеклом. Видно было, что и он тоже неуверенно искал глазами предмет, который рассматривали сейчас эти господа, и что без объяснений он не мог этого предмета найти. Он наклонялся и туда и сюда. Снова и снова пробегал он глазами по стеклу. Путешественник хотел отогнать его, ибо то, что он делал, вероятно, каралось. Но задержав путешественника одной рукой, офицер другой взял с насыпи ком земли и швырнул им в солдата. Солдат, востропавшись, поднял глаза, увидел, на что осмелился осужденный, бросил винтовку и, упершись каблуками в землю, так рванул осужденного назад, что тот сразу упал, а потом солдат стал глядеть сверху вниз, как он барахтается, гремя своими цепями.

— Поставь его на ноги! — крикнул офицер, заметив, что осужденный слишком уж отвлекает путешественника.

Наклонившись над бороной, путешественник даже не глядел на нее, а только ждал, что произойдет с осужденным.

— Обращайся с ним бережно! — крикнул офицер снова. Обежав аппарат, он сам подхватил осужденного под мышки и, хотя у того разъезжались ноги, поставил его с помощью солдата прямо.

— Ну, теперь мне уже все известно, — сказал путешественник, когда офицер возвратился к нему.

— Кроме самого главного, — сказал тот и, сжав локоть путешественника, указал вверх: — Там, в разметчике, находится система шестерен, которая определяет движение бороны, а устанавливается эта система по чертежу, предусмотренному приговором суда. Я пользуюсь еще чертежами прежнего коменданта. Вот они, — он вынул из бумажника несколько листков. — К сожалению, я не могу дать вам их в руки, это самая большая моя ценность. Садитесь, я покажу вам их отсюда, и вам будет все хорошо видно.

Он показал первый листок. Путешественник был бы рад сказать что-нибудь в похвалу, но перед ним были только похожие на лабиринт, многократно пересекающиеся линии такой густоты, что на бумаге почти нельзя было различить пробелов.

— Читайте, — сказал офицер.

— Не могу, — сказал путешественник.

— Но ведь написано разборчиво, — сказал офицер.

— Написано очень искусно, — уклончиво сказал путешественник, — но я не могу ничего разобрать.

— Да, — сказал офицер и, усмехнувшись, спрятал бумажник, — это не пропись для школьников. Нужно долго вчитываться. В конце концов разобрались бы и вы. Конечно, эти буквы не могут быть простыми; ведь они должны убивать не сразу, а в среднем через двенадцать часов; переломный час по расчету — шестой. Поэтому надпись в собственном смысле слова должна быть украшена множеством узоров; надпись как таковая опоясывает тело лишь узкой полоской; остальное место предназначено для узоров. Теперь вы можете оценить работу бороны и всего аппарата?.. Смотрите же!

Он вскочил на трап, повертел какое-то колесо, крикнул

вниз: «Внимание, отойдите в сторону!» — и все пришло в движение. Если бы одно из колес не лязгало, это было бы великолепно. словно бы сконфуженный этим злосчастным колесом, офицер погрозил ему кулаком, затем, как бы извиняясь перед путешественником, развел руками и торопливо спустился, чтобы наблюдать за работой аппарата снизу. была еще какая-то неполадка, заметная только ему; он снова поднялся, залез обеими руками внутрь разметчика, затем, быстроты ради, не пользуясь трапом, съехал по штанге и во весь голос, чтобы быть услышанным среди этого шума, стал кричать в ухо путешественнику:

— Вам понятно действие машины? Борона начинает писать; как только она заканчивает первую наколку на спине, слой ваты, вращаясь, медленно перекачивает тело на бок, чтобы дать бороне новую площадь. Тем временем исписанные в кровь места ложатся на вату, которая, будучи особым образом препарирована, тотчас же останавливает кровь и подготавливает тело к новому углублению надписи. Вот эти зубцы у края бороны срывают при дальнейшем перекачивании тела прилипшую к ранам вату и выбрасывают ее в яму, а потом борона снова вступает в действие. Так все глубже и глубже пишет она в течение двенадцати часов. Первые шесть часов осужденный живет почти так же, как прежде, он только страдает от боли. По истечении двух часов войлок изо рта вынимают, ибо у преступника уже нет сил кричать. Вот сюда, в эту миску у изголовья — она согревается электричеством, — накладывают теплой рисовой каши, которую осужденный при желании может слизнуть языком. Никто не пренебрегает этой возможностью. На моей памяти такого случая не было, а опыт у меня большой. Лишь на шестом часу у осужденного пропадает аппетит. Тогда я обычно становлюсь вот здесь на колени и наблюдаю за этим явлением. Он редко проглатывает последний комок каши — он толь-

ко немного повертит его во рту и выплюнет в яму. Приходится тогда наклоняться иначе он угодит мне в лицо. Но как затихает преступник на шестом часу! Просветленные мысли наступают и у самых тупых. Это начинается вокруг глаз. И отсюда распространяется. Это зрелище так соблазнительно, что ты готов сам лечь рядом под борону. Вообще-то ничего нового больше не происходит, просто осужденный начинает разбирать надпись, он сосредоточивается, как бы прислушиваясь. Вы видели, разобрать надпись нелегко и глазами; а наш осужденный разбирает ее своими ранами. Конечно, это большая работа, и ему требуется шесть часов для ее завершения. А потом борона целиком протыкает его и выбрасывает в яму, где он плюхается в кровавую воду и вату. На этом суд оканчивается, и мы, я и солдат, зарываем тело.

Склонив ухо к офицеру и засунув руки в карманы пиджака, путешественник следил за работой машины. Осужденный тоже следил за ней, но ничего не понимал. Он стоял, немного нагнувшись, и глядел на колеблющиеся зубья, когда солдат по знаку офицера разрезал ему сзади ножом рубаху и брюки, так что они упали на землю; осужденный хотел схватить падавшую одежду, чтобы прикрыть свою наготу, но солдат приподнял его и стряхнул с него последние лохмотья. Офицер настроил машину, и в наступившей тишине осужденного положили под борону. Цепи сняли, вместо них закрепили ремни; в первый миг это казалось чуть ли не облегчением для осужденного. Потом борона опустила еще немного, потому что этот человек был очень худ. Когда зубья коснулись осужденного, по коже у него пробежала дрожь; покуда солдат был занят правой его рукой, он вытянул левую, не глядя куда; но это было как раз то направление, где стоял путешественник. Офицер все время искоса глядел на путешественника, слово пытаясь определить по лицу иностранца,

какое впечатление производит на того экзекуция, с которой он его теперь хоть поверхностно познакомил.

Ремень, предназначенный для запястья, порвался — вероятно, солдат слишком сильно его натянул. Прося офицера помочь, солдат показал ему оторвавшийся кусок ремня. Офицер подошел к солдату и сказал, повернувшись лицом к путешественнику:

— Машина очень сложная, всегда что-нибудь может порваться или сломаться, но это не должно сбивать с толку при общей оценке. Для ремня, кстати сказать, замена найдется сразу — я воспользуюсь цепью; правда, вибрация правой руки будет уже не такой нежной.

И, закрепляя цепь, он добавил:

— Средства на содержание машины отпускаются теперь очень ограниченные. При прежнем коменданте я мог свободно распоряжаться суммой, выделенной специально для этой цели. Здесь был склад, где имелись всевозможные запасные части. Признаться, я их прямо-таки транжирил — транжирил, конечно, прежде, а вовсе не теперь, как то утверждает новый комендант, который только и ищет повода отменить старые порядки. Теперь деньгами, отпущенными на содержание машины, распоряжается он, и, посылая за новым ремнем, я должен представить в доказательство порванный, причем новый поступит только через десять дней и непременно низкого качества, никуда не годный. А каково мне тем временем без ремня управляться с машиной — это никого не трогает.

Путешественник думал: решительное вмешательство в чужие дела всегда рискованно. Он не был ни жителем этой колонии, ни жителем страны, которой она принадлежала. Вздумай он осудить, а тем более сорвать эту экзекуцию, ему сказали бы: ты иностранец, вот и помалкивай. На это он ничего не смог бы возразить, напротив, он смог бы только прибавить, что удивляется в данном



случае себе самому; ведь путешествует он лишь с познавательной целью, а вовсе не для того, чтобы менять судопроизводство в чужих странах. Но очень уж соблазнительна была здешняя обстановка. Несправедливость судопроизводства и бесчеловечность наказания не подлежали сомнению. Никто не мог заподозрить путешественника в своекорыстии: осужденный не был ни его знакомым, ни соотечественником, да и вообще не располагал к сочувствию. У путешественника же имелись рекомендации высоких учреждений, он был принят здесь чрезвычайно учтиво, и то, что его пригласили на эту экзекуцию, казалось, даже означало, что от него ждут отзыва о здешнем правосудии. Это было тем вероятнее, что нынешний комендант, в чем он, путешественник, теперь вполне удостоверился, не был сторонником такого судопроизводства и относился к офицеру почти враждебно.

Тут путешественник услышал крик взбешенного офицера. Тот наконец с трудом впихнул войлочный шпенек в рот осужденного, как вдруг осужденный, не в силах побороть тошноты, закрыл глаза и затрясся в рвоте. Офицер поспешно рванул его со шпенька вверх, чтобы повернуть голову к яме, но было поздно — нечистоты уже потекли по машине.

— Во всем виноват комендант! — кричал офицер, в неистовстве тряся штанги. — Машину загаживают, как свинарник.

Дрожащими руками он показал путешественнику, что произошло.

— Ведь я же часами втолковывал коменданту, что за день до экзекуции нужно прекращать выдачу пищи. Но сторонники нового, мягкого курса иного мнения. Перед уводом осужденного дамы коменданта пичкают его сладостями. Всю свою жизнь он питался тухлой рыбой, а теперь должен есть сласти. Впрочем, это еще куда ни шло,

с этим я примирился бы, но неужели нельзя приобрести новый войлок, о чем я уже три месяца прошу коменданта! Можно ли без отвращения взять в рот этот войлок, обсосанный и искусанный перед смертью доброй сотней людей?

Осужденный положил голову, и вид у него был самый мирный; солдат чистил машину рубашкой осужденного. Офицер подошел к путешественнику, который, о чем-то догадываясь, на шаг отступил, но офицер взял его за руку и потянул в сторону.

— Я хочу сказать вам несколько слов по секрету, — сказал он, — вы разрешите?

— Разумеется, — ответил путешественник, слушая его с опущенными глазами.

— Это правосудие и эта экзекуция, присутствовать при которой вам посчастливилось, в настоящее время уже не имеют в нашей колонии открытых приверженцев. Я единственный их защитник и одновременно единственный защитник старого коменданта. О дальнейшей разработке этого судопроизводства я теперь и думать не думаю, все мои силы уходят на сохранение того, что уже есть. При старом коменданте колония была полна его сторонников; сила убеждения, которой обладал старый комендант, отчасти у меня есть, однако его властью я не располагаю ни в какой мере; поэтому его сторонники притаились, их еще много, но все молчат. Если вы сегодня, в день казни, зайдете в кофейню и прислушаетесь к разговорам, вы услышите, наверно, только двусмысленные намеки. Это все сплошь сторонники старого, но при нынешнем коменданте и при нынешних его взглядах от них нет никакого толку. И вот я вас спрашиваю: неужели из-за этого коменданта и его женщин такое вот дело всей жизни, — он указал на машину, — должно погибнуть? Можно ли это допустить? Даже если вы иностранец и

приехали на наш остров лишь на несколько дней! А времени терять нельзя, против моей судебной власти что-то предпринимается; в комендатуре ведутся уже совещания, на которые меня не приглашают; даже сегодняшний ваш визит представляется мне показательным для общей обстановки; сами боятся и посылают сначала вас, иностранца... Как, бывало, проходила экзекуция в прежние времена! Уже за день до казни вся долина была запружена людьми; все приходили ради такого зрелища, рано утром появлялся комендант со своими дамами, фанфары будили лагерь, я отдавал рапорт, что все готово, собравшиеся — никто из высших чиновников не имел права отсутствовать — располагались вокруг машины. Эта кучка плетеных кресел — жалкий остаток от той поры. Начищенная машина сверкала, почти для каждой экзекуции я брал новые запасные части. На виду у сотен людей — зрители стояли на цыпочках вон до тех высоток — комендант собственноручно укладывал осужденного под борону. То, что сегодня делает простой солдат, было тогда моей, председателя суда, почетной обязанностью. И вот экзекуция начиналась! Никаких перебоев в работе машины никогда не бывало. Некоторые и вовсе не глядели на машину, а лежали с закрытыми глазами на песке; все знали: сейчас торжествует справедливость. В тишине слышны были только стоны осужденного, приглушенные войлоком. Нынче машине уже не удается выдавить из осужденного стон такой силы, чтобы его не смог заглушить войлок, а тогда пишущие зубья выпускали едкую жидкость, которую теперь не разрешается применять. Ну а потом наступал шестой час! Невозможно было удовлетворить просьбы всех, кто хотел поглядеть с близкого расстояния. Комендант благоразумно распоряжался пропускать детей в первую очередь; я, по своему положению, конечно, всегда имел доступ к самой машине; я часто сидел вон там на

корточках, держа на каждой руке по ребенку. Как ловили мы выражение просветленности на измученном лице, как подставляли мы лица сиянию этой наконец-то достигнутой и уже исчезающей справедливости! Какие это были времена, дружище!

Офицер явно забыл, кто перед ним стоит; он обнял путешественника и положил голову ему на плечо. Путешественник был в большом замешательстве, он нетерпеливо глядел мимо офицера. Солдат кончил чистить машину и вытряхнул из жестянки в миску еще немного рисовой каши. Как только осужденный, который, казалось, уже вполне оправился, это заметил, он стал тянуться языком к каше. Солдат то и дело его отталкивал, каша предназначалась, видимо, для более позднего времени, но, конечно, нарушением порядка было и то, что солдат запускал в кашу свои грязные руки и ел ее на глазах у голодного осужденного.

Офицер быстро овладел собой.

— Я вовсе не хотел вас растрогать, — сказал он, — я знаю, понять сегодня те времена невозможно. Вообще-то машина работает и говорит сама за себя. Она говорит сама за себя, даже если стоит одна в этой долине. И под конец тело все еще летит в яму по какой-то непостижимо плавной кривой, хотя у ямы, в отличие от тех времен, не лепятся, как мухи, сотни людей. Тогда нам приходилось ограждать яму крепкими перилами, теперь они давно сорваны.

Путешественник, чтобы спрятать от офицера лицо, бесцельно озирался по сторонам. Офицер решил, что тот смотрит, как пусто в долине; поэтому он схватил его за руки и, вертясь около него, чтобы поймать его взгляд, спросил:

— Вы видите этот позор?

Но путешественник промолчал. Офицер вдруг оставил его в покое; растопырив ноги, упершись руками в бока, он несколько мгновений неподвижно глядел в землю. Затем он ободряюще улыбнулся путешественнику и сказал:

— Вчера, когда комендант вас приглашал, я находил-ся неподалеку от вас. Я слышал это приглашение. Я знаю коменданта. Я сразу понял, зачем он вас приглашает; хотя он достаточно могуществен, чтобы выступить против меня, на это он еще не отваживается, но заручиться вашим отзывом обо мне, отзывом уважаемого иностранца, ему хочется. Его расчет точен: вы находитесь на нашем острове второй день, вы не знали старого коменданта и его образа мыслей, вы скованы европейскими традициями, может быть, вы принципиальный противник смертной казни вообще и такого механизированного исполнения приговора в частности; вы видите, наконец, что казнь совершается без публики, убого, на машине, уже немного изношенной. Разве все это вместе взятое (так думает комендант) не позволяет надеяться, что вы не одобрите моих действий? А если вы их не одобрите, то вы (я все еще рассуждаю, как комендант) не станете об этом молчать, ведь вы, конечно, доверяете большому своему опыту. Правда, вы знаете своеобразные нравы разных народов и судите как ученый, поэтому вы, наверно, выскажетесь против подобных действий не так решительно, как, может быть, высказались бы у себя на родине. Но коменданту этого и не нужно. Достаточно одного просто неосторожного, сказанного невзначай слова. Оно вовсе не должно соответствовать вашим убеждениям, если только оно внешне отвечает его желанию. Что он самым хитрым образом начнет вас расспрашивать — в этом я уверен. А его дамы сядут кружком и наострят ушки; вы скажете, например: «У нас судопроизводство другое», или: «У нас обвиняемого сначала допрашивают, а уж потом выносят ему при-

говор», или: «У нас есть и другие наказания, кроме смертной казни», или: «У нас пытки существовали только в средневековье». Все это замечания правильные, и вам они кажутся естественными — невинные замечания, не затрагивающие моих действий. Но как воспримет их комендант? Я уже вижу, как наш комендант резко отодвинет стул и поспешит на балкон, я уже вижу, как его дамы устремятся за ним, я уже слышу его голос — дамы называют этот голос громовым — и слышу, как он говорит: «Великий ученый Запада, уполномоченный рассмотреть судоустройство во всех странах, только что заявил, что наш старозаветный порядок бесчеловечен. После подобного заключения такого лица я, конечно, не могу мириться с этим порядком. Итак, я приказываю отныне...» И так далее. Вы хотите вмешаться, вы не говорили того, что он вам приписывает, вы не называли моего метода бесчеловечным, напротив, по вашему глубокому убеждению, это самый человечный и наиболее достойный человека метод, вы восхищены и этой техникой, но уже поздно — вы не можете даже выйти на балкон, где уже полно дам, вы хотите обратить на себя внимание, вы хотите кричать, но дамская ручка закрывает вам рот, а я и дело старого коменданта погибли.

Путешественник подавил улыбку: вот до чего легка была, оказывается, задача, которую он считал такой трудной. Он ответил уклончиво:

— Вы переоцениваете мое влияние; комендант читал мое рекомендательное письмо, ему известно, что я не знаток судоустройства. Если бы я высказал свое мнение, это было бы мнение частного лица, ничуть не более важное, чем мнение любого другого, и, уж во всяком случае, куда менее важное, чем мнение коменданта, обладающего, как мне представляется, очень широкими правами в этой колонии. Если его мнение об этой системе действи-

тельно так определенно, как вам кажется, тогда, я боюсь, этой системе пришел конец и без моего скромного содействия.

Понял ли это офицер? Нет, он еще не понял. Он помотал головой, быстро оглянулся на осужденного и солдата, которые, вздрогнув, отстранились от риса, подошел к путешественнику вплотную и, глядя ему не в лицо, а куда-то на пиджак, сказал тише, чем раньше:

— Вы не знаете коменданта, вы относитесь к нему и ко всем нам — простите меня — до некоторой степени протодушно; ваше влияние, поверьте мне, трудно переоценить. Да ведь я же был счастлив, когда узнал, что вы будете присутствовать на экзекуции один. По замыслу коменданта, это распоряжение должно было нанести мне удар, а я обращаю его себе на пользу. Во время моих объяснений вас не отвлекали ни лживые нашептывания, ни презрительные взгляды, которых при большом скоплении публики вряд ли удалось бы избежать, вы видели машину и собираетесь посмотреть казнь. Ваше мнение, конечно, уже сложилось; если у вас и есть еще какие-то сомнения, то зрелище казни их устранил. И вот я обращаюсь к вам с просьбой: помогите мне одолеть коменданта!

Путешественник не дал ему продолжать.

— Как я могу! — воскликнул он. — Это же невозможно. Я так же не могу быть вам полезен, как не могу повредить вам.

— Можете, — сказал офицер. Путешественник не без испуга увидел, что офицер сжал кулаки. — Можете, — еще настойчивее повторил офицер. — У меня есть план, который не подведет. Вы думаете, что вашего влияния недостаточно. Я знаю, что его достаточно. Но даже если согласиться, что вы правы, разве не следует для сохранения этого порядка испробовать любые, пусть и недостаточно действенные средства? Выслушайте же мой план...

Для его успеха нужно прежде всего, чтобы сегодня вы как можно сдержаннее выражали в колонии свое мнение о нашем судопроизводстве. Если вас прямо не спросят, не высказывайтесь ни в коем случае; высказаться же вы должны коротко и неопределенно — пусть видят, что вам тяжело говорить об этом, что вы огорчены, что если бы вы стали говорить откровенно, то разразились бы прямо-таки проклятиями. Я не требую, чтобы вы лгали, ни в коем случае, вы должны только коротко отвечать: «Да, я видел исполнение приговора» или: «Да, я выслушал все объяснения». Только это, ничего больше. Ведь для огорчения, которое должно звучать в ваших словах, у вас достаточно поводов, хотя и иного свойства, чем у коменданта. Он, конечно, поймет это совершенно превратно и истолкует по-своему. На этом и основан мой план. Завтра в комендатуре под председательством коменданта состоится большое совещание всех высших чиновников управления. Комендант, конечно, ухитрится превращать такие совещания в спектакль. Построили даже галерею, которая всегда заполнена зрителями. Я вынужден участвовать в этих совещаниях, хотя меня там просто тошнит. Вас-то, конечно, пригласят на это совещание; а если сегодня вы будете вести себя согласно моему плану, то это приглашение обратится даже в настойчивую просьбу. Но если вас по какой-либо непонятной причине не пригласят, вам придется потребовать приглашения; в том, что тогда вы его получите, можно не сомневаться. И, значит, завтра вы будете сидеть с дамами в комендантской ложе. Комендант будет время от времени поглядывать вверх, чтобы удостовериться в вашем присутствии. После разбора множества несущественных, смешных, рассчитанных только на слушателей вопросов — обычно это строительные работы в порту, снова и снова строительные работы! — зайдет речь и о нашем судоустройстве. Если комендант сам



не начнет этого разговора или начнет его недостаточно скоро, я позабочусь, чтобы он начался. Я встану и сделаю сообщение о сегодняшней казни. Очень коротко, только это сообщение. Такие сообщения там, правда, не принято делать, но я его все-таки сделаю. Комендант поблагодарит меня, как всегда, с любезной улыбкой, и тут уж он, конечно, никак не упустит удобного случая. «Только что, — он начнет таким или подобным образом, — мы выслушали сообщение о состоявшейся казни. Я лично хотел бы прибавить, что при этой казни как раз присутствовал великий ученый, который, вы все это знаете, оказал огромную честь нашей колонии своим посещением. Сегодняшнее наше заседание также приобретает особую значительность ввиду его присутствия. Так вот, не спросить ли нам этого великого ученого, какого он мнения о казни, совершенной по старому обычаю, и о судебном разбирательстве, ей предшествовавшем?» Все, конечно, одобрительно аплодируют, я — громче всех. Комендант отвечает вам поклон и говорит: «В таком случае я от имени всех присутствующих задаю этот вопрос». И тут вы подойдете к барьеру. Положите руки так, чтобы они были всем видны, иначе дамы их схватят и станут играть вашими пальцами...

И вот наконец ваше слово. Не знаю, как я вынесу напряжение оставшихся до этого мига часов. Не ограничивайте себя в своей речи ничем, говорите правду во весь голос, наклонитесь над барьером и прокричите, да, да, прокричите свое мнение, свое твердое мнение коменданту в лицо. Но, может быть, вы этого не хотите, это не в вашем характере, у вас на родине, может быть, ведут себя при таких обстоятельствах иначе? Это тоже правильно, этого тоже совершенно достаточно — не вставайте вообще, скажите только несколько слов, произнесите их так, чтобы их слышали разве что сидящие под вами чиновники, этого достаточно; вы вовсе не должны говорить об отсутст-

вии зрителей, о лязгающем колесе, о порванном ремне и о вызывающем рвоту войлоке, о нет, все остальное я беру на себя, и поверьте, если моя речь не выгонит его из зала, она поставит его на колени и заставит признать: старый комендант, я перед тобой преклоняюсь... Вот мой план, хотите ли вы помочь мне осуществить его? Ну конечно, хотите, более того, вы обязаны это сделать!

Офицер взял путешественника за обе руки и, тяжело дыша, заглянул ему в лицо. Последние слова он прокричал так, что даже солдат и осужденный насторожились: хотя они ничего не понимали, они перестали хватать еду и, продолжая жевать, поглядели на путешественника.

Ответ, который он должен был дать, был для путешественника с самого начала совершенно ясен; слишком многое повидал он на своем веку, чтобы заколебаться сейчас, он был по существу человеком честным и не трусил. Все же теперь при виде солдата и осужденного он одно мгновение помедлил. Но в конце концов он оказал то, что должен был сказать:

— Нет.

Офицер заморгал глазами, не переставая, однако, глядеть на него.

— Вам требуется объяснение? — спросил путешественник.

Офицер молча кивнул головой.

— Я противник этого судебного порядка, — сказал путешественник. — Еще до того, как вы оказали мне доверие — а доверием вашим я, конечно, ни в коем случае не стану злоупотреблять, — я уже думал, вправе ли я выступить против этого порядка и имеет ли мое вмешательство хоть какие-либо виды на успех. К кому я должен был бы обратиться прежде всего — было мне ясно: к коменданту, конечно. Вы сделали это еще более ясным, однако укрепили меня в моем решении вовсе не вы, на-

против, честная ваша убежденность очень меня трогает, хоть она и не может сбить меня с толку.

Офицер промолчал, повернулся к машине, потрогал одну из латунных штанг и, откинув голову, поглядел вверх, на разметчик, словно проверяя, все ли в порядке. Солдат и осужденный, казалось, тем временем подружились: осужденный, хотя из-за ремней это удавалось ему с трудом, делал солдату знаки, солдат наклонялся к нему; осужденный что-то шептал солдату, а солдат кивал ему в ответ.

Путешественник подошел к офицеру и сказал:

— Вы еще не знаете, как я собираюсь поступить. Я выскажу коменданту свое мнение о здешнем судопроизводстве, но выскажу его не на совещании, а с глазу на глаз; да я и не намерен оставаться здесь так долго, чтобы участвовать в каких-либо заседаниях; завтра утром я уже уеду или по крайней мере сяду на судно.

Офицер, казалось, пропустил все это мимо ушей.

— Значит, наше судопроизводство вам не понравилось, — сказал он скорее для себя и усмехнулся, как усмехается старик над блажью ребенка, пряча за усмешкой свои раздумья. — Тогда, стало быть, п о р а , — сказал он наконец и вдруг взглянул на путешественника светлыми глазами, выразившими какое-то побуждение, какой-то призыв к участию.

— Что пора? — тревожно спросил путешественник, но не получил ответа.

— Ты свободен, — сказал офицер осужденному на его языке. Тот сперва не поверил. — Ну, свободен же, — сказал офицер.

В первый раз лицо осужденного по-настоящему оживилось. Правда ли это? Не мимолетный ли это каприз офицера? Или, может быть, чужеземец выхлопотал ему помилование? Что происходит? Все эти вопросы были, ка-

залось, написаны на его лице. Но недолго. В чем бы тут ни было дело, он хотел, если уж на то пошло, быть и вправду свободным, и он стал дергаться, насколько позволяла борона.

— Ты порвешь ремни, — крикнул офицер. — Лежи смирно! Мы отстегнем их.

И, дав знак солдату, он принялся вместе с ним за работу. Осужденный тихо смеялся, он поворачивал лицо то влево — к офицеру, то вправо — к солдату, но и путешественника тоже не забывал.

— Вытащи его! — приказал офицер солдату.

Ввиду близости бороны нужно было соблюдать осторожность. От нетерпенья осужденный уже получил несколько небольших рваных ран на спине. Но теперь он перестал занимать офицера. Тот подошел к путешественнику, снова извлек свой кожаный бумажник, порылся в нем и, найдя наконец листок, который искал, показал его путешественнику.

— Читайте, — сказал он.

— Не могу, — сказал путешественник, — я же сказал, что не могу этого прочесть.

— Вглядитесь получше, — сказал офицер и встал рядом с путешественником, чтобы читать вместе с ним.

Когда и это не помогло, он на большой высоте, словно до листка ни в коем случае нельзя было дотрагиваться, обрисовал над бумагой буквы мизинцем, чтобы таким способом облегчить путешественнику чтение. Путешественник тоже старался всюю, чтобы хоть этим доставить удовольствие офицеру, но у него ничего не получалось. Тогда офицер стал разбирать надпись по буквам, а потом прочел ее уже связно.

— «Будь справедлив!» написано здесь, — сказал он, — ведь теперь-то вы можете это прочесть.

Путешественник склонился над бумагой так низко, что офицер, боясь, что тот дотронется до нее, отстранил от него листок; хотя путешественник ничего больше не сказал, было ясно, что он все еще не может прочесть написанное.

— «Будь справедлив!» написано здесь, — сказал офицер еще раз.

— Может быть, — сказал путешественник, — верю, что написано именно это.

— Ну ладно, — сказал офицер, по крайней мере отчасти удовлетворенный, и поднялся по трапу с листком в руке; с великой осторожностью уложив листок в разметчик, он стал, казалось, целиком перестраивать зубчатую передачу; это была очень трудоемкая работа, среди шестеренок были, наверно, и совсем маленькие, порой голова офицера вовсе скрывалась в разметчике, так внимательно осматривал он систему колес.

Путешественник неотрывно следил снизу за этой работой, у него затекла шея и болели от солнца, заливавшего небо, глаза. Солдат и осужденный были заняты только, друг другом. Рубаху и штаны осужденного, уже лежавшие в яме, солдат достал оттуда концом штыка. Рубаха была ужасно грязная, и осужденный выстирал ее в бадейке с водой. Когда он надел штаны и рубаху, оба, и солдат и осужденный, громко рассмеялись, ибо одежда была сзади разрезана вдоль. Считая, возможно, своим долгом позабавить солдата, осужденный принялся кружиться перед ним в разрезанном платье, а тот, присев на землю, со смехом хлопал себя по коленям. Однако ввиду присутствия господ они еще сдерживали и свои чувства и себя.

Управившись наконец со своей работой, офицер еще раз с улыбкой оглядел каждую мелочь, захопнул капот открытого дотоле разметчика, спустился, поглядел в яму, а затем на осужденного, удовлетворенно отметил, что тот

забрал оттуда свою одежду, затем подошел к бадейке, чтобы помыть руки, с опозданием увидел противную грязь, огорчился, что ему не придется, значит, вымыть руки, погрузил их наконец (эта замена явно не устраивала его, но делать было нечего) в песок, затем встал и начал расстегивать свой мундир. При этом ему прежде всего попались два дамских платочка, которые он раньше засунул за воротник.

— Вот тебе твои платки, — сказал он, бросая их осужденному. А путешественнику, объясняя, сказал: — Подарки дам.

Несмотря на явную торопливость, с которой он снял мундир, а затем донага разделся, он обращался с каждым предметом одежды очень бережно; серебряные аксельбанты на мундире он даже особо разгладил пальцами, а одну из кистей поправил, встряхнув. Никак, правда, не вышло с этой бережностью то, что, расправив ту или иную часть обмундирования, он сразу же раздраженно швырял ее в яму. Последним оставшимся у него предметом был кортик на портупее. Он вытащил кортик из ножен, переломил его, затем сложил все вместе — куски кортика, ножны и портупею — и швырнул это с такой силой, что в яме звякнуло.

Теперь он стоял нагишом. Путешественник кусал себе губы и ничего не говорил. Хоть он и знал, что произойдет, он не имел права в чем-либо мешать офицеру. Если судебный порядок, которым дорожил офицер, был действительно так близок к концу — возможно, из-за вмешательства путешественника, считавшего это вмешательство своим долгом, — офицер поступал сейчас совершенно правильно, на его месте путешественник поступил бы точно так же.

Солдат и осужденный ничего не понимали, сперва они даже не глядели на офицера. Осужденный был очень рад,

что ему возвратили его платки, но долго радоваться ему не пришлось, ибо солдат выхватил их у него резким, внезапным рывком. Тогда осужденный в свою очередь попытался выхватить платки у солдата из-за пояса, куда тот их заткнул, но солдат был начеку. Так они полушутливо и спорили. Только когда офицер разделся совсем, они насторожились. Казалось, осужденного особенно потрясло предчувствие какого-то великого поворота. То, что произошло с ним, происходило теперь с офицером. Теперь, наверно, дело доведут до конца. Очевидно, так приказал этот чужеземец. Это была, следовательно, месть. Не пострадав до конца, он будет до конца отомщен. Широкая беззвучная усмешка появилась теперь на его лице и больше уже не сходила с него.

А офицер между тем повернулся к машине. Если и раньше было ясно, что он отлично в ней разбирается, то теперь впору было поражаться, как он управляет машиной и как она его слушается. Стоило ему только поднести руку к бороне, как та несколько раз поднялась и опустилась, пока не приняла того положения, которое требовалось, чтобы он поместился; он только дотронулся до края лежака, и лежак уже начал вибрировать; войлочный шпенек оказался как раз против рта, видно было, что вообще-то офицеру хочется обойтись без него, но после минутного колебания он превозмог себя и взял его в рот. Все было готово, только ремни висели еще по бокам, но в них явно не было нужды — офицера не требовалось привязывать. Однако осужденный заметил висящие ремни и, полагая, что при незакрепленных ремнях экзекуция будет несовершенна, ретиво кивнул солдату, и они побежали к машине привязать офицера. Тот уже вытянул одну ногу, чтобы толкнуть рубильник, включавший разметчик; увидев подбежавших, офицер перестал вытягивать ногу и дал привязать себя. Однако теперь он уже не мог достать до рубиль-

ника; ни солдат, ни осужденный рубильника не нашли бы, а путешественник не собирался и пальцем шевельнуть. Этого и не понадобилось; как только ремни застегнули, машина сразу же заработала: лежак вибрировал, зубцы ходили по коже, борона поднималась и опускалась. Путешественник успел уже наглядеться на это, прежде чем вспомнил, что одна шестерня в разметчике должна лязгать. Но все было тихо, никаких шумов не было слышно.

Благодаря такой тихой работе машина совершенно перестала привлекать к себе внимание. Путешественник перевел взгляд на солдата и на осужденного. Осужденный был более оживлен — все в машине его занимало, он то наклонялся, то становился на цыпочки, все время показывая что-то солдату указательным пальцем. Путешественнику это было неприятно. Он собирался остаться здесь до конца, но глядеть на солдата и осужденного стало невыносимо.

— Ступайте домой, — сказал он им.

Солдат, вероятно, так и поступил бы, но осужденный воспринял этот приказ чуть ли не как наказание. Он сложил руки, умоляя оставить его здесь, а когда путешественник отрицательно покачал головой, даже упал на колени. Путешественник понял, что никакие приказы тут не помогут, и направился было к солдату и осужденному, чтобы просто прогнать их. Тут он услышал наверху, в разметчике, какой-то шум. Он посмотрел вверх. Значит, все-таки одну шестерню заедает? Но это было что-то другое. Капот разметчика медленно поднялся и распахнулся. Показались, поднявшись, зубцы одной шестерни, а вскоре появилась и вся шестерня, как будто какая-то огромная сила сжимала разметчик и этой шестерне не хватало места; шестерня докатилась до края разметчика, упала, покатилась стоймя по песку и легла в песок. Но наверху уже поднималась еще одна, а за ней другие — большие, маленькие, едва различимые, и со всеми происходило то же самое,



и каждый раз казалось, что теперь-то уж разметчик должен быть пуст, но тут появлялась новая, еще более многочисленная вереница, поднималась, падала, катилась по песку и ложилась в песок. Из-за этого зрелища осужденный совсем забыл о приказе путешественника, шестерни приводили его в восторг, он хотел схватить каждую и просил солдата помочь ему, но всякий раз испуганно отдергивал руку, потому что вдгонку спешило уже другое колесо, которое его — по крайней мере когда катилось — пугало.

Путешественник, напротив, очень встревожился; машина явно разваливалась, ровный ее ход был обманчив, у него возникло такое чувство, что теперь он должен помочь офицеру, так как тот не может уже о себе позаботиться. Но, сосредоточив все свое внимание на выпадении шестерен, путешественник упустил из виду остальные части машины, когда же он теперь, после того как из разметчика выпала последняя шестерня, склонился над борной, его ждал новый, еще более неприятный сюрприз, Борона перестала писать, она только колола, и лежак, вибрируя, не поворачивал тело, а только насаживал его на зубья. Путешественник хотел вмешаться, может быть даже остановить машину, это уже была не пытка, какой добивался офицер, это было просто убийство. Он протянул руки к машине. Но тут борона с насаженным на него телом подалась в сторону, как это она обычно делала только на двенадцатом часу. Кровь текла ручьями, не смешиваясь с водой, — трубочки для воды тоже на этот раз не сработали. Но вот не сработало и последнее — тело не отделялось от длинных игл, а истекая кровью, продолжало висеть над ямой. Борона чуть было не вернулась уже в прежнее свое положение, но, словно заметив, что она еще не освободилась от груза, осталась над ямой.

— Помогите же! — крикнул путешественник солдату и осужденному, схватив офицера за ноги. Он хотел с этой стороны налечь на ноги, чтобы те двое с другой стороны налегли на голову и все вместе медленно сняли офицера с зубцов. Но те двое никак не решались приблизиться: осужденный и вовсе отвернулся; путешественнику пришлось подойти к ним и силой подвести их к изголовью лежака. Тут он почти против своей воли увидел лицо мертвеца. Оно было такое же, как при жизни, на нем не было никаких признаков обещанного избавления: того, что обретали в этой машине другие, офицер не обрел; губы были плотно сжаты, глаза были открыты и сохраняли живое выражение, взгляд был спокойный и уверенный, в лоб вошло острие большого железного резца.

Когда путешественник — с солдатом и осужденным позади — подошел к первым домам колонии, солдат показал на один из них и оказал:

— Вот кофейня.

В нижнем этаже этого дома было глубокое, низкое, пещероподобное помещение с закоптелыми стенами и потолком. Со стороны улицы оно было широко открыто. Хотя кофейня мало отличалась от остальных домов колонии, которые все, кроме роскошных зданий комендатуры, сильно обветшали, она произвела на путешественника впечатление исторической достопримечательности, и он почувствовал власть прежних времен. Он подошел к этому дому, прошел впереди своих провожатых между незанятыми столиками, стоявшими перед кофейней на улице, подышал затхлым прохладным воздухом, который шел изнутри.

— Старик похоронен здесь, — сказал солдат. — Священник отказал ему в месте на кладбище. Некоторое вре-

мя вообще не знали, где его хоронить, но в конце концов похоронили здесь. Об этом вам офицер наверняка не рассказывал, ведь этого он, конечно, стыдился больше всего. Он даже несколько раз пытался выкопать старика ночью, но его каждый раз прогоняли.

— Где эта могила? — спросил путешественник, не поверив солдату.

Солдат и осужденный сразу же опередили его и показали вытянутыми руками туда, где, как им было известно, находилась могила. Они провели путешественника к задней стене, где за несколькими столиками сидели посетители. Это были, по всей видимости, портовые рабочие, дюжие люди с короткими блестяще-черными окладистыми бородами. Все были без пиджаков, в драных рубахах; это был бедный, униженный люд. Когда путешественник приблизился, некоторые поднялись, прижались к стене и стали глядеть на него.

— Это иностранец, — слышался шепот вокруг, — он хочет посмотреть могилу.

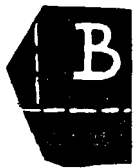
Они отодвинули один из столиков, под которым действительно находился надгробный камень. Это был простой камень, достаточно низкий, чтобы столик мог его спрятать. На нем очень мелкими буквами была сделана надпись. Путешественнику пришлось стать на колени, чтобы ее прочесть. Надпись гласила: «Здесь покоится старый комендант. Его сторонники, которые сейчас не могут назвать своих имен, выкопали ему эту могилу и поставили этот камень. Существует предсказание, что через определенное число лет комендант воскреснет и поведет своих сторонников отвоевывать колонию из этого дома. Верьте и ждите!» Когда путешественник прочел это и поднялся, он увидел, что вокруг него стоят люди и усмеваются так, словно они прочли надпись вместе с ним и, найдя ее смешной, призывают его присоединиться к их мнению.

Путешественник сделал вид, что не заметил этого, роздал им несколько монет и, подождав, пока могилу прикроют столом, покинул кофейню и направился к порту.

Солдат и осужденный встретили в кофейне знакомых, которые их задержали. Но, видимо, они быстро отделались от них: не успел путешественник дойти до середины длинной лестницы, что вела к лодкам, как они уже бежали за ним вдогонку. Они, вероятно, хотели в последнюю минуту заставить путешественника взять их с собой. Пока путешественник договаривался внизу с лодочником о доставке на судно, эти двое стремглав молча бежали по лестнице, ибо кричать они не осмеливались. Но когда они добежали донизу, путешественник был уже в лодке и лодочник как раз отчалил. Они успели бы еще прыгнуть в лодку, но путешественник поднял с дна тяжелый узловатый канат и, погрозив им, удержал их от этого прыжка.

1914

## ГИГАНТСКИЙ КРОТ



се те — в том числе и я, — кому даже самый обычный, маленький крот кажется омерзительным, наверное, умерли бы от омерзения, доведись им увидеть гигантского крота, появившегося несколько лет назад вблизи маленькой деревеньки, которая благодаря этому случаю приобрела своего рода мимолетную популярность. Теперь сама деревенька исчезла из людской памяти, как, впрочем, и все это странное происшествие, так и оставшееся неразгаданным, что не удивительно, ибо никто особенно не старался

разгадать его, и как раз те лица, которые обязаны были изучить этот феномен и которые усердно изучают куда менее значительные явления, по непостижимой халатности, не утруждая себя сколько-нибудь тщательным исследованием, предали его забвению. То обстоятельство, что деревня расположена вдали от железной дороги, ни в коем случае не может служить оправданием. Множество людей, влекомых любопытством, приезжали издалека, даже из чужих стран, и только те, кому надлежало проявить не одно лишь любопытство, не пожелали приехать. Более того, если бы отдельные лица, простые смертные, почти без передышки занятые повседневным трудом, — если бы эти люди не взялись за дело бескорыстно и самоотверженно, слух о необычайном явлении, по всей вероятности, не вышел бы за пределы своей округи. Нельзя не отметить, что и самый слух в данном случае против обыкновения оказался чрезвычайно медлителен; если бы его, выражаясь фигурально, не подталкивали, он бы вообще не распространился. Но это, разумеется, недостаточное основание для бездействия, напротив, именно такое явное отклонение от нормы нужно было исследовать дополнительно. Вместо этого составление единственного письменного документа, свидетельствующего о феномене, было передоверено старику учителю, который по праву слыл превосходным педагогом, однако не обладал ни достаточными природными данными, ни специальной подготовкой для исчерпывающего, подлинно научного описания своих наблюдений, не говоря уже о полной его неспособности объяснить их. Небольшая работа его была опубликована, ее охотно покупали тогдашние посетители деревни, многие даже хвалили ее, но сам учитель, как человек умный, понимал, что его одиночные, никем не поддержанные усилия, в сущности, не имеют никакой цены. Тот факт, что он все же не отступился и

продолжал считать разгадку странного случая делом своей жизни, хотя оно год от года сулило все меньше надежд, доказывает, во-первых, какая сила воздействия таилась в феномене и, во-вторых, сколько упорства и убежденности можно обнаружить в старом, незаметном сельском учителе. Однако, судя по короткому послесловию, которым он дополнил свой труд, — правда, лишь несколько лет спустя, когда едва ли кто-нибудь помнил еще, о чем идет речь, — он сильно страдал от холодного равнодушия, проявленного авторитетными лицами. В этом послесловии, быть может и не очень складном, но подкупающем своей искренностью, он сетует на непонимание, с которым столкнулся там, где меньше всего мог этого ожидать. Об этих людях он отзывается весьма метко: «Не я, а они рассуждают, словно старый сельский учитель». И приводит, между прочим, слова одного ученого, к которому нарочно поехал поговорить о своем деле. Имя ученого не названо, но по некоторым косвенным обстоятельствам можно догадаться, кто это. Преодолев немалые трудности, учитель наконец добился приема, но уже с первых слов понял, что ученый относится к его делу с несокрушимым предубеждением. О том, как невнимательно был выслушан пространный отчет учителя, подкрепленный выдержками из его работы, свидетельствует замечание ученого, оброненное им после некоторого раздумья или видимости такового.

— В вашей местности ведь особенно черная и плотная земля. Вот кротам и достается особенно жирная пища, и они становятся очень большими.

— Но не такими же! — с негодованием воскликнул учитель и, несколько увлекшись, отмерил на стене целых два метра.

— Отчего бы и нет, — отвечивал ученый, явно забавляясь разговором.

С этим учитель и вернулся домой. Он рассказывал, как вечером, в снежную метель, его поджидали на дороге жена и шестеро детей и как ему пришлось сознаться им в окончательном крушении своих надежд.

Когда я прочел о приеме, оказанном учителю этим ученым, я еще ничего не знал об основном труде учителя. Но я решил незамедлительно сам собрать и обработать все данные, какие удастся добыть по этому вопросу. Сознавая свое бессилие перед ученым, я надеялся своей работой хотя бы поддержать учителя или, вернее, не столько учителя, сколько благие намерения честного, но беспомощного человека. Не скрою, я потом сильно раскаивался в своей опрометчивости, ибо вскоре почувствовал, что мое вмешательство неминуемо поставит меня в нелепое положение. С одной стороны, я сам был в достаточной мере беспомощен и не мог заставить ученого, а тем более общественное мнение отнестись к учителю благосклонно; с другой стороны, учитель непременно должен был заметить, что главная цель, которой он добивался — доказать существование огромного крота, — заботит меня куда меньше, нежели защита его личной порядочности, что, как он полагал, само собой разумелось и не нуждалось в защите. Так получилось, что моя попытка объединиться с ним не встретила понимания и, вместо того чтобы ему помочь, мне самому пришлось подумать о помощнике, а появление такового представлялось более чем сомнительным. И, помимо всего, я взвалил на себя тяжкий труд. Я хотел убедить, но при этом мне нельзя было ссылаться на учителя, ибо он-то никого убедить не сумел. Знакомство с его работой только сбilo бы меня с толку, и я предпочел до завершения своей собственной ее не читать. Я даже встречаться с ним не пытался. Он, правда, узнал через третьих лиц о моих изысканиях, но ему не было известно, в каком направлении я работаю — за или про-

тив него. Вероятно, ему мерещилось именно последнее, хоть он впоследствии и отрицал это, и у меня есть тому доказательства, так как он неоднократно ставил мне палки в колеса. Ему это ничего не стоило, потому что ведь я был вынужден повторить все уже проведенные им исследования, и он в любом случае мог опередить меня. Это был единственный справедливый упрек — кстати сказать, неизбежный, который мог быть предъявлен моей методике, — но и он в значительной мере терял силу ввиду крайне осторожного, почти смиренного тона моих утверждений. В основном же мой труд был абсолютно свободен от влияния учителя; быть может, я в этом отношении проявил даже чрезмерную шепетильность — получилось так, будто никто до меня не исследовал этого случая, не опрашивал свидетелей и очевидцев, не систематизировал показаний, не делал выводов. Впоследствии, прочитав работу учителя — у нее было очень громоздкое название: «Крот, такой большой, какого еще не бывало», — я и в самом деле убедился, что по многим пунктам наши мнения расходятся, хотя основной факт — существование гигантского крота — мы оба считали доказанным. Тем не менее эти отдельные несогласия помешали возникновению дружеской близости между мной и учителем, на что я вопреки всему надеялся. Напротив, в нем чувствовалась даже некоторая враждебность. Правда, он всегда держался со мной очень скромно и почтительно, но тем легче было заметить его истинное отношение. Он явно считал, что я сильно навредил ему своим вмешательством и что мое убеждение, будто я принес или мог принести ему пользу, в лучшем случае говорит о моей глупости, а скорее всего, это наглость, если не коварство. Он особенно часто указывал на то, что до сих пор его противники либо вообще не выражали своего несогласия, а уж если выражали, то по крайней мере наедине с ним или на худой конец — устно, тогда как я счел



нужным опубликовать свои возражения. К тому же немногие противники его, которые действительно, хотя бы и бегло, ознакомились с этим делом, как-никак выслушали мнение учителя — единственно авторитетное в данном случае, — прежде чем высказать свое, я же представил выводы, основанные на бессистемно подобранных и отчасти превратно истолкованных фактах, и если даже эти выводы в главном пункте правильны, все же они не могут внушить доверия ни массовому, ни образованному читателю. А малейшее сомнение в данном случае пагубно для дела.

На все эти упреки, хоть и преподнесенные в завуалированной форме, я легко мог бы ответить — ведь как раз его сочинение и было верхом неправдоподобия, — однако рассеять другие его подозрения было много трудней, и по этой-то причине я вообще старался вести себя с ним как можно сдержаннее. Он, видимо, втайне был убежден, что я хотел похитить у него славу первооткрывателя в деле с кротом. Но ведь славы-то никакой и не было, была одна лишь смехотворность, и то в очень тесном, все более сужающемся кругу, что, уж конечно, не могло меня прельстить. А кроме того, в предисловии к моей работе я совершенно ясно сказал, что честь открытия гигантского крота на все времена должна остаться за учителем — хотя он даже не открывал его — и что только сочувствие судьбе учителя заставило меня взяться за перо. «Цель этого труда, — писал я в заключение с излишним пафосом, но таково было испытываемое мной тогда волнение, — способствовать заслуженному признанию труда учителя. Если цель сия будет достигнута, то пусть мое имя, лишь мимолетно и чисто внешне связанное с этой проблемой, тотчас же исчезнет из нее навсегда». Подчеркнув, что роль моя в этом деле была минимальной, я точно каким-то таинственным способом предугадал возмутительный упрек учителя. Впрочем, именно в этом

пункте он нашел нужную точку опоры, и я не отрицаю, что в его словах, вернее намеках, заключалась большая, хоть и неуловимая, видимость правоты, да и вообще, как я уже неоднократно замечал, в своем отношении ко мне он был куда пронизательнее, нежели в своей статье. Так, он утверждал, что я в своем предисловии веду двойную игру. Если я искренне пекся о признании его научной работы, почему же я не ограничился характеристикой его как автора этой работы, почему не показал всех ее достоинств, непроверяемость выводов, почему, вместо того чтобы подчеркнуть и разъяснить значение сделанного им открытия, я полностью пренебрег его трудом и сам втесался в это дело? Разве открытие не было уже сделано? Разве в этом смысле еще чего-то не хватало? Если же я искренне считал, что должен еще раз сам проверить открытие, почему же я в предисловии столь торжественно отрекся от участия в этом открытии? Это могло показаться притворной скромностью, но было кое-чем похуже. Я обесценил открытие, я для того и привлек к нему внимание, чтобы обесценить, тогда как он исследовал его и отложил в сторону. Шум вокруг этого дела уже несколько улегся, а я опять разворошил его и тем самым поставил учителя в еще более трудное положение. Что ему защита его порядочности? Дело, только дело заботит его! А дело я предал, потому что не понимал его, потому что судил о нем неверно, потому что оно было мне не по плечу. Не с моим умом братья за такое дело. Он сидел напротив меня, обратив ко мне старое, морщинистое лицо, и смотрел на меня спокойным взглядом, но именно таково было его мнение. Кстати, это неправда, что он думал только о деле, он был честолюбив, даже очень, да и на деньги надеялся, что при его многосемейности вполне понятно. Но мой интерес к открытию по сравнению с его собственным казался ему столь ничтожным, что он не считал себя

лжецом, притязая на абсолютное бескорыстие. И должен признаться, меня самого не удовлетворяли мои доводы, сколько я ни твердил себе, что упреки старика, в сущности, обусловлены его желанием, так сказать, держаться за своего крота обеими руками и потому он каждого, кто хоть пальцем коснется его сокровища, называет предателем. Не так это было, не алчностью объяснялось его поведение, по крайней мере не одной алчностью, — скорее, досадой, которую вызывал в нем полный неуспех его длительных усилий. Но и досада объясняла не все. Быть может, мой интерес к его открытию и в самом деле был недостаточно велик: к равнодушию посторонних учитель успел привыкнуть, страдал от него, но уже не огорчался в каждом отдельном случае. А тут вдруг нашелся человек, который чрезвычайно заинтересовался его делом, но и тот ничего не понял. Я же, припертый к стене, и оправдываться не хотел. Я не зоолог, и, может быть, сделал я сам это открытие, феномен взволновал бы меня до глубины души, но в том-то и суть, что я его не открывал. Разумеется, такой огромный крот — явление необычайное, но ведь нельзя же требовать, чтобы весь мир занимался им длительное время, тем более что существование крота не доказано с полной неопровержимостью и, уж во всяком случае, его нельзя продемонстрировать. И я сознался также, что, если бы даже я сам открыл его, я не стал бы по доброй воле и с такой готовностью ратовать за него, как ратовал за учителя.

Однако все недоразумения между мной и учителем, вероятно, быстро рассеялись бы, если бы мой труд имел успех. Но вот успеха-то и не было. Быть может, я не очень хорошо написал его, недостаточно убедительно; я коммерсант и допускаю, что составление такого труда еще в меньшей степени соответствует моим данным, чем данным учителя, хотя опять-таки я, несомненно, располагал куда

более солидным запасом необходимых знаний, нежели учитель. К тому же неуспех мог зависеть и от других причин: быть может, момент выхода в свет оказался неблагоприятным. С одной стороны, не нашедшее признания открытие произошло не так уж давно, чтобы о нем окончательно забыли, и нечего было надеяться, что мой труд привлечет общее внимание своей новизной; с другой стороны, времени прошло достаточно для того, чтобы тот незначительный интерес, который поначалу имелся, был полностью исчерпан. Те, кому мой труд вообще хоть что-то говорил, столь же уныло, как вели эту дискуссию много лет назад, думали о том, что вот теперь опять потребуются ничемные усилия для этого бесплодного дела, и даже путали мой труд с сочинением учителя. В одном из ведущих сельскохозяйственных журналов появилась такая заметка, — к счастью, только в самом конце и мелким шрифтом: «Нам снова прислали статью о гигантском кроте. Помнится, много лет назад мы уже всласть посмеялись над ней. За это время она не стала умней, а мы не поглупели. Но смеяться во второй раз мы не можем. Зато мы можем задать учительским союзам такой вопрос: неужели сельский учитель не может заняться чем-нибудь более полезным, чем гоняться за гигантским кротом?» Непростительная ошибка! Там явно не читали ни первой, ни второй статьи. Поэтому нескольких мимоходом выхваченных слов, как-то: «гигантский крот» и «сельский учитель», оказалось достаточно, чтобы выступить в качестве выразителей общественного мнения. Конечно, с этим можно бы спорить, и небезуспешно. Но отсутствие взаимопонимания между учителем и мной удержало меня от спора. Более того, я пытался, сколько мог, скрывать от него упомянутый номер журнала. Однако он сам очень скоро его обнаружил, я догадался об этом по одной фразе из его письма, где он сообщал, что намерен посетить меня

в рождественские каникулы. Он писал: «Мир зол, и ему помогают быть злым», — чем хотел сказать, что и я — порождение злого мира, но, не довольствуясь присущей мне от природы злобностью, я помогаю миру быть плохим, другими словами — стараюсь пробудить всеобщую злобность и помочь ей одержать победу. Но я уже принял необходимые решения и потому мог спокойно ждать его, спокойно созерцать, как он заявился ко мне, поздоровался еще менее любезно, чем обычно, молча сел напротив меня, бережно достал из нагрудного кармана своего почему-то подбитого ватой сюртука упомянутый журнал и, раскрыв его на нужной странице, придвинул ко мне.

— Я уже знаком с н е й , — сказал я и отодвинул журнал не читая.

— Вы уже знакомы с н е й , — вздохнул он: у него была застарелая учительская привычка повторять чужие ответы. — Я, конечно, этого так не оставлю, — продолжал он, возбужденно тыча пальцем в журнал, и при этом пристально смотрел на меня, словно я придерживался иного мнения; по всей вероятности, он предчувствовал, что я хочу сказать; я и до того еще мог, как мне кажется, понять не столько по его словам, сколько по другим признакам, что он верно угадывает мои намерения, но не желает сдаваться и поверить в свою догадку. Все, что было мною сказано в тот раз, я могу повторить почти дословно, так как вскоре же после разговора я его записал.

— Делайте что хотите , — сказал я, — с этого дня наши пути расходятся. Думаю, что мои слова не покажутся вам неожиданными или неуместными. Статья в этом журнале не послужила тому причиной, она лишь укрепила меня в моем решении; собственно, причина заключается в том, что первоначально я надеялся помочь вам своим вмешательством, теперь же я вынужден при-

знать, что лишь навредил вам во всех смыслах. Почему так вышло, не могу сказать; причины успеха и неудач можно толковать и так и эдак, не старайтесь же выискать лишь те, которые говорят против меня. Вспомните себя, вы тоже питали лучшие намерения, но, если взять все в целом, терпели одни неудачи. Я отнюдь не шучу, ведь когда я говорю, что связь со мной, как ни печально, тоже можно отнести к числу ваших неудач, эти слова направлены и против меня самого. И если сейчас я хочу устраниваться, это объясняется не трусостью и не предательством. Мне даже приходится сделать над собой усилие; с каким уважением я к вам отношусь, явствует из моей статьи: вы стали в известном смысле моим наставником. Я даже крота, можно сказать, почти полюбил. И тем не менее я отхожу в сторону, честь открытия принадлежит вам, а я, как бы ни старался, только мешаю вам стяжать возможную славу и служу причиной неудач, которые распространяются и на вас. Вы, во всяком случае, придерживаетесь именно такого мнения. И довольно об этом. Единственное наказание, которое я готов понести, — это просить вас о прощении и, если вы того потребуете, повторить сделанное здесь признание публично, к примеру, на страницах этого журнала.

Вот каковы были тогда мои слова, они были не совсем искренни, но в них нетрудно было угадать их искреннюю сторону. Мое заявление подействовало на него примерно так, как я предполагал. У большинства пожилых людей в отношениях с теми, кто моложе, проявляется что-то обманчивое, какая-то лживость: ты спокойно живешь бок о бок с ними, считаешь отношения упроченными, знаешь основные взгляды, непрерывно получаешь новые подтверждения миролюбия, считаешь все само собой разумеющимся, но вдруг, когда происходит что-нибудь решающее и столь бережно выпестованный покой должен

сыграть свою роль, эти старики делаются чужими, у них оказываются более глубокие, более твердые взгляды, они только сейчас вынимают из чехла свое знамя, и ты с испугом читаешь на нем новый девиз. Испуг объясняется прежде всего тем, что мысли, высказываемые теперь стариками, и на самом деле гораздо более справедливы, более разумны и, как будто безоговорочно может иметь сравнительную степень, более безоговорочны. А непревзойденная лживость заключается именно в том, что они, по существу, всегда говорили то, что говорят сейчас. До чего же глубоко проник я в психологию учителя, если ему не удалось ошеломить меня теперь.

— Дитя, — сказал он, положил свою руку на мою и дружески потер ее, — дитя, как вам вообще пришла в голову мысль заняться этим делом? Едва лишь я услышал об этом, я поговорил со своей женой, — он отодвинулся от стола, развел руками и поглядел в пол, словно жена его в миниатюре стояла там внизу и он адресовался к ней. — «Много л е т, — сказал я ей, — мы сражались в одиночестве, но теперь, судя по всему, у нас завелся в городе высокий покровитель, коммерсант имярек. Есть от чего возликовать, не так ли? Ведь городской коммерсант немало значит; если какой-нибудь оборванец-крестьянин поверит нам и во всеуслышание заявит об этом, это нам не поможет, ибо все, что ни делает крестьянин, непристойно; скажет ли он: старый сельский учитель прав, сплюнет ли он самым nepотpeбным образом, результат будет тот же самый. А если вместо одного крестьянина выступят десять тысяч крестьян, результат, скорее всего, будет еще хуже. Напротив, городской коммерсант — это нечто прямо противоположное, у такого человека есть связи, даже то, что он обронил мельком, расходится в широких кругах, новые покровители начинают принимать в нас участие, кто-нибудь из них говорит, к примеру: «Вот

видите, и от сельских учителей можно кое-чему научиться», — и уже на другой день об этом перешептывается великое множество людей, от которых, если судить по их виду, ты этого никогда бы не ожидал. И вот уже для дела изыскиваются денежные средства, один собирает, а другие отсчитывают деньги ему в руку, все полагают, что сельского учителя надо извлечь из деревни, к нему приходят и, не заботясь о его внешности, включают его в свой круг, а поскольку жена и дети не желают расставаться с ним, прихватывают также жену и детей. Ты когда-нибудь наблюдала за городскими жителями? Они щебечут без умолку. А если их соберется несколько, щебет перекачивается справа налево и слева направо, и назад и вперед. И под этот щебет они сажают нас в карету, не дав нам даже времени со всеми распрощаться. Господин на козлах поправляет пенсне, взмахивает кнутом — и карета трогается. Все горожане так машут на прощанье, словно мы не едем вместе с ними, а остались в деревне. Навстречу нам из города выезжает несколько карет с особо нетерпеливыми. При нашем приближении они встают с мест и вытягивают шею, чтобы нас увидеть. Тот, что собирал деньги, все улаживает и призывает публику сохранять спокойствие. Когда мы въезжаем в город, за нами тянется уже целая вереница карет. Мы-то думали, что приветствия уже закончились, но перед отелем они только начинаются. В городе, стоит лишь кликнуть клич, собирается множество людей. Что заботит одного, то немедленно начинает заботить другого. Они рвут мнения друг у друга изо рта и присваивают их. Не все собравшиеся могут разъезжать в карете, — такие ждут перед отелем, другие и могли бы, но воздержались из чувства собственного достоинства. Они тоже ждут. Просто диву даешься, как это тот, который собирал деньги, может за всем углядеть».



Я слушал учителя спокойно, более того — с каждым его словом я становился все спокойнее. Я выложил на стол все экземпляры своей статьи, сколько их у меня было. Недоставало всего нескольких, потому что за последнее время я затребовал с помощью многочисленных писем все разосланные экземпляры и уже получил большинство из них. Правда, многие адресаты очень любезно ответили мне, будто вообще не могут припомнить, что когда-либо получали упомянутую статью, и что, если таковая даже и поступала к ним, она, как ни жаль, вероятно, утеряна. Это меня тоже устраивало, по сути, я ничего другого не хотел. Лишь один попросил у меня позволения сохранить у себя статью как курьез, но обещал мне, в соответствии с моим письмом, никому ее не показывать в течение ближайших двадцати лет. Учитель еще не видел моего письма. И я порадовался, что после его слов мне легко показать ему таковое. Впрочем, я и без того мог сделать это с чистой совестью, ибо, составляя текст письма, я был чрезвычайно осторожен в выражениях и ни на минуту не упустил из виду интереса учителя и его дела. Основные тезисы моего послания гласили:

«Я прошу вернуть мне статью не потому, что более не разделяю высказанных в ней взглядов, а также не потому, что считаю их хотя бы отчасти ошибочными или даже просто недоказуемыми. Просьба моя продиктована чисто личными, хотя и очень настоятельными причинами; она не дает ни малейшего повода судить о моей позиции в данном вопросе. Убедительно прошу обратить на эти последние слова сугубое внимание и по возможности предать их огласке».

Но покамест я еще прикрывал мое письмо обеими руками и сказал следующее:

— Значит, вы намерены упрекать меня, потому что не получилось так, как вам хотелось? К чему эти упреки?

Давайте не отравлять друг другу час расставания. И попытайтесь наконец понять, что, хотя вы и сделали открытие, открытие это не превосходит все остальное и, следовательно, несправедливость, вам причиненная, не превосходит всю остальную несправедливость. Я не знаком с обычаями ученой среды, но я не думаю, что даже в самом благоприятном случае вам был бы уготован прием, хотя бы отдаленно напоминающий тот, который вы, вероятно, расписывали своей бедной супруге. Я и сам ждал результатов от своей статьи, но я надеялся, что, быть может, она привлечет к вашему вопросу внимание какого-нибудь профессора, что профессор поручит какому-нибудь молодому студенту заняться этим вопросом, что студент пойдет к вам и своими методами еще раз проделает ваши и мои исследования и, наконец, когда выводы покажутся ему достойными внимания — здесь уместно напомнить, что все молодые студенты обуреваемы сомнениями, — он напишет свою собственную статью, в которой все то, что написано вами, получит научное обоснование. Но даже в том случае, если бы эта надежда осуществилась, достигнуто было бы очень немного. Статья молодого студента, который взял бы под защиту столь необычное явление, была бы поднята на смех. На примере данного сельскохозяйственного журнала вы убедились, как легко это может произойти, а научные журналы в этом смысле куда беспощаднее, что, впрочем, нетрудно понять: на профессорах лежит большая ответственность — перед наукой, перед потомками, они не могут с готовностью раскрывать объятия каждому открытию. Мы находимся по сравнению с ними в более выгодном положении. Но оставим все это в стороне. Допустим, что статья нашего студента нашла признание. Что из этого последовало бы? Не исключено, что ваше имя было бы с уважением упомянуто разок-другой, что это даже принесло бы пользу всему

вашему сословию, люди говорили бы: «Наши сельские учителя умеют смотреть и видеть», а этому журналу, если бы только журналы обладали памятью и совестью, пришлось бы публично попросить у вас прощения, возможно, сыскался бы какой-нибудь благожелательный профессор, который ископотаил бы для вас стипендию; не исключено также, что были бы предприняты попытки перевести вас в город, найти вам место в городской начальной школе и дать вам возможность пользоваться для своего дальнейшего образования теми научными средствами, которыми располагает только город. Но если быть вполне откровенным, я должен сказать, что, на мой взгляд, все это были бы лишь попытки. Вас бы вызвали сюда, вы бы и в самом деле приехали, но как обыкновенный проситель, каких сотни и сотни, без торжественной встречи, с вами поговорили бы, ваши добросовестные усилия снискали бы похвалу, но люди тотчас увидели бы, что вы — пожилой человек, что начинать в вашем возрасте занятия науками бессмысленно, что ваше открытие было скорее случайностью, нежели следствием планомерных трудов и, за исключением этого единичного случая, вы отнюдь не намерены впредь работать в данном направлении. Исходя из всех этих соображений, вас, вероятно, оставили бы в деревне. Но над вашим открытием тем не менее продолжали бы работать другие, ибо не так уж оно незначительно, чтобы, единожды заслужив признание, снова кануть в Лету. Но вы-то впредь ничего бы о нем не услышали, а то малое, что могли бы услышать, едва ли поняли бы. Любое открытие незамедлительно увязывается со всей совокупностью наук, после чего оно в некотором роде перестает быть открытием, оно растворяется и исчезает в целом, и надо обладать научно натренированным взглядом, чтобы и тогда уметь его различить. Его увязывают с постулатами, о существовании которых мы и не подозревали, и в науч-

ном споре его с помощью этих постулатов увлекают в заоблачные выси. Где уж нам это понять! Когда мы следим за научной дискуссией, нам кажется, например, будто речь идет об открытии, на деле же речь идет о совершенно других предметах; в следующий раз мы думаем, что речь идет о чем-нибудь другом, вовсе не об открытии, а речь идет как раз о нем.

Вы понимаете, о чем я говорю? Вы остались бы в деревне, с помощью полученных денег смогли бы чуть лучше кормить и одевать свое семейство, но открытие ваше перестало бы вам принадлежать, и у вас даже не было бы морального права сопротивляться, ибо лишь в городе могло бы со всей полнотой выявиться его значение. Вам отнюдь не выказали бы неблагодарности, — на том месте, где было сделано открытие, возможно, выстроили бы небольшой музей, музей стал бы местной достопримечательностью, вы, конечно, были бы смотрителем музея, и, чтобы не обойти вас также и внешними почестями, вас наградили бы небольшой нагрудной медалью, такой, какие мы видим на служителях ученых институтов. Да, все это было бы вполне возможно, но разве этого вы хотели?

Он без промедления дал мне совершенно справедливый ответ:

— Значит, этого вы для меня и добивались?

— Возможно, — сказал я, — но в ту пору я действовал недостаточно продуманно, чтобы ответить вам сейчас с полной определенностью. Я хотел вам помочь, мне это не удалось, пожалуй, это самое неудачное из всех моих начинаний. Потому я и хочу теперь отойти в сторону и сделать содеянное несодеянным, насколько это в моих силах.

— Ну хорошо, — сказал учитель и, достав свою трубку, принялся набивать ее табаком, который был у него

насыпан во всех карманах. — Вы по доброй воле взялись за это неблагодарное дело, а теперь по доброй воле отходите в сторону. Все совершенно правильно.

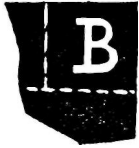
— Я не тупоголовый упрямец, — сказал я. — Может быть, вы находите какие-нибудь недочеты в моем предложении?

— Решительно никаких, — отвечал учитель и задымил своей трубкой.

Я не мог вынести запаха его табака, поэтому я встал и начал ходить по комнате. Из предыдущих встреч я знал, что учитель предпочитает помалкивать, но уж ежели он пришел ко мне, от него так просто не избавишься; он неоднократно очень надоедал мне, ему чего-то от меня надо, всякий раз думал я и предлагал ему деньги, которые он, кстати, охотно брал. Но уходил он лишь тогда, когда ему заблагорассудится. К этому времени трубка обычно бывала выкурена, он обходил кресло сзади, аккуратно и почтительно придвигал его к столу, брал из угла свою узловатую палку, горячо пожимал мне руку и уходил. Но сегодня его молчаливое присутствие особенно тяготило меня.

Если один человек предлагает другому навсегда расстаться, как сделал я, и другой считает это предложение вполне правильным, ему, естественно, надлежит как можно скорей завершить оставшиеся еще общие дела и не навязывать первому без всякой нужды свое молчаливое присутствие. Каждый, кто взглянул бы сзади на этого упорного старичка, сидящего за моим столом, решил бы, что теперь его и вообще не удастся выпроводить из комнаты...

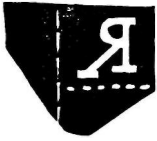
## НОВЫЙ АДВОКАТ



наших рядах объявился новый адвокат — д-р Буцефал. Мало что в его наружности напоминает время, когда он был боевым конем Александра Македонского. Однако люди сведущие кое-что и замечают. А недавно в парадном подъезде суда я даже видел, как простоватый служитель наметанным глазом скромного, но усердного завсегдатая скачек с восхищением следил за адвокатом, когда тот, подрагивая ляжками, звенящим шагом поднимался по мраморной лестнице ступенька за ступенькой.

В общем коллегия адвокатов одобряет включение Буцефала в наше сословие. С редким пониманием люди говорят себе, что Буцефалу трудно при нынешних порядках и он уже хотя бы поэтому, не говоря о его всемирно-историческом значении, заслуживает участия. В наше время, согласитесь, нет великого Александра. Убивать, правда, и у нас умеют; искусство пронзить копьём друга через банкетный стол тоже достаточно привилось; и многим тесно в Македонии, они проклинают Филиппа-отца, но никому, никому не дано повести нас в Индию. Уже и тогда ворота в Индию были недостижимы, но по крайней мере дорогу указывал царский меч. Ныне ворота перенесены в другое место — дальше и выше, — но никто не укажет вам дороги; меч вы увидите в руках у многих, но они только размахивают им, и взгляд, готовый устремиться следом, теряется и никнет.

Поэтому всего разумнее поступить, как Буцефал, — погрузиться в книги законов. Сам себе господин, свободный от шенкелей властительного всадника, он при тихом свете лампы, далеко от гула Александровых боев, читает и перелистывает страницы наших древних фолиантов.



был в крайнем затруднении; надо было срочно выезжать; в деревне за десять миль ждал меня тяжелобольной; на всем пространстве между ним и мною мела непроглядная вьюга; у меня имелась повозка, легкая, на высоких колесах, как раз то, что нужно для наших сельских дорог; запахнувшись в шубу, с саквояжиком в руке, я стоял среди двора, готовый ехать; но лошади, лошади у меня не было! Моя собственная лошадка, не выдержав тягот и лишений этой суровой зимы, околела прошлой ночью; служанка бросилась в деревню поискать, не даст ли мне кто коня; безнадежная попытка, как я и предвидел, — и все гуще заносимый снегом и все больше цепenea в неподвижности, я бесцельно стоял и ждал. Но вот и служанка, одна; она еще в воротах помахала мне фонарем; ну еще бы, сейчас да в такую дорогу разве кто одолжит мне лошадь! Я еще раз прошелся по двору, но так ничего и не придумал; озабоченный, я по рассеянности толкнул ногой шаткую дверцу, ведущую в заброшенный свиной хлев. Она открылась и захлопала на петлях. Из хлева понесло теплом и словно бы лошадиным духом. Тусклый фонарь качался на веревке, подвешенной к потолку. В низеньком чуланчике, согнувшись в три погибели, сидел какой-то дюжий малый, он повернулся и уставил на меня свои голубые глаза.

— Прикажете запрягать? — спросил он, выползая на четвереньках.

Я не знал, что ответить, и только нагнулся поглядеть, нет ли там еще чего. Служанка стояла рядом.

— Богачу и невдомек, что у него припасено в хозяйстве, — сказала она, и оба мы засмеялись.

— Э-гей, Братец, э-гей, Сестричка! — крикнул конюх,

и два могучих коня, прижав ноги к брюху и клоня точеные головы, как это делают верблюды, играя крутыми боками, едва-едва друг за дружкой протиснулись в дверной проем. И сразу же выпрямились на высоких ногах; от их лоснящейся шерсти валил густой пар.

— Помоги е м у , — сказал я, и услужливая девушка поспешила подать конюху сбрую.

Но едва она подошла, как он обхватил ее и прижался лицом к ее лицу. Девушка вскрикнула и бросилась ко мне; на щеке ее красными рубцами отпечатались два ряда зубов.

— Ах, скотина! — крикнул я в ярости. — Кнута захотел?

И тут же спохватился, что этот человек мне совсем незнаком, что я не знаю, откуда он взялся, и что он сам вызвался мне помочь, когда все другие отказались. Словно угадав мои мысли, конюх пропустил угрозу мимо ушей и, все еще занятый лошадьми, на мгновение обернулся ко мне.

— Садитесь, — сказал он; и в самом деле, все готово.

На такой отличной упряжке, как я замечаю, мне еще не приходилось выезжать, и я охотно сажусь.

— Править буду я сам, ты не знаешь дороги, — заявляю я.

— А как же, я и не поеду с вами, — говорит он, — останусь с Розой.

— Нет! — вскричала Роза и в страшном предчувствии своей неотвратимой участи кинулась в дом; я слышу, как бренчит цепочка, которой она закладывает дверь, слышу, как щелкает замок; вижу, как, скрываясь от погони, она тушит огонь в прихожей, а затем и в других комнатах.

— Ты едешь со мной, — говорю я конюху, — или я откажусь от поездки, как она ни нужна. Уж не вообразил и ты, что я отдам девушку в уплату за услугу?



— Эй, залетные! — крикнул он, хлопнул в ладоши и повозку помчалю, как несет щепку быстрым течением; я еще слышу, как дверь дома трещит и рассыпается под ударами конюха, и тут равномерный пронзительный свист оглушает все мои чувства, наполняя глаза и уши. Но это длится лишь мгновение; не успеваю оглянуться, как я уже у цели, словно ворота моей усадьбы открываются прямо во двор больного; лошади стоят смирно; вьюга утихла; светит луна; отец и мать больного выходят мне навстречу; за ними бежит его сестра, меня чуть ли не на руках выносят из повозки; я не понимаю их сбивчивых объяснений; в комнате больного нечем дышать; щелястая печь дымит; я решаю открыть окно, но сперва хочу осмотреть больного. Это худенький мальчик, без рубашки, температура нормальная, не высокая и не низкая, глаза пустые, он высовывается из-под пуховой перинки, обнимает меня за шею и шепчет на ухо:

— Доктор, позволь мне умереть.

Я оглядываюсь; никто этого не слышал; родители стоят молча, понурясь и ждут моего приговора; сестра принесла стул для саквояжика. Я открываю его и роюсь в инструментах; мальчик поминутно тянется ко мне рукой с кровати, напоминая о своей просьбе; я беру пинцет, проверяю его при свете свечи и кладу обратно. «Да, — думаю я в кощунственном исступлении, — именно в таких случаях приходят на помощь боги, они посылают нужную тебе лошадь, а заодно впопыхах вторую, я уже без всякой нужды разоряются на конюха...» И только тут вспоминаю Розу; что делать, как спасти ее, как вытащить из-под этого конюха — в десяти милях от дома, с лошадьми, в которых сам черт вселился? С лошадьми, которые каким-то образом ослабили построжки, а теперь неведомо как распахнули снаружи окна; обе просунули головы в комнату и, невзирая на переполох во всем се-

мействе, разглядывают больного. «Сейчас же еду домой», — решаю я, словно лошади меня зовут, но позволяю сестре больного, которой кажется, что я оглушен духотой, снять с меня шубу. Передо мной ставят стаканчик рому, старик треплет меня по плечу — столь великая жертва дает ему право на фамильярность. Я качаю головой; от предстоящего разговора с этим утлым старичком меня заранее мутит; только поэтому предпочитаю я не пить, Мать стоит у постели и манит меня; я послушно прикладываю голову к груди больного, — между тем как одна из лошадей звонко ржет, задрав морду к потолку, — и мальчик вздрагивает от прикосновения моей мокрой бороды. Все так, как я и предвидел: мальчик здоров, разве что слегка малокровен, заботливая мамаша чересчур усердно накачивает его кофе; тем не менее он здоров, следовало бы тумачом гнать его из постели. Но я не берусь никого воспитывать, пусть валяется! Я назначен сюда районными властями и честно тружусь, можно даже сказать — через край. Хотя мне платят гроши, я охотно, не щадя себя, помогаю бедным. А тут еще забота о Розе, мальчик, пожалуй, прав, да и мне впору умереть. Что мне делать здесь этой нескончаемой зимой?! Лошадь моя пала, и никто в деревне не одолжит мне свою. Приходится в свинарнике добывать себе упряжку; не подвернись мне эти лошади, я поскакал бы на свиньях. Вот как обстоит дело! Я киваю семейству. Они не знают о моих горестях, а расскажи им — не поверят. Рецепты выписывать нетрудно, трудно сговориться с людьми. Что ж, пора кончать визит, снова меня зря потревожили, ну да мне не привыкать стать, при помощи моего ночного колокольчика меня терзает вся округа, а на этот раз пришлось поступиться даже Розой, этой милой девушкой ой, — сколько лет она у меня в доме, а я ее едва замечал — нет, эта жертва чересчур велика, и я пускаю в ход

самые изощренные доводы, чтобы как-то себя урезонить и не наброситься на людей, которые при всем желании не могут вернуть мне Розу. Но когда я захопываю саквояжик и кивком прошу подать мне шубу, между тем как семейство стоит и ждет — отец обнюхивает стаканчик рома, он все еще держит его в руке, мать, по-видимому глубоко разочарованная — но чего, собственно, хотят эти люди? — со слезами на глазах кусает губы, а сестра помахивает полотенцем, насквозь пропитанным кровью, — у меня возникает сомнение, а не болен ли в самом деле мальчик? Я подхожу, он улыбается мне навстречу, словно я несу ему крепчайшего бульону, — ах, а теперь заржали обе лошади, возможно, они призваны свыше наставить меня при осмотре больного — и тут я вижу: мальчик действительно болен. На правом боку, в области бедра, у него открытая рана в ладонь величиной. Отливая всеми оттенками розового, темная в глубине и постепенно светлея к краям, с мелко-пузырчатой тканью и неравномерными сгустками крови, она зияет, как рудничный карьер. Но это лишь на расстоянии. Вблизи я вижу, что у больного осложнение. Тут такое творится, что только руками разведешь. Черви длиной и толщиной в мизинец, розовые, да еще и вымазанные в крови, копошатся в глубине раны, извиваясь на своих многочисленных ножках и поднимая к свету белые головки. Бедный мальчик, тебе нельзя помочь! Я обнаружил у тебя большую рану; этот пагубный цветок на бедре станет твоей гибелью. Все семейство счастливо, оно видит, что я не бездействую; сестра докладывает это матери, мать — отцу, отец — соседям, видно, как в лучах луны они на цыпочках, балансируя распростертыми руками, тянутся в открытые двери.

— Ты спасешь меня? — рыдая, шепчет мальчик, потрясенный ужасным видом этих тварей в его ране.

Таковы люди в наших краях. Они требуют от врача невозможного. Старую веру они утратили, священник заперся у себя в четырех стенах и рвет в клочья церковные облачения; нынче ждут чудес от врача, от слабых рук хирурга. Что ж, как вам угодно, сам я в святые не напрашивался; хотите принести меня в жертву своей вере — я и на это готов; да и на что могу я надеяться, я, старый сельский врач, лишившийся своей служанки? Все в сборе, семья и старейшины деревни, они раздевают меня; хор школьников во главе с учителем выстраивается перед домом и на самую незатейливую мелодию поет:

Разденьте его, и он исцелит,  
А не исцелит, так убейте!  
Ведь это врач, всего лишь врач...

И вот я перед ними нагой; запустив пальцы в бороду, спокойно, со склоненной головою, гляжу я на этих людей. Ничто меня не трогает, я чувствую себя выше их и радуюсь своему превосходству, хоть мне от него не легче, так как они берут меня за голову и за ноги и относят в постель. К стене, с той стороны, где рана, кладут меня. А потом все выходят из комнаты; дверь закрывается; пение смолкает; тучи заволакивают луну; я лежу под теплым одеялом; смутно маячат лошадиные головы в проемах окон.

— Знаешь, — шепчет больной мне на ухо, — а ведь я тебе не верю. Ты такой же незадачливый, как я, ты и сам на ногах не держишься. Чем помочь, ты еще стеснил меня на смертном ложе! Так и хочется выцарапать тебе глаза.

— Ты прав, — говорю я, — и это позор! А ведь я еще и врач! Что же делать? Поверь, и мне нелегко.

— И с таким ответом прикажешь мне мириться? Но такова моя судьба — со всем мириться. Хорошенькой

раной наградили меня родители; и это все мое снаряжение.

— Мой юный друг, — говорю я, — ты неправ; тебе не достаёт широты кругозора. Я, побывавший у постели всех больных в нашей округе, говорю тебе — твоя рана сущий пустяк: два удара топором под острым углом. Многие бы с радостью подставили бедро, но они только смутно слышат удары топора в лесу и не приближаются.

— Это в самом деле так или я брежу? Ты не обманываешь больного?

— Это истинная правда; возьми же с собою туда честное слово сельского врача.

И он взял его — и затих. Но пора было думать о моём спасении. Лошади по-прежнему верно стояли на посту. Я собрал в охапку платье, шубу и саквояжик; одеваться я не стал, это бы меня задержало; если лошади помчат отсюда с такой же быстротой, как сюда, я, можно сказать, пересяду из этой кровати в свою. Одна из лошадей послушно отошла от окна: я кинул свой узел в коляску; шуба пролетела мимо и только рукавом зацепилась за какой-то крючок. Ничего, сойдет. Вскакиваю на лошадь. Упряжь волочится по земле, лошади еле связаны друг с другом, коляска треплется из стороны в сторону, шуба последней бороздит снег.

— Эй, залетные! — кричу, но какое там: медленно, словно дряхлые старики, тащимся мы по снежной пустыне; долго еще провожает нас новая, но уже запоздалая песенка детей:

Веселитесь, пациенты,  
Доктор с вами лег в постель!

Этак мне уже не вернуться домой; на моей обширной практике можно поставить крест; мой преемник меня обгребит, хоть и безо всякой пользы, ведь ему меня не за-

менить; в доме у меня заправляет свирепый конюх; Роза в его власти; мне страшно и думать об этом. Голый, выставленный на мороз нашего злосчастного века, с земной коляской и неземными лошадьми, мыкаюсь я, старый человек, по свету. Шуба моя свисает с коляски, но мне ее не достать, и никто из этой проворной сволочи, моих пациентов, пальцем не шевельнет, чтобы ее поднять. Обманут! Обманут! Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика — и дела уже не поправишь!

### СТАРИННАЯ ЗАПИСЬ



оюсь, что в обороне нашего отечества многое упущено. До сей поры мы об этом не думали, каждый был занят своим делом, однако последние события вселяют в нас тревогу.

Я держу сапожную мастерскую на площади перед дворцом. Едва я спозаранок открываю лавку, как вижу, что входы во все прилегающие улицы заняты вооруженными воинами. Но это не наши солдаты, а, должно быть, кочевники с севера. Каким-то непостижимым образом они достигли столицы, хоть она и стоит далеко от рубежей. Так или иначе, они здесь; и сдается мне, число их с каждым днем растет.

Верные своему обычаю, они располагаются под открытым небом, домами же гнушаются. Единственное их занятие — оттачивать мечи, заострять стрелы и объезжать коней. Эту тихую площадь, которую мы от века содержим с боязливым попечением, они поистине превратили в конюшню. Мы иногда еще выбегаем из своих лавок, чтобы убрать самую омерзительную грязь, но раз от разу все реже; ведь наши труды пропадают даром, и мы рис-

куем попасть под копыта полудиких лошадей или под удары плети.

Говорить с кочевниками невозможно. Нашего языка они не знают, а своего у них как будто и нет. Между собой они объясняются, как галки. Все время доносится к нам их галочий грай. Наш уклад, наши установления им столь же непонятны, как и безразличны. Поэтому они даже знаки отказываются понимать. Хоть челюсть себе свихни, хоть выверни руки в суставах, они тебя не поняли и ни за что не поймут. Зато они горазды гримасничать, вращать глазами белками и брызгать слюной — однако это не значит, что они хотят что-то сказать вам или даже испугать; это их естество. Что ни понадобится — берут. И не то чтобы применяли насилие. Нет, мы сами отходим в сторонку и все им оставляем.

Моиими запасами они тоже поживились, отобрав что получше. Но я не вправе роптать, когда вижу, каково приходится хозяину мясной, что напротив, через площадь. Едва он привозит товар, как кочевники рвут его из рук и дочиستا пожирают. Кони их тоже лопают мясо: я часто вижу, как всадник растянулся на земле рядом со своим скауном и оба насыщаются одним и тем же куском, каждый со своего конца. Наш мясник так напуган, что не решается закрыть торговлю. И мы собираем деньги, чтобы его поддержать. Если кочевников не кормить мясом, одному богу известно, что они натворят; впрочем, одному богу известно, что они натворят, хоть и корми их что ни день мясом.

Наконец мясник надумал избавиться хотя бы от убоя скотины. Как-то утром он привел живого быка. И закаялся вперед это делать. Добрый час пролежал я ничком на полу в самом дальнем углу мастерской. Набросил на себя все носильное платье, все одеяла и подушки, лишь бы не слышать рева несчастного животного: кочевники,

накинувшись со всех сторон, зубами рвали живое мясо. Все давно утихло, когда я отважился выйти на площадь; словно бражники вокруг винной бочки, полегли они без сил вокруг останков быка.

Должно быть, в этот же день в дворцовом окне увиделась мне особа нашего государя; он никогда не появляется в парадных покоях, предпочитая укромные комнаты, выходящие в сад; на сей же раз он стоял у окна — или так мне показалось — и, понурая голову, наблюдал это гульбище перед дворцом.

Что же дальше? — спрашиваем мы себя. Долго ли нам еще терпеть эту тягость и муку? Дворец приманил к нам кочевников, но он не в силах их прогнать. Ворота за семью запорами; караул, что раньше на разводах проходил торжественным маршем туда и обратно, ныне прячется за решетчатыми окнами. Нам, ремесленникам и торговцам, доверено спасение отечества; но такая задача нам вовсе не по плечу, да мы никогда и не хвалились, что готовы за нее взяться. Это чистейшее недоразумение; и мы от него гибнем.

## ПОСЕЩЕНИЕ РУДНИКА



Сегодня к нам пожаловали наши старшие инженеры. Дирекцией, как видно, получено распоряжение проложить новые штольни, вот инженеры и спустились вниз, чтобы провести первые измерения. До чего же это молодой народ и какие они все разные! Ничто не задерживало их развятия, и их рано сложившиеся характеры уже заявляют о себе в полную силу.

Один, черноволосый, быстрый, так и шарит вокруг глазами, как бы чего не пропустить.



У второго записная книжка, он делает на ходу наброски, оглядывается по сторонам, сравнивает, записывает.

Третий шагает, расправив плечи, засунув руки в карманы пиджака, так что все на нем трещит; он исполнен сознания своего достоинства, и только непрерывное покусывание губ выдает его неугомонную молодость.

Четвертый дает третьему непрощенные пояснения; пониже ростом, он, словно искушая, семенит с ним рядом и, подняв вверх палец, нудно толкует обо всем, что ни попадется на глаза.

Пятый, видать, над всеми старший; он никого подле себя не терпит: то убежит вперед, то плетется сзади; остальные по нему равняются; он бледный и хилый, глаза запали; должно быть, чувствуя свою ответственность, он часто в раздумье потирает рукой лоб.

Шестой и седьмой шагают под руку; слегка наклонясь друг к другу и сдвинув головы, они шепчутся о чем-то своем; если бы это был не рудник и не наш забой в недрах земли, этих худощавых безбородых молодцов с хрящеватыми носами можно было бы принять за молодых священников. Один из них больше смеется про себя, мурлыча, точно кот; другой тоже ухмыляется, но он-то и ведет разговор, помахивая в такт свободной рукой. Должно быть, эти господа на хорошем счету у дирекции и немало уже за свой короткий век сделали для рудника, если, участвуя в таком важном деле на глазах у начальства, преспокойно ведут посторонние разговоры или, во всяком случае, разговоры, далекие от их сегодняшней задачи. А может быть, несмотря на смех и кажущееся невнимание, они замечают все, что следует. Нашему брату трудно с уверенностью судить о таких господах.

И все же нельзя отрицать, что, к примеру, восьмой инженер куда больше занят делом, чем эта пара, да и

кого ни возьми из его сослуживцев. Ему бы все подержать в руках и обстучать своим молоточком, который он то достает из кармана, то снова прячет в карман. А то возьмет да в своем щегольском костюме станет на колени прямо в грязь и давай выстукивать землю, а уж дальше только мимоходом прослушивает стены и потолок над головой. Как-то он даже растянулся на земле — лежит, не шелохнется; мы испугались, не случилось ли чего, как вдруг он легким усилием своего гибкого тела снова вскочил на ноги. Верно, опять что-то исследовал. Уж на что мы, кажется, знаем наш рудник, любой камешек в нем, а и нам невдомек, чего этот инженер добивается своими поисками.

Девятый толкает перед собой что-то вроде детской колясочки, куда сложены измерительные приборы. Это очень ценные приборы, они завернуты в тончайшую вату. Колясочку мог бы везти и слуга, но ему не доверяют; тут опять понадобился инженер, и он, видно, охотно выполняет это поручение. Правда, он здесь самый младший, со многими приборами он, должно быть, и сам незнаком, однако глаз с них не спускает — того и гляди от большого усердия грохнет колясочку о стену.

Не зря к нему приставлен другой инженер; он идет рядом с колясочкой и следит в оба. Этот, видать, до тонкости знает приборы, он, судя по всему, их хранитель. Время от времени, не останавливая колясочки, он вынимает какую-нибудь часть, просматривает на свет, развинчивает или завинчивает, встряхивает, обстукивает, подносит к уху и слушает; и наконец со всей осторожностью возвращает эту маленькую, почти незаметную на расстоянии штучковину обратно в колясочку, меж тем как младший стоит и ждет. Этот инженер не прочь и покомандовать, но только, что касается приборов. Уже за десять

шагов от колясочки мы по его молчаливому знаку должны расступиться — даже там, где расступиться негде.

За этими двумя господами шествует бездельник-слуга. Сами инженеры, люди больших знаний, давно, разумеется, отбросили всякое чванство, а слуга, похоже, его подобрал. Заложив одну руку за спину и поглаживая другой золоченые пуговицы и тонкое сукно своей ливреи, он кивает направо и налево, будто мы ему поклонились, а он нам отвечает, или будто он убежден, что мы ему поклонились, но с высоты своего величия не удостоивает это проверить. Мы, конечно, ему не кланяемся, а все же, глядя на него, невольно думается, что служитель нашей рудничной дирекции бог весть какая шишка. Мы даже смеемся за его спиной, но так как и удар грома не заставит его обернуться, то он все же остается для нас в некотором роде загадкой.

Работа больше не клеится; перерыв слишком затянулся; такое посещение надолго отвлекает от дела. Уж очень заманчиво постоять и поглядеть в темноту пробной штольни, мысленно провожая исчезнувших в ней инженеров. Да и смена кончается, мы уже не увидим их возвращения.

## СОСЕДНЯЯ ДЕРЕВНЯ



едушка, бывало, говорил: «До чего же коротка жизнь! Когда я вспоминаю прожитое, все так тесно сдвигается передо мной, что мне трудно понять, как молодой человек отваживается ну хотя бы поехать верхом в соседнюю деревню, не боясь, я уже не говорю — несчастного случая, но и того, что обычной, даже вполне благополучной жизни далеко не хватит ему для такой прогулки».



Всего у меня одиннадцать сыновей.

Старший из себя невзрачен, однако это человек умный и дельный; и все же я не очень высоко его ставлю, хоть и люблю не меньше, чем других детей. Его внутренний мир, по-моему, ограничен; он не глядит ни вправо, ни влево, ни вдаль; мысли его движутся по кругу, я бы даже сказал, что они топчутся на месте.

Второй красив, строен, хорошо сложен; глаз не отведешь, когда он фехтует. Да и умом не обижен, к тому же поведаль свет; он много знает, и даже родная природа говорит ему больше, чем другим, кто никуда не выезжал. Впрочем, этим своим преимуществом он обязан не столько путешествиям, сколько присущей ему от рождения неповторимой черте, ее хорошо знают те, кто пытается подражать его мастерским прыжкам в воду: несколько сальто на лету, и он ныряет уверенно и бесстрашно. У них же храбрости и пыла хватает лишь до конца трамплина; а там, вместо того чтобы прыгнуть, они вдруг садятся и виновато разводят руками. Но, несмотря на все это (радоваться бы такому сыну), кое-что в нем меня беспокоит. Левый глаз у него чуть меньше правого и часто мигает; не бог весть какой недостаток, он даже подчеркивает присущее моему мальчику выражение неукротимой удали, и те, кому знаком его неприступно замкнутый характер, вряд ли поставят ему в упрек его нервически подмигивающий глаз. Только меня, отца, берет сомнение. Смушает же меня, конечно, не физический недостаток, а угадываемая за ним душевная трещинка, какой-то яд, что бродит в его крови, какая-то неспособность выполнить свое жизненное назначение, очевидное одному мне. И в то же время эта черта особенно нас

роднит: это наследственный в нашей семье недостаток, проявившийся в нем с особенной силой.

Третий сын тоже красив, но не радует меня его красота. Это красота певца: отчетливо очерченный рот; мечтательный взгляд; голова, которую хочется видеть на фоне драпировки; чересчур высокая грудь; легко взлетающие и слишком легко падающие руки; ноги, которые скорее выставляются напоказ, чем призваны служить опорой. Да и голосу не хватает полноты; он обманывает лишь на минуту, настораживая знатока, чтоб тут же сорваться и потухнуть. Другой, может быть, стал бы гордиться таким сыном, я же предпочитаю держать его в тени; да и он не склонен привлекать к себе внимание, и не потому, что знает свои недостатки, а по невинности души. Нынешнее время не по нем; родившись в нашей семье, он словно чувствует себя членом и другой семьи, навеки утраченной, и потому часто впадает в уныние, и ничто не может его развеселить.

Мой четвертый сын, пожалуй, самый общительный. Истинное дитя своего века, он каждому понятен, он обеими ногами стоит на земле, и каждый рад обменяться с ним приветствием. Быть может, это общее расположение придает его существу какую-то легкость, его движениям — какую-то свободу, его мыслям — известную беззаботность. Иные его замечания хочется вновь и вновь повторять — правда, лишь иные, обычно они отличаются все той же чрезмерной легкостью. Он напоминает прыгуна, который, плавно отделившись от земли, ласточкой рассекает воздух лишь для того, чтобы свалиться в пыль жалким ничтожеством. Эти мысли отравляют мою любовь к четвертому сыну.

Мой пятый сын — славный и добрый малый: он обещал куда меньше, чем выполнил; он был так незначителен, что мы не замечали его присутствия; однако это не

помешало ему кое-чего добиться в жизни. Если б меня спросили, как это произошло, я затруднился бы ответить. Быть может, невинности легче проложить себе дорогу сквозь бури, бушующие в этом мире, а уж в невинности ему не откажешь. Он, пожалуй, даже чересчур невинен. Душевно расположен ко всякому. Пожалуй, чересчур расположен. Признаться, я без удовольствия слушаю, когда мне его хвалят. Ведь ничего не стоит хвалить того, кто так заслуживает похвалы, как мой сын.

Мой шестой сын, по крайней мере на первый взгляд, самая глубокая натура из всех братьев. Это меланхолик и вместе с тем болтун. С ним трудно столкнуться: малейшее поражение ввергает его в беспросветную грусть, но, одержав верх в споре, он уже не может остановиться, как будто этим словоизвержением надеется закрепить свою победу. Но есть в нем и какая-то самозабвенная пылкость; порой, раздираемый своими мыслями, он бродит среди бела дня, будто в сонном забытии. Он ничем не болен, напротив, завидного здоровья, но иногда шатается на ходу, особенно в сумерки, хотя и обходится без посторонней помощи. Быть может, это от чересчур быстрого роста, он не по годам высок. Красотой он не отличается, хотя многое в отдельности у него и красиво, например руки и ноги. А вот лоб не хорош: не только кожа, но и кость будто какая-то сморщенная.

Седьмой сын, пожалуй, мне особенно близок. Люди не отдают ему должного: его своеобразное остроумие до них не доходит. Я не переоцениваю своего мальчика, я знаю, он звезд с неба не хватает; кабы люди были грешны только тем, что не оценили по достоинству моего сына, их не в чем было бы упрекнуть. И все же в моей семье этот сын занимает свое особенное место: он соединяет в себе дух возмущения и уважение к традиции, причем и то и другое, по крайней мере на мой взгляд, слито в нем в единое це-

лое. Правда, он меньше всего знает, куда приложить это целое; не ему дано привести в движение колесо будущего; но в этом его умонастроении есть что-то бодрящее, какая-то надежда и обещание; хотелось бы дождаться от него детей, а от его детей — еще детей. К сожалению, он пока не думает о женитьбе. В какой-то понятной мне, но огорчительной самоудовлетворенности (составляющей великолепную антитезу к мнению окружающих) он вечно шатается один. Что ему девушки? Он и без них не скушает.

Самое большое мое горе — восьмой сын, хоть я и не вижу для этого серьезных оснований. Он смотрит на меня как на чужого, тогда как я крепко, по-отцовски к нему привязан. Время многое сгладило, когда-то я не мог спокойно о нем думать. Он идет своей дорогой; от меня он окончательно отказался; и уж, конечно, со своим чугунным черепом и небольшим телом атлета — только ноги у него в детстве были слабоваты, но и они, должно быть, со временем окрепли — он своего добьется. Часто являлось у меня желание вернуть его, спросить, как ему живется, и почему он так вооружен против отца, и что ему, в сущности, нужно, но теперь он от меня так далеко и столько утекло воды — пусть уж все остается по-старому. Говорят, он единственный из моих сыновей отпустил бороду. При таком небольшом росте это вряд ли его красит.

У моего девятого сына изысканная внешность и пресловутый томный взгляд, влекущий женщин. Своими нежными взорами он мог бы и меня зачаровать, когда бы я не знал, что достаточно мокрой губки, чтоб стереть этот неземной глянec. Но самое удивительное в моем мальчике то, что он меньше всего хочет кого-то обворожить. Он рад бы всю жизнь провалиться на диване, расточая свои взоры перед потолком, или, еще охотнее, покоя их под веками. В этом излюбленном положении он говорит много и живо,

сжато и выразительно, но только в известных пределах, стоит ему за них выйти (а это неизбежно при их узости), как речь его становится пустопорожней болтовней. Хочется остановить его нетерпеливым движением, но вряд ли эти сонные глаза способны заметить мой жест.

Моего десятого сына считают неискренним. Я не стану ни целиком отвергать это мнение, ни полностью с ним соглашаться. Но поглядите, как он выступает с не свойственной его возрасту торжественностью в наглухо застегнутом сюртуке и старой, но сверхтщательно вычищенной черной шляпе, с неподвижной миной, выставив вперед подбородок и тяжело опустив веки, а то еще и приложив два пальца к губам, — и вы непременно подумаете: вот законченный лицемер! Однако послушайте, как он говорит! Рассудительно, обдуманно, не тратя лишних слов; раздраженно пресекая все вопросы, в каком-то нерассуждающем, безоговорочном благоговении перед всем существующим — восторженном благоговении, от которого напряживается шея и все тело устремляется ввысь. Немало людей, считающих себя великими умниками, оттолкнула, по их признанию, внешность моего сына, но привлекло потом его слово. Однако есть и такие судьи, которых не смущает его внешность, но именно в слове его они усматривают лицемерие. Я отец, и не мне решать, но не скрою, что последнее мнение для меня более убедительно.

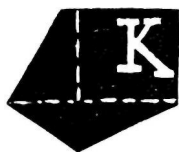
Мой одиннадцатый сын хрупкого сложения. Он у меня, пожалуй, самый слабенький, но это обманчивая слабость; временами он обнаруживает и твердость и решительность, однако и в такие минуты слабость остается его преобладающей чертой. Впрочем, это не постыдная слабость, а то, что считается слабостью на этой нашей планете. Разве не слабость, например, готовность к взлету — тут и зыбкость, и неопределенность, и трепетный порыв. Нечто подобное наблюдаю я и в моем мальчике. Эти черты, конечно, не



радуют отца, ведь они неизбежно ведут к разрушению семьи. Иногда он смотрит на меня, словно хочет сказать: «Я и тебя прихвачу, отец!» И я думаю: «Ты последний, кому бы я доверился». А он будто мне отвечает взглядом: «Пусть хоть последний!»

Вот каковы они — мои одиннадцать сыновей.

## БРАТОУБИЙСТВО



Как установлено, убийство произошло при следующих обстоятельствах.

Убийца, Шмар, в этот светлый лунный вечер, часов в девять, стал на угол, там, где Везе, его жертва, при выходе из улочки, где помещалась его контора, должен был свернуть в улочку, где он проживал.

Холодный ночной воздух всякого пробрал бы до костей, а на Шмаре был только легкий синий костюм, да и то пиджак нараспашку. Но он не чувствовал холода, к тому же все время был в движении. Свое орудие убийства — нечто среднее между штыком и кухонным ножом — он держал наготове, крепко зажатым в руке. Он повертел им; клинок сверкнул а лучах луны, но Шмару и этого показалось мало; он ударил им о камни мостовой, так что искры посыпались. Потом спохватился и стал править лезвие о подошву башмака, словно настраивал скрипку. Так, стоя на одной ноге и наклонясь вперед, он прислушивался к ширканию клинка о башмак и к тому, что творится на той, зловещей улочке.

Но почему это терпит Паллада, местный обыватель, следящий за всем из своего окна на втором этаже соседнего дома? Попробуй, разберись в душе человека! Высоко

подняв воротник халата, стянутого кистями на жирном животе, он только качает головой и смотрит вниз.

А пятью домами дальше фрау Везе в накинутаой поверх ночной рубашки лисьей шубе тоже выглядывает из окна; она встревожена необычным опозданием мужа.

Но вот в конторе Везе звякнул дверной колокольчик. Слишком громкий звонок для дверного колокольчика, он разносится по городу, поднимается к небесам, и Везе, этот работяга, засиживающийся допоздна в своей конторе, выходит наконец, еще не видимый тем, кто ждет его на той улочке, но уже возвестивший о себе звонком; мостовая отсчитывает его спокойные шаги.

Паллада высунулся далеко вперед — как бы чего не упустить. Успокоенная звонком, фрау Везе захлопывает дребезжащее окно. Между тем Шмар опускается на колени. Руками и лицом — остальное у него еще сокрыто — он прижимается к камням. Там, где все мерзнет, Шмар пылает.

Как раз на границе, где улочки расходятся, Везе оставливается, но трость его уже за поворотом. Минутная причуда. Он загляделся в вечернее небо, темно-синее и золотое. Беспечно смотрит он ввысь, беспечно поправляет волосы под сдвинутой на затылок шляпой; но там, наверху, ничто не шелохнется, чтобы возвестить ему ближайшие события; все бессмысленно цепенеет на своих непреложных, непостижимых местах. В сущности, вполне разумно, что Везе идет дальше, но он идет под нож Шмара.

— Везе! — кричит Шмар, он привстал на носки и высоко занес руку с н о ж о м. — Везе, напрасно ждет Юлия!

И справа в глотку, и слева в глотку, и третьим ударом глубоко в живот разит Шмар. Проткните водяную крысу, и вы услышите такой же звук, какой издал Везе.

— Все! — сказал Шмар и далеко отшвырнул свой нож, этот уже ненужный ему окровавленный балласт. — О во-

сторг убийства! О чувство облегчения и окрыленности при виде потока чужой крови! Везе, старая ночная тень, друг, бесменный собутыльник, ты просочишься в щели мостовой и затеряешься в темном грунте. Жаль, что ты не просто налитый кровью пузырь, который, лопнув, исчез бы бесследно! Но не все идет, как хочется, не всем цветущим снам дано созреть; твои грузные останки лежат под ногами, уже недоступные пинку. Что же означает твой немой вопрос?

Паллада, давясь и брызжа ядом, стоит в распахнутых дверях.

— Шмар! Шмар! Все улики налицо, ничто не укрылось!

Паллада и Шмар испытующе смотрят друг на друга. Паллада торжествует, Шмар теряется.

Окруженная соседями, с постаревшим от ужаса лицом, спешит сюда фрау Везе. Полы ее шубы разлетаются, она прильнула к Везе, ее тело под ночной рубашкой принадлежит ему, ее шуба, сомкнувшаяся над этим супружеским ложем, как выстланная дерном могильная насыпь, принадлежит толпе.

Шмар, задыхаясь от подступившей к горлу смертельной тошноты, уткнулся в плечо полицейского, и тот проворно уводит его.

## СОН

Иозефу К. приснился сон.

Был отличный день, и ему захотелось погулять. Но он и двух шагов не прошел, как сразу же очутился на кладбище. По всей территории кладбища зигзагами разбегались дорожки, искусно проложенные, но несообразно извилистые. Од-



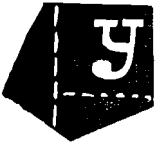
нако, став на одну из них, К. уверенно и легко заскользил вперед, словно подхваченный стремительным течением. Уже издали внимание его привлек свежий могильный холм, и он решил держать на него путь. Холм словно манил его к себе, и К. не терпелось поскорее до него добраться. Порой холм исчезал из виду, его заслоняли полощущие и хлопающие на ветру знамена. К. не различал, кто их нес, но ему чудилось впереди какое-то праздничное оживление.

Взгляд его был по-прежнему устремлен вдаль, как вдруг он обнаружил тот самый холм совсем рядом, у дорожки, чуть ли не позади себя. Он поспешил прыгнуть в траву, но, едва нога его оттолкнулась от убегающей вперед дорожки, потерял равновесие и упал на колени у самого холма. За холмом стояли двое, держа в руках могильную плиту. Увидев К., они воткнули камень в землю, и он стал намертво. Тут из-за кустов выступил третий — судя по всему, художник. На нем были только старые штаны, небрежно застегнутая рубашка, на голове бархатный берет, в руке он держал простой карандаш и уже на ходу чертил им в воздухе какие-то фигуры.

Этим-то карандашом художник и принялся чертить на плите, начав с самого верху. Плита была высокая, не нужно было даже нагибаться, разве только наклониться вперед: мешала насыпь, а наступить на нее художник не решался. Так он и стоял на цыпочках, опираясь левой рукой о плиту. Каким-то образом он умудрялся простым карандашом вырезать на камне золотые буквы. Он вывел: «Здесь покоится...» Каждая буква выделялась ясно и четко, сверкая золотом. Начертав эти два слова, художник оглянулся на К., но тот жадно следил за возникающей надписью; он и думать забыл о художнике и не спускал глаз с плиты. И в самом деле, художник опять принялся за работу, но она у него не ладилась, что-то ему мешало;

опустив карандаш, он снова обернулся к К. Тут и К. наконец посмотрел на художника, увидел, что чем-то он очень смущен, но не понимал чем. Куда девалась его прежняя живость! Это в свою очередь смутило К. Так они и стояли, беспомощно глядя друг на друга. Казалось, между ними возникло досадное недоразумение, которое ни тот, ни другой не в силах разрешить. А тут еще некстати на кладбищенской часовне зазвонил небольшой колокол; художник замахал рукой, и он умолк. Но немного погодя снова зазвонил, правда, потише и не так призывно, а словно пробуя голос. Незадача художника так огорчила К., что он безутешно зарыдал и долго всхлипывал, закрыв лицо руками. Художник дал ему успокоиться и, не видя другого выхода, опять взялся за работу. При виде новой черточки, которую он нанес на плиту, К. просиял, но художник работал через силу: у него и шрифт не получался, а главное — не хватало золота. Неуверенно вывел он на камне слепую, но зато непомерно большую букву. Это было «И» — оставалось лишь его закончить. Но тут художник в бешенстве ткнул ногой в могильную насыпь, земля брызнула комьями во все стороны. И К. наконец понял; но приносить извинения было уже поздно; всеми десятью пальцами врывается он в землю, благо она легко поддавалась; кто-то, должно быть, заранее обо всем подумал; холм был насыпан лишь для виду; под тонким слоем земли зияла большая яма с отвесными стенками, и, повернутый на спину каким-то ласковым течением, К. послушно в нее погрузился. Когда же его поглотила непроглядная тьма и только голова еще тянулась вверх на судорожно поднятой шее, по камню уже стремительно бежало его имя, украшенное жирными росчерками.

Восхищенный этим зрелищем, К. проснулся.



важаемые господа академики! Вы оказали мне честь, предложив составить для Академии отчет о предыстории моей жизни в бытность обезьяной.

К сожалению, я не могу исполнить вашу просьбу. Вот уже пять лет отделяют меня от моего обезьяньего естества; срок этот, если рассматривать его с точки зрения вечности, весьма короток, но для меня он был бесконечно долгим; и хотя мне повезло и я встречал на своем пути превосходных людей, не скупившихся на советы и рукоплескания, хотя я двигался вперед под гром оркестров, в сущности я всегда был одинок; люди, помогавшие мне, говоря образно, оставались далеко за барьером. Я никогда не достиг бы успеха, если бы упрямо цеплялся за прошлое, за воспоминания юности. Именно отсутствие упорства в этом вопросе было той главной заповедью, каковую мне следовало выполнять. И я, дитя свободы, подчинялся любому гнету. Посему воспоминания мои все больше и больше тускнели. Вначале, если бы люди того пожелали, я еще мог легко вернуться к прежней жизни — ворота, ведущие к ней, были распахнуты настежь, но чем сильнее меня подхлестывали и чем скорее я цивилизовался, тем ниже и уже делались эти ворота и тем лучше и уверенней чувствовал я себя в мире людей; ураган, вырвавший меня из моего прошлого, давно уже стих, я ощущаю сейчас только легкий ветерок, приятно щекочущий мне пятки, а брешь, через которую этот ветерок проникает и через которую я сам когда-то появился, стала совсем крохотной; если бы даже у меня хватило сил и воли добраться до нее, то уж пролезть, не ободрав всю шкуру, я не смог бы. Называя вещи своими именами — хотя в таких случаях предпочтительнее выражаться иносказательно, — называя вещи своими именами, я должен за-

явить, господа, что ваше обезьянье естество, если оно у вас есть, так же глубоко схоронено, как и мое. Да и ветер обезьяньего прошлого щекочет пятки всем смертным без исключения — от маленького шимпанзе до великого Ахиллеса.

И все же, господа, я могу частично осветить вопрос, поставленный Академией, что и делаю с превеликим удовольствием. Первое, чему я научился, — это рукопожатие; рукопожатие — символ чистосердечия. Так пусть же теперь, когда я стою на вершине славы, к тому давнему рукопожатию прибавятся мои нынешние чистосердечные слова. Правда, Академия не извлечет из них ничего принципиально нового; это далеко не то, что вы, господа, хотели бы от меня услышать и что я при всем желании не могу вам поведать, но, как бы то ни было, мой отчет покажет ту основную линию, следуя которой прежней обезьяне удалось проникнуть в человеческое сообщество и укорениться там. Разумеется, мне не следовало бы делать даже те незначительные признания, которые я делаю, если бы я не был так в себе уверен и если бы не занимал таких поистине незыблемых позиций на сценах всех крупных варьете цивилизованного мира.

Родом я с Золотого Берега. О моей поимке я знаю только с чужих слов. Как-то вечером одна из специальных экспедиций фирмы «Гагенбек» — кстати оказать, с главою этой фирмы я распил с тех пор немало бутылок доброго красного винца — залегла в прибрежных кустах; в это время к водопою подбежала стая обезьян — среди этих обезьян был и я. Раздались выстрелы; я был единственный, в кого попали; меня ранили дважды.

В щеку — эта рана оказалась легкой, но от нее у меня остался большой голый красный рубец, которому я обязан

отвратительным, ни с чем не сообразным прозвищем «Красный Петер» — поистине обезьяньей выдумкой. Можно подумать, что я отличаюсь от недавно околевавшей дрессированной обезьяны Петера, снискавшей себе некоторую известность, всего лишь красной отметиной на щеке. Говору об этом между прочим.

Вторым выстрелом меня ранило чуть пониже бедер. Рана оказалась тяжелой — до сих пор я слегка прихрамываю. Не так давно я прочел в статье, вышедшей из-под пера одного из тех тысяч газетных писак, которые болтают обо мне, нижеследующее: мое обезьянье нутро, мол, еще дает о себе знать; доказательством может служить тот факт, что я с особым удовольствием снимаю с себя штаны в присутствии посетителей, демонстрируя пулевое отверстие в шкуре. Пусть же у малого, который это написал, отсохнут по очереди все пальцы! Да, я могу спокойно снимать штаны, перед кем мне заблагорассудится, глазам зрителей не откроется ничего, кроме хорошо ухоженного обезьяньего меха и шрама, оставшегося от того наглого выстрела, — я позволю себе употребить в данном конкретном случае это слово, но не желаю, чтобы меня истолковали превратно, — шрама от наглого выстрела. Все у меня на виду, мне нечего скрывать, и вообще ради выяснения истины любое мыслящее существо с широкими взглядами вправе поступиться правилами этикета. Конечно, если бы в присутствии посетителей свои штаны снял вышеупомянутый господин писака, мы имели бы совсем иную картину; то обстоятельство, что он этого не делает, я считаю проявлением его здравого смысла. Так пусть же по крайней мере не лезет с нравоучениями!

Придя в себя после ранения, я увидел, что нахожусь в клетке на средней палубе парохода фирмы «Гагенбек» — с этого времени и начинаются постепенно мои личные воспоминания. Клетка, в которую меня заключили, оказалась



не совсем обычной: три решетчатые стены замыкались деревянной стенкой ящика; таким образом четвертая стена моей темницы оказалась дощатой. Все сооружение было таким низким, что в нем нельзя было выпрямиться, и таким узким, что невозможно было сидеть. Мне пришлось примоститься на корточках, согнув ноги; колени у меня беспрерывно дрожали; видимо, в те дни я никого не желал видеть, предпочитая оставаться в темноте; поэтому я сидел, уткнувшись в дощатую стену клетки, и железные прутья врезались мне в спину. Вышеописанный способ содержания диких зверей непосредственно после поимки считается наилучшим; исходя из собственного опыта, я не могу отрицать, что, с человеческой точки зрения, это так и есть.

Но в то время я об этом не думал. Впервые в жизни у меня не оказалось выхода, во всяком случае прямого выхода; передо мной находилась стена ящика, все доски которой были плотно пригнаны друг к другу. Правда, я вскоре обнаружил в стене щель и по тогдашнему недомыслию озаменовал это открытие радостным воем, но щель была так мала, что в нее невозможно было просунуть даже хвост, и всей моей обезьяньей силы не хватило бы на то, чтобы расширить ее.

Как мне сообщили позже, я производил в то время поразительно мало шума; из этого заключили, что я либо быстро погибну, либо, если мне удастся пережить критический период, очень легко поддамся дрессировке. Как известно, период этот я пережил... Моя новая жизнь была вначале заполнена тем, что я мрачно скулил, болезненно морщась, искал блох, устало вылизывал кокосовые орехи, стучал голову о дощатую стенку и скалил зубы, когда кто-нибудь приближался ко мне. Но чем бы я ни занимался, мною владело одно чувство: выхода нет! Разумеется, мои тогдашние обезьяньи переживания я могу пере-

дать сейчас только человеческим языком и, значит, не совсем точно. Теперь я и сам уже не в силах познать прежнюю обезьянью истину, но, во всяком случае, брожу где-то близко; в этом можно не сомневаться.

Да, до сих пор у меня было сколько угодно выходов, а теперь вдруг не осталось ни единого. Я зашел в тупик. Я был так прикован к месту, что, если бы меня прибили гвоздями, мое положение не ухудшилось бы. А почему? Не поймешь ничего, хоть раздери себе в кровь пальцы ног. Не поймешь ничего, хоть упрись спиной в решетку с такой силой, что она тебя чуть ли не перережет надвое. Выхода не было, но я должен был его найти, ибо без этого не мог существовать. Нельзя же весь век просидеть перед дощатой стеной — так и подохнуть недолго. Но, согласно Гагенбеку, обезьяна должна сидеть перед дощатой стеной... Вот я и перестал быть обезьяной! Ясное и логичное умозаключение, до которого мне пришлось дойти собственным животом, потому что обезьяны мыслят животом.

Боюсь, что вы неправильно поймете то, что я понимаю под словом «выход». Я употребляю его в первоначальном и прямом смысле. Я умышленно не говорю о свободе. Великое чувство свободы — всеобъемлющей свободы — я оставляю в стороне. Весьма возможно, я испытал его, будучи обезьяной; позже мне встречались люди, которые стремились к свободе. Лично я не требовал свободы ни тогда, ни теперь. Между прочим, люди очень часто обманывают себя этим словом. Свободу причисляют к самым возвышенным чувствам, поэтому и ложь о свободе считается возвышенной. Часто перед выступлениями на сцене варьете я наблюдал за какой-нибудь парой, работавшей на трапециях под самым куполом. Они раскачивались, взлетали вверх, прыгали, перелетали в объятия друг друга; один держал другого зубами за волосы. «И это люди тоже называют свободой, — думал я, — свободой движе-

ния!» Какое издевательство над матерью-природой! Если бы обезьянам показали эту «свободу», от их гомерического хохота рухнули бы стены цирка.

Нет, я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода — направо, налево, в любом направлении, других требований я не ставил; пусть тот выход, который я найду, окажется обманом, желание было настолько скромным, что и обман был бы не бог весть каким. Я должен был двигаться вперед и вперед! Только бы не стоять, поднимая лапы, только бы не чувствовать себя припертым к дощатой стене. Ныне я ясно вижу: мне никогда не удалось бы вырваться из клетки, если бы не огромное внутреннее спокойствие. Действительно, всем, чем я стал, я обязан, наверно, спокойствию, которое я обрел после нескольких дней жизни на пароходе. А спокойствием я в свою очередь обязан людям, окружавшим меня.

Несмотря ни на что, это были хорошие люди. Я и по сей день охотно вспоминаю их тяжелую поступь, стук их башмаков, который проникал в мое дремлющее сознание. Все, что они делали, они делали крайне медленно. Когда кто-нибудь из них хотел потереть себе глаз, он подымал руку так, словно это была многопудовая гиря. Шутки их звучали грубо, но они шли от чистого сердца. Смех их сопровождался угрожающим кашлем, но это ничего не значило. Им всегда надо было сплюнуть, и они плевали куда попало. Они без конца жаловались, что из-за меня их заели блохи. Но они никогда не сердились на это всерьез. Люди эти хорошо понимали, что у обезьян водятся блохи и что блохи мастера прыгать. С этим обстоятельством, хочешь не хочешь, надо мириться. В свободное от службы время кое-кто рассаживался полукругом перед моей клеткой; они сидели молча и только что-то бормотали себе под нос или, растянувшись на ящиках, покуривали трубки; но стоило мне шевельнуться, как они ударяли себя по

ляжкам; время от времени кто-нибудь брал палку и щекотал меня там, где мне было всего приятней. Если бы мне предложили сегодня отправиться путешествовать на этом пароходе, я бы наверняка отказался, но так же наверняка я знаю и то, что у меня с этим пароходом связаны отнюдь не только плохие воспоминания.

Спокойствие, приобретенное мною в кругу команды, удержало меня прежде всего от каких бы то ни было попыток бегства. Бросая взгляд на прошлое, я считаю, что уже тогда я предчувствовал — пусть только предчувствовал а л , — что мне необходимо найти выход, если я хочу остаться в живых, и что достичь этого выхода с помощью бегства невозможно. Не знаю, удалось бы мне убежать, но думаю, что удалось бы: для обезьяны в этом вопросе нет ничего невозможного. Сейчас у меня настолько слабые зубы, что приходится соблюдать осторожность, даже разгрызая орехи, но в то время я рано или поздно перегрыз бы замок в дверце. Я этого не сделал. Да и что бы мне это дало? Стоило мне высунуть голову, как меня бы поймали и посадили в новую клетку, еще хуже прежней. Если бы мне вдруг удалось незаметно пробраться в клетку к другим пленникам — к огромным змеям, например, — и в их объятьях я испустил бы дух! Предположим также, что я незаметно вылез бы на верхнюю палубу и прыгнул за борт; некоторое время я держался бы на поверхности океана, а потом утонул бы. Все это были бы акты отчаяния! Конечно, в то время я еще не рассуждал по-человечески, но под влиянием среды поступал так, словно рассуждаю.

Да, я не рассуждал, зато наблюдал с удивительным хладнокровием. Я видел, как мимо меня сновали люди; у них были одинаковые лица, одинаковые движения, часто мне казалось, что это ходит один и тот же человек; этот человек — или эти люди — беспрепятственно передвигал-

ся. Передо мной забрезжила великая цель. Люди не обещали мне, что решетки моей темницы падут, как только я стану таким, как они. Нельзя ничего обещать, если условия кажутся заведомо невыполнимыми. Но достаточно их выполнить, как обещания даются задним числом, хоть ты на них и не рассчитываешь... Жизнь тех людей, среди которых я находился, отнюдь не прельщала меня. Если бы я был приверженцем упомянутой выше свободы, я наверняка предпочел бы прыжок за борт тому выходу, который прочел в хмурых человеческих глазах. Как бы то ни было, прежде чем я начал задумываться о подобных вещах, я долго следил за людьми, и именно мои наблюдения, накапливаясь, толкали меня на определенный путь.

Не было ничего легче, чем подражать людям. Уже в самые первые дни я научился плевать. Я и люди начали плевать друг другу в физиономию; разница между нами заключалась лишь в том, что я мог вылизать свою физиономию, а они — нет. Вскоре я наловчился курить трубку, как заправский курильщик, а когда я прижимал большим пальцем табак, вся средняя палуба ликовала; только одного я долго не мог постичь — разницу между пустой трубкой и трубкой набитой.

Но больше всего я намучился с водкой; я не выносил запаха спиртного; напрасно я пытался перебороть себя, прошло много недель, прежде чем мне это удалось. Как ни странно, к внутренней борьбе, которую я вел из-за водки, люди относились на редкость серьезно — серьезней, чем ко всему остальному. Даже теперь, вспоминая прошлое, я не различаю отдельных лиц в моем тогдашнем окружении, помню только, что какой-то человек беспрестанно подходил к моей клетке — один или с товарищами и, — в самое разное время дня и ночи он становился возле клетки и давал мне наглядный урок. Я был непостижимым существом для него, и он пытался разгадать

меня. Мой учитель медленно раскупоривал бутылку и бросал на меня внимательный взгляд — хотел удостовериться, что я понял его; признаюсь, я следил за ним, затаив дыхание, совершенно замороженный его действиями; ни один учитель на всем земном шаре не имел такого старательного ученика; раскупорив бутылку, он подносил ее ко рту, а я, не отрываясь, следил за каждым его движением; тогда он одобрительно кивал мне и прижимал горлышко бутылки к губам; в этот момент я чувствовал, что постепенно прозреваю, и с радостным визгом начинал судорожно чешаться где попало; мой обрадованный учитель, не отнимая бутылки ото рта, делал первый глоток; и тут я, объятый нетерпением и в то же время полный отчаяния из-за того, что наука так трудно дается, пачкал пол клетки, что опять-таки приносило моему учителю большое удовлетворение; он далеко отводил руку с бутылкой, а потом одним молниеносным движением снова подносил ее к губам и залпом выпивал водку, откинув голову назад; для наглядности даже дальше, чем нужно. Измученный всем пережитым, я бессильно повисал на прутьях клетки, а он, закончив теоретическую часть курса, поглощал себя по животу и ухмылялся.

Только после этого мы приступали к практическим занятиям. Но не слишком ли переутомила меня теория? Да, слишком. Что делать, уж так мне было назначено судьбой. И все же я старался изо всех сил. Схватив бутылку, протянутую мне учителем, я, дрожа, раскупоривал ее; удача придавала мне сил; я подымал бутылку — мою работу трудно было отличить от работы самого учителя — подносил ее к губам и... с отвращением швырял прочь, с отвращением, хоть она и была пустая и от нее только несло водкой. Моя неудача огорчала учителя и несказанно огорчала меня самого; не примиряло нас с ней даже то обстоятельство, что, отшвырнув бутылку, я никогда не

забывал старательно погладить себя по животу и ухмыльнуться.

Так проходили наши занятия. К чести моего учителя должен сказать, что он не сердился на меня; правда, иногда он тыкал в мою шерсть горячей трубкой и делал это до тех пор, пока шерсть не начинала тлеть как раз в том месте, где мне трудно было потушить ее; но он сам тушил огонь своей громадной доброй ручищей; мой учитель не сердился на меня; он понимал, что у нас с ним один враг — моя обезьянья натура и что наиболее тяжелая борьба выпала на мою долю.

Зато как мы оба радовались нашей победе! Это произошло в один прекрасный вечер при большом стечении публики; по всей вероятности, было какое-то празднество: на палубе играл граммофон, среди команды прогуливался офицер — и вдруг, в тот момент, когда никто за мной не наблюдал, я схватил бутылку водки, которую по недосмотру оставили около моей клетки, и при нарастающем внимании зрителей откупорил ее точно по правилам, поднес ко рту и без колебаний, даже не поморщившись, осушил до дна, как самый заправский пьянчуга; правда, глаза вылезли у меня из орбит, да и дыхание перехватило: потом я швырнул пустую бутылку прочь, но не как отчаявшийся неудачник, а как мастер своего дела; и хотя я забыл погладить себя по животу, но зато, повинуясь неодолимому желанию, чувствуя, что у меня шумит в голове, громко и отчетливо крикнул «алло» — иными словами, заговорил членораздельно; благодаря этому кличу я сразу перескочил из своего прошлого в сообщество людей; ответные возгласы зрителей: «Послушайте только, ведь он говорит!» — словно поцелуи, ласкали мое обливающееся потом тело.

Повторяю, меня не прельщало подражать людям: я подражал им только потому, что искал выход, иных при-

чин у меня не было. Первая победа дала мне не так уж много. Я сразу же потерял дар речи и обрел его снова лишь через много месяцев, а отвращение к спиртному пробудилось у меня с удвоенной силой. И все же передо мной тогда открылась прямая дорога — раз и навсегда.

В Гамбурге, попав к моему первому дрессировщику, я вскоре понял, что для меня существуют две возможности: зоологический сад или варьете. Я не колебался ни секунды. Я сказал себе так: «Надо приложить все силы, чтобы попасть в варьете, это единственный выход; зоологический сад — не что иное, как новая клетка. Попадешь в нее — и ты погиб».

И тут, господа, я начал учиться. Эх, что и говорить, когда надо, хочешь не хочешь, а приходится учиться. Мне необходимо было найти выход, и я учился как одержимый. Я не давал себе ни минуты покоя, я нещадно вытравлял из себя все, что мне мешало. Обезьяний дух вылетал из меня с такой силой, что мой первый дрессировщик чуть было сам не превратился в обезьяну; уроки пришлось прекратить, потому что его отправили в лечебницу. К счастью, он вскоре вернулся.

Мне понадобилось много учителей, иногда я обучался у нескольких педагогов сразу. А когда я уверовал в свои силы, когда мои успехи стали достоянием широкой гласности, а мое блистательное будущее окончательно определилось, я сам начал нанимать себе учителей; я рассаживал их по пяти комнатам, расположенным одна за другой, и учился одновременно у всех, без усталости перебегая из одной комнаты в другую.

Какие успехи я тогда делал! Свет знаний со всех сторон проникал в мой пробуждающийся мозг! Не хочу скрывать — я был счастлив. И в то же время утверждаю: ни тогда, ни тем более теперь я не переоценивал своих



достижений. Невиданной доселе в истории концентрацией воли я достиг уровня среднего европейца. Быть может, сам по себе этот факт и не заслуживает особого внимания, однако для меня он значит многое: я вырвался из клетки и обеспечил себе искомый выход, оказавшийся выходом в человеческое естество. Существует прекрасное выражение — «спрятаться в кусты»; именно так я и поступил, спрятался в кусты. Никакой иной возможности у меня не было, если учесть, что свободы я не мог добиться.

Бросая ретроспективный взгляд на пройденный путь и на ту цель, которую я себе ставил, я не испытываю ни сожаления, ни радости. Вот я сижу, руки в карманах брюк, сижу, развалившись в качалке, и смотрю в окно; передо мной на столе бутылка вина. Если ко мне явятся гости, я приму их подобающим образом. В прихожей сидит мой импресарио; когда мне надо что-нибудь сказать ему, я звоню; он приходит и выслушивает меня. Почти каждый вечер я выступаю; мои сценические успехи столь велики, что они навряд ли могут еще возрасти. Далеко за полночь, когда я возвращаюсь домой после банкетов, парадных приемов в Академии или веселых вечеринок, меня ожидает маленькая дрессированная обезьянка — шимпанзе, и я развлекаюсь с ней на обезьяний лад. Днем я не желаю ее видеть; в ее взгляде сквозит безумие, так же как во взгляде всех дрессированных, сбитых с толку животных; никто, кроме меня, этого не замечает, но я этого не выношу.

В общем и целом я достиг того, к чему стремился. Нельзя сказать, что игра не стоила свеч. Оговариваюсь заранее, меня не интересует мнение людей; моя цель — широкая информация; я сообщаю факты и больше ничего; в этом отчете, уважаемые господа академики, я придерживаюсь одних лишь фактов.



то маленькая женщина; довольно стройная, она носит, однако, туго зашнурованный корсет; я всегда вижу ее в платье из желтовато-серой материи, цветом напоминающей древесину; того же оттенка рюши, которыми оно бывает обшито, либо бляшки наподобие пуговиц; она всегда без шляпы, белокурые тусклые волосы не завиты и не то чтобы растрепаны, но содержатся в живописном беспорядке. Несмотря на тугую шнуровку, маленькая женщина подвижна и нередко даже злоупотребляет своей подвижностью; особенно любит она упереть руки в бока и поразительно быстро откинуться в сторону туловищем. Впечатление от ее руки я могу передать, только сказав, что в жизни не видал так широко расставленных пальцев; впрочем, это самая обыкновенная рука, без анатомических изъянов.

Маленькая женщина крайне недовольна мной. Вечно она попрекает меня, вечно я сержу ее, обижаю на каждом шагу. Если бы разделить мою жизнь на мелкие частицы и судить о каждой в отдельности, любая вызвала бы ее раздражение. Часто я думал над тем, почему так раздражаю ее; допустим, все во мне коробит ее вкус, задевает чувство справедливости, противоречит ее привычкам, представлениям, упованиям, — есть такие взаимоисключающие натуры — но почему она так страдает? Отношения наши вовсе не таковы, чтобы из-за этого терзаться. Стоит ей только взглянуть на меня как на постороннего — а ведь я для нее действительно посторонний и не только не противлюсь такому взгляду, но первый порадовался бы от души, — стоит ей просто забыть о моем существовании, которое я никоим образом не навязывал ей и впредь не собираюсь навязывать, — и всех мук как не

бывало. О себе уж не говорю, хотя и мне ее поведение в тягость; но я понимаю, что мои тяготы ни в какое сравнение не идут с ее страданиями. И, разумеется, я отдаю себе отчет в том, что это не страдания любящего существа; эта женщина меньше всего хочет исправить меня; к тому же пороки, которые она во мне порицает, отнюдь не помеха моей жизненной карьере. Но до карьеры моей этой женщине мало дела, у нее своя цель, а именно: отомстить за нынешние муки и по возможности оградить себя от мук предстоящих. Как-то я попытался втолковать ей, каким способом можно положить конец ее беспрестанному раздражению, но этим лишь вызвал такую бурю, что навсегда зарекаюсь от подобных опытов...

Если угодно, виноват тут и я; хоть эта маленькая женщина мне совершенно чужая и все наши отношения сводятся лишь к обидам, причиняемым мною, — вернее, к обидам, которые она мне приписывает, — следовало бы все же помнить, что это плохо отражается на ее здоровье. Мне часто сообщают, особенно в последнее время, что она встает утром с головной болью, бледная от бессонницы, совершенно разбитая; ее близкие крайне этим обеспокоены, они судят и рьят, доискиваясь причин, но пока что их не обнаружили. Один я знаю причину: все то же старое и вечно новое недовольство мной. Я, впрочем, не разделяю тревоги ее близких; она крепкого сложения и достаточно вынослива; кто способен так злиться, тому, надо полагать, вред от злости не слишком велик. Подозреваю даже, что маленькая женщина — в известной мере, возможно, — лишь прикидывается страдальцей, дабы таким образом привлечь внимание окружающих к моей особе. Гордость не позволяет ей открыто сознаться, как сильно я докучаю ей своим существованием; прямо обратиться к помощи посторонних для нее слишком унижительно; моей персоной она занята из отвращения, непрерывного,

вечно подзуживающего отвращения; но стать предметом людских пересудов — это уж слишком! Скрывать же свое невыносимое состояние ей тоже тяжело. И потому в женской своей хитрости она предпочитает остановиться на полпути; молча, лишь едва заметными признаками выдает она свою затаенную муку и в таком виде выносит дело на суд света. Быть может, она тайно надеется, что в один прекрасный день свет обратит на нас свое недремлющее око, на меня обрушится волна всеобщего негодования и я буду беспощадно раздавлен — куда вернее, чем ее собственным бессильным гневом; тогда она умоет руки, с облегчением вздохнет и навсегда от меня отвернется. Так вот, если она действительно на это надеется, то зря. Свет не возьмет на себя ее роли; и ему не найти во мне того множества пороков, какое ей угодно, даже если возьмет меня под строжайшее наблюдение. Не такой уж я никудышный, как мнит эта маленькая женщина; хвалить себя вообще не стану, тем более по такому поводу, ведь я не бог весть какой полезный член общества, но и не последний же я человек; лишь для нее, лишь в ее глазах, сверкающих гневом, я существо пропащее — других ей не убедить. Итак, казалось бы, мне можно спать спокойно. Какое там! А вдруг все-таки скажут, что женщина больна из-за меня! Кое-какие соглядатаи, любители сплетен, возможно, уже близки к разгадке ее недуга или по крайней мере притворяются, что близки. Вдруг люди спросят, почему я так мучаю своей неисправимостью бедную маленькую женщину — не иначе, как задался целью вогнуть ее в гроб, — и когда же наконец я образумлюсь или хоть наберусь простого человеческого сострадания? Если зададут мне подобные вопросы, ответить будет нелегко.

Признаться ли, что не больно-то я верю в симптомы болезни? Но тем самым, обеляя себя, я буду чернить ее,

да еще в такой некрасивой форме! Ведь не скажешь открыто, что если бы даже поверил в болезнь, то сострадания бы не испытывал, ибо эта женщина мне решительно чужая, — отношения между нами установила она сама, и лишь она их поддерживает. Не стану утверждать, что мои слова взяли бы под сомнение; скорее всего, люди бы промолчали, они и верили бы мне и не верили, но мой ответ касательно слабой больной женщины был бы взят на заметку и не расположил бы свет в мою пользу. На сей раз, как и всегда, люди не способны будут понять, — хотя это ясно как день, — что в наших взаимоотношениях любви и нежности нет ни на волос, а существуя любовью, заслуга была бы только моя; пожалуй, я способен был бы даже восхищаться категоричностью суждений и беспощадностью выводов маленькой женщины, если бы не мне приходилось солоно от этих ее достоинств. Но уж с ее стороны дружеских чувств нет и в помине; вот уж в чем она чистосердечна и искренна! Только на этом я и основываю свою последнюю надежду; даже если бы в ее план военных действий входило создать видимость подобных чувств, дабы свет поверил в них, она никогда не совладала бы с собой настолько, чтобы ей это удалось. Но суд людской не переубедишь — с присущей ему тупостью он вынесет мне свой неумолимый приговор.

Таким образом, мне ничего иного не остается, как своевременно, прежде чем другие вмешаются в мои дела, измениться самому по доброй воле: не то чтобы не вызывать больше гнева маленькой женщины — это немислимо, — но хотя бы несколько смягчить его. И в самом деле, часто спрашивал я себя, да неужто нынешнее положение так меня устраивает, что и менять его не стоит, и не лучше ли его несколько изменить — пусть мне самому это и не очень важно, но хотя бы ради душевного спокойствия

маленькой женщины. Я честно пытался исправиться, не щадя труда и сил, вкладывая в это дело всю душу, что почти забавляло меня; перемены в моем поведении явно обозначились, мне даже не пришлось обращать на них внимание женщины — она подмечает это гораздо раньше меня, она подмечает и тень доброго намерения; но успеха я так и не добился. Да и как это возможно? Ее недовольство мной, я теперь вижу, носит принципиальный характер; ничто не в силах устранить это недовольство, даже устранение меня самого; узнай маленькая женщина о моем самоубийстве, ее охватила бы безграничная ярость. Не представляю, чтобы она, особа пронизательная, не видела всего так же ясно, как я, не понимала в равной мере как бесплодности своих упреков, так и моей невиновности, моей неспособности при всем желании удовлетворить ее требованиям. Конечно, она все понимает, но — как натура подлинно боевая — забывает обо всем в угаре боя; я же, в силу несчастливой черты моего характера, которую не могу изменить, ибо она заложена во мне от рождения, склонен каждому, кто выходит из себя, шепнуть на ушко ласковое слово. Но ведь так мы никогда не столкнемся! Радость первых утренних часов при выходе из дому всегда будут отравлять мне эти надутые губы, это хмурое лицо, испытующий, заранее неодобрительный взгляд — ничто не укроется от него, каким бы беглым он ни казался; горькая улыбка, искажающая девические щеки, жалобное закатыванье глаз к небу, руки, в праведном гневе упертые в бока, бледность и дрожь негодования.

Недавно я позволил себе — впервые, как сам с удивлением отметил, — слегка намекнуть на свою беду одному доброму другу; разумеется, между прочим, двумя-тремя словами, всячески умаляя значение дела, и без того для меня не слишком важного. Любопытно, что мой друг от-

нюдь не пропустил этих намеков мимо ушей, напротив, счел предмет достаточно значительным и не дал мне перевести разговор на другую тему. Но еще удивительнее, что при этом он так и не понял самого главного в моем положении, а совершенно серьезно посоветовал уехать ненадолго из дому. Глупее совета нельзя и придумать! Хотя со стороны все как будто просто и всякий, кто пожелает вникнуть в наши отношения, без труда в них разберется, однако все не так просто, чтобы уладить дело — хотя бы в основном — одним отъездом. Как раз наоборот, отъезда-то и надо опасаться больше всего; если уж выбирать какую-то линию поведения, то важно оставаться в теперешних узких границах, не выносить дело на люди, сиречь хранить покой, не допуская бросающихся в глаза перемен; следовательно, и советоваться ни с кем не надо — не потому, чтобы здесь крылась какая-то роковая тайна, но лишь потому, что все дело-то ничтожное, чисто личное и в таком виде легко переносимое, а значит, только таким оно и должно остаться. И в этом смысле замечания друга мне весьма пригодились; правда, ничего нового я не узнал, зато лишний раз убедился в собственной правоте.

При ближайшем рассмотрении мне вообще становится ясно, что те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не перемены: меняется только мой взгляд на вещи. Отчасти я стал спокойнее, мужественнее относиться ко всему, глубже проник в сущность дела, отчасти — из-за непрерывного раздражения по мелочам — стал заметно более нервным.

Я спокойнее взираю на вещи, сознавая, что развязка, как ни близка она кажется порой, еще не так скоро наступит; человек, особенно в молодости, преувеличивает вероятность развязок; когда однажды моя маленькая обвинительница от одного моего вида рухнула в изнемо-

жении, как-то боком, в кресло, одной рукой обвив его спинку, а другой теребя тугую шнуровку, и слезы гнева и отчаяния ручьем потекли по ее щекам, я было подумал, что вот она развязка, наконец-то меня призовут к ответу. Ничего подобного, никто и не думает звать! Женщинам часто становится дурно, и свету не углядеть за всеми сценами такого рода. Что же, собственно, происходило все эти годы? Да ничего, разве что подобные сцены — то более, то менее бурные — повторялись, и число их изрядно возросло. Да еще всякие люди толкуются поблизости, готовые вмешаться, был бы только повод; но повод все не представляется; они по-прежнему уповают на свое чутье, а чутье годится лишь на то, чтобы заполнить их досуг — проку от него немного. Так, собственно, было всегда, всегда хватало праздных бездельников; они чувствуют, откуда ветер дует, свое присутствие оправдывают всяческими хитростями, а чаще всего ссылкой на узы родства; они всегда держат ушки на макушке, но так и остаются на бобах. Но теперь я всех их знаю в лицо; раньше я полагал, что они стекаются отовсюду, дело растет, как снежный ком, а значит, развязка не за горами, она наступит сама по себе, ходом обстоятельств; теперь я пришел к выводу, что так было спокон веку и нечего ждать развязки. Развязка? Не слишком ли громкое слово я выбрал? Если когда-либо — разумеется, не завтра и не послезавтра, а может быть, и вообще никогда — дойдет до того, что люди займутся этим делом, каковое, настаиваю, не в пределах их компетенции, то я, конечно, не выйду сухим из воды, но, надеюсь, в соображение будет принято, что меня давно знают, живу я при полной гласности, сам доверяю обществу и снискал его доверие; и что эта маленькая страдалница появилась уже гораздо позже (к слову сказать, всякий, кроме меня, не только распознал бы в ней прицепившийся репей, но давно уже — совершенно



бесшумно и незаметно для света — раздавил бы этот репей сапогом). Итак, в худшем случае женщина прибавит лишь маленький уродливый росчерк к аттестату, в котором общество давно признало меня своим достойным уважения членом. Таково положение вещей на сегодняшний день, и оно не слишком должно меня беспокоить.

С годами я все же стал несколько нервнее, но это никак не связано с сутью дела; просто невозможно выдерживать, когда все время кого-то раздражаешь, даже если понимаешь неосновательность этого раздражения; начинаешь тревожиться, напрягаешься физически в ожидании развязки, хотя разумом не очень в нее веришь. А частично дело здесь просто в возрасте. Молодость все рисует в розовом свете; уродливые частности бытия тонут в неисчерпаемом приливе юных сил; если у подростка взгляд несколько настороженный, то это его не портит, никто и не заметит этого взгляда, даже он сам. Но на старости лет остаются одни последки, все идет в дело как есть, ничего уже не поправишь, все на виду, и настороженный взгляд старика — это уже, вне всяких сомнений, настороженный взгляд; установить, что он именно таков, совсем не трудно. А ведь по существу и здесь дело не изменилось, и хуже со временем не стало.

Итак, с какой стороны ни взгляни, выходит (и я на том стою), что если только слегка прикрыть это дельце от людского ока, то я без всяких помех со стороны смогу еще очень долго и спокойно сохранять тот образ жизни, который вел до сих пор, — пусть себе беснуется эта маленькая женщина!

3

а последние десятилетия интерес к искусству голодания заметно упал. Если раньше можно было нажать большие деньги, показывая публике голодаря, то в наши дни это просто немыслимо.

То были другие времена. Тогда, бывало, в городе только и разговоров, что о голодаре, и чем дольше он голодал, тем больше народу стекалось к его клетке; каждый стремился хоть раз в день взглянуть на мастера голода, а к концу голодовки некоторые зрители с утра до вечера простаивали перед клеткой. Его показывали даже ночью — для вящего эффекта при свете факелов. В хорошую погоду клетку выносили на улицу — тут ее первым делом окружала детвора. Ведь для взрослых голодарь был чаще всего только забавой, в которой они участвовали, отдавая дань моде; а вот дети смотрели на него во все глаза, разинув рот, взявшись за руки от страха: перед ними на соломенной подстилке — он отказался даже от кресла — сидел бледный человек в черном трико, у которого можно было пересчитать все ребра; изредка он вежливо кивал публике, с натянутой улыбкой отвечал на вопросы или же просовывал между прутьями клетки руку, чтобы люди могли пощупать ее и удостовериться в его худобе, но потом снова уходил в себя, равнодушный и глухой ко всему, даже к столь важному для него бою часов, единственному украшению его клетки; невидящим взором смотрел он перед собой, слегка прикрыв глаза, и только изредка подносил ко рту крошечный стаканчик с водой, чтобы смочить губы.

Кроме непрестанно сменявшихся зрителей с него круглые сутки не опускали глаз особые сторожа, назначенные самой публикой. Как ни удивительно, но чаще всего это оказывались мясники. Они несли караул по трое, денно

и ночью следя за тем, чтобы голодарь как-нибудь украдкой не принял пищи. Но это была чистейшая формальность, придуманная для успокоения масс, ибо посвященные знали, что голодарь ни за что, ни при каких обстоятельствах, даже под пыткой, не взял бы в рот и крошки, — этого не допускала честь его искусства.

Правда, далеко не все сторожа способны были понять это; случалось, что ночной караул нес службу нерадиво; караульщики нарочно устраивались в дальнем углу зала и резались в карты, с явным намерением позволить голодарю немного подкрепиться: они не сомневались в том, что где-нибудь в тайнике у него припасена еда. Никто не причинял голодарю таких мук, как эти снисходительные сторожа; они приводили его в уныние, и голодовка превращалась для него в сухую пытку. Иногда, преодолев слабость, он пел для них, — пел, пока хватало сил, чтобы доказать этим людям, сколь несправедливы их подозрения. Но от пения было мало проку: караульщики лишь удивлялись тому, с какой ловкостью голодарь ухитряется петь и есть в одно и то же время. Куда больше по душе ему были другие сторожа — те, что усаживались у самой его клетки и, не довольствуясь тусклым освещением зала в ночное время, наводили на него карманные фонарики, которыми их снабдил импресарио. Резкий свет не раздражал его, спать он все равно не мог, а в легкое забытье впадал при любом освещении и в любой час, даже в переполненном шумном зале. С такими сторожами он готов был всю ночь не смыкать глаз, готов был шутить с ними, рассказывать им случаи из своей кочевой жизни и слушать их рассказы — и все это только для того, чтобы они не заснули, чтобы они поняли, что в клетке у него нет ничего съестного и что голодает он так, как не сумел бы ни один из них. Но по-настоящему счастлив он бывал, когда наступало утро и караульщикам приносили, за его

счет, обильный, сытный завтрак: они набрасывались на еду с жадностью здоровых мужчин, прошедших тяжелую, бессонную ночь. Правда, находились люди, которые усматривали в угощении сторожей недопустимый подкуп, но это было уж слишком. Когда их спрашивали, желают ли они сами всю ночь нести караул из одной любви к искусству, не рассчитывая на завтрак, они хмурились, но все же оставались при своих подозрениях.

Надо сказать, что такого рода подозрения были неизбежны. Ни один человек не мог бесшестно караулить голодаря в течение всей голодовки, а значит, ни один человек не мог на собственном опыте убедиться, что он и в самом деле голодает непрерывно и неукоснительно. Знать это наверное мог только сам голодарь, только он сам и мог быть единственным удовлетворенным свидетелем голодовки. Но он — совсем по другой причине — никогда не испытывал удовлетворения и, быть может, вовсе не от голода исхудал он так сильно, что некоторые, не вынося его вида, не могли присутствовать на представлениях, хотя весьма об этом сожалели; скорее, он исхудал от недовольства собой. Только он один знал — чего не ведали даже посвященные, — как в сущности легко голодать. На свете нет ничего легче. И он говорил об этом совершенно открыто, но ему никто не верил, — в лучшем случае его слова объясняли скромностью, но большинство усматривало в них саморекламу или считало его шарлатаном, которому, конечно же, легко голодать, потому что он знает, как облегчить свою задачу, да еще имеет наглость в этом признаваться.

Со всем этим голодарю приходилось мириться, и с годами он привык ко всему, но неудовлетворенность исподволь точила его. Еще ни разу, сколько ни довелось ему голодать, не покидал он клетки по собственной воле — этого нельзя было не признать. Импресарио установил

предельный срок голодовки — сорок дней, дольше он никогда не разрешал голодать, даже в столицах, и на то была серьезная причина. Опыт подсказывал, что в течение сорока дней с помощью все более и более крикливой рекламы можно разжигать любопытство горожан, но потом интерес публики заметно падает, наступает значительное снижение спроса. Конечно, в деревнях это происходило иначе, чем в городе, но, как правило, сорок дней был предельный срок. А затем, на сороковой день, амфитеатр заполняли восторженные зрители, играл духовой оркестр, открывалась дверца убранной цветами клетки, и в нее входили два врача, чтобы взвесить и обмерить голодаря, результаты сообщались публике в мегафон; под конец появлялись две молодые дамы, счастливые тем, что именно им выпала честь вывести голодаря из клетки, спуститься с ним по ступенькам с помоста и проводить к маленькому столику, где была сервирована тщательно продуманная легкая трапеза. Но в эту минуту голодарь всегда оказывал сопротивление. Правда, он покорно вкладывал свои костлявые руки в услужливо протянутые ладони склонившихся к нему дам, однако вставать ни за что не хотел. Почему надо остановиться как раз теперь, на сороковой день? Он выдержал бы еще долго, бесконечно долго, зачем же прекращать голодовку как раз теперь, когда она достигла — нет, даже еще не достигла — своей вершины? Зачем его хотят лишиться чести голодать еще дольше и стать не только величайшим мастером голода всех времен — им он и без того уже стал, — но и превзойти самого себя, ибо он чувствовал, что его искусство голодать непостижимо, а способность к этому безгранична.

Отчего у всей этой толпы, которая по видимости им так восхищается, совсем мало терпения? Если уж он выдерживает так долго, почему же эти люди не хотят про-

явить выдержку? К тому же он устал, на соломе ему сиделось удобно, а его зачем-то заставляли встать, выпрямиться и пойти к столу, когда при одной мысли о еде его позывало на рвоту и он с трудом подавлял ее только из уважения к дамам. Он поднимал глаза на этих дам, с виду таких приветливых, а на деле таких жестоких, и качал головой, непомерно тяжелой головой на слабой, тонкой шее. Но в эту минуту на сцене всегда появлялся импресарио. Молча — музыка все равно заглушила бы его голос — воздевал он руки к небу, словно призывая бога взглянуть на его простертое на соломе творение, на достойного жалости мученика — каким, несомненно, и был голодарь, только совсем в другом смысле. Затем импресарио обхватывал голодаря за тонкую талию — делал он это с преувеличенной осторожностью, пусть все видят, какое хрупкое создание у него в руках, — и, незаметно, но чувствительно тряхнув его, отчего голодарь начинал вдруг беспомощно качаться назад и вперед, передавал в руки побледневших дам. Теперь с ним можно было делать что угодно, — голова его падала на грудь, казалось, она уже скатилась с плеч и держится только чудом, тело обмякало; ноги, судорожно сжатые в коленях, инстинктивно сопротивляясь, ступали неуверенно, будто шел он по шатким мосткам, пытаясь нащупать твердую землю. Всея тяжестью своего тела — впрочем, какая это была тяжесть? — он повисал на одной из дам, которая беспомощно озиралась, задыхаясь от своей ноши, — не так, совсем не так представляла она себе свою почетную миссию, — и теперь изо всех сил вытягивала шею, чтобы хоть лицо уберечь от прикосновения голодаря. Но это ей не удавалось, и так как ее более счастливая спутница не спешила прийти к ней на помощь, а только трепетно и торжественно несла перед собой руку голодаря, эту жалкую связку костей, первая дама заливалась слезами и под сочувствен-

ный смех зала уступала свое место уже давно дожидавшемуся служителю. Затем следовало принятие пищи — импресарио что-то совал в рот голодарю, который впадал в забытие, походившее на обморок; при этом импресарио весело болтал, чтобы публика не заметила, в каком состоянии пребывает голодарь. Потом он произносил тост, который ему якобы шептал голодарь, оркестр для большей торжественности громко играл туш, публика расходилась, и никто не имел причин чувствовать себя неудовлетворенным, никто — только сам голодарь, всегда только он.

Так он жил долгие годы, время от времени получая небольшие передышки, жил, окруженный почетом и славой и все же почти неизменно печальный, и печаль его становилась все глубже, оттого что никто не способен был принять ее всерьез. Да и чем можно было его утешить? Чего еще он мог желать? А если и находился добряк, который, жалея его, пытался ему втолковать, что грустит он, должно быть, от голода, голодарь — в особенности часто случалось это под конец голодовки — приходил в ярость и, к великому ужасу зрителей, как зверь, бросался на прутья клетки. Но импресарио знал средство против подобных выходов и не раздумывая применял его. Он извинялся за голодаря перед публикой, признавая, что лишь чрезвычайная возбужденность, вызванная длительным голоданием и для людей сытых совершенно непонятная, может маломальски оправдать его поведение. Той же причиной объяснял он и утверждение голодаря, что он-де может голодать много дольше, чем ему позволяют. Импресарио восхвалял благородные побуждения маэстро, его добрую волю и великое самоотречение, несомненно ощутимое и в этом его заявлении, но все-таки пытался опровергнуть его слова, для чего показывал публике фотографии — их тут же распродавали, — где голодарь был запечатлен на сороковой день голодовки, лежа в постели, полумертвый от потери

сил. Такое выворачивание правды наизнанку, хотя оно давно уже было знакомо голодарю, каждый раз снова выводило его из себя. То, что было следствием преждевременного окончания голодовки, выдавали за его причину! Борьба против подобной, против всеобщей неспособности понять его было невозможно. Всякий раз, схватившись за прутья клетки, он жадно, с надеждой вслушивался в слова импресарио, но, едва завидев фотографии, выпускал из рук прутья и со вздохом падал на свою подстилку. Публика могла теперь без всякого страха подойти к клетке и снова смотреть на голодаря.

Когда люди, бывшие свидетелями подобных сцен, вспоминали о них несколько лет спустя, они сами себе удивлялись. Дело в том, что за эти несколько лет произошел тот перелом, о котором здесь уже говорилось: он наступил почти внезапно и, по-видимому, был вызван глубокими причинами, но кому была охота доискиваться этих причин? Так или иначе, в один прекрасный день избалованный публикой маэстро вдруг обнаружил, что алчущая развлечений толпа покинула его и устремилась к другим зрелищам. Импресарио еще раз объехал с ним пол-Европы, надеясь, что где-нибудь да пробудится прежний интерес к мастеру голода, но все напрасно. Везде и всюду, словно по тайному сговору, распространилось вдруг отвращение к искусству голодания. Разумеется, на самом деле это случилось не так уж внезапно, и теперь, задним числом, нетрудно было вспомнить кое-какие угрожающие предвестия, только в угаре успеха никто не придавал им большого значения и не оказал должного отпора. А теперь было уже поздно предпринимать что-либо. Правда, не могло быть и тени сомнения в том, что когда-нибудь для этого искусства вновь наступят счастливые времена, но для смертных это слабое утешение. На что был теперь обречен голодарь? Тот, кому рукоплескали прежде тысячи зрителей, не мог



показываться в ярмарочных балаганах, а чтобы менять профессию, голодарь был и слишком стар и — что главное — слишком предан своему искусству. Итак, он отпустил импресарио — спутника его беспримерной карьеры и поступил в большой цирк. Щадя свои чувства, он даже не взглянул на условия контракта.

Большой цирк, где бесчисленное множество людей, зверей и механизмов без конца сменяет и дополняет друг друга, может в любое время найти применение любому артисту, в том числе и мастеру голода — разумеется, если он не предъявляет слишком больших претензий; в случае же, о котором идет речь, нанят был не только сам голодарь, но и его знаменитое имя. В самом деле, его своеобразное искусство не старело вместе с самим мастером, и никак нельзя было сказать, что отслуживший свой век артист, сойдя с вершины мастерства, нашел себе тихое местечко в цирке; напротив того, голодарь утверждал — и это было похоже на правду, — что он делает свое дело ничуть не хуже, чем прежде; он утверждал даже, что как раз теперь, если ему не будут чинить препятствий — а это ему обещали без дальних слов, — он повергнет в изумление весь мир. Утверждение это, однако, вызывало улыбку у знатоков: в своем усердии голодарь забыл, как изменилось время.

По правде говоря, и он не упускал из виду действительного положения вещей и потому нашел вполне естественным, что его клетку не поместили в центре манежа, как коронный номер, а выставили на задворки, впрочем, на довольно удобное место — неподалеку от зверинца. Клетку украсили большими пестрыми афишами, пояснявшими публике, кто здесь содержится. Когда в антракте зрители устремлялись к клеткам, чтобы полюбоваться на зверей, они никак не могли миновать голодаря и ненадолго останавливались бы и дольше, если бы в узком коридоре, который вел

к зверинцу, не начиналась давка, делавшая спокойное созерцание невозможным: сзади напирали люди, которые не понимали, в чем причина задержки на пути к зверинцу. Вот почему голодарь дрожал всякий раз, как зрители приближались к его клетке, хотя страстно ждал этих минут, бывших целью его жизни. В первое время он едва мог дожидаться антракта и с восторгом смотрел на валившую валом публику, но скоро, очень скоро — действительность рассеяла упорный, почти что сознательный самообман — он убедился, что все без исключения зрители приходили лишь ради зверинца. Самое приятное было смотреть на них издали, когда они только появлялись, но стоило им поравняться с клеткой, как его сразу же оглушали брань и крики: публика немедленно делилась на партии; одни — этих голодарь совершенно не выносил — желали спокойно созерцать его, не из сочувствия, а из каприза и упрямства; другие спешили прежде всего в зверинец. Когда же основная масса зрителей проходила, показывались запоздавшие, и хотя этим уже никто не мешал постоять перед клеткой голодаря, если у них было на то желание, они чуть не бегом, почти не оглядываясь, спешили мимо, чтобы успеть взглянуть на зверей. И не слишком часто выпадало такое счастье, что какой-нибудь отец семейства подводил к клетке своих детей, пальцем указывал им на голодаря, подробно объяснял, кто он такой и чем занимается, рассказывал о его былой славе, о том, как сам он присутствовал на подобных, однако несравненно более пышных представлениях маэстро. Дети плохо понимали отца, для этого они еще слишком мало были подготовлены как школой, так и жизнью — что значило для них голодание? — но в блеске их пытливых глаз голодарь улавливал предвестие грядущих, более счастливых времен. Быть может — иногда говорил себе голодарь, — дело все же пошло бы лучше, если бы его поместили не так близко к

зверинцу. Таким способом людям слишком облегчили выбор, не говоря уже о том, что запахи зверинца, возня зверей по ночам, вид сырого мяса, которое пронесли по коридору, вой зверей при кормежке очень раздражали и угнетали его. Но обращаться к дирекции он не решался, ведь именно благодаря зверям мимо его клетки проходили толпы зрителей, — вдруг среди них найдется наконец человек, пришедший ради него? Да и кто знает, в какой угол задвинут его клетку, если он напомним о своем существовании, а значит, и о том, что он, собственно говоря, служит лишь препятствием на пути к зверинцу.

Впрочем, это было очень небольшое препятствие, и с каждым днем оно становилось все меньше и меньше. Людям перестало удивлять странное стремление дирекции в наше время привлечь внимание публики к какому-то голодарию, и как только зрители привыкли к его присутствию, участь его была решена. Теперь он мог голодать сколько угодно и как угодно — и он голодал, — но ничто уже не могло его спасти, публика равнодушно проходила мимо. Попробуй растолкуй кому-нибудь, что такое искусство голодания! Кто этого не чувствует сам, тому не объяснишь. Красивые афиши поистерлись, прочесть их было уже невозможно, их сорвали, но никому не пришлось в голову заменить их новыми. К табличке, на которой вначале заботливо отмечался каждый день голодовки, уже давно никто не притрагивался — через несколько недель служителей стала тяготить даже эта несложная обязанность. И хотя маэстро все голодал и голодал, что когда-то было его мечтой, и голодал без всякого усилия, как и предсказывал прежде, — никто уже не считал дни, даже сам голодарь не знал, сколь велики его успехи, и горечь жгла его сердце. А когда перед клеткой останавливался какой-нибудь бездельник и, прочитав старую цифру на табличке, нагло заявлял, что здесь пахнет обманом, то это была

самая глупая ложь, какую только способны измыслить людское равнодушие и врожденная злобность, ибо обманывал отнюдь не голодарь — он работал честно, — а вот мир действительно обманывал его, лишая заслуженной награды.

И снова потянулись однообразные дни, но внезапно и этому пришел конец. Однажды шталмейстеру бросилась в глаза клетка голодаря, и он спросил у служителей, почему пустует такая хорошая клетка — ведь в ней только гнилая солома. Никто не мог ответить шталмейстеру, пока один из служителей, случайно взглянув на табличку, не вспомнил о голодаре. Палками разворошили солому и нашли в ней маэстро.

— Ты все еще голодаешь? — спросил шталмейстер. — Когда же ты наконец перестанешь голодать?

— Да простят мне все, — прошептал голодарь, и только шталмейстер, приложивший ухо к клетке, расслышал эти слова.

— Конечно, — ответил шталмейстер и постучал себя пальцем по лбу, чтобы дать понять служителям, до какого состояния дошел голодарь, — мы тебя прощаем.

— Мне всегда хотелось, чтобы все восхищались моим умением голодать, — сказал маэстро.

— Что ж, мы восхищаемся, — с готовностью согласился шталмейстер.

— Но вы не должны этим восхищаться, — произнес голодарь.

— Ну, тогда мы не будем. Хотя почему бы нам и не восхищаться?

— Потому что я должен голодать, я не могу иначе.

— Скажи пожалуйста! — заявил шталмейстер. — Почему же это ты иначе не можешь?

— Потому что я, — голодарь приподнял высохшую гловку и, вытянув губы, словно для поцелуя, прошептал шталмейстеру в самое ухо, чтобы тот ничего не упустил, — потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты, как все другие.

Это были его последние слова, но в его погасших глазах все еще читалась твердая, хотя уже и не столь гордая убежденность, что он будет голодать еще и еще.

— Убрать все это! — распорядился шталмейстер, и голодаря похоронили вместе с его соломой.

В клетку же впустили молодую пантеру. Даже самые бесчувственные люди вздохнули с облегчением, когда по клетке, столько времени пустовавшей, забегал наконец этот дикий зверь. Пантера чувствовала себя как нельзя лучше. Сторожа без раздумий приносили ей пищу, которая была ей по вкусу; казалось, она даже не тоскует по утраченной свободе; казалось, благородное тело зверя, в избытке наделенное жизненной силой, заключает в себе и свою свободу — она притаилась где-то в его клыках, — а радость бытия обдавала зрителей таким жаром из его отверстой пасти, что они с трудом выдерживали. Но они преобладали себя: плотным кольцом окружали они клетку и ни за что на свете не хотели двинуться с места.

### ПЕВИЦА ЖОЗЕФИНА, ИЛИ МЫШИНЫЙ НАРОД



ашу певичу зовут Жозефина. Кто ее не слышал, тот не знает, как велика власть пения. Нет человека, которого ее искусство оставило бы равнодушным, и это тем более примечательно, что на род наш не любит музыки. Самая лучшая музыка

для него — мир и покой; нам слишком тяжело живется, и если мы даже порой пытаемся стряхнуть с плеч повседневные заботы, то меньше всего тянет нас в такие далекие сферы, как музыка. И нельзя сказать, чтобы это нас огорчало, отнюдь нет: больше всего мы ценим у себя деловую сметку и лукавый юмор, они, кстати, и крайне нам нужны, и пусть бы даже нас — случай маловероятный — прельщало то наслаждение, какое будто бы дает музыка, неважно, мы с улыбкой примирились бы с этим лишением, как миримся с другими. Жозефина среди нас исключение; она и любит музыку и умеет ее исполнять; она у нас одна такая; с ее уходом музыка бог весть как надолго исчезнет из нашей жизни.

Я не раз пытался осознать, как же это у нас получается с музыкой. Ведь мы напрочь лишены музыкального слуха; отчего же нам понятно Жозефино пение? Или же — поскольку Жозефина это решительно отрицает — отчего мы считаем его понятным? Проще всего было бы сказать, будто ее пение так восхитительно, что увлекает и тупицу, но такой ответ не может нас удовлетворить. Будь это так, пение Жозефины производило бы на нас впечатление чего-то необычайного, словно из ее горла льются дивные, еще не слышанные звуки, словно нам трудно было бы даже их воспринять, если бы нас не сроднило с ними Жозефино пение. В действительности ничего подобного: я и сам не испытываю такого чувства и не замечаю его у других. Напротив, в своем кругу мы не скрываем друг от друга, что как пение Жозефино пение немногого стоит.

Да и можно ли назвать это пением? Хоть мы и немзыкальны, пение, как вековая традиция, живет в народной памяти; в прошлом у нас существовало пение; об этом говорят легенды, сохранились и тексты песен, но никто, конечно, не умеет их исполнять. Итак, понятие о том, что такое пение, нам не чуждо, однако Жозефино пение ни-

как с ним не вяжется. Да и можно ли назвать это пением? Не просто ли это писк? Правда, все мы пищим, это наша природная способность и даже не способность, а наше самовыражение. Все мы пищим, но никому и в голову не приходит выдавать это за искусство, мы пищим бездумно и безотчетно, многие даже не подозревают, что писк — наша особенность. Но если признать справедливым, что Жозефина не поет, а пищит, и, как мне кажется, не лучше, чем другие, — она даже уступает большинству в силе голоса, вспомните, как простой землекоп пищит напропалую с утра до вечера, да еще выполняя тяжелую работу, — если признать это справедливым, то от предполагаемого Жозефины искусства ничего не останется; но тем большей загадкой явится вопрос: чем же объяснить ее необычайное воздействие на слушателей?

Дело здесь, разумеется, не только в писке. Станьте поодаль и прислушайтесь или, того лучше, попробуйте — раз уж вы за это взялись — выделить ее голос из общего гомона, и вы не услышите ничего, кроме обычного писка, Жозефинин голосок разве что слабее и жиже других. Станьте, однако, против нее, и это уже не покажется вам только писком: чтобы оценить ее искусство, мало слышать, надо и видеть. Пусть вы услышите всего лишь обычный наш писк — необычно уже то, что кто-то, собираясь сделать нечто обычное, стал в величественную позу. Разгрызть орех не бог весть какое искусство, и вряд ли кто отважился бы собрать народ и грызть для его развлечения орехи. Ну а вдруг он бы это сделал и даже произвел фурор, мы, верно, усмотрели бы причину его успеха в чем-то постороннем. Но вполне могло случиться, что всем понравилась бы его затея, а отсюда следует, что мы проглядели это искусство, потому что сызмала им владеем, и только наш шелкун раскрыл нам глаза на его истинную сущность. А если он к тому же посредственный шелкун и любой из

нас превосходит его в этом искусстве, то это лишь говорит в пользу самого искусства.

То же самое, очевидно, и с Жозефиным пением: мы восхищаемся в нем тем, чем пренебрегаем у себя, и в этом Жозефина полностью с нами согласна. Кто-то в моем присутствии со всей возможной деликатностью и как о чем-то общеизвестном заговорил с ней про то, как популярен писк в народе. Но для Жозефины и этого достаточно. Надо было видеть, какую наша дива скорчила надменную и презрительную гримасу! С виду она воплощенная нежность, но тут представилась мне чуть ли не вульгарной; правда, она сразу же спохватилась и постаралась с присущим ей тактом исправить свой промах. Но это лишь показывает, как далека Жозефина от мысли, что есть какая-то связь между ее пением и писком. Тех, кто держится другого мнения, она презирает и, пожалуй, ненавидит втайне. Но тут в ней говорит не обычное тщеславие — ведь и оппозиция, к которой отчасти принадлежу и я, тоже ею восхищается; но Жозефина требует, чтобы ею не просто восхищались — обычного восхищения ей мало, извольте перед ней преклоняться! И когда вы сидите в публике и смотрите на нее, вам это понятно: быть в оппозиции можно только на расстоянии от нашей дивы; сидя же в публике, вы готовы признать, что ее писк и не писк вовсе.

Но уж раз пищать нам не в новинку и мы сами не замечаем, как пищим, естественно было бы думать, что писк стоит и среди Жозефиной аудитории. Ведь ее искусство нас радует, а радуясь, мы пищим. Однако Жозефины слушатели не пищат, они сидят, затаясь, как мышка под метлой; можно подумать, что мы наконец сподобились желанного покоя и боимся спугнуть его собственным свистом. Что же нас больше привлекает на этих концертах — Жозефино пение или эта торжественная тишина, едва прожитая ее голоском? Как-то случилось, что глупенькая



мышка, заслышав Жозефино пение, присоединила к нему свой голосок. Это был тот же писк, каким нас услаждала Жозефина, но в том, что на сцене, несмотря на рутину, чувствовалась известная сдержанность, тогда как в публичке пищали по-детски самозабвенно; в общем же никакой разницы; тем не менее мы затопали и зашикали на эту нарушительницу тишины, хоть бедняжка и без того готова была сквозь землю провалиться. Жозефина же затянула победный гимн: она в экстазе еще шире распростерла руки и еще выше запрокинула бы голову, если бы это позволила ее короткая шея.

И так всегда: малейшим пустяком, каждой ничтожной случайностью, любой помехой, потрескиванием паркета, зубовным скрипом, неисправностью освещения — словом, любой заминкой Жозефина пользуется для того, чтобы повысить интерес к своему пению; ведь она считает, что ее слушают глухие; правда, по части вызовов и аплодисментов у нее нет причин жаловаться, однако настоящего понимания она якобы не находит и давно оставила надежду. Потому-то она и приветствует любую помеху; ведь все, что во внешнем мире в разладе с ее пением и что без особой драки и даже совсем без драки, а лишь в силу простого противопоставления ей удается превозмочь, помогает расшевелить слушателей и внушает им если не настоящее понимание, то хотя бы сочувственное уважение к ее искусству. Но раз уж Жозефина всякую малость обращает себе на пользу, то что говорить о большом! Наша жизнь полна тревог, каждый день приносит свои неожиданности, страхи, надежды и разочарования, ни один из нас сам по себе не выдержал бы таких испытаний, если бы в любую минуту дня и ночи не чувствовал поддержки товарищей; но даже с этим чувством локтя нам порой приходится тяжело; бывает, что тысяча плеч изнемогают под ношей, которая в сущности предназначалась одному. Именно в такие ми-

нуты Жозефина считает, что время ее пришло. И вот она стоит перед вами, это хрупкое существо, и поет — грудь у нее выше живота так и ходит от натуги, кажется, что все свои силы она вкладывает в пение, все, что не участвует в пении, у нее обескровлено, вычерпано до отказа, точно она обнажена, отдана во власть стихий и под защиту добрых духов, точно в минуты, когда она поглощена пением, первое же холодное дыхание ветра может ее убить. Видя ее в таком иступлении, мы, ее мнимые противники, говорим: «Она даже не пищит как следует: надо же так напрягаться — и не для того, чтобы петь, какое там! — а чтобы просто пищать, как пищит всякий». Таково наше первое неизбежное впечатление, но, как уже сказано, оно быстро проходит, а вскоре и нас охватывает чувство, владеющее толпой: привалившись друг к другу и согретые ее теплом, мы слушаем, затаив дыхание.

Чтобы собрать эту толпу, постоянно пребывающую в движении, шныряющую взад и вперед, влекомую какими-то неясными целями, Жозефине достаточно запрокинуть голову, приоткрыть рот и закатить глаза — словом, стать в позу, показывающую, что она приготовилась петь. Для этого годится любое место, ей даже не нужна открытая сцена, ее устраивает первый же случайно выбранный уголок. Весть о том, что Жозефина будет петь, распространяется мгновенно, и народ валит валом. Иногда, впрочем, возникают препятствия, Жозефина любит выступать в неспокойные времена, у каждого об эту пору свои нужды и заботы, каждый хлопочет по своим делам, нам трудно при всем желании собраться так скоро, как этого хотелось бы Жозефине, бывает, что она подолгу простаивает в своей пышной позе, пока не соберется народ; она, понятно, приходит в неистовство, топает ножкой, ругается не подобающими девице словами и даже кусается. Но и такое поведение не вредит ее популярности; вместо того, чтобы обу-

дать чрезмерные притязания певицы, публика старается их удовлетворить: во все стороны шлют гонцов (конечно, без Жозефинина ведома), чтоб они привели побольше слушателей; по всем дорогам расставляют посты — торопить опаздывающих; и все это до тех пор, пока не наберется достаточно народу.

Но что же заставляет всех угождать Жозефине? На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос о Жозефинином пении, с которым он смыкается. Следовало бы даже его опустить, соединив со вторым, если б можно было утверждать, что народ безоговорочно предан Жозефине ради ее пения. Но об этом не может быть и речи. Наш народ, пожалуй, никому безоговорочно не предан; этот народ, который больше всего любит свою безобидную хитрость, свой детский лепет, свою невинную болтовню — лишь бы чесать языком, — этот народ не способен на безоговорочную преданность, и Жозефина это чувствует, она с этим борется, не жалея свой слабой глотки.

Разумеется, утверждение столь общее рискует завести нас чересчур далеко; народ все же предан Жозефине, хоть и не безоговорочно. Он не станет, например, смеяться над Жозефиной, а ведь кое-что в Жозефине заслуживает осмеяния, тем более что смех у нас желанный гость; невзирая на все наши напасти, мы нередко про себя посмеиваемся; но над Жозефиной мы не смеемся. Порой мне кажется, что народ воспринимает Жозефину как слабое, беспомощное и в некотором роде незаурядное существо (в его представлении незаурядную певицу), доверенное его заботе; откуда у него это представление — сказать трудно, можно только констатировать самый факт. Но над тем, что тебе доверено, не станешь смеяться; смеяться над этим значило бы пограть свой долг; самое злое, на что способны у нас самые злые, это иной раз сказать о Жозефине: «Когда мы ее видим, смех у нас застревает в горле».

Народ заботится о Жозефине, как отец печется о своем ребенке; ребенок протягивает ручки, он то ли просит, то ли требует чего-то. Естественно было бы предположить, что нашему народу не по нраву такие обязанности, но он их выполняет образцово, по крайней мере в данном случае. Каждому из нас в отдельности было бы не под силу то, что доступно народу в целом. Разумеется, и возможности здесь несоизмеримы: народу достаточно согреть питомца своим дыханием, и тот уже чувствует себя под надежной защитой. С Жозефиной лучше не говорить об этом. «Вот еще, нужна мне паша защита!» — заявляет она. «Посмотрим, что ты запоешь без нас!» — думаем мы про себя. Впрочем, это даже не возражение, скорее детская взбалмошность и детская неблагодарность; отец подобные выходки пропускает мимо ушей.

Но тут возникает нечто, плохо вяжущееся с подобным взаимоотношением Жозефины и народа. Жозефина, оказывается, другого мнения, она считает, что это она защищает народ. Ее пение якобы спасает народ от всяких политических и экономических трудностей — вот какая ему присуща власть, а если оно и не устраняет самые трудности, то по меньшей мере дает нам силы их сносить. Жозефина, правда, этого не говорит открыто ни этими, ни другими словами — она и вообще-то мало что говорит, не в пример нашим краснобаям, но об этом вещают ее сверкающие глаза, ее крепко стиснутые зубки — у нас редко кто умеет держать язык за зубами, она же это умеет. При каждом неприятном известии, а бывает, что они сыплются на нас, как из мешка, — в том числе ложные и непроверенные — Жозефина вскакивает, хотя обычно усталость клонит ее долу, она вскакивает, вытягивает шею и, словно пастух, чующий приближение грозы, окидывает взглядом свою паству. Бывает, что своенравные, балованные дети предъявляют нелепые претензии; у Жозефины они все

же как-то обоснованы. Разумеется, она не спасает нас и не придает нам силы; легче легкого выставить себя спасителем такого народа, как и а ш , — многотерпеливого, беспощадного к себе, безоглядного в своих решениях, бестрепетно глядящего в глаза смерти и разве только с виду робкого в атмосфере безрассудной отваги, в коей ему приходится существовать, и притом столь же плодового, сколь отважного, — легче легкого, говорю я, выставить себя задним числом спасителем такого народа, который вновь собственными силами вызволил себя из беды, пусть и ценою жертв, от которых у ученого историка — как ни мало мы интересуемся историей — волосы становятся дыбом. И все же это верно, что в годину испытаний мы особенно стремимся на концерты Жозефины. Ввиду надвигающейся угрозы мы смиряемся, притихаем и еще послушнее, чем обычно, сносим Жозефины властные замашки: мы охотно собираемся и в этой дружественной тесноте отдыхаем от гнетущих нас вопросов; мы словно в последний раз перед битвой торопимся — ведь время не терпит, Жозефина об этом часто забывает — осушить сообща кубок мира. Это не столько концерт, сколько народное собрание, причем такое собрание, на котором с трибуны не доносится ничего, кроме еле различимого писка: этот час слишком нам дорог, чтобы растратить его на пустую болтовню. Конечно, такая роль не могла бы удовлетворить Жозефину. Правда, при всей своей повышенной мнительности, вызванной ее неясным положением в обществе, Жозефина многого не замечает, ибо ослеплена самомнением, а многого не склонна замечать, тем более что в этом ее поддерживает рой льстецов, хлопочущих таким образом и в наших интересах; но петь между прочим, где-то на отшибе, какой-то сбоку припекой — для такой малости, хоть это и отнюдь не малость, Жозефина не стала бы швыряться своим искусством.

Но она им и не швыряется, ее искусство все же находит признание. Хоть мы в душе и заняты другим и храним молчание не только с тем, чтобы лучше слышать, — кое-кто даже уткнулся носом в меховой воротник соседа и не поднимает глаз, так что кажется, будто Жозефина зря разливается там наверху, — а все же ее писк в какой-то мере доходит и до нас. Этот писк, что возносится ввысь там, где все уста скованы молчанием, представляется нам голосом народа, обращенным к каждому из нас в отдельности; в этот критический час Жозефинин жидкий писк напоминает нам жалкую судьбу нашего народа, затерянного в сумятице враждебного мира. Жозефина утверждает себя — этот никакой голос, это никакое искусство утверждает себя и находит путь к нашим сердцам; и нам приятно об этом думать. Настоящего певца, певца-мастера, если бы он среди нас объявился, мы бы в такое время и слушать не стали, мы бы единодушно отвергли подобное выступление как бессмыслицу. Жозефине — боже упаси — незачем знать, что, если мы ее слушаем, это, в сущности, говорит не в пользу ее пения. Кое о чем она, правда, догадывается, а иначе не стала бы с таким жаром уверять, будто мы ее не слушаем, что, впрочем, не мешает ей продолжать свои выступления и за писком забывать об этих догадках.

Но есть еще один довод в Жозефинину пользу: мы все же в известной мере ее слушаем и даже так, пожалуй, как слушают настоящего певца; при этом она производит на нас впечатление, какого напрасно домогался бы более искусный певец и которое зависит именно от недостаточности ее умения и голосовых средств. Объясняется же это преимущественно нашими жизненными условиями.

Наш народ не знает юности, а разве лишь короткое детство. То и дело раздаются у нас требования дать детям волю, окружить их лаской и вниманием, признать за

ними право жить без забот, смеяться, резвиться, играть, и не только признать это право, но и всячески претворять его в жизнь; такие требования часто слышишь, и вряд ли кто против них возражает, возражать против этих требований и в самом деле невозможно, но претворить их в жизнь в наших условиях тоже невозможно; мы единодушно поддерживаем их и даже что-то предпринимаем, но не успеваем оглянуться, как все опять возвращается к старому. Наши условия таковы, что едва ребенок начинает ходить и кое-как разбираться в окружающем мире, как он уже вынужден о себе заботиться наравне со взрослыми. Чтобы промыслить себе пропитание, нам приходится жить в рассеянии, на обширных территориях, где нас окружают бесчисленные враги и подстерегают самые неожиданные опасности; мы не можем выключить наших детей из повседневной борьбы за существование, так как это навлекло бы на них гибель. Наряду со столь прискорбными причинами есть, правда, и приятная: это свойственная нашему племени плодовитость. Одно поколение у нас неудержимо теснит другое, и каждое так многочисленно, что у детей нет времени оставаться детьми. Другие народы заботливо растят свою молодую поросль, там существуют школы, откуда ежедневно изливаются потоки детей — это будущее народов, и день за днем там все те же дети, состав их подолгу не меняется. У нас же нет школ, зато из недр народа через кратчайшие промежутки времени изливаются необозримые потоки детей: поглядите, как они весело визжат и попискивают, ибо толком пищать еще не умеют; как катятся кубарем, а то и кувырком, под напором теснящих сзади, ибо ходить еще не умеют; как слепо увлекают все за собой, ибо глаза их еще не видят, — наши дети! Да не так, как в тех школах — день за днем все те же дети, — нет, все время другие, непрерывно, бесконечно; не успел ребенок появиться, как следом уже теснятся новые дет-

ские мордашки, неотличимые в этом множестве, в этой спешке, розовые от счастья. Сколь это ни прекрасно и как ни завидуют нам по праву другие народы, мы, разумеется, не можем дать нашим малышам настоящего детства. А это ведет к неизбежным результатам. Неизжитое, неискоренимое детство не оставляет нас и в зрелые годы; в противовес тому лучшему, что в нас есть, — нашей надежной практической сметке — мы иногда ведем себя на удивление нелепо, именно так, как ведут себя дети, — бываем безрассудны, расточительны, великодушны, легкомысленны, и все это без малейшего оправдания и смысла, единственно ради пустой забавы. И если даже радость, какую это нам дает, и несравнима с полноценной детской радостью, то нечто подобное нам все же свойственно. К этим-то детским чертам в народе и вызывает Жозефина.

Но запоздалая детскость сочетается у нас с преждевременным увяданием — детство и старость у нас не такие, как у других народов. Мы не знаем молодости, мы мгновенно созреваем, и затянувшаяся зрелость накладывает заметный отпечаток усталости и безнадежности на жизне-радостную в общем-то и жизнеспособную нашу натуру; возможно, отсюда и нелюбовь к музыке; мы слишком стары для музыки, связанное с ней волнение, все эти порывы и взлеты нам тяжелы, и мы устало от нее отмахиваемся; недаром мы ограничили себя писком; немного писку от случая к случаю — вот и все, что нам нужно. Возможно, и среди нас появляются музыкальные дарования, но при нашем характере они неизбежно глохнут, не успев о себе заявить.

Жозефине же мы не возбраняем петь или пищать сколько ей вздумается и как бы она это ни называла, — ее писк нам не мешает, он нам по душе, мы его приемлем; если в нем и присутствуют какие-то элементы музыки, то они сведены к неощутимому минимуму; таким образом со-



храняется известная музыкальная традиция, но она ни в какой мере нас не обременяет.

Но Жозефина дает и нечто большее этому своеобразно-народу. На ее концертах, особенно в трудные времена, одна только зеленая молодежь еще интересуется певицей, лишь наиболее юные из нас с удивлением смотрят, как она выпячивает губы, как выталкивает воздух сквозь точеные передние зубки, как, придя в экстаз от собственных руд, падает замертво и пользуется этим для того, чтобы подготовиться к новым, еще более невнятным воспарениям. Вся же масса слушателей, как это по всему видно, уходит в себя. В эти скупые промежутки роздыха между боями народ грезит; каждый как бы расслабляет усталые мускулы, словно ему, безотказному труженику, в кои-то веки дано растянуться и вволю понежиться на просторном и теплом ложе. В эти грезы нет-нет да и влетается Жозефинин писк; пусть она это называет трелью, а мы — стрекотом, не важно, здесь он на месте, как нигде, как музыке редко выпадает счастье прийтись к месту и ко времени. Чем-то эта музыка напоминает народу короткое бедное детство, утраченное, невозвратное счастье, но что-то в ней есть и от его сегодняшней деятельной жизни, от его маленького, упорного, непостижимого, неистребимого оптимизма. И все это возглашается не гулками, раскатистыми звуками, а тихо, доверительным шепотком, временами даже с хрипотцой. И, разумеется, это писк. А как же иначе? Ведь писк — язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает, здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас. Не удивительно, что выступления Жозефины так нас привлекают и мы стараемся их не пропускать.

Однако от этого до утверждения Жозефины, будто она в такие минуты вливает в нас новые силы и так далее и тому подобное, очень далеко. Я говорю о простых людях,

а не о Жозефиновых льстецах. «А как же! — восклицают они со свойственной им развязной уверенностью. — Чем же вы объясните наплыв публики, полные сборы, особенно в такое время, когда нам грозит опасность? И разве не бывало случаем, когда популярность этих концертов даже мешала нам принять необходимые меры!» Последнее, к сожалению, справедливо, хоть и не служит к Жозефиновой чести, особенно если принять во внимание, что, когда такие сборища внезапно разгоняются врагом и немало наших платится жизнью, сама Жозефина, виновница их гибели, быть может, даже приманившая врага своим писком, но всегда занимающая самое безопасное место, пользуется этим, чтобы улизнуть первой под защиту своей свиты. Ни для кого это, собственно, не секрет, что, однако, не мешает нам по-прежнему ломиться на ее концерты, где и когда б она ни выступала. Отсюда можно заключить, что Жозефина поставлена у нас чуть ли не над законом, что ей дозволено все, чего ни пожелаешь, даже в ущерб нашей общей безопасности, что ей все прощается. Если бы это было так, можно было бы понять притязания Жозефины: в этой свободе, дарованной ей народом, в этом исключительном, невысказанном ни для кого другого положении, несоместимом с существующими законами, можно было бы усмотреть признание того, что народ не понимает Жозефины, как сама она неустанно твердит; что он лишь бессильно восхищается ее искусством и, чувствуя себя ее недостойным, хочет возместить эту обиду столь неслыханным подарком: подобно тому как искусство Жозефины превосходит его понимание, так он и особу ее хочет поставить вне своего контроля и власти. Но ничего этого нет и в помине: быть может, кое в чем народ и капитулирует перед Жозефиной, но он ни перед кем не капитулирует безоговорочно, и это верно и в отношении Жозефины.

С давних пор, чуть ли не с начала своей артистической карьеры, Жозефина добивается, чтобы во внимание к ее пению ее освободили от всякой работы: пусть с нее снимут заботу о хлебе насущном и все, что связано с борьбой за существование. Пусть! Очевидно, за нее трудится народ. Натуры горячие и впечатлительные — а такие и у нас бывали, — сраженные необычностью этого требования и умонастроения, способного такие требования измыслить, могли бы, пожалуй, счесть его законным. Не то народ — он делает свои выводы и спокойно это требование отклоняет. Он даже не дает себе труда опровергнуть Жозефины доводы. Так, Жозефина доказывает, что напряжение, связанное с работой, вредит ее голосу; пусть даже работа менее утомительна, чем пение, она отнимает у нее возможность отдохнуть от одного концерта и собраться с силами для другого — все же вместе ее изнуряет и не дает ее таланту достигнуть совершенства. Народ все это слышит, но оставляет без внимания. Этот столь отзывчивый народ вдруг не проявляет ни малейшей отзывчивости. А иногда его отказ бывает так суров, что даже Жозефина приходит в смущение; она как будто сдается, работает, как полагается, поет, как умеет, но ее хватает ненадолго — глядишь, она опять с новыми силами вступает в борьбу, тут ее силы, видимо, неисчерпаемы.

Так выясняется, что Жозефине, собственно, не того и нужно, на что она, по ее словам, претендует. Человек разумный, она не отлынивает от работы, в нашем народе о лежебоках и слыхом не слыхали; добейся она даже своего, она бы ни в чем не изменила образа жизни, работа не мешала бы ей петь, да и пела бы она ничуть не лучше; единственное, что ей нужно, это публичное непререкаемое, непреходящее признание ее искусства, такое признание, которое неизмеримо превышало бы все известное в этом смысле до сих пор. Но хотя все прочие блага кажутся

Жозефине достижимыми, это ей упорно не дается. Может быть, ей надо было с самого начала повести борьбу в другом направлении; может быть, она уже и сама осознала свою ошибку; но путь назад ей закрыт, отступать поздно, это значило бы отречься от себя; поневоле приходится ей с этим пасть или победить.

Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы, и пальцем не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов, а найдись даже у кого-нибудь что ей возразить — не важно: вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную, судейскую позицию, какая ему и несвойственна и наблюдается у нас разве только очень редко. И если даже кто-нибудь в этом частном случае и одобряет позицию народа, то мысль, что это же может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь, таким образом, идет не о существовании вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем — мало сказать, отеческую — поистине самозабвенную заботу.

Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре: он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками; он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело — то есть, вконец избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дожидаться и этого, напоследнего требования, а уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на место. На самом деле ничего этого нет: народу не нужны такие уловки, не говоря уж о том, что он дей-

ствительно почитает Жозефину и не раз это доказал; к тому же требование Жозефины так несуразно, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь.

Но если Жозефине и не чужды такие догадки, борьбы она все же не прекращает. За последнее время борьба даже обострилась; и если до сих пор она носила характер словесной тяжбы, то теперь наша дива пускается на средства, которые кажутся ей более действенными, нам же представляются лишь более для нее опасными.

Некоторые наблюдатели считают, что Жозефина потому решила идти напролом, что чувствует приближение старости, она-де теряет голос и, следовательно, ей самое время вступить в последний бой за свое признание. Лично меня это не убеждает. Будь это так, Жозефина не была бы Жозефиной. Для нее не существует ни старости, ни опасения потерять голос. Если она чего-то домогается, то ее понуждают к тому не соображения внешнего порядка, а внутренняя последовательность, верность себе. Она тянется к высшему венцу не потому, что он случайно висит ниже, а потому, что он наивысший; будь это в ее власти, она повесила бы его еще выше.

Такое презрение к внешним трудностям не мешает ей прибегать к самым недостойным средствам. Жозефина не сомневается в своем праве, а стало быть, ей безразлично, как его достигнуть, тем более что в этом мире, как она считает, с щепетильностью далеко не уйдешь. Она, быть может, поэтому переносит борьбу из области пения в другую, менее для нее важную. Почитатели ее таланта повторяют ее заявления, будто она чувствует себя в силах петь так, чтобы народ во всех своих слоях, вплоть до самой потаенной оппозиции, испытал истинное наслаждение — не то наслаждение, какое он, по его словам, испытывал до

сих пор, а то, какого желала бы для него сама Жозефина. Но, добавляет она, не в ее правилах унижать высокое и потакать низменному, а потому пусть уж все остается как есть. Иное дело — ее борьба за освобождение от работы; правда, и эту борьбу она ведет во имя искусства, но хотя бы не драгоценными средствами искусства, так как для столь низменной борьбы все средства хороши.

Так распространился слух, будто Жозефина, если ей не пойдут навстречу, намерена сократить свои колоратуры. Я лично понятия не имею ни о каких колоратурах. Ни разу в ее пении не замечал я колоратур. Жозефина же якобы собирается не вовсе отказаться от колоратур, а покамест только сократить их. Она даже привела свою угрозу в исполнение, хоть я и не нашел в ее пении никаких перемен. Народ слушал ее, как всегда, никто не вспомнил о колоратурах, да и отношение к Жозефинину требованию осталось прежним. Однако Жозефина не только по наружности, но и по натуре не лишена грации. После того концерта, должно быть, спохватившись, что ее решение насчет колоратур было слишком жестоким — или слишком внезапным — для народа, она обещала вернуться к своим колоратурам во всей их неприкосновенности. Но после следующего же концерта, опять передумав, объявила, что окончательно и бесповоротно отказывается от колоратур, пока не будет вынесено благоприятное для нее решение. Все эти заявления, решения и контррешения народ пропускает мимо ушей. Так погруженный в раздумье взрослый человек не внемлет лепету ребенка: ребенок, как всегда, его умиляет, но он от него бесконечно далек.

Но Жозефина не сдается. Недавно она объявила, что ушибла на работе ногу и ей трудно петь стоя. Она же поет только стоя, а потому вынуждена сократить и самые песни. Но хоть она и начала припадать на ногу и выходила к публике не иначе, как опираясь на своих почитателей, ни-

кто не давал ей веры. Если даже принять в соображение особую чувствительность ее хрупкого тельца, нельзя забывать, что мы рабочий народ, а Жозефина плоть от нашей плоти; когда бы мы стали обращать внимание на каждую ссадину и царапину, весь народ только бы и делал, что хромал. Но хоть Жозефину и водили под руки, как увечную, и она в таком виде охотно показывалась публике, это не мешало нам с восторгом ее слушать, не обижаясь на сокращенную программу.

Но нельзя же вечно хромать, и Жозефина придумала нечто новое: она утомлена, у нее тяжелые настроения и душевный упадок. Так помимо концерта нам преподносят и спектакль. За Жозефиной тянется ее свита, ее уговаривают, заклиняют петь. Она бы рада, но не может. Жозефине льстят, ее утешают, чуть ли не на руках относят на приготовленное место. Заливаясь беспричинными слезами, Жозефина уступает, она из последних сил пытается запеть — стоит, поникшая, забыв даже раскинуть руки и лишь безжизненно свесив их вдоль тела, что создает впечатление, будто они у нее коротковаты, — итак, она пытается запеть, но тщетно, голова ее падает на грудь, и на глазах у всей публики певица теряет сознание. А затем собирается с духом и поет как ни в чем не бывало, я бы даже сказал — не хуже, чем всегда; разве только изощренному слуху, улавливающему малейшие нюансы, заметно необычное волнение нашей дивы, но от этого ее пение только выигрывает. Зато к концу программы усталости ни следа: твердой поступью, если это можно сказать о ее щепотливой походочке, она удаляется, отказавшись от услуг своих почитателей, и холодным испытующим взором окидывает почтительно расступающуюся перед ней толпу.

Так было еще недавно; на днях же стало известно, что Жозефина не явилась на очередной концерт. Ее разыскивают не только почитатели, у них нет недостатка в по-

мощниках, но все напрасно — Жозефина исчезла, она больше не хочет петь, не хочет даже, чтобы ее просили петь, на этот раз она и в самом деле нас покинула.

Странно, что наша умница так просчиталась, хотя, возможно, это даже не просчет; махнув на все рукой, она следует велению своей неотвратимой судьбы, ибо судьба ее в нашем мире может быть только очень печальной. Она сама отказывается от пения, сама разрушает ту власть, которую приобрела над душой своих слушателей. И как только она приобрела эту власть — ведь эта душа для нее за семью печатями! Жозефина прячется и не поет, а между тем народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может только раздавать, а не получать дары, хотя бы и от той же Жозефины, — народ продолжает идти своим путем.

Жозефина же осуждена катиться вниз. Близка минута, когда прозвучит и замрет ее последний писк. Она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату. Легко это нам не дастся, ибо во что превратятся наши собрания, проводимые в могильной немоте? Но разве не были они немыми и с Жозефиной? Разве на деле ее писк был живее и громче, чем он останется жить в нашем воспоминании? Разве не был он и при ее жизни не более чем воспоминанием? Не оттого ли наш народ в своей мудрости так ценил ее пение, что оно в этом смысле не поддавалось утрате?

Как-нибудь обойдемся мы без нашей певицы, что же до Жозефины, то, освобожденная от земных мук, кои, по ее мнению, уготованы лишь избранным, она с радостью смешается с сонмом наших героев и вскоре, поскольку история у нас не в большом почете, будет вместе со своими собратьями предана всеискупляющему забвению.





был холодным и твердым, я был мостом, я лежал над пропастью. По эту сторону в землю вошли пальцы ног, по ту сторону — руки; я вцепился зубами в рассыпчатый суглинок. Фалды моего сюртука болтались у меня по бокам. Внизу шумел ледяной ручей, где водилась форель. Ни один турист не забредал на эту непроходимую кручу, мост еще не был обозначен на картах... Так я лежал и ждал; я поневоле должен был ждать. Не рухнув, ни один мост, коль скоро уж он воздвигнут, не перестает быть мостом.

Это случилось как-то под вечер — был ли то первый, был ли то тысячный вечер, не знаю: мои мысли шли всегда беспорядочно и всегда по кругу. Как-то под вечер летом ручей зажурчал глуше, и тут я услышал человеческие шаги! Ко мне, ко мне... Расправься, мост, послужи, брус без перил, выдержи того, кто тебе доверился. Неверность его походки смягчи незаметно, но, если он зашатается, покажи ему, на что ты способен, и, как некий горный бог, швырни его на ту сторону.

Он подошел, выстукал меня железным наконечником своей трости, затем поднял и поправил ею фалды моего сюртука. Он погрузил наконечник в мои взерошенные волосы и долго не вынимал его оттуда, по-видимому дико озираясь по сторонам. А потом — я как раз уносился за ним в мечтах за горы и доли — он прыгнул обеими ногами на середину моего тела. Я содрогнулся от дикой боли, в полном неведении. Кто это был? Ребенок? Видение? Разбойник с большой дороги? Самоубийца? Искуситель? Разрушитель? И я стал поворачиваться, чтобы увидеть его... Мост поворачивается! Не успел я повернуться, как уже

рухнул. Я рухнул и уже был изодран и проткнут заостренными голышами, которые всегда так приветливо глядели на меня из бурлящей воды.

## ОХОТНИК ГРАКХ



вое мальчуганов играли в кости, сидя на парапете набережной. Мужчина читал газету, пристроившись на ступенях памятника, под сенью героя, размахивающего саблей. Девушка у колодца наливала воду в ведро. Торговец овощами лежал около своего товара, уставясь в морскую даль. В пустые проемы окон и дверей видно было, как в дальнем конце кабачка двое мужчин попивают вино. Хозяин дремал, сидя за столиком у входа. Бесшумно, словно скользя над водой, в гавань вошел бот. На берег спустился человек в синем кителе и продел канаты в кольца причала; вслед за боцманом двое матросов в темных куртках с серебряными пуговицами спустили на берег носилки, на которых под шелковой цветастой шалью с бахромой, по-видимому, лежал человек.

Никто на всей набережной не обратил внимания на вновь прибывших, и даже когда они поставили носилки на землю, дожидаясь, пока боцман кончит возиться с канатами, никто не подошел поближе, ни о чем не спросил, не пригляделся к ним. Боцман помешкал еще минуту, потому что на палубе показалась простоволосая женщина с младенцем на руках. Наконец он приблизился, указал матросам на желтоватый двухэтажный дом слева, прямо у берега, те подняли свой груз на плечи и внесли его в приземистые, но обрамленные стройными колонками ворота. Маленький мальчик отворил окошко, увидел, что приезжие

входят в дом, и поспешил захлопнуть окошко. Вслед за тем закрылись и плотно пригнанные створки ворот из мorenого дуба. Стая голубей, кружившая над колокольной, опустилась наземь перед желтоватым домом, как будто там была заготовлена для них пища.

Все голуби сгрудились у ворот, а один взлетел до второго этажа и постучал клювом в окно. Это были как на подбор холеные, резвые птицы со светлым оперением. Женщина на палубе швырнула им с бота горсть зерна, они все поклевали и полетели к ней на палубу.

Из узкой улочки, круто спускающейся к гавани, появился господин в цилиндре с креповой лентой. Он пристально огляделся по сторонам и явно остался недоволен — при виде кучи мусора в углу у него даже перекошилось лицо. На ступенях памятника валялась кожара от фруктов, ее он мимоходом сбросил концом трости. Держа цилиндр в правой, затянутой в черную лайковую перчатку руке, господин постучался у дверей. Ему тотчас же открыли, с полсотни ребят, приветствуя его, выстроились шпалерами в длинном коридоре.

По лестнице спустился боцман, поздоровался с гостем и повел его наверх; во втором этаже они обогнули обстроенный изящными воздушными портиками внутренний двор и, сопутствуемые на почтительном расстоянии толпой ребят, вступили в прохладную залу в задней части дома; напротив домов уже не было, здесь высились только иссера-черные голые скалистые уступы.

Матросы как раз установили в головах носилок высокие подсвечники и зажгли свечи, но светлее от этого не стало, только встрепенулись и забегали по стенам мирно покоившиеся тени. С носилок отбросили покров. Под ним лежал мужчина с косматыми волосами, с всклокоченной бородой и обветренным лицом, по виду похожий на охотника. Он лежал неподвижный, как будто бездыханный, с закры-

тыми глазами, и тем не менее лишь по окружающей обстановке можно было предположить, что он мертвец.

Господин подошел к носилкам, приложил руку ко лбу лежащего, а затем опустил на колени и стал молиться. Тогда боцман кивком приказал матросам уйти; они удалились, разогнали ребят, столпившихся снаружи, и затворили за собой дверь. Но господин, видимо, желал полного уединения, он взглянул на боцмана, тот понял и через боковую дверь вышел в соседнюю комнату. Лежащий на носилках тотчас же открыл глаза, со страдальческой улыбкой повернулся к господину и спросил:

— Кто ты?

Нимало не удивившись, господин поднялся с колен и ответил:

— Я бургомистр города Рива.

Лежащий кивнул, с трудом подняв руку, указал на кресло и, после того как бургомистр уселся, заговорил снова:

— Я и так это знал, господин бургомистр, но в первую минуту у меня всякий раз голова идет кругом, и лучше для верности спросить, хоть я все знаю доподлинно. А вы тоже, должно быть, знаете, что я охотник Гракх.

— Разумеется, — ответил бургомистр. — Я нынче ночью был оповещен о вашем прибытии. Мы уже спали крепким сном. Как вдруг около полуночи жена окликнула меня: «Сальваторе (так меня зовут), взгляни, за окном голубь!» И верно это был голубь, только величиной с петуха. Он подлетел к самому моему уху и объявил: «Завтра прибудет умерший охотник Гракх, прими его как отец города».

Охотник кивнул и кончиком языка провел по губам:

— Да, голуби всегда летят передо мной. Как вы полагаете, господин бургомистр, следует мне остаться в Риве?

— Пока что я не могу этого решить, — ответил бургомистр. — Вы мертвец?

— Да, как видите, — сказал охотник. — Много, должно быть, очень много лет тому назад, я преследовал серну и сорвался с кручи, это было в Шварцвальде, в Германии. С тех пор я и мертв.

— Однако вы и живы, — возразил бургомистр.

— Отчасти, — согласился охотник, — отчасти я жив. Мой челн смерти взял неверный курс — то ли кормчий отвлекся созерцанием моей прекрасной отчизны, то ли в минуту рассеянности не туда повернул руль, уже не знаю что, знаю одно — я остался на земле и челн мой с той поры плавает в земных водах. Жить мне хотелось только среди родных гор, а я после смерти странствую по всему свету.

— А в потусторонний мир вам доступа нет? — насупившись, спросил бургомистр.

— Я обречен вечно блуждать по гигантской лестнице, которая ведет на тот свет, — ответил охотник. — То меня занесет наверх, то вниз, то направо, то налево. Я не знаю ни минуты передышки — не охотник, а какой-то мотылек. Не смейтесь.

— Я не смеюсь, — запротестовал бургомистр.

— И хорошо делаете, — одобрил охотник. — Подумайте, ни минуты передышки. Вот, кажется, я взял разбег и передо мной уже забрезжили высокие ворота, но миг — и я очнулся на моем челноке, застрявшем в каких-то унылых земных водах. В стенах каюты меня злобной издевкой дожимает моя незадачливая кончина. В дверь стучит Джулия, жена боцмана, и подносит к моему одру утренний напиток той страны, вдоль берегов которой мы как раз проходим. Глядеть на меня радость небольшая — я лежу на дощатой койке в грязном саване, волосы и борода, вперемжку черные и седые, сваялись космами раз и навсегда, ноги прикрыты шелковой цветастой шалью с бахромой. В головах стоит и светит церковная свеча. На стене на-

против висит картинка, на ней какой-то дикарь, бушмен что ли, целится в меня копьём, а сам прячется за пышно размалеванный щит. На кораблях часто видишь глупые картинки, но глупее этой не придумаешь. Вообще же моя деревянная клетка совсем пуста. Сквозь отверстие в боковой стене проникает тёплый воздух южной ночи и слышно, как вода плещется о старый бот. Так я и лежу с той поры, как еще живым охотником Гракхом у себя дома, в Шварцвальде, преследовал серну и сорвался с кручи. Все как по-писаному — преследовал, сорвался, истек кровью в ущелье, умер, и этот вот челн должен был перенести меня на тот свет. Помню, с каким блаженством растянулся я впервые на своей койке. Родные горы ни разу не слышали от меня такой песни, какой я огласил эти еще не знакомые мне стены. Я легко жил и легко умер; прежде чем вступить на борт, я с восторгом отбросил, как ненужную вещь, свою охотничью снасть — флягу, ружье, ягдташ, — которую прежде носил с гордостью, и в саван облекся, как девушка в подвенечный наряд. Потом лег и стал ждать. Тут-то и приключилась беда.

— Жестокая доля, — махнув рукой, промолвил бургомистр. — И вашей вины в этом нет?

— Ни малейшей, — ответил охотник. — Я был охотником, какая же в этом вина? Меня поставили охотником в Шварцвальде, где в ту пору еще водились волки. Я выслеживал, стрелял, попадал, сдирал шкуру — какая в этом вина? Господь был мне в помощь в моих трудах. «Великим шварцвальдским охотником» прозвали меня. Какая в этом вина?

— Мне не дано права судить об этом, но, сдаётся мне, вины в этом нет, — признал бургомистр. — Тогда на ком же лежит вина?

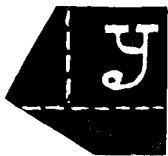
— На боцмане, — ответил охотник. — Никто не станет читать то, что я тут пишу, никто не придет меня спасти,

а если бы и была поставлена задача спасти меня, все равно двери всех домов оставались бы на запоре, на запоре все окна, все люди лежали бы в постелях, натянув одеяла на головы, вся земля представляла бы собой мирный ночлег. И это было бы правильно, ибо никто обо мне не знает, а знал бы кто обо мне, так не знал бы места, где я нахожусь, а знал бы место, где я нахожусь, так не знал бы, как удержать меня там, не знал бы, как мне помочь. Намерение мне помочь есть болезнь, которую лечат содержанием в постели. Все это я знаю и потому не кричу, хотя бывают минуты, как, например, сейчас, когда я теряю власть над собой и крепко помышляю о том, чтобы позвать на помощь. Но такие помыслы мигом улетучиваются, стоит мне оглядеться по сторонам и вспомнить, где я нахожусь, где обитаю — смею утверждать — уже не одно столетие.

— Чудеса, прямо скажу, чудеса, — вставил бургомистр. — А теперь вы задумали остаться у нас в Риве?

— Ничего я не задумал, — усмехнувшись, сказал охотник и, чтобы смягчить насмешку, положил руку на колено бургомистра. — Сейчас я тут, больше я ничего не знаю и ничего не могу поделать. Челн мой носится без руля по воле ветра, который дует в низших областях смерти.

## ВЕРХОМ НА ВЕДРЕ



голь кончился; ведро пусто, совок бесполезен; печь дышит холодом, комната промерзла насквозь, перед окном деревья окованы инеем; небо — как серебряный щит против тех, кто молит о помощи. Надо добыть угля; не замерзать же мне окончательно! Позади — не знающая жалости печь, впереди — такое же безжалостное небо; надо ловко прошмыгнуть между ними, чтобы просить помощи у торговца уг-

лем. Но обычные мои просьбы ему приелись; надо поубедительнее доказать ему, что в ведерке моем даже угольной пыли не осталось и, значит, он для меня все равно что солнце на небе. Мне надо явиться как нищему, который при последнем издыхании приполз умирать с голоду на барский порог, а сердобольная кухарка расщедрилась и выплеснула ему спивки кофе; пускай и торговец, зlobясь, но покорствуя заповеди «не убий», швырнет мне в ведерко совок угля.

Самое появление мое должно исключить отказ; поэтому я поскачу на ведре. Верхом на ведре, держась вместо ушко за ушко и спотыкаясь на поворотах, я сполз с лестницы; зато внизу мое ведерко выпрямилось очень даже гордо, совсем как выпрямляется лежащий верблюд, встрепенувшись от палки погонщика. Ровной рысцей мы проезжаем промерзший переулок; время от времени я взлетаю до второго этажа и, уж во всяком случае, не спускаюсь до входных дверей. А перед подвалом, где угольщик строчит пером у себя за конторкой, я пару особенно высоко; от жары дверь подвала отворена.

— Эй, угольщик! — застуженным голосом кричу я, и собственное дыхание окутывает меня клубами пара, — будь добр, угольщик, дай мне немного угля. Ведро у меня совсем пустое, видишь, на нем можно даже скакать верхом. Окажи такую милость, я расплачусь, как только смогу.

Торговец приставляет ладонь к уху.

— Я не ослышался? — спрашивает он через плечо у своей жены, которая сидит и вяжет рядом, на лежанке. — Я не ослышался? Как будто покупатель?

— Я не слышу ровно ничего, — отвечает жена, в такт выдохам и выдохам шевеля спицами и ощущая спиной благодатное тепло.

— Ну да, это я, ваш покупатель, — кричу я, — старинный и неизменный, только сейчас безденежный.



— Нет, жена, кто-то там есть, кто-то есть, — говорит торговец, — уж не так-то я туг на ухо. И, верно, очень старинный покупатель, прямо за живое берет.

— Да что с тобой, муженек? — спрашивает жена и на миг приостанавливается, прижав вязанье к груди. — В переулке ни души, все наши покупатели обеспечены углем. Смело можно прикрыть торговлю на день-другой и отдохнуть.

— Как же так! Ведь я тут, верхом на ведре! — кричу я, и слезы, выжатые не горем, а морозом, застилают мне глаза. — Поглядите наверх, вы сразу меня увидите; прошу вас, дайте один совок, а дадите два — и вовсе меня осчастливите. Остальные покупатели обеспечены. Вот бы и у меня в ведерке завелся уголек!

— Сейчас выйду! — говорит торговец и, семена короткими ножками, направляется к лестнице, но жена догоняет его и хватает за руку.

— Не смей ходить. А не послушаешься — я сама пойду вместо тебя. Ты, видно, забыл, что кашлял всю ночь напролет. Конечно, тебе только где померещится дело, ты уже забыл и жену, и детей, и собственные легкие. Нет, пойду я сама.

— Только не забудь, перечисли все сорта, какие у нас есть на складе; цены я тебе крикну вдогонку.

— Не забуду, — соглашается жена, выходит из подвала на улицу и, конечно, сразу же видит меня.

— Мое вам почтение, хозяйка! Прошу вас, совочек угля; прямо сюда, в ведерко, я сам отвезу его домой — совочек самого последнего сорта. Конечно, я заплачу сполна, только попозже, попозже.

Словечко «попозже» звучит точно благовест, гармонично вторя вечернему звону, который как раз зазвучал с соседней колокольни.

— Так чего ему нужно? — кричит снизу торговец.

— Ничего, ровно ничем, — отвечает с улицы жена. — Ничего мне не видно, ничего не слышно; слышно одно: бьет шесть часов и пора запирать лавку. Мороз лютой, завтра у нас опять будет много дела.

Ей ничего не видно и не слышно; тем не менее она развязывает фартук и замахивается им на меня. К несчастью, не безуспешно. У моего ведерка есть все качества доброго скакуна, но нет ни малейшей устойчивости, уж очень оно легковесно; от взмаха фартуком у него подкашиваются ноги.

— Ах ты злюка! — кричу я на лету, меж тем как она, поворачиваясь к лавке, с презрительным злорадством машет рукой. — Да, злюка! Я просил совочек третьесортного угля, а ты мне отказала.

С этими словами я взрываю ввысь и безвозвратно теряюсь среди вечных льдов.

## КАК СТРОИЛАСЬ КИТАЙСКАЯ СЕНА



Китайская стена в северной своей части закончена. Строители вели ее с юго-востока и с юго-запада и здесь оба отрезка соединили. Системы сооружения стены отдельными участками придерживались две большие рабочие армии — Восточная и Западная; и на каждом отрезке происходило это так, что были созданы группы рабочих по двадцать человек, каждой поручалось построить отрезок стены примерно в пятьсот метров, а соседняя группа строила встречный отрезок такой же длины. Но когда отрезки смыкались, эту стену в тысячу метров не продолжали — напротив, рабочие группы посылались совсем в другую местность, чтобы там начать все сызнова. Поэтому, естественно, остались

многочисленные бреши, которые заполнялись лишь постепенно, иные даже только после того, как было возведено о завершении строительства всей стены в целом. Тем не менее ходили слухи, что некоторые бреши так и остались незаделанными, хотя это, может быть, всего-навсего одна из многочисленных легенд, возникших в связи с возведением стены, и эту легенду ни один человек своими глазами и своим измерением никак проверить не мог из-за огромной протяженности стены.

Казалось бы на первый взгляд, что самое целесообразное — строить, тут же соединяя между собой отрезки или хотя бы две главные части. Ведь стену эту, как утверждалось повсюду и как всем было известно, задумали для защиты от северных народностей. Но может ли служить защитой стена, отдельные части которой не соединены между собой? Нет, такая стена не только не может служить защитой, она сама находится в постоянной опасности. Стоящие в пустынной местности одинокие части могут легко и непрерывно разрушаться кочевниками, тем более что те, напуганные строительством стены, с непостижимой быстротой, словно кузнечики, начали перескакивать с места на место и поэтому могли, пожалуй, даже шире охватить взглядом строительство, чем мы сами, строители. Все же стену, вероятно, нельзя было возводить иначе, чем это делалось. И чтобы это понять, надо уяснить себе следующее: стена должна была служить защитой в течение долгих веков, поэтому необходимыми предпосылками такой работы являлись особая тщательность и применение строительной мудрости всех известных эпох и народов, а также постоянное чувство личной ответственности строителей. Правда, для подсобных работ можно было привлекать неподготовленных поденщиков из народа — мужчин, женщин, детей, всех, кого прельщала хорошая оплата; но для руководства хотя бы четырьмя

поденщиками уже был нужен образованный строитель, человек, способный всем сердцем понять сущность стоящей перед ним задачи. И чем успешнее были достижения, тем больше предъявлялось требований. Такие люди действительно находились, и хоть не в том огромном количестве, в каком они были бы нужны для подобной стройки, все же их оказывалось немало.

Подошли к этой задаче отнюдь не легкомысленно. За пятьдесят лет до начала стройки во всем Китае, который предполагалось окружить стеной, строительное искусство, особенно же мастерство каменщиков, было объявлено важнейшей наукой, а все остальное признавалось лишь постольку, поскольку оно имело к ней отношение. Я отлично помню, как мы, еще малыши, едва научившиеся ходить, собрались в садике нашего учителя и он заставил нас построить из гальки какое-то подобие стены, потом поднял халат, разбежался и толкнул нашу стену, которая, конечно, тут же развалилась, а потом так бранил нас за шаткость нашей постройки, что мы с ревом удрали домой. Ничтожный случай, но характерный для духа времени.

Мне повезло, ибо, когда я, двадцати лет от роду, выдержал завершающие экзамены начальной школы, к строительству стены только что приступили. Я говорю — повезло, ибо многие, достигшие раньше вершины доступного им обучения, в течение ряда лет не знали, к чему приложить свои познания, бездельничали, вынашивая величественные архитектурные планы, и в конце концов опускались. Но те, кто все же попадали на стройку как руководители хотя бы самого низшего ранга, это заслужили. То были каменщики, много размышлявшие о стене и не перестававшие размышлять; с первым камнем, который они заложили в землю, они срослись со стройкой. Таких каменщиков наряду с желанием трудиться самым основательным образом подгоняло и нетерпение увидеть стену

в ее завершенности. Поденщик не ведает подобного нетерпения, его подгоняет только оплата, главные же начальники, а также средние видят многосторонний рост сооружения, и это укрепляет их дух и стойкость. Но о самых простых каменщиках, стоявших духовно значительно выше своей как будто скромной задачи, надо было позаботиться совсем иначе. Не следовало, например, месяцами, а то и годами заставлять их жить в безлюдной горной местности, вдали от родных краев, складывая кирпич к кирпичу; безнадежность этой усердной работы, конца которой не видно было даже за целую человеческую жизнь, могла довести их до отчаяния и прежде всего лишить работоспособности. Потому-то и избрали систему возведения стены отдельными отрезками. Можно было, скажем, выложить пятьсот метров за пять лет, но к тому времени руководители поденщиков бывали обычно слишком изнурены и утрачивали всякое доверие к себе, к стройке, к миру. И вот, пока они еще горели энтузиазмом после праздника соединения двух отрезков тысячеметровой стены, их отправляли далеко-далеко, и во время переезда они видели то там, то здесь готовые части стены, они проезжали мимо штабов высших руководителей, одарявших их почетными значками, слышали ликование новых рабочих армий, притекавших из дальних глубин Страны, видели, как сносят целые леса для нужд строительства, видели горы, которые дробились камнетесами для стройки, слышали в святилищах песнопения верующих, моливших о благополучном завершении стены. Все это укрощало их нетерпение. Спокойная жизнь в родных местах, где они проводили время, укрепляла их, особое почтение, с каким встречали каждого строителя, благоговейное смирение, с каким слушали их рассказы, уверенность простого тихого гражданина в том, что стена будет когда-нибудь завершена, — все это определенным образом настраивало

струны их души. Подобно лелеющим вечную надежду детям, прощались они тогда со своей родиной, желание снова участвовать в общенародном деле становилось неудержимым. И они уезжали из дому раньше, чем это было нужно. Половина деревни провожала их большую часть пути. И всюду на дорогах они видели группы строителей, вымпелы, флаги, они никогда не предполагали, какой огромной, богатой, прекрасной и достойной любви была их страна. Каждый земледелец был им братом, для которого строится защитная стена и который весь, как он есть, и со всем, что у него есть, будет до конца своей жизни благодарен им. Единство! Единство! Все стоят плечом к плечу, ведут всеобщий хоровод, кровь, уже не замкнутая в скупую систему сосудов отдельного человека, сладостно течет через весь бесконечный Китай и все же возвращается к тебе.

Итак, вот одна из причин, почему строили по частям; но, вероятно, есть и другие. И нет ничего странного в том, что я так долго задерживаюсь на этом вопросе, ведь это основной вопрос для всего возведения стены, хотя он на первый взгляд и кажется несущественным. Но если я хочу передать мысли и чувства тех времен, то трудно исчерпать всю его глубину.

Прежде всего следует отметить, что тогдашние свершения по своему размаху ненамного отстают от создания вавилонской башни, но в смысле их угодности богу — по крайней мере по человеческому разумению — являются прямой противоположностью той башне. Я упоминаю об этом потому, что в начале строительства стены один ученый написал книгу, где очень подробно сравнивал эти два события. Он пытался в ней доказать, что причины неудачи с вавилонской башней вовсе не те, которые принято выдвигать, или хотя бы что эти общеизвестные причины не играют той решающей роли, какую им обычно припи-

сывают. Его доказательства основывались не только на письменных и устных сообщениях, он будто бы самолично производил исследования на том самом месте и выяснил, что башня рухнула из-за слабого фундамента, не могла не рухнуть. В этом смысле наше время, конечно, далеко) ушло вперед по сравнению с теми давно миновавшими днями. Почти каждый наш современник был по образованию строителем и в вопросах подведения фундамента вполне сведущ. Но ученый и этом и не сомневался, а утверждал, что лишь великая стена впервые в истории человечества явится прочным фундаментом для новой вавилонской башни. Итак, сначала стена, затем башня. Книга ходила тогда по рукам, но, сознаюсь, мне до сих пор еще не вполне понятно, каким он представлял себе строительство башни. И как могла бы стена, не образовавшая даже полной окружности, а лишь четверть или полукружие, служить фундаментом для башни? Это могло быть сказано только в чисто духовном смысле. Но при чем тогда стена, которая была предметом вполне материальным, плодом трудов и жизни сотен тысяч? И для чего к этой книге были приложены планы башни — правда, весьма туманные, — а также разработанные до мельчайших подробностей предложения относительно того, как в этой новой мощной стройке объединить всю мощь народа?

Однако в те дни — эта книга только один из примеров — в головах царя великая путаница, может быть, именно потому, что столько людей пытались сосредоточить свои усилия по возможности на одной цели. Человеческое существо, будучи по своей сути легковесным и подобным взлетающей пыли, не терпит никакой привязи; если оно к чему-нибудь само себя привяжет, то очень скоро начнет бешено дергать свои оковы и разрывать в клочья себя, стену и цепи.

Возможно, что даже эти соображения, говорящие против строительства, учитывались начальниками, когда стена возводилась частями. А мы — я говорю, вероятно, от имени многих, — лишь расшифровывая распоряжения верховного руководства, познали самих себя и поняли, что без этого руководства ни наших школьных познаний, ни нашего человеческого разума не хватило бы для выполнения тех скромных задач внутри огромного целого, которое было нам поручено. В помещении руководителей (где этот покой находился и кто сидел там — не знает и не знал ни один человек, кого я ни спрашивал), в этом покое, должно быть, кружили все человеческие помыслы и желания, а им навстречу неслись все человеческие цели и их осуществления. В окно же на руки, чертившие эти планы, падал отсвет божественных миров.

Поэтому беспристрастный наблюдатель вынужден отметить, что руководство, пожелай оно этого серьезно, смогло бы преодолеть и те трудности, которые встают перед последовательным строительством всей стены. Отсюда напрашивается только один вывод: стройка частями производилась намеренно. Это было лишь временной мерой и притом нецелесообразной. Тогда напрашивается и другой вывод: значит, руководители стремились к чему-то нецелесообразному. Станный вывод! Верно, а с другой стороны, многое его все же оправдывает. Сейчас об этом, видимо, можно говорить без страха. Тогда это являлось тайным правилом поведения для многих и даже лучших: старайся всеми силами понять указания начальников, но только до определенных границ, а дальше прекращай размышления. Весьма разумное правило, которое, впрочем, отразилось позднее в одном часто повторяемом сравнении: не потому должен ты прекратить дальнейшие размышления, что это может тебе повредить, отнюдь нельзя утверждать, что они тебе повредят. В данном случае во-



обще нельзя говорить, будет вред или не будет. Но с тобой случится то же, что происходит веснами с рекой. Вода в ней поднимается, затем делается мощнее, она энергичнее питает почву вдоль своих длинных берегов, продолжает сохранять свою сущность, даже вливаясь в море, и становится с морем более равноправной и ему более желанной. До этого момента ты можешь следовать мыслью за распоряжениями начальников. Затем река выходит из берегов, теряет формы и очертания, замедляет свое возвращение в обычное русло, пытается вопреки своему назначению образовать маленькие моря внутри страны, размывает пашни, но все же оказывается неспособной сохранять надолго такую широту и снова входит в свои берега, а во время наступающей затем жары даже пересыхает самым жалким образом. Вот и тебе не нужно следовать мыслью так далеко за распоряжениями руководителей.

Но если подобное сравнение было во времена строительства стены исключительно удачным, то для моего повествования оно имеет лишь очень ограниченное значение. Ведь данное исследование носит чисто исторический характер; из давно рассеявшихся грозных туч уже не блеснут молнии, и я потому имею право искать более глубокие причины частичной стройки, чем те, какими удовлетвовались мы в ту пору. Границы, поставленные мне моим мышлением, достаточно тесны, а область, которую пришлось бы охватить, — сама бесконечность.

От кого должна была великая стена служить защитой? От северных народов. Я родом из юго-восточного Китая. Никакой северный народ нам угрожать не может. Мы читаем о них в древних книгах, и жестокости, совершаемые ими в соответствии с их природой, заставляют нас только вздыхать под мирной сенью наших деревьев. На правдивых картинах наших художников мы видим эти отмеченные проклятием лица, разинутые рты, усаженные остры-

ми зубами челюсти, прищуренные глаза, которые как будто уже высматривают воровскую добычу, и пасть, уже готовую растерзать ее и раздробить. Если дети ведут себя плохо, мы показываем им эти картины, и они, плача, бросаются нам на шею. Но больше ничего мы об этих северянах не знаем. Видеть их мы не видели и, живя в своей деревне, никогда и не увидим, даже если они на своих диких конях, разъярясь, будут мчаться на « а с , — настолько обширна наша страна, что она их к нам не подпустит, они просто растают в воздухе.

Зачем же, если дело обстоит именно так, покидаем мы родные места, речку и мосты, мать и отца, рыдающую жену, детей, которых нужно воспитывать, и уходим в школу, в далекий город, а мысли наши устремлены еще дальше — к стене на севере? Зачем? Спроси начальников. Они знают нас. Им, несущим бремя столь великих забот, известно о нас, они знают наше скромное ремесло, видят, как мы сидим все вместе в низкой хижине, и молитва, которую вечером глава семьи читает в кругу близких, руководителям приятна или неприятна. И если я смею позволить себе подобную мысль относительно руководства, то должен сказать, что, по моему мнению, руководство существует с незапамятных времен и не действует подобно знатным мандаринам, которые, вдохновившись прекрасным утренним сновидением, тут же созывают совещание, быстро принимают решения и уже вечером поднимают народ барабанным боем с постелей, чтобы выполнить эти решения, пусть речь идет лишь об иллюминации в честь какого-нибудь бога, если он вчера был милостив к этим господам, а утром, когда погаснут фонарики, они высекут этот народ в темном закоулке. Вернее — руководители существовали искони и решение построить стену — тоже. И тут ни при чем северные народы, воображавшие, что они всему виной, и ни при чем достойный им-

ператор, вообразивший, что это он приказал построить стену. Но мы, ее строители, знаем другое и помалкиваем.

Уже тогда, во время строительства стены, я занимался и до сих пор занимаюсь почти исключительно сравнительной историей народов, — ибо существуют вопросы, к скрытой сути которых можно в известном смысле подойти только таким путем, — и я обнаружил, что у нас, китайцев, есть народные и государственные установления, обладающие беспримерной ясностью, а другие — беспримерной неясностью. К исследованию главным образом последних, к установлению их причины меня всегда влекло, влечет и сейчас, ибо все это крайне существенно и для построения стены.

Одним из самых непонятных установлений является у нас императорская власть. Конечно, в Пекине, в придворном обществе, на этот счет некоторая ясность существует, хотя и она скорее кажущаяся, чем истинная. Преподаватели государственного права и истории в высших учебных заведениях утверждают, будто они в этом вопросе точно осведомлены, почему и могут передавать свои познания студентам. Но чем ниже спускаешься к начальным школам, тем, конечно, меньше встречаешь сомнений в приобретенных познаниях, и полуобразованность вздымается там крутыми волнами вокруг весьма немногочисленных, установленных веками поучений, которые хоть ничего и не утратили от своей вечной правды, но в этом чаду и тумане так и остаются навеки непонятными.

А вот относительно императорской власти как раз и следовало бы, по моему мнению, опросить народ, ибо власть эта имеет в нем свою главную опору. Тут я, конечно, могу опять-таки говорить лишь о своих родных местах. Помимо полевых божеств и служения им, которое продолжается весь год и полно разнообразия и красоты, — все наши помыслы отданы только императору. Но

не теперешнему. Или, вернее, они были бы обращены и к теперешнему, если бы мы его видели или узнали о нем что-нибудь определенное. Правда, только он и вызывал в нас любопытство — мы всегда стремились узнать хоть что-то на его счет, но, как ни странно, узнать ничего не удавалось ни от паломника, который побывал во многих областях страны, ни в ближних, ни в дальних деревнях, ни от матросов, плавающих ведь не только по нашим речушкам, но и по большим священным рекам. Слухов ходило множество, однако ничего достоверного из них почерпнуть мы не могли.

Так обширна наша страна, что никакой сказке не охватить ее, едва удастся небу дотянуться от края до края, и Пекин на ней — только точка, а дворец императора — только точка. Но император как понятие, конечно, огромен, он высится сквозь все этажи вселенной. А живой император — такой же человек, как мы, подобно нам, лежит он на ложе, и хоть оно тщательно измерено, но все же относительно весьма узкое и короткое. Как и мы, он порой потягивается я, если очень устал, зевает тонко очерченным ртом. А как можем мы об этом узнать, мы, живущие за тысячи миль к югу, почти у границы Тибетского высокогорья? Да и кроме того, всякая весть если бы и дошла до нас, то слишком поздно и давно устарела бы. Вокруг императора теснится толпа блистательных и все же сомнительных придворных — злоба и вражда, переодетые слугами и друзьями, — это противовес императорской власти, они всегда стремятся своими ядовитыми стрелами сбить императора с чаши весов. Императорская власть как понятие бессмертна, но отдельных императоров свергают с престола, даже целые династии в конце концов сходят на нет и, вдруг захрипев, испускают дух. Об этой борьбе и страданиях народ никогда не узнаёт своевременно, как чужаки, как пришедшие слишком позд-

но, стоят простые люди в конце битком набитых улочек, спокойно жуя захваченные с собой припасы, а далеко впереди, по середине рыночной площади совершается казнь их владыки.

Существует предание, в котором неведение народа очень хорошо отражено. Тебе, говорится в нем, жалкому подданному, крошечной тени, бежавшей от солнечного блеска императора в самую далекую даль, именно тебе император послал со своего смертного ложа некую весть. Он приказал вестнику опуститься на колени возле своего ложа и шепотом сообщил ему весть. И так как императору очень важно было, чтобы она дошла по назначению, он заставил вестника повторить эту весть ему на ухо. Кивком подтвердил император правильность сказанного. И при всех свидетелях его кончины, — мешающие стены были снесены, и на широких, уходящих ввысь лестницах выстроилась кругом вся знать государства, — при всех них император отправляет своего вестника. Вестник тотчас пускается в путь: это сильный, неутомимый человек; действуя то одной рукой, то другой, прокладывает он себе путь среди собравшихся; а если ему сопротивляются, он указывает себе на грудь, на которой знак солнца; и он легко, как никто другой, продвигается вперед. Но толпа так огромна, ее обиталищам не видно конца. Если бы перед ним открылось широкое поле, как он помчался бы, и ты, наверно, вскоре услышал бы торжественные удары его кулаков в твою дверь. Но вместо этого он бесплодно растрчивает свои усилия; он все еще проталкивается через покои во внутренней части дворца; никогда он их не одолеет; и если бы даже это ему удалось, он ничего бы не достиг; ведь ему пришлось бы пробираться вниз по лестницам, а если бы и это удалось, он все равно ничего бы не достиг; потом надо же было пройти дворы; а после дворов — второй, наружный дворец; и снова лестницы и

двери; я еще один дворец: и так в течение тысячелетий; а если бы он наконец вырвался из самых последних ворот — хотя этого никогда, никогда не случится, — прежде всего перед ним окажется резиденция, центр мира, переполненная доверху осевшими в ней людьми; никто через нее не пройдет, даже несущий весть от усопшего. Ты же, сидя у своего окна, воображаешь себе эту весть, когда приходит вечер.

Именно с такой вот безнадежностью и надеждой взирает наш народ на императора. Он не знает, какой император правит, и даже относительно имени династии возникают сомнения. В школе его учат всему по порядку, но всеобщая неуверенность столь велика, что даже лучший ученик попадает под ее влияние. Давно умершие императоры возводятся нашей деревней на престол, и тот, кто жив уже только в песне, совсем недавно выпустил обращение, и священник читал его с кафедры. Сражения нашей древнейшей истории гремят лишь сейчас, и сосед с пылающими щеками врывается к тебе в дом с этим известием. Императорские жены, раскормленные на шелках своих подушек, отученные хитрыми придворными от благородной нравственности, раздувшись от жажды власти, вздрагивая от алчности, распростерты в сладострастии, совершают все вновь и вновь свои злодеяния. Чем больше времени прошло с тех пор, тем грознее пылают краски, и громким и горестным воплем встречает деревня однажды весть о том, как одна императрица тысячелетия назад пила большими глотками кровь своего мужа.

Так относится народ к давно умершим властителям, а живых смешивает с мертвыми. И если один-единственный раз в жизни целого поколения какой-нибудь заезжий императорский чиновник, инспектируя провинцию, попадет случайно в нашу деревню, предъявит от имени правящего императора какие-нибудь требования, он про-

веряет описок налогов, присутствует на уроке в школе, расспрашивает священника о нашем житье-бытье и, перед тем как сесть в паланкин, вложит все это в длинные задания, с которыми обратится к согнанной сельской общине, то по всем лицам заскользит улыбка, люди будут тайком переглядываться и наклоняться к детям, чтобы чиновник не видел их лиц. Как же так, будут дивиться люди, он говорит о мертвом, словно о живом, а ведь этот император давным-давно умер и династия угасла, — господин чиновник смеется над нами, но мы делаем вид, будто ничего не замечаем, чтобы не обидеть его. На самом же деле мы будем послушны только нашему теперешнему повелителю, ибо все остальное было бы грехом. И позади спешащего прочь паланкина с чиновником как будто встает какой-то самовольно поднятый из гробовой урны и полуразложившийся мертвец и властно топает ногой, словно он повелитель деревни.

Как правило, так же мало затрагивают людей у нас всякие государственные перевороты и современные войны. Мне вспоминается по этому поводу один случай из моей юности. В соседней, но все же очень отдаленной от нас провинции вспыхнуло восстание. Причин я уже не помню, да и не в них дело. Народ там беспокойный, и что ни день, то появляются поводы для восстания. И вот однажды какой-то нищий, проходивший через ту провинцию, принес в дом моего отца листовку мятежников. Был как раз праздник, комнаты были полны народа, на почетном месте сидел священник и изучал листовку. Вдруг все начали хохотать, листовку в толчее разорвали, ничего, которому, правда, уже всего надарили, вытолкали взащей из комнаты, все собравшиеся выбежали на улицу. Почему? Дело в том, что диалект соседней провинции существенно отличается от нашего, это сказывается и в известных формах письменности, которые нам кажутся старинными. Ед-

ва священник успел прочесть две страницы листовки, как вопрос был решен. Старые дела, давно слыхали, давно переболели. И хотя от нищего — как мне представляется, когда я вспоминаю этот случай, — явно веяло жестокостью теперешней жизни, люди, смеясь, покачали головами и больше ничего не желали слушать. Так у нас всегда готовы заглушить голоса современности.

Если бы из таких явлений мы сделали вывод, что в сущности у нас никакого императора нет, мы были бы не столь далеки от истины. И я повторяю все вновь и вновь: может быть, нет более верного императору народа, чем наши южане, но верность эта ему не на пользу. Правда, на маленькой колонне у входа в деревню стоит священный дракон и с незапамятных времен почтительно посылает свое огненное дыхание точно в сторону Пекина, но сам Пекин людям в деревне более чужд, чем потусторонняя жизнь. Неужели существует такая деревня, где дома построены вплотную друг к другу, покрывая поля, и она тянется дальше, чем хватает взгляд с нашего холма, а среди этих домов днем и ночью стоят люди сплошными шеренгами? Нам труднее представить себе такой город, чем поверить, будто Пекин и его император составляют нечто единое, вроде облака, которое с течением времени спокойно меняется в солнечных лучах.

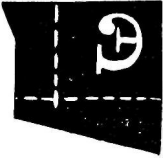
Следствием подобных мыслей является до известной степени свободная, никому не подвластная жизнь. Она отнюдь не безнравственная — такой чистоты нравов, как в моем родном краю, я, пожалуй, нигде не видел, сколько ни ездил по свету. Все же это такая жизнь, которая не подчинена никакому современному закону, а следует только предписаниям и предостережениям, дошедшим до нас из глубокой древности.

Я не решусь делать обобщения и не буду утверждать, что так же обстоит дело во всех десяти тысячах деревень



нашей провинции, а тем более во всех пятистах провинциях Китая. И все-таки я могу утверждать на основании множества прочитанных мною трудов, а также моих собственных наблюдений — особенно при строительстве стены, когда человеческий материал давал чуткому исследователю возможность как бы читать в душах всех провинций, — на основании всего этого я могу почти с уверенностью утверждать, что образ императора всегда и повсюду выступал передо мной, наделенный теми же основными чертами, как и в моих родных местах. Этому пониманию я вовсе не хочу придавать характер какой-то добродетели, напротив. И тут повинно главным образом правительство древнейшего государства в мире, которое до сих пор не оказалось способным или среди других дел не удосужилось придать понятию императорской власти такую ясность, чтобы она действовала непосредственно и непрестанно до самых дальних границ страны. С другой стороны, в этом сказывается и недостаточная сила воображения или веры у народа, которому никак не удастся извлечь на свет затерявшийся в Пекине образ императора и во всей его живости и современности прижать к своей верноподданнической груди, которая только и жаждет хоть раз ощутить это прикосновение и в нем раствориться.

Итак, добродетелью подобное понимание назовешь. Тем больше бросается в глаза, что именно эта слабость и служит одним из важнейших средств объединения нашего народа; и если позволить себе еще более смелый вывод, это именно та почва, на которой мы живем. И здесь обосновать упрек этому обстоятельству — значит не только посягнуть на нашу совесть, но — что гораздо важнее — на фундамент всего государства. Поэтому я в исследовании данного вопроса пока дальше не пойду.



то случилось в знойный летний день. По дороге к дому мы с сестрой проходили мимо закрытых ворот. Не знаю, из озорства ли или по рассеянности постучала моя сестра в ворота или не стучала вовсе, а только погрозила кулаком. Дорога сворачивала влево, и в ста шагах начиналась деревня.

Для нас это была совсем незнакомая деревня, но едва мы поравнялись с первым домом, как изо всех дверей высыпали люди и стали кивать нам, не то приветствуя, не то предостерегая нас. Они и сами были напуганы. Они ежились от испуга и показывали пальцами на усадьбу, мимо которой мы прошли, и толковали про стук в ворота. Хозяйева усадьбы подадут на вас жалобу, и сейчас же начнется следствие. Я был совершенно спокоен и всячески успокаивал сестру. Скорее всего, она вовсе и не стучала, а если бы и стукнула разок, так никто никоим способом не может это доказать. Я старался убедить в этом окружающих, они меня слушали, но мнение свое держали при себе. А потом заявили, что не только мою сестру, но и меня, как брата, привлекут к ответу. Я только кивал с улыбкой. Все мы смотрели в сторону усадьбы — так, видя вдалеке клубы дыма, ждешь, когда же пробьется пламя. И правда, вскоре в распахнувшиеся ворота въехали всадники. Облако пыли застлало все, только поблескивали острия длинных копий. Не успел отряд скрыться во дворе усадьбы, как, очевидно, тут же повернул назад и поскакал по направлению к нам. Я старался удалить сестру, чтобы самому уладить дело. Она противилась, не желая оставлять меня одного. Я стал уговаривать ее хотя бы переодеться, чтобы предстать перед важными господами в приличном платье.

Наконец она согласилась и отправилась домой, а до дому еще было далеко. Тут как раз подсакали всадники, и, не сходя с седел, принялись требовать мою сестру. Ее сейчас нет, робко отвечали им, но она придет немного погодя.

Всадники отнеслись к этому довольно равнодушно — им, очевидно, важнее всего было застигнуть меня. Главную роль среди них играли двое — судья, напористый молодой господин, и его тихонький помощник, отзывавшийся на фамилию Асман. Мне предложили войти в крестьянскую горницу. Медленно, покачивая головой и теребя помочи, направился я туда под суровыми взглядами прибывших господ.

Я все еще рассчитывал, что меня, горожанина, с первых же слов выделят из этой крестьянской толпы и отпустят даже с почетом. Но судья вскочил в горницу раньше моего, и не успел я переступить порог, как он встретил меня словами: «Вот кого мне жаль». При этом он явно подразумевал не нынешнее мое положение, а то, что меня ожидает. Комната скорее походила на тюремную камеру, чем на крестьянскую горницу. Пол выложен каменными плитами, стены темные и сплошь голые, только кое-где вделаны железные кольца; посередине — нечто среднее между нарами и операционным столом.

Вдохну ли я когда-нибудь иной воздух, кроме тюремного?

Вот основной вопрос, который встает передо мной, вернее, встал бы, если бы у меня была малейшая надежда на освобождение.



меня есть необыкновенный зверек — полукошечка, полуягненок. Он достался мне после отца в числе прочего наследства. Но окончательно развился уже у меня, раньше он был больше ягненок, чем кошечкой. Теперь у него от того и от другого почти поровну. От кошки — морда и когти, от ягненка — размер и строение тела; от обоих — глаза, они сверкают диким блеском; а также шерстка — она у него мягкая и совсем гладкая; движения — он и скачет и крадется. Когда светит солнце, он свернется клубком на подоконнике и мурлычет, а на лужке носится как бешеный, так что его и не поймаешь. От кошки он убегает, на ягненка кидается. В лунные ночи кровельный желоб — излюбленное место его прогулок. Мяукать он не умеет, к мышам у него отвращение. Он может часами подстергать добычу у курятника, но на убийство не соблазнился ни разу.

Я пою его подслащенным молоком, и это для него лучшая пища. Жадно сосет он молочко сквозь клыки хищного зверя.

Понятно, какая это забава для детишек. В воскресное утро у нас приемные часы. Я сажаю зверька к себе на колени, и меня обступает детвора со всей округи. На меня сыплются самые невероятные вопросы, на которые никто не в силах ответить: откуда взялся такой зверек, отчего он очутился у меня, были ли раньше такие зверьки и как же будет, когда он умрет, скучно ли ему одному, почему у него нет детенышей, как его зовут — и все в таком роде.

Я не считаю нужным отвечать, а попросту, без лишних объяснений показываю то, что есть. Иногда ребята при-

носят с собой кошек, один раз притащили даже двух ягнят, но им пришлось разочароваться — никаких родственных чувств обнаружено не было.

Зверьки спокойно оглядели друг друга — звериный их взгляд сказал, что каждый мирится с существованием другого, как с волей providения.

У меня на коленях зверек не проявляет ни страха, ни кровожадности — прижмется ко мне и блаженствует. Он по-семейному привязан к тем, кто его вырастил. Но это вовсе не какая-то особенная преданность, а попросту верное чутье животного, у которого по белу свету рассеяно бесчисленное множество свойственников, но настоящей кровной родни, должно быть, нет вовсе, и потому мы для него — священный оплот. Мне даже смешно становится, когда мой зверек начинает меня обнюхивать, вьется вокруг ног и боится хоть на миг расстаться со мной. Видно, ему мало быть ягненком и кошкой — ему хочется стать еще и собакой.

Однажды у меня выдался такой день, какие бывают у всякого, когда все в делах ползет по швам, и не видно выхода, и хочется на все махнуть рукой, я вот, полулежа в таком расположении духа у себя в качалке и держа зверька на руках, я невзначай опустил глаза и увидел, что с его косматой мордочки каплют слезы. Чьи слезы — мои или его? Неужто же эта кошка с овечьей душой наделена вдобавок человеческим честолюбием? Немного унаследовал я от отца, но этот зверек дорогого стоит.

В нем слита неумемная природа кошки и ягненка, как ни различны они между собой. Потому-то ему и тесно в его шуре. Случается, вскочит мой зверек на соседнее кресло, упрется передними лапами в мое плечо, а носом тычется мне в ухо. Кажется, будто он что-то шепчет мне; и в самом деле, он тут же нагнется и заглянет мне в лицо, словно хочет проверить, как на меня подействовало его сообщ-

шение. Ему в угоду я киваю с понимающим видом. Тогда он спрыгивает на пол и скачет вокруг меня.

Возможно, что нож мясника был бы для такого выродка извоблением. Но он — моя наследная доля, и я на эту жертву не пойду. Пусть дожидается, пока сам не испустит дух, хотя порой он и смотрит на меня разумным человеческим взглядом, призывающим поступить так, как велит мне разум.

### ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАССАЖИРЫ



Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудищ да еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную игру, точно в калейдоскопе.

«Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» — не спрашивают в этих местах.

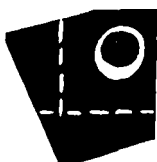
### ПРАВДА О САНЧО ПАНСЕ



Внимая его в вечерние и ночные часы романами о рыцарях и разбойниках, Санчо Панса, хоть он никогда этим не хвастался, умудрился с годами настолько отвлечь от себя своего беса, которого он позднее назвал Дон Кихотом, что тот стал совер-

шать один за другим безумнейшие поступки, каковые, однако, благодаря отсутствию облюбленного объекта — а им-то как раз и должен был стать Санчо Панса — никому не причиняли вреда. Человек свободный, Санчо Панса, по-видимому, из какого-то чувства ответственности хладнокровно сопровождал Дон Кихота в его странствиях, до конца его дней находя в этом увлекательное и полезное занятие.

## ПРОМЕТЕЙ



Прометее существует четыре предания. По первому, он предал богов людям и был за это прикован к скале на Кавказе, а орлы, которых посылали боги, пожирали его печень по мере того, как она росла.

По второму, истерзанный Прометей, спасаясь от орлов, все глубже втискивался в скалу, покуда не слился с ней вовсе.

По третьему, прошли тысячи лет, и об его измене забыли — боги забыли, орлы забыли, забыл он сам.

По четвертому, все устали от такой беспричинности. Боги устали, устали орлы, устало закрылась рана.

Остались необъяснимые скалы... Предание пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду, предание поневоле возвращается к необъяснимому.



осейдон сидел за рабочим столом и подсчитывал. Управление всеми водами стоило бесконечных трудов. Он мог бы иметь сколько угодно вспомогательной рабочей силы, у него и было множество сотрудников, но, полагая, что его место очень ответственное, он сам вторично проверял все расчеты, и тут сотрудники мало чем могли ему помочь.

Нельзя сказать, чтобы работа доставляла ему радость, он выполнял ее, по правде говоря, только потому, что она была возложена на него, и, нужно признаться, частенько старался получить, как он выражался, более веселую должность; но всякий раз, когда ему предлагали другую, оказывалось, что именно теперешнее место ему подходит больше всего. Да и очень трудно было подыскать что-нибудь другое, нельзя же прикрепить его к одному определенному морю; помимо того, счетная работа была бы здесь не меньше, а только мизернее, да и к тому же великий Посейдон мог занимать лишь руководящий пост. А если ему предлагали место не в воде, то от одной мысли об этом его начинало тошнить, божественное дыхание становилось неровным, бронзовая грудная клетка порывисто вздымалась. Впрочем, к его недугам относились не очень серьезно; когда вас изводит сильный мира сего, нужно даже в самом безнадежном случае притвориться, будто уступаешь ему; разумеется, о действительном снятии Посейдона с его поста никто и не помышлял, спокон веков его предназначили быть богом морей, и тут уже ничего не поделаешь.

Больше всего он сердился — и в этом крылась главная причина его недовольства своей должностью, — когда слышал, каким его себе представляют люди: будто он непрерывно разъезжает со своим трезубцем между морскими валами. А на самом деле он сидит здесь, в глубине миро-



вого океана, и занимается расчетами; время от времени он ездит в гости к Юпитеру, и это — единственное развлечение в его однообразной жизни, хотя чаще всего он возвращается из таких поездок взбешенный. Таким образом, он морей почти не видел, разве только во время поспешного восхождения на Олимп, и никогда по-настоящему не разъезжал по ним. Обычно он заявляет, что подождет с этим до конца света; тогда, вероятно, найдется спокойная минутка, и уже перед самым-самым концом, после проверки последнего расчета, можно будет быстренько проехаться вокруг света.

## НОЧЬЮ



огрузиться в ночь, как порою, опустив голову, погружаешься в мысли, — вот так быть всем существом погруженным в ночь. Вокруг тебя спят люди. Маленькая комедия, невинный самообман, будто они спят в домах, на прочных кроватях, под прочной крышей, вытянувшись или поджав колени на матрацах, под простынями, под одеялами; а на самом деле все они оказались вместе, как были некогда вместе, и потом опять, в пустынной местности, в лагере под открытым небом, неисчислимое множество людей, целая армия, целый народ, — над ними холодное небо, под ними холодная земля, они спят там, где стояли, ничком, положив голову на локоть, спокойно дыша. А ты бодрствуешь, ты один из стражей и, чтобы увидеть другого, размахиваешь горячей головешкой, взятой из кучи хвоста рядом с тобой. Отчего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен.

## ОТКЛОНЁННОЕ ХОДАТАЙСТВО



аш городок лежит не у границы, какое там! До нее так далеко, что, пожалуй, никто из нашего городка там и не был, от границы нас отделяют голые горы, но также и широкие цветущие равнины. Представить себе мысленно хоть часть дороги — и то устанешь, а всю и представить себе нельзя. Встречаются по дороге и большие города, гораздо больше нашего. Можно поставить в ряд десять таких городков, как наш, да в середку втиснуть еще десять таких же городков, и все равно такого огромного и тесного города, как те, не получится. Если не заблудишься по дороге к границе, то уже в этих городах обязательно проплутаешь, а обойти их невозможно, уж очень они велики.

Но еще дальше, чем до границ, если вообще можно сравнивать такие расстояния — это все равно, что сказать о трехсотлетнем старике, что он старше двухсотлетнего, — так вот, еще дальше от нашего городка до столицы. Если время от времени до нас и доходят слухи о пограничных войнах, то из столицы до нас почти ничего не доходит, — я имею в виду нас, простых граждан, потому что у государственных чиновников связь со столицей налажена превосходно: не пройдет и двух-трех месяцев, как они уже обо всем осведомлены, во всяком случае так утверждают они.

Вот и удивительно — и я поражаюсь этому все снова и снова, — как жители нашего городка спокойно подчиняются всем распоряжениям из столицы. За много столетий они не предложили ни одной политической реформы. В столице сменялись царствующие особы, больше того, династии угасали и свержались и начинались новые, в прошлом столетии была даже разорена сама столица и основана другая, далеко от прежней, позже была разорена

и она и восстановлена старая — в нашем городке от этого в сущности ничего не изменилось. Наше чиновничество всегда пребывало на своем посту, крупных чиновников присылали из столицы, средних чиновников — уж во всяком случае из других городов, самых мелких брали из нашей среды, так это всегда было и так это нас удовлетворяло. Высший чиновник у нас — это обер-инспектор по сбору налогов, у него чин полковника, и его даже величают «господин полковник». В настоящее время это старый человек, я знаю его много лет, потому что, когда я был ребенком, он уже был полковником. Вначале он сделал очень быструю карьеру, а затем она как будто затормозилась, но для нашего городка его ранг как раз подходит, чиновнику более высокого ранга жить у нас было бы даже неуместно. Когда я стараюсь мысленно представить себе нашего обер-инспектора, я всегда вижу его на веранде его дома, что на базарной площади, он сидит в кресле, откинувшись на спинку, с трубкой во рту. На крыше над ним развевается государственный флаг, на веранде, такой просторной, что иногда там даже проводятся несложные военные учения, сушится на веревках белье. Его внучата в красивых шелковых платьях играют тут же; вниз, на базарную площадь, их не пускают, с остальными детьми им играть негде, однако базарная площадь их привлекает, они просовывают головки между столбиками перил, и когда дети внизу ссорятся, они сверху тоже принимают участие в ссоре.

Итак, в нашем городе полковник — полновластный правитель. Я думаю, он еще никому не предъявлял документа, подтверждающего его права. Верно, у него такого документа и нет. Возможно, он и в самом деле обер-инспектор. Но разве этого достаточно? Разве это дает ему право распоряжаться во всех областях управления городом? Должность у него для государства очень важная, но для горожан она далеко не самая важная. Я бы даже сказал, что

в нашем городе создается такое впечатление, будто люди говорят: «Ну вот, ты взял у нас все, что мы имели, возьми, пожалуйста, и нас самих в придачу». Дело в том, что он не захватил власть самовольно и он не тиран. Просто так уже издавна повелось, что обер-инспектор по сбору налогов — самый главный чиновник, и наш полковник, равно как и мы, подчиняется этой традиции.

Но хотя он живет среди нас, не чрезмерно выделяясь своим саном, все же он совсем не то, что обыкновенный горожанин. Когда к нему приходит делегация с той или иной просьбой, он возвышается, как стена на краю света. Позади него ничего нет; правда, кажется, будто где-то вдали еще шепчутся какие-то голоса, но, вероятно, это самообман, ведь на нем кончается все, во всяком случае для нас. Надо видеть его во время таких приемов. Ребенком я однажды был там, когда делегация от горожан пришла ходатайствовать о правительственной помощи, так как целиком выгорел самый бедный городской квартал. Мой папаша, кузнец, пользуется у нас большим уважением, он был членом делегации и взял меня с собой. Тут нет ничего особенного, такое зрелище привлекает всех, в толпе даже трудно разобрать, кто, собственно, входит в делегацию; прием большей частью происходит на веранде, поэтому находятся и такие люди, что с базарной площади приставляют к веранде лестницы и, глядя сверху через перила, стараются ничего не упустить. В тот раз около четверти веранды было отведено полковнику, остальную часть занимала толпа. Несколько солдат наблюдали за порядком и, выстроившись полукругом, охраняли полковника. В сущности хватило бы и одного солдата, так велик у нас страх перед ними. Я точно не знаю, откуда они, во всяком случае откуда-то издалека; все они до того похожи, что могли бы даже обойтись без военной формы. Это низкорослые, не сильные, но проворные люди; особенно примечательны

их могучие челюсти, которым форменным образом тесно во рту, и беспокойно мигающие и поблескивающие глазщелочки. Эти их особенности отпугивают, но одновременно и привлекают детей, потому что детям все снова и снова хочется испугаться этих челюстей и этих глаз и в ужасе убежать. Такой ребячий страх не проходит, надо полагать, и у взрослых, во всяком случае он продолжает сказываться. Правда, к этому присоединяется еще одно обстоятельство: солдаты говорят на совершенно непонятном нам языке и никак не могут усвоить наш, отсюда некая их обособленность, недоступность, что, впрочем, соответствует их характеру — такие они молчаливые, строгие и словно окаменелые; они не причиняют никакого зла в собственном смысле этого слова, и все же есть в них что-то почти невыносимо злобное. Вот, например, приходит в лавку солдат, покупает какую-нибудь ерунду и не уходит, стоит, опершись о прилавок, прислушивается к разговорам, вероятно, ничего не понимает, но вид у него такой, будто он понимает, а сам не говорит ни слова, только тупо смотрит на того, кто говорит, потом на тех, кто слушает, и не снимает руки с длинного ножа на поясе. Это отвратительно, пропадает всякая охота разговаривать, лавка пустеет, и только когда она совсем опустеет, солдат уходит. Вот поэтому-то, где только появятся солдаты, наш веселый народ сейчас же замолкает. Так было и в тот раз. Как при всяких торжественных случаях, полковник стоял выпрямившись и держал в обеих вытянутых вперед руках две длинные бамбуковые палки. Это старый обычай, означающий приблизительно следующее: так он опирается на закон и так закон опирается на него. Всякий у нас знает, что ждет его на веранде, и все же снова и снова испытывает трепет; и тогда даже тот, кого уполномочили говорить, никак не мог начать, он уже стоял напротив полковника, но тут мужество его оставило, и он, отнекиваясь и отговариваясь,

попятился и втиснулся обратно в толпу. Другого подходящего человека, который согласился бы выступить, тоже не нашлось — правда, несколько человек вылезлось, но из числа неподходящих, — и все были в большом замешательстве. К нескольким горожанам, известным своим ораторским даром, отрядили послов. В течение всего этого времени полковник стоял, застыв в неподвижности, только при дыхании грудь его заметно вздымалась. И не то чтобы он тяжело дышал, просто он дышал чрезвычайно явственно, вроде того, как дышат лягушки, только у них это всегда так, а для него это было необычно. Я пробрался вслед за взрослыми и долго смотрел на него между двумя солдатами, пока один из них не отпихнул меня коленом. За это время тот, кому с самого начала было поручено говорить, собрался с духом и, крепко держась за двух своих сограждан, начал краткую речь. Умилительно было видеть, как во время этой серьезной речи, живописующей тяжелое бедствие, он непрестанно улыбался униженной улыбкой, напрасно пытаясь вызвать хотя бы намек на ответную улыбку на лице полковника. Под конец он высказал просьбу; мне кажется, он просил только об освобождении от налогов в течение года, но, возможно, также и об отпуске по дешевой цене строевого леса из коронных владений. Затем он низко склонился и замер в почтительной позе, так же как и все остальные, за исключением полковника, солдат и нескольких чиновников на заднем плане. Мне, ребенку, показалось очень забавным, что люди на лестницах, приставленных к перилам веранды, спустились на две три перекладины, чтобы их не было видно во время этой решающей паузы, и с любопытством подглядывали, чуть приподымая иногда головы над уровнем пола веранды. По истечении некоторого времени к полковнику, пребывавшему в неподвижности, если, конечно, не считать вздымающуюся при дыхании грудь, подошел небольшого роста

чиновник; он встал на цыпочки, силясь дотянуться до полковника, тот шепнул ему что-то на ухо, чиновник хлопнул в ладоши, после чего все выпрямились, и он провозгласил:

— Просьба отклонена. Можете идти.

Толпа вздохнула с явным облегчением, все толкались, спеша уйти, сам полковник, можно сказать, снова стал человеком, таким же, как и мы, на него никто не обращал внимания, я увидел только, как он, совершенно обессиленный, уронил на пол бамбуковые палки, затем в полном смысле слова упал на принесенное одним из чиновников кресло и поспешил сунуть в рот трубку.

Этот случай не единственный — так у нас обычно бывает. Правда, время от времени незначительные просьбы удовлетворяются, но тогда всякий раз получается так, будто полковник сделал это на собственный страх и риск, как всемогущее частное лицо, и правительство ни в коем случае не должно об этом знать. Конечно, прямо это не говорится, но это само собой понятно. Ведь в нашем городке око полковника, насколько мы можем судить, — это око правительства, хотя все же тут есть и некое различие, не вполне доступное пониманию.

Но горожане могут быть уверены, что серьезная просьба всегда будет отклонена. Вот то-то и удивительно, что такой отказ нам в некотором роде необходим, и при этом делегации и отказы совсем не простая формальность. Мы снова и снова бодро и совершенно серьезно шагаем туда, а потом оттуда, разумеется, не ободренные и осчастливленные, но в то же время не разочарованные и не усталые. Мне совсем не надо узнавать это от других, я, как и все остальные, чувствую это собственным нутром, и я даже не могу сказать, что мне сколько-нибудь любопытно допытаться, в чем тут дело.

Правда, насколько я могу судить по собственным наблюдениям, существует некая чисто возрастная группа не-

довольных, это молодежь от семнадцати до двадцати лет. То есть совсем еще юнцы, которые даже приблизительно не представляют себе, как далеко может завести самая незначительная идея, тем более революционная. И как раз в их среду и проникает недовольство.

## К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ



аши законы известны не многим, они — тайна маленькой кучки аристократов, которые над нами властвуют. Мы убеждены, что эти старинные законы в точности соблюдаются, но все же чрезвычайно мучительно, когда тобой управляют по законам, которых ты не знаешь. Я имею при этом в виду не различные истолкования и тот ущерб, который наносится людям, когда в истолковании законов участвует не весь народ, а только единицы. Может быть, этот ущерб и не так уж велик. Ведь законы идут из глубокой древности, над их истолкованием люди трудились века, так что само истолкование теперь обрело силу закона, и хотя возможности свободного истолкования еще существуют, они уже стали весьма ограниченными. Нет никаких оснований предполагать, чтобы аристократия в угоду своим интересам допускала истолкования не в нашу пользу — ведь законы и так были с самого начала установлены в пользу аристократии, они на аристократию не распространяются, потому, видимо, и отданы целиком в ее руки. Конечно, в этом есть известная доля мудрости — кто же сомневается в мудрости древних законов? — но для нас в этом есть и мука, что, вероятно, неизбежно.

Да и существование этих мнимых законов — только предположение. Лишь по традиции принято считать, что они существуют и доверены аристократии как тайна, но



это всего-навсего традиционный взгляд, заслуживающий признания в силу своей древности и ничего больше, ибо самый характер этих законов требует, чтобы их возникновение сохранялось в тайне.

Но если мы, в народе, внимательно проследим действия аристократии с древнейших времен, если мы, располагая записями наших предков по этому поводу, добросовестно их продолжим и среди бесчисленных фактов найдем как бы основные линии, позволяющие заключить о тех или иных исторических решениях, и если мы на основе этих тщательнейшим образом отобранных и систематизированных выводов попытаемся что-то установить для настоящего и будущего, то все это окажется весьма шатким, скорее игрою ума, ибо тех законов, которые мы стараемся отгадать, быть может, вовсе и не существует. Есть маленькая партия, которая действительно так думает и пытается доказать, что если закон и существует, то он может гласить лишь одно: все, что делает аристократия, — закон. Эта партия видит только произвольные установления аристократии и отвергает народную традицию, приносящую, по мнению этой партии, лишь ничтожную и случайную пользу, а чаще всего серьезный вред, так как порождает в народе перед лицом грядущих событий ложную, обманчивую и легкомысленную уверенность. Такой вред нельзя отрицать, но подавляющее большинство нашего народа видит его причину в том, что традиция далеко не все охватывает, ее нужно исследовать гораздо глубже и даже содержащийся в ней материал, как бы он ни был огромен, все же слишком недостаточен, и должны еще пройти века, прежде чем она все охватит; унылость этих перспектив озаряется в настоящем лишь верой в такие времена, когда наконец наступит пауза, завершатся следования традиции, все станет ясно и закон будет принадлежать только народу, а аристократия исчезнет. Это го-

ворится не с ненавистью к аристократии, отнюдь нет, и ни с чьей стороны ее нет. Скорее ненавидим мы самих себя за то, что нам еще нельзя доверить закон. Поэтому и упомянутая партия, в известном смысле весьма соблазнительная, не верит, по сути дела, ни в какой закон и осталась такой немногочисленной, ибо она в полной мере признает аристократию и ее право на существование.

Это можно выразить с помощью своеобразного парадокса: если бы какая-нибудь партия вместе с верой в закон вышвырнула и аристократию, на ее стороне оказался бы тотчас весь народ; но такая партия не может возникнуть, ибо никто не дерзает вышвырнуть аристократию. На этом лезвии ножа мы и живем. Один писатель некогда сформулировал это следующим образом: единственный зримый, бесспорный закон, подчиняться которому мы обязаны, — это аристократия, и ради этого единственного закона мы должны утратить самих себя?

## КОРШУН



то был коршун, он долбил мне клювом ноги. Башмаки и чулки он уже изорвал, а теперь клевал голые ноги. Долбил неумоимо, потом несколько раз беспокойно облетал вокруг меня и снова продолжал свою работу. Мимо проходил какой-то господин, он минутку наблюдал, потом спросил, почему я это терплю.

— Я же беззащитен, — отозвался я. — Птица прилетела и начала клевать, я, конечно, старался ее отогнать, пытался даже задушить, но ведь такая тварь очень сильна. Коршун уже хотел наброситься на мое лицо, и я предпочел пожертвовать ногами. Сейчас они почти растерзаны.

— Зачем же вам терпеть эту муку? — сказал господин. — Достаточно одного выстрела — и коршуну конец.

— Только и всего? — спросил я. — Может быть, вы застрелите его?

— Охотно, — ответил господин. — Но мне нужно сходить домой и принести ружье. А вы в состоянии потерпеть еще полчаса?

— Ну, не знаю, — ответил я и постоял несколько мгновений неподвижно, словно оцепенев от боли, потом сказал: — Пожалуйста, сходите. Во всяком случае, надо попытаться...

— Хорошо, — согласился господин, — я потороплюсь.

Во время этого разговора коршун спокойно слушал и смотрел то на меня, то на господина. Тут я увидел, что он все понял; он взлетел, потом резко откинулся назад, чтобы сильнее размахнуться, и, словно метальщик копья, глубоко всадил мне в рот свой клюв. Падая навзничь, я почувствовал, что свободен и что в моей крови, залившей все глубины и затопившей все берега, коршун безвозвратно захлебнулся.

## РУЛЕВОЙ



азве я не рулевой? — воскликнул я.

— Ты? — удивился смуглый рослый человек и провел рукой по глазам, словно желая отогнать какой-то сон.

Я стоял у штурвала, была темная ночь, над моей головой едва светил фонарь, и вот явился этот человек и хотел меня оттолкнуть. И так как я не двинулся с места, он уперся ногою мне в грудь и медленно стал валить меня наземь, а я все еще висел на

спицах штурвала и, падая, дергал его во все стороны. Но тут незнакомец схватился за него, выправил, меня же отпихнул прочь. Однако я быстро опомнился, побежал к люку, который вел в помещение команды, и стал кричать:

— Команда! Товарищи! Скорее сюда! Пришел чужак, отобрал у меня руль!

Медленно стали появляться снизу усталые мощные фигуры; пошатываясь, всходили они по трапу.

— Разве не я здесь рулевой? — спросил я.

Они кивнули, но смотрели только на незнакомца, они выстроились возле него полукругом и, когда он властно сказал: «Не мешайте мне», — собрались кучкой, кивнули мне и снова спустились по лестнице в трюм. Что за народ! Думают они о чем-нибудь или только, бессмысленно шаркая, проходят по земле?

## ВОЛЧОК



Некий философ вечно бродил там, где играли дети. Увидит мальчика с волчком и насторожится. Едва волчок начнет вертеться, как философ преследует его и силится поймать. Ему было все равно, что дети шумели вокруг него и старались не допустить до их игрушки, и если ему удавалось поймать волчок, пока он вертелся, он был счастлив, но лишь одно мгновение, затем бросал его наземь и уходил. Он верил, будто достаточно познать любую малость, следовательно и вертящийся волчок, чтобы познать всеобщее. Поэтому он и не занимался большими проблемами, это казалось ему неэкономным. Если же действительно познать мельчайшую малость, то познаешь все, оттого он и интересовался лишь вертящимся волчком. Когда он видел приго-

товления к запуску волчка, он неизменно начинал надеяться, что теперь-то его наконец ждет удача, а если волчок уже вертелся и он, задыхаясь, бежал за ним, надежда превращалась в уверенность, но когда он наконец держал в руках глупую деревянную вертушку, ему становилось тошно, и крик детей, которого он до сих пор просто не слышал, оглушал его, гнал его прочь, и он уходил, пошатываясь, как волчок от неловких толчков погонялки.

## НОРА



обзавелся норой, и, кажется, получилось удачно. Снаружи видно только большое отверстие, но оно в действительности никуда не ведет: сделаешь несколько шагов — и перед тобой стена из песчаника. Не стану хвалиться, будто я сознательно пошел на эту хитрость; вернее, дыра осталась после многих тщетных попыток подземного строительства, но в конце концов я решил, что выгоднее сохранить одно отверстие незасыпанным. Правда, иная хитрость так тонка, что сама собой рвется, это мне известно лучше, чем кому-либо, а кроме того, разве не дерзость наводить таким способом на мысль, что здесь скрыто нечто, достойное исследования? Но ошибется тот, кто решит, будто я труслив и только из трусости обзавелся этим жильем. Примерно в тысяче шагов от этого отверстия лежит прикрытый слоем мха настоящий вход в подземелье, он защищен так, как только можно защитить что-либо на свете, хотя, конечно, кто-нибудь может случайно наступить на мох и на этом месте провалиться, тогда мое жилье будет обнаружено и тот, кто захочет — правда, тут нужны определенные, довольно редкие способности, — сможет в

него проникнуть и навсегда все погубить. Это я знаю, и даже сейчас, когда моя жизнь достигла своего зенита, у меня не бывает ни одного вполне спокойного часа; там, в этой точке, среди темного мха, я смертен, и в моих снах я частенько вижу, как вокруг нее неустанно что-то вынюхивает чья-то похотливая морда. Я бы мог, скажут мне, засыпать входное отверстие сверху тонким и плотным слоем земли, а затем более рыхлым, чтобы было нетрудно в любую минуту снова раскопать выход. Но это-то и невозможно; именно осторожность требует, чтобы для меня всегда был открыт путь к бегству, и чтобы я рисковал жизнью — а это, увы, бывает очень часто. Для всего здесь нужны очень сложные расчеты, и подчас радости гибкого ума являются единственным побуждением, чтобы продолжать эти расчеты. Я должен иметь возможность немедленно бежать; разве, несмотря на всю мою бдительность, я гарантирован от нападения с совершенно неожиданной стороны? Мирно живу я в самой глубине своего дома, а тем временем противник откуда-нибудь медленно и неслышно роет ход ко мне. Я не хочу сказать, что у него чутье лучше моего; может быть, он так же мало знает обо мне, как и я о нем. Но есть ведь упорные разбойники, они вслепую ворошат землю и, невзирая на огромную протяженность моего жилья, надеются все же где-нибудь натолкнуться на мои пути. Правда, у меня то преимущество, что я — в своем доме и мне точно известны все его ходы и их направления. Разбойник очень легко может стать моей добычей, и притом весьма лакомой. Но я старею, многие противники сильнее меня, а их бесчисленное множество, и может случиться, что я, убегая от одного врага, попаду в лапы к другому. Ах, может случиться все, что угодно! Во всяком случае, я должен быть уверен, что где-то есть легко доступный, совершенно открытый выход и что мне, если я захочу выбраться, совсем не нужно для этого еще

новых усилий, — ведь в ту минуту, когда я буду отчаянно рыть землю, хотя бы и очень рыхлую, я вдруг — боже, упаси меня от этого — могу ощутить, как мой преследователь впивается зубами в мою ляжку. И угрожают мне не только внешние враги. Есть они и в недрах земли. Я их еще никогда не видел, но о них повествуют легенды, и я твердо в них верю. Это существа, живущие внутри земли; но дать их описание не могут даже легенды. Сами жертвы едва могли разглядеть их; только они приблизятся и ты услышишь, как скребутся крепкие когти прямо под тобой в земле, которая является их стихией, и ты уже погиб. Тут уж не спасет то, что ты в своем доме, ведь ты скорее в их доме. От них не спасет и другой выход, хотя он, вероятно, вообще не спасет, а погубит меня, но все-таки в нем моя надежда и без него я не смог бы жить. Кроме этого широкого хода меня связывают с внешним миром еще очень узкие, довольно безопасные ходы, по которым поступает ко мне свежий воздух для дыхания. Их проложили полевые мыши. Я умело связал ходы с моим жильем. Они мне также дают возможность издали почуять врага и таким образом служат защитой. Через них ко мне попадают всякие мелкие твари, которых я пожираю, так что я могу для скромного поддержания жизни заниматься охотой тут же, не покидая своего жилья; это, конечно, очень ценно.

Но самое лучшее в моем доме — тишина. Правда, она обманчива. Она может быть однажды внезапно нарушена, и тогда всему конец. Но пока она еще здесь. Я часами крадусь по моим ходам и не слышу ни звука, только иногда прошуршит мелкий зверек, который сейчас же и затихнет между моими челюстями, или донесется шелест осыпающейся земли, напоминающий мне о необходимости произвести где-то ремонт; но помимо этого — тихо. Веет лесным воздухом, в доме одновременно и тепло и прохлад-

но. Иногда я ложусь на землю и перекатываюсь с боку на бок от удовольствия. Приближается старость, и хорошо иметь такой вот дом, знать, что у тебя есть крыша над головой, когда наступит осень. Через каждые сто метров я расширил ходы и утрамбовал маленькие площадки; там я могу удобно свернуться калачиком, сам себя согреть и отдохнуть. Там я сплю сладко и мирно, потребности мои уже утихли, и цель — иметь свой дом — достигнута. Я не знаю, осталась ли у меня эта привычка от древних времен или опасности даже в этом убежище настолько велики, что они будят меня: через определенные промежутки времени я испуганно вздрагиваю, очнувшись от глубокого сна, и прислушиваюсь, прислушиваюсь к тишине — она царит здесь днем и ночью, она все та же, потом, успокоенный, улыбаюсь и, расслабив напряженные мышцы, отдаюсь еще более глубокому сну. Бедные, лишенные крова странники на шоссе, в лесах, в лучшем случае укрывшиеся в куче листьев или среди товарищей, беззащитные перед всеми угрозами неба и земли! Я лежу здесь, на защищенной отовсюду площадке — больше пятидесяти таких мест есть в моем жилище, — и, выбирая по своей прихоти часы, я то погружаюсь в дремоту, то в глубокий сон.

Не совсем посередине жилья, в строго обдуманном месте на случай крайней опасности — не обязательно преследования, но осады — находится главная площадка. Если все остальное создано скорее напряженной деятельностью ума, чем тела, эта укрепленная площадка — плод тяжелейшей работы моего тела, притом всех его частей. Сколько раз, охваченный отчаянной физической усталостью, хотел я все бросить, валился на спину и, проклиная свое жилье, тащился наружу и оставлял жилье открытым. Я мог это сделать, ибо не намерен был возвращаться в него; но несколько часов или дней спустя я раскаивался, все же возвращался, чуть ли не пел хвалебную песнь не-



тронутости моего убежища и с искренней радостью снова брался за работу. Эту работу на главной площадке еще осложняла ее бесцельность (то есть она не приносила пользы, велась впустую); как раз там, где по плану была задумана эта укрепленная площадка, почва оказалась рыхлой и песчаной, землю приходилось прямо-таки спрессовывать, чтобы создать красиво закругленные стены и свод. Но для выполнения такой работы я мог действовать только собственным лбом. И вот тысячи и тысячи раз подряд, целые дни и ночи, я с разбегу бил лбом в эту землю и был счастлив, когда выступала кровь, ибо это являлось признаком того, что стена начинает отвердевать, и, таким образом, нельзя не согласиться, что я заслужил мою укрепленную площадку.

На эту площадку я собираю свои запасы и складываю здесь все, что после удовлетворения неотложных потребностей остается от пойманного в ходах и переходах и от добычи, принесенной с охоты вне дома. Главная площадка так велика, что даже запасы на полгода не заполняют ее всю. Поэтому я могу их раскладывать, прохаживаться между ними, играть с ними, наслаждаться их обилием и их разнообразными запахами и всегда знать точно, что имеется налицо. Я могу по-новому распределять их и, в зависимости от времени года, заранее составлять свои охотничьи планы. Порой я бываю настолько обеспечен, что из равнодушия к пище даже не трогаю всю ту мелкоту, которая тут шныряет, а это — по другим причинам — может быть, и является неосторожностью. Постоянные занятия подготовкой к обороне приводят к тому, что мои взгляды на использование жилья в этих целях меняются или усложняются, хотя я, разумеется, и ограничен тесными рамками. И тогда мне порой кажется опасным сосредоточение всех мер защиты на укрепленной площадке; ведь разнообразные части моего жилья дают и более раз-

нообразные возможности, и мне представляется, что было бы благоразумнее, отделив часть запасов, разместить их на меньших площадках; поэтому я решаю отвести каждую третью под резервные запасы или каждую четвертую под основные запасы, а каждую вторую под дополнительные и так далее. Или я вообще исключаю с целью маскировки целый ряд ходов из числа хранилищ, или избираю совсем неожиданно очень немного мест, в зависимости от их близости к главному выходу. Каждый такой новый план требует от меня тяжелой работы грузчика, ибо, следуя новым расчетам, мне приходится таскать тяжести туда и сюда. Правда, я могу это делать спокойно, не спеша, и уж не такое плохое занятие — таскать в пасти всякие вкусные вещи, время от времени отдыхать где вздумается и лакомиться тем, чем захочется. Конечно, хуже, когда порой я вдруг испуганно просыпаюсь и мне чудится, что теперешнее распределение никуда не годится, угрожает большими опасностями и, невзирая на усталость и сонливость, необходимо сейчас же выправить положение: и я спешу, и я лечу, у меня нет времени для расчетов; но, пытаюсь осуществить совсем новый, очень точный план, я хватаю в зубы первое, что попадется, ташу, волоку, охаю, вздыхаю, спотыкаюсь, и тогда любое случайное изменение существующего, кажущегося мне сверхопасным размещения запасов уже представляется достаточным. И лишь постепенно, когда я окончательно просыпаюсь и приходит отрезвление, мне становится едва понятной такая спешка, я глубоко вдыхаю покой и мир моего жилища, которые сам нарушил, я возвращаюсь на то место, где обычно сплю, вновь чувствую усталость и тут же засыпаю, а проснувшись, нашу-пываю — как неопровержимое доказательство словно при-снившейся мне ночной работы — застрявшую между зубами крысу. Но потом опять наступают времена, когда соединение всех запасов на одной площадке кажется мне

самым удачным планом. Чем помогут мне запасы на маленьких площадках и много ли можно там положить? Да и сколько бы я туда не перенес, все это будет загораживать дорогу и, может быть, когда-нибудь при обороне и бегстве помешает мне. Кроме того, хотя это и глупо, но, право же, наша уверенность в себе страдает, если мы не видим всех запасов, собранных в одном месте, и не можем одним взглядом определить объем всего, чем владеем. Кроме того, при делении на части разве не может многое пропасть? Я же не в состоянии без конца носиться галопом по моим ходам, идущим вдоль и поперек, чтобы проверить, все ли в порядке.

В основном мысль о разделении запасов верна, если есть несколько мест, подобных моей укрепленной главной площадке. Несколько таких мест! Тогда конечно! Но кому это под силу? Да и в общий план моего жилья их теперь не внесешь. Однако я готов согласиться, что допустил ошибку в плане, ибо всегда возможны ошибки, если какой-нибудь план имеется в единственном экземпляре. И сознаюсь, все время, пока я строил свой дом, где-то во мне жила смутная мысль, но достаточно отчетливая: будь у меня желание все же иметь несколько укрепленных площадок, я бы этому желанию не уступил, я чувствовал себя слишком слабым для такой гигантской работы; да, я чувствовал себя слишком слабым, чтобы осознать до конца необходимость подобной работы, но как-то утешал себя не менее смутным ощущением, что если обычно этих мер защиты было бы недостаточно, то в моем случае, как исключение, вероятно, как милость, потому, что providению особенно важно было сохранить мой лоб, мою трамбовку, сделанного оказалось бы достаточно. И вот у меня есть единственная укрепленная площадка, но неясные ощущения, что одной все же не хватит, исчезли.

Как бы то ни было, я должен довольствоваться ею,

маленькие площадки никак не могут ее заменить, и вот, когда эта уверенность крепнет, я снова начинаю все перетаскивать с маленьких площадок на большую. Пока мне служит известным утешением то обстоятельство, что теперь все площадки и ходы свободны, что на укрепленной площадке громоздятся груды мяса и во все стороны, до самых внешних ходов, разносятся всевозможные запахи, из которых каждый по-своему восхищает меня, причем издали могу определить любой из них. Тогда обычно наступают особенно мирные времена, я постепенно переносу места своих ночлегов все больше внутрь, как бы сужая круг, окунаюсь в запахи все глубже, так что однажды ночью вдруг оказываюсь не в силах переносить их, бросаюсь на укрепленную площадку, решительно расправляюсь с запасами, наедаясь до одурения самым лучшим, тем, что я больше всего люблю. Счастливые, но опасные времена; тот, кто решил бы воспользоваться ими, мог бы легко и не подвергая себя опасности погубить меня. И здесь снова сказывается отсутствие второй или третьей укрепленной площадки, ибо соблазняет меня именно огромное и единственное скопление пищи. Я пытаюсь всякими способами защититься от этого соблазна, ведь распределение запасов по маленьким площадкам — это мера подобного же рода; к сожалению, она, как и другие меры, ведет от воздержания к еще большей жадности, которая потом заглушает рассудок и своевольно изменяет планы обороны в угоду целям насыщения.

После таких периодов я обычно, чтобы овладеть собой, ревизую свой дом и, сделав необходимый ремонт, очень часто, хоть и ненадолго, покидаю его. Быть надолго лишненным моего убежища кажется мне слишком суровым наказанием, но необходимости небольших экскурсий я не могу не признавать. И всякий раз, приближаясь к выходу, я ощущаю некоторую торжественность. В периоды моей

жизни дома я обхожу этот выход, избегаю даже вступать в последние разветвления ведущего к нему хода; да и не так легко там разгуливать, ибо я проложил там целую систему маленьких извилистых ходов; отсюда я начал строить свое жилье, я тогда еще не смел надеяться, что смогу сделать его таким, каким оно было намечено в плане, я начал, почти играя, с этого уголка, и впервые бурная радость труда вылилась в создание лабиринта, казавшегося мне в то время венцом строительного искусства, а теперь я, вероятно, справедливо оценил бы его как ничтожную, недостойную целого стряпню, хотя теоретически она, может быть, восхитительна: вот здесь вход в мой дом, иронически заявлял я тогда незримым врагам и уже видел, как все они задыхаются в этом лабиринте; на самом же деле это слишком тонкостенная игрушка, которая едва ли устоит перед серьезным нападением или натиском отчаянно борющегося за жизнь противника. Нужно ли перестраивать эту часть? Я все откладываю решение, и, вероятно, она останется как есть. Помимо огромной работы, которую мне пришлось бы выполнить, она была бы и невообразимо опасной. Когда я начал, я мог работать сравнительно спокойно, риск был не больше, чем где-либо в другом месте, но теперь это значило бы привлечь почти преднамеренно всеобщее внимание к моему жилищу, и, значит, такая перестройка уже невозможна. Меня почти радует, что я отношусь столь бережно к своему первенцу. А если начнется серьезное нападение, то какое особое устройство входа может меня спасти? Вход может обмануть, увести нападающего в другую сторону, измотать его, а для этих целей, на худой конец, пригодится и теперешний. Но настоящему, серьезному нападению я должен противопоставить все оборонные качества моего жилья, все силы души и тела, что само собой понятно. Так пусть останется и вход. У моего жилья так много навязанных ему природой

недостатков — пусть же останется и этот недостаток, созданный моими руками, хоть я и осознал его гораздо позднее, зато совершенно ясно. Однако я не хочу сказать, что этот промах не мучит меня время от времени, а может быть, и постоянно. И если я при своих обычных прогулках обхожу эту часть моего жилья, то главным образом потому, что вид ее мне неприятен, что не всегда хочется созерцать одну из погрешностей моего жилья, ибо эта погрешность и так уж чересчур тревожит мой ум. Пусть ошибка, допущенная там, наверху, у входа, неисправима, но я, пока возможно, хочу избегать ее лицезрения. Достаточно мне направиться в сторону выхода, и хотя меня еще отделяют от него множество ходов и площадок, мне уже кажется, будто я попал в атмосферу большой опасности, будто моя шкурка утончается и я скоро лишусь ее, окажусь голым и в это мгновение услышу торжествующий вой моих врагов. Разумеется, выходное отверстие вызывает такие мысли само по себе, ибо перестаешь себя чувствовать под защитой домашнего крова; но особенно меня мучает несовершенство входа. И порой мне снится, будто я его переделал, совершенно изменил, быстро, с помощью каких-то гигантских сил, ночью, никем не замеченный, и теперь он неприступен; сон, во время которого мне это грезится, — самый сладкий, и когда я просыпаюсь, на моих усах еще блестят слезы радости.

Итак, муку лабиринта мне приходится преодолевать даже физически, когда я выхожу, и меня одновременно и сердит и трогает, что я иногда запутываюсь в собственном сооружении и оно как будто все еще силится доказать мне свое право на существование, хотя мой приговор давно уже вынесен. А потом я оказываюсь под покровом из мха, иногда я даю ему снова срастись с окружающей лесной почвой, и, пока этого не произойдет, не выхожу из жилья, а тогда достаточно легкого движения головой — и я на

чужбине. На этот маленький рывок я долго не отваживаюсь, и если бы мне не надо было снова преодолевать лабиринт входа, я бы сегодня же отказался от выхода и вернулся бы домой. Ну и что же? Твой дом защищен, замкнут в себе. Ты живешь мирно, в тепле, в сытости, ты хозяин, единственный хозяин множества ходов и площадок, и всем этим ты, надеюсь, не намерен пожертвовать, но все же от чего-то надо будет отказаться; правда, ты уповаешь, что снова вернешь утраченное, и все-таки отваживаешься на высокую, слишком высокую ставку. Есть ли для этого разумные основания? Нет, для такого рода вещей не бывает разумных оснований. И вот я осторожно приподнимаю откидную дверь — и я уже под открытым небом, я бережно спускаю ее и со всей быстротой, на какую способен, спешу прочь от предательского места.

Но все же я не на воле; правда, я уже не протискаюсь через свои ходы, а свободно охочусь в лесу, чувствую в теле прилив новых сил, для которых в моем жилище, так сказать, нет места — даже на укрепленной площадке, будь она хоть в десять раз больше. И пища в лесу лучше; правда, охотиться труднее, успех бывает реже, но результаты во всех отношениях важнее, всего этого я не отрицаю, умею их оценить и ими насладиться не хуже всякого другого и, вероятно, даже гораздо лучше, ведь я не охочусь, словно какой-нибудь бродяга, от легкомыслия или отчаяния, а целеустремленно и спокойно. Да я и не предназначен для свободной жизни и не отдан ей во власть, ибо я знаю, что время мое отмерено, я не буду безгранично разгуливать здесь по земле, а когда я захочу и устану от жизни, меня в известном смысле как бы призывает к себе некто, чьему зову я не буду в силах противиться. Поэтому я могу насладиться этим временем полностью и провести его беззаботно, вернее — мог бы и все-

таки не могу. Мои мысли чересчур заняты моим жильем. Вот я быстро отбежал от входа, но скоро возвращаюсь. Отыскиваю хорошо укрытое местечко и подсматриваю за входом в мой дом — теперь уже снаружи — дни и ночи напролет. Пусть назовут это безрассудным, но это доставляет мне невыразимую радость, успокаивает. У меня возникает тогда такое чувство, словно я стою не перед своим домом, а перед самим собой, словно я сплю и мне удается, будучи погруженным в глубокий сон, одновременно бодрствовать и пристально наблюдать за собой. Я в известном смысле как бы предназначен к тому, чтобы видеть призраки ночи не только в беспомощном простодушии сна, а одновременно встречаться с ними реально, вполне бодрствующим и владеющим спокойной способностью суждений. И я нахожу, что, как это ни странно, мое состояние не так уж плохо, как мне частенько казалось и, вероятно, снова будет казаться, когда я спущусь в свое жилище. В этом отношении — хотя, должно быть, и во многих других — мои экскурсии совершенно необходимы. Конечно, как ни тщательно я выбирал место для жилья подалеже от движения, это движение, если обобщить наблюдения целой недели, все же очень велико, но, может быть, оно такое же во всех населенных местностях, и, может быть, даже лучше иметь дело с большим движением, которое вследствие своей силы само себя мчит дальше, чем жить среди полного уединения и оказаться с глазу на глаз с первым попавшимся, обстоятельно все обнюхивающим пронирой. Здесь есть множество врагов и еще больше их сообщников, но они борются друг с другом и, занятые этим, проносятся мимо моей норы. За все это время я ни разу не видел у самого входа никого, кто бы что-то выслеживал, не видел — к моему и его счастью, ибо я, обезумев от страха за свое жилище, вцепился бы ему в горло. Правда, появлялся и такой народ, в чьем соседстве я не решил-



ся бы находиться, и едва я еще издали замечал, что кто-то из них приближается, я вынужден был бежать — ведь об их отношении к моему жилищу я ничего не мог бы сказать с уверенностью; но меня успокаивало то, что я скоро возвращался и никого из них уже не видел, а вход оставался явно нетронутым. Выпадали счастливые дни, когда я был готов сказать себе, что враждебность мира ко мне, может быть, кончилась или утихла или что мощь моего жилища вынесет меня из той войны на уничтожение, которая велась до сих пор. Это жилище защищает меня, быть может, лучше, чем я мог предполагать или надеяться, находясь внутри его. Дело дошло до того, что у меня иногда возникало ребяческое желание никогда больше не возвращаться в нору, а поселиться здесь, вблизи входа, провести остаток жизни, созерцая этот вход, и постоянно напоминать себе — испытывая при этом счастье, — насколько надежно мое жилье и что если бы я укрылся в нем, как хорошо оно защитило бы меня от всякой опасности. Что ж, от детских снов мы пробуждаемся, испуганно вздрагивая. Какова же эта хваленая защищенность? И разве могу я судить об угрожающих мне в доме опасностях по тем наблюдениям, какие делаю здесь, снаружи? И разве моих врагов может вести верный нюх, когда меня дома нет? Кое-что они чувят, но лишь немного. А если чувствуешь все, то не является ли это очень часто предпосылкой реальной опасности? Итак, то, что я здесь придумываю, лишь убогие и тщетные попытки самоуспокоения, и это обманчивое самоуспокоение может навлечь на меня гораздо более грозную опасность. Нет, не я наблюдаю, как думал, свой сон, скорее я сам сплю, а это бодрствует мой погубитель. Может быть, он среди тех, кто не спеша проходит мимо моего жилища и только каждый раз проверяет, как и я, в сохранности ли дверь и ждет ли она их нападения, а идут они мимо лишь потому, что, как им из-

вестно, хозяина дома нет или даже что он простодушно притаился рядом в кустах. И тогда я покидаю свой наблюдательный пост, я сыт жизнью на воле, мне кажется, я уже ничему не могу здесь научиться ни теперь, ни после. И мне хочется распрощаться со всем, что вокруг меня, спуститься в мое подземелье и уже никогда не выходить оттуда, предоставить событиям идти своим путем и не задерживать их бесполезными наблюдениями. Но мне, избалованному тем, что я так долго видел все совершавшееся над моим входом, мне теперь крайне мучительно выполнять процедуру, связанную со спуском в подземелье, ибо она уже сама по себе должна привлечь внимание и мне тяжело не знать, что будет происходить за моей спиной, а потом и над опущенной дверью входа. Я пробую в бурные ночи быстро сбрасывать вниз добычу, и это как будто удается, но действительно ли оно удалось — станет ясно, только когда я опущусь сам, вот тогда оно станет ясно, но уже не мне, а если и мне, то слишком поздно. Поэтому я решаю воздержаться и не спускаюсь. Я рою — разумеется, в достаточном отдалении от настоящего входа — временный ров, он не длиннее меня самого и тоже замаскирован покровом мха. Я заползаю в ров, прикрываюсь мхом, терпеливо жду, иногда произвожу свои расчеты быстрее, иногда медленнее — в разные часы дня, затем сбрасываю мох, вылезая и регистрирую свои наблюдения. Я накапливаю самый разнообразный жизненный опыт — положительный и отрицательный, но ни каких-либо общих правил для спуска, ни безошибочного метода мне найти не удалось. В результате я еще ни разу не спустился по настоящему входу, и я впадаю в отчаяние, что скоро это все-таки придется сделать. Я недалеко от решения уйти отсюда, продолжать прежнюю безотрадную жизнь, в которой не было никакой защищенности, а лишь сплошная неразличимая масса опасностей и, возможно, от-

дельная опасность была не столь заметна и не столь страшна, как учит меня сравнение между моим надежным жильем и остальной действительностью. Конечно, такое решение, вызванное только слишком долгим пребыванием на бессмысленной свободе, было бы отчаянной глупостью; жилью еще принадлежит мне, достаточно сделать шаг — и я в безопасности. И я вырываюсь из тисков всех сомнений и среди бела дня бегу прямо к двери, чтобы уже наверняка поднять ее, но я уже не могу этого сделать, я миную ее и нарочно кидаюсь в заросли терновника, желая наказать себя, наказать за вину, которой не ведаю. И тогда я в конце концов вынужден признать, что все-таки был прав и что спуститься на самом деле невозможно, иначе я хотя бы на несколько мгновений отдам самое дорогое, что у меня есть, во власть всех, кто находится вокруг меня — на земле, на деревьях, в воздухе. И опасность эта вовсе не воображаемая, а очень реальная. Ведь тот, у кого возникнет охота последовать за мной, может вовсе и не быть настоящим врагом, это может быть любой простачок, любая противная маленькая тварь, которая пойдет за мной из любопытства, а потом, сама того не ведая, станет предводительницей всего мира, восставшего против меня; и даже такой тварью она может не быть; возможно — и это несколько не лучше первого, во многих отношениях это даже самое худшее, — возможно, что врагом окажется кто-нибудь из моей же породы, знаток и ценитель вырытых нор, один из лесных братьев, любитель тишины, но ужасный негодяй, который хочет получить жилище, не трудясь. И если бы он сейчас явился, если бы он с помощью своего низкого вождения обнаружил вход, если бы он начал поднимать мох, если бы это ему удалось, если бы только он протиснулся внутрь вместо меня и ушел бы настолько далеко вперед, что его зад только мелькнул бы передо мной, — если бы все это случилось, я бы нако-

нец, разъяренный, забыв обо всех колебаниях, бросился на него и загрыз, растерзал, разорвал, выпил его кровь, а труп сунул бы ж остальной добыче, но прежде всего — и это главное — я очутился бы опять в моем убежище и теперь даже стал бы восхищаться лабиринтом, и прежде всего мне захотелось бы натянуть над собой покров из мха и отдыхать, как мне кажется, весь остаток моей жизни. Но никого нет, и я остаюсь наедине с самим собой. Так как я непрерывно занят трудностями этого предприятия, значительная часть моей боязливости все-таки исчезла, я теперь и фактически не избегаю входа — кружить возле него становится моим любимым занятием, может даже показаться, что я сам — враг и выслеживаю подходящую минуту, чтобы успешно вломиться в подземелье. Будь у меня хоть кто-нибудь, кому я мог бы доверять, кого мог бы поставить на свой наблюдательный пост, тогда я спокойно сошел бы вниз! Я бы условился с ним, с тем, кому я доверял бы, чтобы он внимательно наблюдал за ситуацией при моем спуске и долгое время после него, а в случае каких-либо признаков опасности постучал бы в покров из мха, но только в этом случае. Так надо мной все было бы завершено, ничего бы не осталось, самое большое — доверенное лицо. А разве он не потребует ответной услуги? Не захочет по крайней мере осмотреть мое жилье? Одно это — добровольный допуск кого-то в мой дом — было бы для меня крайне тягостно. Я построил его для себя, не для гостей, и думаю — я не впустил бы это доверенное лицо, даже если бы благодаря ему получил возможность вернуться к себе, даже этой ценой не впустил бы. Да я бы и не мог впустить его, ведь тогда пришлось бы ему или войти одному (а это невозможно себе представить), или мы должны были бы войти вместе, и тогда я лишился бы главного преимущества, вытекающего из его присутствия, а именно тех наблюдений, кото-

рыми он должен был бы заняться после моего ухода. Да и как доверять? Разве можно тому, кому я доверяю, глядя в глаза, доверять так же, когда я его уже не вижу и мы разделены покровом из мха? Относительно легко доверять кому-нибудь, если за ним следишь или хотя бы имеешь возможность следить; можно даже доверять издали; но из подземелья, следовательно из другого мира, доверять в полной мере кому-либо, находящемуся вне его, мне кажется, невозможно. Впрочем, все эти сомнения не нужны, достаточно понять, что во время или после моего спуска бесчисленные случайности жизни могут помешать моему доверенному лицу выполнить свои обязанности, а мне малейшая помеха в его наблюдениях грозит невообразимыми бедами. Нет, если все это представить себе, то нечего жаловаться, что я один и мне некому доверять. От этого я не лишусь ни одного из своих преимуществ, а ущерба, наверно, избегну. И доверять я могу только себе и своему жилью. Мне следовало об этом подумать раньше и на случай вроде теперешнего, который меня так тревожит, принять соответствующие меры. В начале строительства моего жилья я мог бы хоть отчасти это сделать. Следовало так проложить первый ход, чтобы на достаточном расстоянии друг от друга в моем распоряжении имелись два входа, так что я, спустившись в первый со всей необходимой осмотрительностью, быстро пробежал бы по первому ходу до второго входа, слегка сдвинул бы покров из мха, предназначенный для этой цели, и мог бы оттуда в течение нескольких дней и ночей обозревать местность. Только такое устройство было бы правильным. Правда, два входа удваивают и опасность, но здесь это соображение не играет роли: ведь один вход мыслится только как наблюдательный пункт и мог бы быть очень узким. И тут я углубляюсь в технические расчеты, начинаю снова грезить о совершенном убежище, и это немного успокаивает меня;

закрыв глаза, я с восторгом рисую себе вполне и не вполне отчетливые возможности создать такое жилье, чтобы из него легко было выскальзывать и проскальзывать обратно.

Когда я вот так лежу и думаю, я оцениваю эти возможности очень высоко, но лишь как техническое достижение, а не как подлинные преимущества, ибо беспрепятственное проскальзывание наружу и внутрь — на что оно? Оно указывает на беспокойный дух, на нетвердую самооценку, на нечистые вожеления, на дурные черты характера, а они выглядят еще хуже перед лицом моего жилища, которое стоит нерушимо и может влить в нас мир, если только мы целиком откроемся его воздействию. Правда, сейчас я нахожусь вне его пределов и ищу способа вернуться; тут некоторые технические улучшения можно было бы только приветствовать. Но, пожалуй, это не так уж важно. Разве, когда ты охвачен нервным страхом и видишь в жилье только нору, в которую можно уползти и быть в относительной безопасности, — разве это не значит слишком недооценивать значение жилья? Правда, оно и есть безопасная нора или должно ею быть, и если я представляю, что окружен опасностью, тогда я хочу, стиснув зубы, напрячь всю свою волю, чтобы мое жилье и не было ничем иным, кроме дыры, предназначенной для спасения моей жизни, чтобы эту совершенно ясно поставленную задачу оно выполняло с возможным совершенством, и готов освободить его от всякой другой задачи. Но в действительности — а при большой беде эту действительность не очень-то замечаешь, однако даже в опаснейшие времена нужно приучать себя видеть ее — жилище хоть и дает ощущение безопасности, все же далеко не достаточное, и разве могут когда-нибудь тревоги умолкнуть в нем навсегда? Это другие, более гордые и содержательные, нередко все иное оттесняющие тревоги и заботы, но их раз-

рушительное действие, быть может, не меньше, чем действие тех тревог, которые нам уготованы жизнью за пределами жилья. Если бы я создал свое жилище, только чтобы застраховать свою жизнь, я, правда, не был бы обманут, но соотношение между чудовищной работой и степенью реальной безопасности, во всяком случае в той мере, в какой я могу ее воспринимать и ею пользоваться, оказалось бы для меня неблагоприятным. Очень мучительно признаваться себе в этом, но такое признание неизбежно, и особенно имея в виду вон тот вход, который от меня, строителя и владельца, замкнулся, он точно сжат судорогой. Ведь жилье — это не просто спасительная нора. Когда я стою на главной укрепленной площадке, окруженной высокими грудями мясных запасов, повернувшись лицом к десяти ходам, ведущим отсюда вглубь, причем каждый по отношению к главной площадке под определенным углом опускается или поднимается, вытягивается или закругляется, расширяется или суживается и все одинаково тихи и пусты и готовы, каждый на свой лад, вести меня дальше, к другим площадкам, а те тоже тихи и пусты, — тогда я не думаю о безопасности, тогда я знаю только, что здесь моя крепость, которую я, скребя и кусая, утаптывая и толкая, отвоевал у неуступчивой земли, моя крепость, которая никак не может принадлежать никому другому и настолько моя, что я здесь в конце концов спокойно приму от врага и смертельную рану, ибо кровь моя впитается в родную землю и не исчезнет. И разве не в этом кроется смысл тех блаженных часов, которые я, отдаваясь одновременно и мирной дремоте и веселому бодрствованию, провожу обычно в ходах моего жилья, в ходах, предназначенных именно для меня, ибо я в них блаженно потягиваюсь, ребячливо перекачиваюсь с боку на бок, лежу в мечтательной неподвижности или спокойно засыпаю. А маленькие площадки, из которых каждая мне так знакома и

я каждую, несмотря на их одинаковость, отлично узнаю с закрытыми глазами по изгибу ее стен, площадки, мирно и тепло охватывающие меня, как никакое гнездо не охватит птицу, и где всюду, всюду тихо и пусто.

Но если это так, то почему же я медлю, почему больше боюсь вторжения, чем опасности никогда, быть может, не увидеть опять моего жилья? Ну, последнее, к счастью, невозможно; мне совсем не нужно с помощью каких-то размышлений еще доказывать себе, какое значение для меня имеет это убежище; я и жилье — мы одно, и я мог бы спокойно — спокойно, невзирая на весь мой страх, — поселиться в нем навсегда, для этого вовсе не надо преодолевать себя и вопреки всем сомнениям открыть вход; было бы совершенно достаточно, если бы я пассивно стал ждать, ибо ничто не может нас разлучить надолго и уж я как-нибудь да спущусь. Вопрос в том, сколько времени пройдет до тех пор и что может за это время случиться — и наверху, и внизу. Только от меня зависит сократить срок и сделать сейчас же все необходимое для моего спуска.

И вот, уже не способный думать и обессиленный усталостью, с опущенной головой и дрожащими ногами, уже полуспящий, скорее пробираясь ощупью, чем шагая вперед, я подхожу к отверстию, медленно откидываю моховой покров, медленно впускаюсь, по рассеянности оставляю вход слишком долго открытым, потом вспоминаю об этом и снова поднимаюсь к отверстию, чтобы исправить свою ошибку, но для чего подниматься? Достаточно только затянуть моховой покров, вот так, и я наконец-то опускаю его над собой. Только в таком состоянии, только в таком, я способен это сделать. И вот я лежу под мхом, поверх принесенной добычи, кругом течет кровь и мясные соки, и тут я мог бы заснуть желанным сном. Ничто не мешает, никто за мной не следовал; над покровом из мха, по крайней мере до сих пор, все кажется спокойным, а ес-



ли бы даже и не так, у меня не хватило бы сил задержаться сейчас для наблюдений; я переменял место, из внешнего мира я спустился в свою обитель и действие этой перемены ощущаю сейчас же. Меня обступил новый мир, дающий новые силы, и то, что наверху кажется усталостью, здесь не считается ею. Я просто вернулся из путешествия, безумно измотанный от его трудностей, но свидание с прежним жилищем, ожидающая меня работа по его благоустройству, необходимость быстро и хотя бы поверхностно осмотреть все помещения и, главное, в первую очередь пробраться на укрепленную площадку — все это превращает мою усталость в тревогу и рвение, словно в ту минуту, когда я вступил в свое жилье, я забылся долгим и глубоким сном. Первая задача очень утомительна и требует отчаянного напряжения: нужно протащить добычу через узкие и слабостенные ходы лабиринта. Напрягая все силы, я успешно продвигаюсь вперед, но, на мой взгляд, слишком медленно. Чтобы ускорить движение, я оттесняю назад часть мясных масс, протискиваюсь вперед по ним, через них, теперь передо мной только часть добычи, теперь мне легче толкать ее; но я до такой степени зажат этим обилием мяса здесь, в узких ходах, через которые мне, даже когда я ничего не тащу, бывает трудно продвигаться, что я мог бы просто задохнуться среди собственных запасов; иногда я спасаюсь от их напора только тем, что начинаю есть и пить. Но вот транспортировка удалась, я довольно быстро заканчиваю ее, проталкиваю добычу через боковой переход в особо предназначенный для таких случаев главный ход, который круто спускается к укрепленной площадке. Теперь уже не нужны усилия, теперь все скатывается и стекает вниз само собой. И я наконец-то оказываюсь на своей укрепленной площадке. Наконец-то мне можно будет отдохнуть. Все осталось в моем жилье неизменным, никакой особой беды,

видимо, не случилось, маленькие повреждения, с первого взгляда замеченные мною, будут очень скоро исправлены, только сначала нужно совершить длинное путешествие по всем ходам, но это нетрудно, это все равно что поболтать с друзьями, как я болтал в былые дни — я вовсе еще не так стар, но многое у меня уже меркнет в памяти, — как я болтал в былые дни или слышал от других, что так болтают с друзьями. Осмотрев укрепленную площадку, я иду по второму ходу, намеренно не спеша, ведь времени у меня сколько угодно — в моем жилье у меня времени всегда сколько угодно, — ибо все, что я там делаю, хорошо и важно и до известной степени удовлетворяет меня. Я двигаюсь по второму ходу, прерываю свою ревизию на полпути, перехожу в третий, покорно следуя ему, возвращаюсь на укрепленную площадку, поэтому должен опять начать со второго и так играю с работой, умножаю ее, и смеюсь про себя, и радуюсь, и ошалеваю от обилия работы, но не отступаю от нее. Ведь ради вас, ходы и площадки, и прежде всего ради твоих вопросов, главная укрепленная площадка, пришел я сюда, рисковал жизнью, после того как имел глупость долгое время дрожать за нее и откладывать свое возвращение к вам. Какое мне дело до опасностей, когда я с вами! Ведь вы — часть меня, а я — часть вас, мы связаны друг с другом, что может с нами приключиться? Пусть наверху уже теснится чернь и уже высунулась морда, которая готова прорвать покров из мха. Своей немотой и тишиной приветствует меня жилье и подтверждает мои слова. Но мной все же овладевает какая-то вялость, и на одной из площадок — она в числе моих любимых — я слегка свертываюсь клубком; правда, я осмотрел еще далеко не все и намерен осмотреть жилье до конца, я не хочу здесь спать, а только уступаю соблазну уютно улечься для пробы, будто собираюсь поспать, хочу проверить, удастся ли это мне, как и раньше. И оно

удается, но мне не удается вырваться из плена одолевающей меня дремоты, и я погружаюсь в глубокий сон.

Должно быть, я проспал очень долго. И только в конце сна, когда он уже уходит сам, я почему-то пробуждаюсь, сон мой, вероятно, очень легкий, ибо меня будит едва слышное шипенье. Я тотчас понимаю, в чем дело, это мелюзга, на которую я обращаю слишком мало внимания и которую слишком щажу, в мое отсутствие где-то прорыла себе новый ход, он столкнулся со старым, воздух там задерживается, отсюда и шипящий звук. Какой это неутолимый деятельный народец и как раздражает его усердие! Мне придется, тщательно прослушивая стены моего хода и производя пробные раскопки, сначала установить место, откуда исходит шипящий звук; лишь после этого можно будет устранить его. Впрочем, новый ход, если он окажется в каком-то соответствии с планом моего жилища, быть может, послужит для меня новым желанным воздухопроводом. А за всей этой мелюзгой я буду следить теперь гораздо внимательнее, никто не получит пощады.

Так как у меня большой опыт в подобных обследованиях, то, вероятно, много времени мне не понадобится, я могу сейчас же приняться за дело, и хотя мне предстоят еще другие работы, эта — самая срочная, ибо в моих ходах должна царить тишина. Впрочем, этот слабый шипящий звук довольно безобидный; когда я вернулся, я его совсем не слышал, хотя он, наверно, и тогда уже существовал; но мне надо было сначала вполне почувствовать себя дома, чтобы услышать его, такие звуки улавливает лишь слух домовладельца. И он даже не постоянный, какими бывают обычно подобные шумы, он прерывается большими паузами, и это, видимо, зависит от напряжения воздушного потока. Я начинаю обследование, однако мне не удается определить место, где нужно копать; правда, я рою то там, то здесь, но наугад; конечно, так ничего не

добьешься, бесполезным окажется и тяжелый труд раскапывания и еще более тяжелый — засыпки землей и выравнивания. Я несколько не приближаюсь к месту, откуда исходит звук, он все такой же однообразный и слабый, с равномерными паузами, он похож то на шипенье, то на свист. Ну, я мог бы пока оставить его таким, какой он есть, хотя он очень раздражает, но в предполагаемом мною источнике звука не может быть сомнений, поэтому он едва ли будет усиливаться, скорее, наоборот, может случиться — правда, до сих пор я еще ни разу не ждал так долго, — что с течением времени этот шорох, по мере того как работают маленькие бурильщики, исчезнет сам собой, не говоря уже о том, что на след нарушителя нас нередко наводит простая случайность, тогда как систематические поиски долгое время ничего не дают. Так я утешаю себя, я предпочел бы побродить по ходам и навестить площадки, многих я после возвращения еще не видел, да мимоходом порезвиться на главной площадке, но что-то толкает меня, я вынужден продолжать поиски. Да, много, много времени отнимает у меня этот народец. Обычно в подобных случаях меня привлекает чисто техническая проблема. Я, например, по характеру звука, все тончайшие особенности которого мое ухо отлично различает, определяю совершенно точно его причину, и меня тянет проверить, соответствует ли моя догадка действительности. И это правильно, ибо, пока причина не установлена, я не могу чувствовать себя уверенно, даже если бы речь шла лишь о том, куда скатится песчинка, падающая со стены. А такой шипящий звук с этой точки зрения событие довольно важное. Но важное или не важное, как я ни ищу, я ничего не нахожу или, вернее, нахожу слишком многое. Именно на моей любимой площадке должно было это случиться, думаю я, отхожу как можно дальше, почти на середину хода, ведущего к следующей площадке; все в целом —

это же просто-напросто шутка, словно я хочу доказать, что не только моя любимая площадка приготовила мне эту помеху, но помехи есть и в других местах; и я, улыбаясь, начинаю прислушиваться, но скоро перестаю улыбаться: такое же шипенье действительно слышится и здесь. В сущности ничего нет, иногда мне кажется, что никто, кроме меня, ничего и не услышал бы, но я своим натренированным слухом слышу его все отчетливее, хотя повсюду это те же самые звуки, как я убеждаюсь, сравнивая их между собой. И они не усиливаются — мне это ясно, когда я прислушиваюсь не у самой стены, а стоя посреди хода. Тут, чтобы услышать это слабое шипенье, я должен напрягать слух, время от времени сосредотачиваться, и тогда до меня доходит даже не звук, а скорее как бы дыхание звука. Но как раз эта его одинаковость, которую я наблюдаю из разных точек, больше всего и тревожит меня, ибо она не согласуется с моим прежним предположением. Если бы я верно отгадал источник звука, он должен был бы исходить из одного определенного места и потом все ослабевать по мере моего удаления от него. Но раз мое объяснение не подходит, то что же это такое? Быть может, существуют два центра звуков, и я до сих пор прислушивался вдалеке от обоих центров, а когда приближался к одному из них, звуки, правда, усиливались, но звуки другого соответственно ослабевали, и для слуха это далекое шипенье оставалось примерно все таким же. Порой мне казалось, что, когда я особенно напряженно вслушивался, я даже улавливал звуки различной высоты, что соответствовало моему новому предположению, хотя и доносились они очень смутно. Во всяком случае, область исследования нужно было значительно расширить. Поэтому я спускаюсь по ходу до укрепленной площадки и там начинаю слушать. Странно, совершенно тот же звук я слышу и здесь. Очевидно, его производят,

роя землю, какие-то ничтожные твари, которые подлым образом воспользовались моим отсутствием; во всяком случае, они далеки от всяких злоумышленных действий против меня, они просто заняты своей работой, и пока на их пути не возникнет препятствие, они будут держаться взятого ими направления; все это я знаю, однако не могу понять; волнует меня и вносит путаницу в мои мысли — хотя трезвость рассудка мне так необходима для моей работы — тот факт, что они дерзнули добраться до укрепленной площадки. Что послужило этому причиной — я не хочу разбираться: немалая глубина, на которой лежит укрепленная площадка, или ее протяженность и поэтому сильные воздушные потоки, отпугнувшие роющих, или то, что это главная укрепленная площадка и что самый этот факт каким-то путем все же дошел до них, несмотря на их тупость. Однако я еще не замечал, чтобы кто-то рыл стены укрепленной площадки. Правда, животные и раньше подходили близко, во множестве привлеченные резкими запахами, здесь я мог постоянно охотиться, но они проникали откуда-то сверху в мои ходы и потом сбегали по ходам вниз, робая, но неудержимо стремясь вперед. Теперь же они буравили стены. Если бы мне хоть удалось осуществить планы моей юности и первых лет зрелости, вернее, если бы я имел силу их осуществить, ибо в доброй воле недостатка не было. Один из этих любимых планов состоял в том, чтобы отделить укрепленную площадку от окружающей земли, то есть оставить ее стены толщиной, примерно равной моему росту, и создать вокруг укрепленной площадки пустое пространство, соответствующее размерам стен, все же сохранив, увы, маленький, не отделенный от земли фундамент. Это пустое пространство я всегда рисовал себе — и не без основания — как самое лучшее место для жизни, какое только могло существовать для меня. Висеть на этом своде, подниматься, скользить

вниз, перекувыркиваться, снова ощущать иод ногами твердую почву, играть во все эти игры прямо-таки на теле укрепленной площадки и все же не на ней; получить возможность избегать ее, дать глазам отдохнуть от нее, откладывать на время радость встречи с ней и все же не утратить ее, вцепиться в эту площадку когтями, что невозможно, если иметь только один, обычный ход, ведущий к ней; и прежде всего — стеречь ее; возможность выбирать между укрепленной площадкой и пустым пространством как награду за разлуку с ней, выбрать навсегда пустое пространство и бродить по нему взад и вперед, защищая площадку. Тогда не возникло бы в стенах никаких звуков, никакого нахального рытья чуть не под самой площадкой, тогда там воцарился бы мир и я был бы его сторожем; тогда я не прислушивался бы с отвращением к возне мелюзги, но с восторгом к тому, что сейчас совершенно от меня ускользает: к шелесту тишины на этой площадке. Однако всего этого нет, хотя оно и прекрасно, а мне пора приниматься за работу, и мне следовало бы радоваться, что она имеет прямое отношение к укрепленной площадке, ибо мысль о ней окрыляет меня. Правда, как постепенно выясняется, мне нужны все мои силы для этой работы, которая вначале казалась пустяковой. Я теперь прослушиваю стены укрепленной площадки, и, как бы я их ни прослушивал — наверху или у основания, у входов или внутри, — везде, везде все тот же тихий шипящий звук. А сколько времени, какого напряжения требует это долгое слушанье прерываемых паузами звуков! Если хочешь, маленькое утешение и повод для самообмана можно найти в том, что здесь, на укрепленной площадке, когда отнимаешь ухо от земли, то, в отличие от ходов, ничего из-за ее размеров не слышишь. Только чтобы отдохнуть, чтобы опомниться, повторяю я очень часто этот опыт, напрягаю слух и счастлив, что ничего не слышу. Но что же в сущности

произошло? Мои первоначальные объяснения ничего не дают. Но и другие предположения я вынужден отклонить. Можно было бы допустить, что этот шум производят сами мелкие твари, занятые работой. Однако это противоречило бы всему моему опыту; ведь того, чего я не слышал раньше, хотя оно всегда существовало, я не могу вдруг начать слышать теперь. Может быть, с годами моя чувствительность к помехам в моем жилище обострилась, но слух нисколько не стал тоньше. В том-то и состоит особенность мелких тварей, что они неслышны. Разве я бы иначе это стерпел? Рискаю умереть с голоду, я бы изгнал их навсегда. А может быть — и такая мысль закрадывается мне в голову, — тут действует животное, которое мне еще неизвестно? Возможно. Правда, я уже давно и очень внимательно наблюдаю жизнь здесь, под землей, но ведь мир многообразен и неприятных сюрпризов в нем достаточно. Но тогда это не одно животное, а, вероятно, большое стадо, вдруг вторгшееся в мои владения, большое стадо маленьких животных, и поскольку их слышно, они, вероятно, крупней мелкой твари, но едва ли намного, ибо шум от их работы сам по себе ничтожен. Это могли бы быть неведомые животные, некое кочующее стадо, которое только проходит мимо и нарушает мой покой и чье прохождение скоро кончится. Так что я мог бы, собственно говоря, подождать и не делать лишней работы. Но если это неведомые животные, почему я их не вижу? Я уже рыл во многих местах, чтобы схватить хоть одно из них, но ни одного не нахожу. И тут мне приходит в голову, что это, может быть, совсем крошечные животные, гораздо меньше известных мне, и только шум они производят более сильный. И вот я обследую вырытую землю, подбрасываю вверх комья, чтобы они рассыпались на крошечные частицы, но шумливых невидимок там не оказывается. Постепенно мне становится ясно, что таким случайным



мелким рытвем я ничего не достигну, я только порчу стены своего жилья, наспех шарю то там, то здесь, не успеваю засыпать ямки, во многих местах уже лежат кучи земли, которые мешают двигаться и видеть. Правда, все это — второстепенные заботы, я теперь не могу ни странствовать по своему жилищу, ни смотреть по сторонам, ни отдыхать, несколько раз я уже засыпал в какой-нибудь ямке, запустив одну лапу в землю над головой, так как хотел в полусне вырвать из нее комок. Теперь я решил изменить метод. Я буду рыть в направлении звука настоящей большой ров и не перестану до тех пор, пока, независимо от всяких теорий, не обнаружу его истинную причину. И тогда я устраню ее, если это окажется в моих силах, если же нет, то хоть буду знать наверное, в чем дело. И это знание принесет мне либо успокоение, либо отчаяние, но пусть будет как будет — то или другое; оно будет бесспорным и оправданным. От этого решения мне становится легче. Все, что я делал до сих пор, мне кажется, делалось слишком поспешно; я был взволнован возвращением, еще не освобожденный от тревог внешнего мира, еще не окупился целиком в мирную жизнь убежища, и, став сверхчувствительным из-за того, что так долго был его лишен, я заранее приписал явлению какую-то загадочность и совсем потерял голову. А в чем же дело? Легкое шипенье, разделенное долгими паузами, ничтожный звук, к которому я не скажу, чтобы можно было привыкнуть, нет, привыкнуть к нему нельзя, но можно было бы, не предпринимая тут же чего-то, некоторое время сначала понаблюдать его, то есть через каждые два-три часа прислушиваться к нему и терпеливо отмечать это явление, а не ползать ухом по стенам и почти каждый раз, как его услышишь, сейчас же разрывать землю, даже не стремясь что-либо найти, а просто желая дать исход внутреннему беспокойству. Надеюсь, отныне будет по-друго-

му. И опять-таки не надеюсь — лежа с закрытыми глазами, в бешенстве на самого себя, я вынужден в этом себе признаться, ибо от беспокойства все дрожит во мне ничуть не меньше, чем несколько часов назад, и, если бы рассудок не удерживал меня, я, вероятно, охотнее всего начал бы где попало — слышно там что-нибудь или не слышно — упрямо и тупо рыть землю только ради самого рытья, почти как мелкие твари, которые роют или совсем без смысла, или потому, что они жрут землю. Мой новый разумный план и привлекает меня и не привлекает. Против него ничего не возразишь, по крайней мере я не нашел бы что возразить, и он должен, насколько я понимаю, привести к цели. И все-таки в глубине души я в него не верю, не верю настолько, что даже не боюсь возможных ужасов, которые он может повлечь за собой, не верю в какие-либо ужасные последствия; мне даже кажется, я уже с самого начала, услышав впервые необъяснимый шипящий звук, подумал о таком методическом копании рва, и только потому, что не был уверен в его целесообразности, до сих пор не приступал к делу. Все же я, разумеется, примусь за этот ров, другого выхода у меня нет, но начну я не сейчас, я эту работу немного отложу. Если здравый смысл опять возьмет верх, то пусть уж до конца, и я не сразу ринусь в эту работу. Сначала я, во всяком случае, исправлю повреждения, которые причинил своему жилью, копая наугад; времени понадобится для этого немало, но сделать это необходимо; новый ров, если он действительно приведет к цели, будет, вероятно, очень длинным, а если не приведет ни к какой цели — он будет бесконечным; во всяком случае, такая работа заставит меня на продолжительное время удалиться от жилья, это будет не так плохо, как пребывание на поверхности земли, я смогу делать перерывы в работе, когда захочу, и ходить домой в гости, и даже если я не буду этого делать, то ко мне

будет проникать воздух с укрепленной площадки и оевать меня во время работы; все же я удалюсь от своего жилья и подвергну себя риску неведомой судьбы, поэтому я хочу оставить после себя все в полном порядке, иначе выйдет так, что я, борющийся за его покой, сам этот покой нарушил и тут же не восстановил. И вот я начинаю с того, что загребаю обратно в ямки вырытую оттуда землю, работа мне слишком хорошо знакомая, я выполнял ее бесчисленное множество раз, почти не ощущая как работу, особенно это касается последнего утрамбовывания и выравнивания, — и это, конечно, не самовосхваление, а просто правда — я способен выполнять ее с непревзойденным мастерством. Но сейчас мне трудно, я слишком рассеян, посреди работы я все вновь и вновь прикладываю ухо к стене, слушаю и равнодушно предоставляю едва собранной в кучу земле снова сползать на дно хода. Последние работы по отделке жилья, требующие более напряженного внимания, я едва в силах выполнять. Неуклюжие бугры, безобразные трещины остаются, уже не говоря о том, что прежний изгиб нескладно залатанной стены не удастся восстановить. Я стараюсь утешить себя тем, что все это лишь предварительные меры. Когда я вернусь и спокойствие будет восстановлено, я окончательно исправлю погрешности, тогда все удастся сделать мигом. Да, в сказках все совершается мигом, и подобное утешение тоже сказка. Было бы лучше сейчас же закончить всю работу, гораздо полезнее, чем то и дело прерывать ее, странствовать по ходам и устанавливать новые точки, где слышен шипящий звук, что отнюдь не трудно — достаточно остановиться в любом месте и прислушаться. И я делаю еще ряд бесполезных открытий. Временами мне кажется, что звук прекратился, ибо наступают долгие паузы, порой шипенье не расслышишь — слишком громко пульсирует в ушах моя собственная кровь, и тогда две

паузы сливаются в одну и на минутку воображаешь, будто шипенье умолкло навсегда. И уже не слушаешь, вскакиваешь, в жизни наступает перелом, чудится, словно открылись родники, из которых в жилище льется тишина. Остерегаешься сразу же проверить свое открытие, ищешь кого-нибудь, кому можно сначала без колебаний его доверить, галопом мчишься на укрепленную площадку, вспоминаешь, что всем существом пробудился для новой жизни, что уже давно ничего не ел, вырываешь из-под засыпавшей их земли какие-нибудь запасы, не успевая проглотить их, бежишь к тому месту, где было сделано невероятное открытие, чтобы наскоро, во время еды, проверить еще раз, слушаешь, но даже при беглом слушании тотчас убеждаешься, что ошибся — там вдали опять раздается несокрушимое шипенье. И тогда выплевываешь пищу, и хочется затоптать ее, и возвращаешься к работе, но даже не знаешь к какой; где-нибудь, где это кажется необходимым, а таких мест достаточно, начинаешь машинально что-то делать, как будто явился надзиратель и перед ним нужно разыгрывать комедию. Но едва ты немного поработал, может случиться, что тебя ждет новое открытие. Тебе вдруг чудится, будто шипенье становится громче, ненамного громче, конечно, тут можно говорить всегда лишь об очень тонких различиях, но все же несколько громче, и ухо это ясно улавливает. Усиление звука кажется его приближением, и еще отчетливее, чем это усиление, прямо-таки видишь его приближающийся шаг. Отскакиваешь от стены, пытаешься одним взглядом окинуть все неожиданности, которые повлечет за собой это открытие. Возникает чувство, что в сущности гилье никогда не было устроено так, чтобы выдержать нападение, намерение, правда, было, но вопреки всему жизненному опыту опасность нападения и меры защиты казались очень далекими, а если и не далекими (это же было бы неправ-

доподобно!), то по своему значению гораздо ниже, чем создание обстановки для мирной жизни, почему ей всюду в жилье и отдавалось предпочтение. Можно было многое в этом смысле подготовить, не нарушая основного плана, но почему-то это было непонятным образом упущено. За последние годы мне очень везло, счастье избаловало меня; правда, я бывал встревожен, но тревога среди счастья ни к чему не побуждала.

Что следовало бы сейчас предпринять в первую очередь — это осмотреть жилье с точки зрения защиты и всех возможных опасностей, выработать план перестройки жилья с этой точки зрения и затем сразу же, бодро, как молодой, приняться за дело. Такова была бы необходимая работа, но для нее, кстати сказать, слишком поздно. Однако необходимо было бы именно это, а отнюдь не рытье где попало большого разведочного рва, который преследовал бы в сущности одну цель — направить все мои силы на поиск опасности в нелепом страхе, что она слишком скоро сама меня настигнет. И я вдруг перестаю понимать смысл моего прежнего плана. В нем, казавшемся мне раньше столь разумным, я уже не вижу ни капли разумности, я вновь прекращаю работу, перестаю прислушиваться, я больше не хочу искать новых подтверждений, хватит с меня открытий, я все бросаю и был бы доволен, если бы удалось хоть успокоить внутренние противоречивые голоса. Вновь предоставляю моим ходам уводить меня, попадаю во все более отдаленные, которых после своего возвращения еще не видел, своими скребущими лапами еще не касался и чья тишина, нарушенная моим появлением, снова опускается на меня. Но я ей не отдаюсь, я спешу дальше; не знаю, чего я хочу, вероятно, отсрочки. Я блуждаю, и захожу так далеко, что оказываюсь в лабиринте, и меня тянет послушать у самого покрова из мха — вот какая далекая жизнь, в эту минуту особенно далекая,

интересует меня. Я поднимаюсь до самого верха и прислушиваюсь. Глубокая тишина; как здесь хорошо, никто не думает о моем жилье, у каждого свои дела, не имеющие ко мне никакого отношения; и как я ухитрился этого добиться! Здесь, под покровом из мха, может быть, единственное место в моем жилье, где я могу напрасно прислушиваться в течение долгих часов. Все соотношения в моем жилье перевернуты: место, бывшее самым опасным, стало самым мирным, а укрепленная площадка вовлечена в шумную жизнь и ее опасности. Хуже того, и здесь на самом деле нет покоя, ведь здесь ничто не изменилось, опасность, тихая или шумная, все равно, как и прежде, подстерегает меня над мхом, но я стал к ней нечувствителен, ибо слишком поглощен этим шипеньем в моих стенах. Но поглощен ли я? Шипенье усиливается, приближается, я же сначала крадусь по ходам лабиринта, а потом устраиваюсь здесь, наверху, под мхом, словно уже уступил шипящему мое жилье, довольный, что меня здесь, наверху, Пока оставляют в покое. Шипящему? Разве у меня возникло новое, определенное мнение относительно причины шипенья? Ведь скорее всего это — осыпание почвы в канавках, которые роет мелюзга. Разве не таково мое мнение? Его я как будто не изменил. И если это не прямо связано с канавками, то косвенно — дело все же в них. А если оно к этому вовсе не имеет отношения, тогда заранее ничего решить нельзя и нужно ждать, пока, быть может, откроешь причину или она сама откроется тебе. Правда, можно бы и сейчас заняться всякими предположениями, можно бы, например, допустить, что где-то далеко от моего жилья прорвалась вода и то, что мне кажется свистом и шипеньем, — это плеск воды. Но помимо того, что я ничего в этом деле не смыслю, почвенные воды, на которые я вначале натолкнулся, были тут же отведены мной, и в эту песчаную почву они не вернулись, уже не

говоря о том, что звук этот именно шипенье, а никак не плеск. Но напрасны все призывы к спокойствию, фантазия не останавливается, и я, кажется, начинаю верить — бесполезно отрицать это перед самим собой, — что шипенье исходит от животного, притом не от нескольких и мелких, а от одного-единственного и крупного. Многие говорят против такого предположения. Прежде всего то, что шипящий звук слышен повсюду, он всегда одинаковой силы и, кроме того, раздается неукоснительно и днем и ночью. Конечно, первой приходит мысль о множестве мелких животных, так как при своих раскопках я неизбежно должен был бы обнаружить их, но ничего не нашел, остается только допустить существование крупного животного, причем то, что как будто противоречит такому допущению, делает его непредставимо опасным. Только потому и я противился этой мысли. Теперь я отказываюсь от такого самообмана. Уже давно посещает меня догадка, что звук этот именно и слышен даже на большом расстоянии потому, что животное работает неистово, оно с такой быстротой продирается сквозь землю, с какой гуляющий идет по пустынной аллее, земля еще дрожит от его рытья, даже когда животное уже прошло, и эта дрожь и звук самой работы на большом расстоянии сливаются воедино, и я, до кого доносится лишь последний отзвук, слышу его повсюду одинаково. Влияет на слышимость также и то, что животное движется не ко мне, поэтому шорох не меняется; вероятно, существует какой-то план, смысл которого я не угадываю, я только допускаю, что животное — причем я вовсе не утверждаю, будто оно знает обо мне, — описывает круги и, может быть, уже несколько раз обошло во круг моего жилья, с тех пор как я за ним наблюдаю. Трудную загадку задает мне характер этого звука — то шипенье, то свист. Когда я сам царапаю когтями землю и роюсь в ней, звуки совсем другие. Шипенье я могу объ-

яснить только тем, что главным орудием животного служат не когти, которыми он, может быть, только себе подсобляет, а его морда или хобот; они, помимо чрезвычайной силы, также заострены. Одним мощным толчком вонзает он хобот в землю и выхватывает большой ком; в это время я ничего не слышу, это и есть пауза; а затем он втягивает воздух для нового толчка. Это втягивание воздуха, которое должно сотрясать землю своим шумом не только из-за силы животного, но и от его спешки, этот шум и доносится до меня в виде легкого шипения. Однако совершенно непонятной остается его способность работать без передышки; может быть, коротенькие паузы — это для него крошечная передышка, но настоящего, большого отдыха оно себе, видимо, еще не давало. День и ночь роет оно все с той же силой и бодростью, как будто имея перед глазами спешно выполняемый план, для осуществления которого у него есть все данные. Что ж, такого противника я не мог ожидать. Но помимо его особенностей я теперь столкнулся с тем, чего должен был, говоря по правде, всегда опасаться, к чему я должен был заранее подготовиться: кто-то приближается ко мне! Как могло случиться, что так долго моя жизнь текла тихо и благополучно! Кто указывал пути врагам и почему они описывали широкую дугу, обходя мои владения? Зачем было так долго охранять меня, а теперь вызвать такой страх? Что значат все маленькие опасности, на обдумывание которых я тратил столько времени, в сравнении с этой одной? Или я надеялся, что, владея таким жильем, буду тем самым иметь перевес и в силе по сравнению с любым пришельцем? Именно в качестве хозяина этого огромного и непрочного сооружения я, конечно, беззащитен против всякой атаки. Счастье владеть им избаловало меня, уязвимость моего жилья сделала и меня уязвимым, его повреждения причиняют мне боль, словно это повреждения



моего собственного тела. Именно это мне следовало предвидеть, думать не только о защите самого себя, хотя и к ней я относился легкомысленно и беззаботно, но и о защите моего жилья. Следовало прежде всего позаботиться о том, чтобы можно было отдельные части его, как можно больше отдельных частей в случае нападения на них быстро засыпать землей, изолировать их от менее угрожаемых участков, притом такими земляными массивами и так обезопасить, чтобы нападающий даже не подозревал о существовании позади них самого жилья. Эти земляные массивы должны были бы служить не только для того, чтобы скрыть жильё, но главным образом чтобы засыпать самого врага. Но я не сделал ни малейшей попытки в этом направлении, ничего, ничего не предпринял, я жил легкомысленно, как ребенок, годы зрелости провел в детских забавах, даже мыслями об опасности я играл и подумать о настоящих опасностях не удосужился. А ведь предостережений было достаточно.

Однако ничего равного по силе теперешнему не происходило. Впрочем, когда я еще только начал строить свою нору, случаи в этом роде имели место. Основная разница заключалась в том, что я только начал строить... Я работал тогда, как мальчишка-ученик, еще над первым ходом, лабиринт был намечен лишь в общих чертах, одну маленькую площадку я уже выкопал, но и пропорции и выведение стен мне еще совершенно не удавались; словом, все еще существовало в зачатке, это можно было счесть только за пробу сил, я знал, что, если не хватит терпения, потом легко можно будет все тут же бросить без особых сожалений. И вот однажды во время передышки — я допустил в своей жизни слишком много передышек, — когда я лежал между кучами земли, я вдруг услышал далекий шум. По молодости лет я скорее заинтересовался, чем встревожился. Я прекратил работу и занялся только слу-

шаньем, я беспрерывно прислушивался, а не побежал наверх под мох, чтобы там улечься и не быть обязанным слушать. Тут я хоть слушал. Я хорошо понимал, что кто-то роет землю, подобно мне, правда, звук был несколько слабее, хотя какое нас отделяло расстояние — трудно было сказать. Я был насторожен, но спокоен и хладнокровен. Может быть, я в чужой норе, подумал я, и хозяин прорывает путь ко мне. Если бы мое предположение оправдалось, я, не имея склонности ни к завоеваниям, ни к агрессии, вероятно, ретировался бы и стал строить в другом месте. Правда, я был еще молод, у меня еще не было жилья, и я мог оставаться спокойным и хладнокровным.

Дальнейший ход событий также не принес особых волнений, только уточнить место было нелегко. Если тот, кто там рыл, действительно старался добраться до меня, ибо услышал, как я рою, то, когда он явно изменил направление, нельзя было решить, лишил ли я его, прервав работу, всякого ориентира или это произошло потому, что сам он изменил свои намерения. А может быть, просто-напросто я ошибся, и он против меня ничего не злоумышлял; во всяком случае, шум некоторое время еще усиливался, словно он приближался, и я, тогда еще молодой, пожалуй, ничего бы не имел против, если бы землекоп вдруг вышел из земли и встал передо мной; но ничего подобного не произошло, с определенного момента шум стал ослабевать, он становился все тише, словно землекоп отклонялся от первоначального направления, и вдруг совсем смолк, как будто он повернул в противоположную сторону и уходил от меня все дальше и дальше. Долго еще вслушивался я в наступившую тишину, прежде чем вернуться к работе. Это предостережение было достаточно ясным, но я скоро забыл о нем, и оно едва ли повлияло на мои строительные планы.

Между тогдашними днями и теперешними лежит период моей возмужалости; но разве не кажется, что между ними ничего не лежит? Я все еще делаю большие передышки в работе и прислушиваюсь у стены, а землекоп недавно изменил свои первоначальные намерения, он поворачивает обратно, он возвращается из своего путешествия, он полагает, что дал мне достаточно времени, чтобы подготовиться к его приему. А у меня все устроено гораздо хуже, чем тогда, мое обширное жилье совершенно беззащитно, и я уже не мальчишка-ученик, а старый опытный архитектор, оставшиеся силы могут отказать, если наступит решительная минута, но как бы стар я ни был, мне кажется, я охотно стал бы еще старше, чем сейчас, таким старым, что не смог бы уже подняться со своего ложа под мхом. Ведь на самом деле я здесь не в силах выдержать, я встаю и мчусь опять вниз, в свое жилье, словно не отдохнул здесь, а растревожил себя новыми заботами. Как же обстояло дело в последние минуты? Ослабело ли шипенье? Нет, оно усилилось. Достаточно прислушаться в любом месте, и я отчетливо осознаю свои иллюзии, ибо шипенье осталось в точности таким же, ничто не изменилось. Там, у противника, не произошло никаких перемен, там спокойны, там стоят выше времени, а здесь слушающего терзает каждая минута. И я опять совершаю долгий путь к укрепленной площадке. Все вокруг кажется мне взволнованным, все как будто смотрит на меня и тут же отводит взгляд, чтобы меня не тревожить, и опять старается по моему виду угадать принятые мною спасительные решения. А я качаю головой, ибо их еще нет у меня. Не иду я и на укрепленную площадку, чтобы там приняться за выполнение какого-либо плана. Проходя мимо того места, где я хотел копать разведочный ров, я еще раз исследую его, оно выбрано очень удачно, ров шел бы в ту сторону, в которой находится большинство мелких воз-

духопроводов, они очень облегчили бы мне работу; может быть, и копать-то особенно долго не пришлось бы, чтобы добраться до источника шипенья, может быть, достаточно было бы послушать у этих воздухопроводов. Но никакие соображения не имеют достаточной силы, чтобы подбодрить меня и заставить приняться за ров. Ров этот должен дать мне достоверные сведения. Но я уже дошел до того, что не хочу этих достоверных сведений. На укрепленной площадке я выбираю хороший кусок освежеванного мяса и с ним заползаю в кучу земли, там по крайней мере будет тихо, насколько здесь еще возможна тишина. Я лижу мясо и лакоплюсь им, думаю то о неведомом животном, которое там вдали прокладывает себе дорогу, то о моих запасах, которыми, пока еще возможно, я могу наслаждаться, не жалея их. Вероятно, это и есть мой единственный выполнимый план. Все же я стараюсь разгадать план неведомого животного. Что оно, странствует или работает над созданием собственного жилья? Если оно странствует, то нельзя ли было бы с ним договориться? Если оно действительно докопается до меня, я отдам ему кое-что из моих запасов, и оно отправится дальше. Ну, допустим, оно отправится дальше. Сидя в моей земляной куче, я, конечно, могу мечтать о чем угодно, о взаимопонимании тоже, хотя слишком хорошо знаю, что взаимопонимания не существует и что едва мы друг друга увидим, даже только почуем близость друг друга, мы потеряем голову и в тот же миг, охваченные иного рода голодом, даже если мы сыты до отвала, сейчас же пустим в ход и когти и зубы. И здесь, как всегда, сделаем это с полным правом, ибо кто же. странствуя и увидев такое жилье, не изменил бы своего пути и планов на будущее? Но, может быть, эта тварь роет в собственной норе, и тогда мне о взаимопонимании и думать нечего. Если даже это такое необыкновенное животное, что оно готово терпеть сосед-

нее жилье рядом со своим, то мое жилье не допустит соседа, во всяком случае такого, которого оно слышит. Правда, кажется, что животное очень далеко, если оно отойдет еще хоть немного дальше, то исчезнет, вероятно, и шипенье, и тогда, быть может, все уладилось бы, как в доброе старое время, тогда все оказалось бы лишь мучительным, но полезным опытом, он побудил бы меня к целому ряду усовершенствований; когда я спокоен и опасность не угрожает мне непосредственно, я еще способен выполнять всевозможные серьезные работы, и, быть может, эта тварь при гигантских возможностях, которыми она при своей силе, видимо, располагает, откажется от продолжения своего жилья в сторону моего и вознаградит себя за это чем-нибудь другим. Всего этого, конечно, не достигнешь с помощью переговоров, а только с помощью собственного разума животного или путем принуждения, исходящего от меня. В обоих случаях важно, знает ли и что именно знает обо мне эта тварь. Чем больше я думаю, тем неправдоподобнее кажется мне, чтобы оно вообще услышало меня; возможно, хотя и трудно себе представить, что оно каким-либо иным путем получило сведения обо мне, но все-таки оно едва ли меня слышало. Пока я ничего о нем не знал, оно не могло и слышать меня, ибо я тогда вел себя очень тихо, ведь нет ничего тише, чем свидание со своим жилищем; когда я пытался рыть в разных местах, оно могло меня услышать; правда, роя землю, я произвожу очень мало шума, а если бы оно меня услышало и я что-нибудь заметил бы, оно должно было хотя бы делать частые перерывы в работе и прислушиваться... Но все оставалось неизменным...

## СОДЕРЖАНИЕ

Б. Сучков. Мир Кафки . . . . .	5
--------------------------------	---

### ПРОЦЕСС. Роман. Перевод Р. Райт-Ковалевой

Глава первая. Арест. Разговор с фрау Грубах, потом с фрейлейн Бюрстнер . . . . .	67
Глава вторая. Следствие начинается . . . . .	99
Глава третья. В пустом зале заседаний. Студент. Канцелярии	117
Глава четвертая. Подруга фрейлейн Бюрстнер . . . . .	144
Глава пятая. Экзекутор . . . . .	153
Глава шестая. Дядя. Лени . . . . .	161
Глава седьмая. Адвокат. Фабрикант. Художник . . . . .	185
Глава восьмая. Коммерсант Блок. Отказ адвокату . . . . .	242
Глава девятая. В соборе . . . . .	278
Глава десятая. Конец . . . . .	305

### НОВЕЛЛЫ И ПРИТЧИ

Прогулка в горы. Перевод И. Татариновой . . . . .	313
Платья. Перевод И. Татариновой . . . . .	313
Деревья. Перевод И. Татариновой . . . . .	314
Разоблаченный проходимец. Перевод Р. Гальпериной . . . . .	314
Купец. Перевод И. Татариновой . . . . .	317
Дети на дороге. Перевод Р. Гальпериной . . . . .	319
Проходящие мимо. Перевод И. Татариновой . . . . .	323
Тоска. Перевод И. Татариновой . . . . .	324
Приговор. Перевод И. Татариновой . . . . .	329
Превращение. Перевод С Апта . . . . .	342
В исправительной колонии. Перевод С. Апта . . . . .	401

<b>Гигантский крот.</b> Перевод В. Топер . . . . .	435
<b>Новый адвокат.</b> Перевод Р. Гальпериной . . . . .	453
<b>Сельский врач.</b> Перевод Р. Гальпериной . . . . .	454
<b>Старинная запись.</b> Перевод Р. Гальпериной . . . . .	461
<b>Посещение рудника.</b> Перевод Р. Гальпериной . . . . .	463
<b>Соседняя деревня.</b> Перевод Р. Гальпериной . . . . .	466
<b>Одиннадцать сыновей.</b> Перевод Р. Гальпериной . . . . .	467
<b>Братоубийство.</b> Перевод Р. Гальпериной . . . . .	472
<b>Сон.</b> Перевод Р. Гальпериной . . . . .	474
<b>Отчет для Академии.</b> Перевод Л. Черной . . . . .	477
<b>Маленькая женщина.</b> Перевод М. Абезгауз . . . . .	489
<b>Голодарь.</b> Перевод С. Шлапоберской . . . . .	497
<b>Певца Жозефина, или мышиный народ.</b> Перевод Р. Гальпериной	508
<b>Мост.</b> Перевод С. Апта . . . . .	528
<b>Охотник Гракх.</b> Перевод Н. Касаткиной . . . . .	529
<b>Верхом на ведре.</b> Перевод Н. Касаткиной . . . . .	534
<b>Как строилась китайская стена.</b> Перевод В. Станевич . . . . .	537
<b>Стук в ворота.</b> Перевод Н. Касаткиной . . . . .	553
<b>Гибрид.</b> Перевод Н. Касаткиной . . . . .	555
<b>Железнодорожные пассажиры.</b> Перевод С. Апта . . . . .	557
<b>Правда о Санчо Пансе.</b> Перевод С. Апта . . . . .	557
<b>Прометей.</b> Перевод С. Апта . . . . .	558
<b>Посейдон.</b> Перевод В. Станевич . . . . .	559
<b>Ночью.</b> Перевод В. Станевич . . . . .	560
<b>Отклоненное ходатайство.</b> Перевод И. Татариновой . . . . .	561
<b>К вопросу о законах.</b> Перевод В. Станевич . . . . .	567
<b>Коршун.</b> Перевод В. Станевич . . . . .	569
<b>Рулевой.</b> Перевод В. Станевич . . . . .	570
<b>Волчок.</b> Перевод В. Станевич . . . . .	571
<b>Нора.</b> Перевод В. Станевич . . . . .	572

## **Франц Кафка**

### **РОМАН, НОВЕЛЛЫ, ПРИТЧИ**

Художественный редактор А. Купцов

Технический редактор Г. Каледина

Сдано в производство 28/IV-1965 г.

Подписано к печати 16/VII-1965 г.

Бумага 70X108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> = 9,6 бум. л. 26,37 печ. л.

Уч.-изд. л. 27,07. Изд. № 12/2652

Цена 1 р. 49 к. Зак. 232

(Темплан 1965 г. пор. № 863)

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»**

Москва, Зубовский бульвар, 21

Московская типография № 20

Главполиграфпрома

Государственного комитета Совета Министров

СССР по печати

Москва, 1-й Рижский пер., 2